

Вспоминная
Михаила Зощенко



Вспоминая
Михаила Зощенко



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

ББК 84.Р7
В 85

Составление и подготовка текста
Ю. В. Томашевского

Оформление художника
А. Чеснокова

В $\frac{4702010104-070}{028(01)-90}$ 36-90

ISBN 5-280-00962-8

© Ю. Томашевский. Состав, 1990.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Эта книга задумывалась с таким расчетом, чтобы облик М. М. Зощенко — писателя и человека — предстал перед глазами читателя во всей сложности его индивидуальной судьбы. Трудность, связанная с осуществлением этой задачи, дала себя знать уже с первых шагов.

Известно, что имя Зощенко на протяжении четырех десятилетий (если принять за точку отсчета 1946 год, когда он был ошельмован в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и исключен из Союза писателей) находилось, мягко говоря, под гнетом официального недоверия, непризнания, а в отдельные годы и периоды вообще вычеркивалось из литературного обихода. Поэтому после смерти писателя (1958 г.) многие из тех, кто хорошо знал его, был с ним близок, знаком или же просто наблюдал и слышал его и мог оставить о нем воспоминания, не сделали этого, видимо, не предполагая, не веря, что правда о Зощенко может увидеть свет в какое-то обозримое время. Достаточно назвать таких «невystупивших» свидетелей его жизни, как Н. Акимов, А. Ахматова, О. Берггольц, И. Груздев, Вс. Иванов, С. Маршак, Н. Никитин, Ю. Олеша, А. Д. Сперанский, Н. Тихонов, О. Форш, М. Шагинян, Д. Шостакович, Б. Эйхенбаум, чтобы представить себе, сколь невозполнимы потери, понесенные еще в пору, когда сама мысль о возможном сборнике воспоминаний о Зощенко вряд ли могла прийти даже в самую дальновидную голову.

Уже одно это как бы ставило под вопрос полноценную реализацию замысла.

И все же нашлось немало людей, которые не посчитали бессмысленным и безнадежным вспомнить о Зощенко и, несмотря на сопротивление редакторов и цензуры, сумели донести до читателя свое о нем слово. К. Чуковский, В. Каверин, М. Слонимский сделали это еще в 60-е годы. Воспоминания были написаны мастерами, и потому прочитавший их получал ярчайшее представление о своеобразии личности Зощенко, о его литературных и общественных устремлениях, но... как в этих воспоминаниях, так и в тех, что появились в 70-е и в первой половине 80-х годов, глухо, намеками, а то и вовсе не го-

ворилось о жестокой судьбе писателя — о том, как он жил после августа 1946 года, как выбивался из сил, пытаясь вновь занять свое место в литературе, как умер, так и не получив отпущение им не с о в е р ш е н н ы х грехов. Блюстители «идейной чистоты» сталинско-ждановского постановления стояли на страже и не пускали, вымарывая все, что эту «чистоту» нарушало.

Как ни грустно было признать, но из этого следовало, что того сборника воспоминаний о Зощенко, в котором должна была быть, говоря его собственными словами, «голая правда», не получалось. Тем более что большинство авторов, чьи воспоминания были когда-то опубликованы и которые теперь, в новых условиях, можно было бы дописать и переписать, ушли из жизни.

И тем не менее надежда все же не гасла. Круг лиц, знавших Зощенко, был велик и разнообразен. Ведь не только писатели находились в его орбите. У писателей были жены, дети, были в окружении Зощенко художники, артисты, работники издательств, наконец, просто близкие его сердцу люди, которые могут знать не меньше, чем товарищи по профессии. Решено было пройти этот круг.

И он был пройден. И надежда на восполнение правды в личной и творческой судьбе Зощенко более чем оправдалась. Написанное специально для сборника как бы вписало, восстановило изъятый когда-то текст из воспоминаний первых мемуаристов Зощенко и тем самым выправило общую тональность рассказа о нем.

При всех заведомо утраченных возможностях иметь максимально полное представление о Зощенко, о его человеческом и писательском облике, можно считать, что в той мере, в какой отпущено нам обстоятельствами, этот облик коллективными усилиями ушедших и ныне живущих авторов настоящего сборника создан.

Осталось сказать, что часть воспоминаний, вошедших в сборник, перепечатана из книги «Михаил Зощенко в воспоминаниях современников» (М., «Советский писатель», 1981); другая часть извлечена из авторских сборников и периодических изданий; более одной трети воспоминаний написано для сборника специально. Издательство и составитель приносят их авторам сердечную благодарность.

ТАК НАЧИНАЛ М. ЗОЩЕНКО ¹

К литературе Михаил Зощенко стремился давно. С детства. В записной тетради 1917—1920-х годов сохранилась запись:

1902—1906 — стихотворения.

1907 — рассказ «Пальто».

1910 — рассказ «За что?».

1914 — Письма. Наброски.

1915 — Письма. Эпиграммы.

1917 — Рассказы.

Из этих записей видно, что первые литературные опыты Зощенко относятся к самым ранним детским годам — к шести-семилетнему возрасту, когда он пробовал себя в поэзии (вряд ли удачно!), а первый его рассказ — «Пальто» — был написан, когда ему было одиннадцать-двенадцать.

В той же записной тетради он пишет: «Нужно придумать цель в жизни. Придумать идею. Или иметь в своей душе».

И дальше:

«Цель жизни — найти призвание». Его заветной целью, его идеей, его «призванием» стала литература.

В декабре восемнадцатого года он зашел ко мне, приехав на несколько дней с фронта, из Красной Армии. В коротенькой куртке, переделанной им самим из офицерской шинели, в валенках...

Я сидела перед топящейся печкой — в крошечной моей «гостиной» на Зеленой улице, дом 9.

Он стоял, прислонившись к печке.

Я спросила его:

— Что же для вас самое главное в жизни?

¹ Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М.: Сов. писатель, 1981. С. 67—90. Далее — Воспоминания (с указанием страниц).

И была уверена, что услышу: «Конечно же, вы!»

Но он сказал очень серьезно и убежденно:

— Конечно же, моя литература...

И это была правда. Правда всей его жизни, потому что не было у него ничего «главнее» его литературы, которой он отдал всего себя без остатка.

Как ни странно (а впрочем, может быть, вовсе не странно), в гимназии его сочинения оценивались очень низко и на выпускном экзамене в восьмом классе он получил двойку за сочинение о «Дворянском гнезде» и Лизе Калитиной. Он никогда не мог писать по «трафарету», так, как требовалось, высказывать «общеизвестные истины» — он всегда искал новых, своих, непроторенных путей.

Очевидно, по этой причине гимназический учитель и решил «отказать» ему в литературных способностях.

Его детские «пробы пера» не сохранились, и о первых шагах Зощенко в литературе можно говорить лишь начиная с 1914—1915 годов. Четырнадцатым годом помечены два рассказа — «Тщеславие» и «Двугривенный». Они были написаны девятнадцатилетним автором еще до германской войны. Первый рассказ — о барышне, из тщеславия покупавшей французскую газету, хотя по-французски она не понимала. Второй рассказ — о нищенке — я хочу от слова до слова здесь привести. В нем еще нет знаменитого зощенковского юмора, но знаменитая зощенковская грусть, всегдашнее его страдание к бедным — уже есть.

ДВУГРИВЕННЫЙ

В церкви колеблющийся свет свечей. Причудливые тени на стенах и высокий, неведомо где кончающийся купол. В нем тонет густой бас дьякона.

— Придите поклонитесь,— дребезжит молящий голос священника, и бас дьякона вторит ему и заглушает.

Женщины низко сгибают головы, крестятся и шепотом повторяют слова моления. В церкви больше всего женщин. Все беднота... Где же богачи молятся?

Вот в этом тусклом углу нищие. Серые, оборванные, с жуткими болезнями и робкими глазами.

Вот старуха нищенка. Ей давно перевалило за восьмой десяток. У ней классический подбородок старости,

желтые, вечно жующие зубы и неуверенные движения. Старуха поминутно крестится и опускает голову.

Вот там, в стороне, на полу лежит кем-то оброненный двугривенный. Новенький и блестящий двугривенный.

Старуха давно его заметила. Нужно поднять.

Здесь, в этой бедной церкви, больше пятак никто не даст. Целый двугривенный! Трудно нагнаться, и могут заметить.

Трудно старой опуститься на колени. Только бы никто не заметил. Ближе подойти и потом на колени.

Старуха торопливо крестится, ниже и ниже сгибает голову и, крихтя, опускается на колени.

Земной поклон. Богу и угодникам.

Холодный и грязный пол неприятно трогает лоб.

Где же монета?

А вот — у ноги. Старуха тянется рукой и шарит по полу.

Это не двугривенный — это плевок.

«Искушение, прости господи!»

А вот и первые свидетельства его упражнений в сатирическом жанре. В «полевых книжках» 1915—1917 годов между «рапортами», «донесениями» по начальству и другими «военными делами» встречаются эпиграммы на однополчан.

Конечно, поэтического дара у молодого офицера не было, но эпиграммы уже говорят о его способности отмечать в людях смешное, жалкое, пошлое, глупое.

В «полевой книжке» шестнадцатого года — в конце — листки с набросками рассказов. «Разложение» — датированный июлем четырнадцатого года. Затем несколько страничек, очевидно написанных уже на фронте, помещенных как «отрывок из повести „Жид“». И, наконец, начальные абзацы рассказа «Я разлюбил ее».

По этим наброскам трудно судить о росте автора в сравнении с тем, что было им написано в четырнадцатом году. Но вот о чем можно сказать с определенностью: он продолжал тему бедного человека. Кроме того, в этих набросках есть что-то и от второй его темы, выразившейся в эпиграммах. Рассказ «Я разлюбил ее», видимо, был задуман как шарж на пошлость, которая

пополам с глупостью так легко уживается в некоторых людях.

Но в этой же «полевой книжке» есть и третье направление его литературы, то, по которому, быть может, он и пошел бы, если б сохранилась «прежняя жизнь», если бы не появился новый читатель — народ.

Для народа он стал писать так, чтобы быть понятным и нужным новому читателю, потому что он считал нелепым писать для «читателя, которого нет».

Но тогда — в 1915—1917 годах — он писал иначе.

В той же «полевой книжке» — черновики его писем, «писем к женщинам», которые он писал из «действующей армии».

Не знаю, все ли эти письма были адресованы реальным женщинам, возможно, некоторые — например, «К Евгении А...», при которых имеются даже планы письма-рассказа, или «Письмо тоскующему другу», — были полностью «литературными произведениями», но для всех писем характерно одно: изысканный слог, «поэтическая настроенность» и тема — любовь и печаль, стремление понять, что такое любовь для женщины и что она для мужчины.

Из письма в письмо кочуют «поэтические» вступления, красивые фразы, утонченные чувства.

И кажется, эти письма рождены в основном потребностью писать.

В письме к сестре Валентине от 13 ноября 1916 года он прямо говорит об этом:

«...чтобы подойти к цели моей. А цель есть. Так слушай: чтобы не одуреть окончательно и не заплесневеть в одиночестве своем, решил занять чем-то мысли и сознание.

Иногда, когда радость, или печаль, или скука томящая резче заставляют думать логически, тогда хочется писать, чтобы как-то проникнуть в анализ разума.

Так вот — иногда буду писать тебе. Что — пока безразлично. Ты читай их, и у тебя, несмотря на многие преграды, явится желание писать, чтобы письмами своими создать и себе и мне настроение».

В марте 1917 года по болезни сердца он был демобилизован из армии и вернулся в родной Петроград.

В мае была наша встреча, с лета он уже всерьез отдал себя литературе. Пишет рассказы, коротенькие миниатюры, «cartes postales» — открытки. Пишет мне письма, хотя мы встречались тогда через день.

И эти письма тоже были «литературными произведениями», и в них перекочевали некоторые фразы и мысли из писем «полевой книжки», а потом фразы из этих писем вошли в его рассказы, некоторые даже — в первые напечатанные рассказы 1921 года.

И трудно сказать, где кончалась литература и где начиналась жизнь.

Потребность творчества вырвалась наконец на волю. Новеллы сыпались одна за другой — он либо посылал их мне по почте, либо приносил с собой и читал вслух.

Даже на страничках моего альбома набрасывал он свои мысли — «афоризмы житейской мудрости», а в моем дневнике сохранился отрывок сказки, написанный его рукой...

О чем бы ни писал он тогда, в его рассказах, сказках, миниатюрах всегда присутствовала тема любви.

Автору было двадцать два года, и он только что вырвался из войны, где рядом была смерть. К тому же умами молодежи в то время властвовали Арцыбашев, Вербицкая, Анатолий Каменский и некоторые другие писатели, в произведениях которых пропагандировался «культ земных наслаждений», «культ тела», чувственная любовь и прочее в этом духе. И то, что писал Зощенко, было как бы данью еще не ушедшей моде.

Пожалуй, наиболее зависимыми от этой моды рассказами были «Сосед» и «Мещаночка». Первый — о любовных томлениях молодой женщины, вышедшей замуж за старика, об ее измене и возвращении к мужу, «помолодевшему» под воздействием этой измены. Во втором — диалог двух приятелей, один из которых жалуется, что ему надоела любовница, а другой выражает готовность его заменить.

В обоих рассказах ощущается не только влияние названных русских писателей, но и Мопассана.

Сохранившиеся наброски рассказов «Случай с гусаром», «Маруся», «Кошка», «Рассказ кассира» говорят о том, что они были задуманы в том же плане, что «Сосед» и «Мещаночка». На ту же тему — об «изгибах любви» — Зощенко предполагал написать повесть «Самец». Была попытка работать над пьесой «Пациентка доктора Белана». Тема все та же: легкая любовь. Сохранился лишь короткий план, набросок.

Но вот Зощенко пишет рассказы «Как она смеет», «Подлец», «Актриса», «Конец», несколько позже —

«Муж». Это совсем другие произведения. В них уже нет прежнего интереса к деталям и «механике любви» (позднее выражение Зошенко). На первом месте — психология людей, которые в том или ином качестве оказываются в «сфере любви».

В некоторых из этих рассказов угадывается будущий писатель, так остро и горько чувствовавший жалкое в человеке, умевший разглядеть мнимую и истинную трагедию его души.

В рассказе «Как она смеет» герой горюет не столько потому, что его покинула возлюбленная, сколько потому... Но лучше я обращусь к тексту.

«...Для любви самый хороший конец — середина. А вот мой незнакомец потому такой сумрачный и трагичный, что именно он и пренебрег этой маленькой истиной. И я, наверное, не ошибся.

Он оживился очень.

— Да, да, это так: конец всегда отвратителен. Но сам-то я разве видел пьяницу, который отказался бы выпить вино свое до конца?»

И он рассказывает случайному встречному о последней встрече с любимой. Он ей сказал, что «сосчитает до десяти и, если она не изменит жестокого своего решения, он убьет себя. О, он твердо решил это сделать. И стал считать».

И она сначала испугалась, потом в ее глазах зажглось любопытство, потом тщеславие. А потом... она расхохоталась. «Звонко, отчетливо, закинув голову назад, и в глазах ее насмешка была. Она подумала, что он не убьет себя. Неужели можно было подумать? Подлая! Тварь!»

Она ему не поверила. Как она смела!

Об этой же жалости человеческой рассказ «Подлец». В угоду мнимой порядочности герой теряет истинное: любовь.

В рассказе «Муж» женщина тоже теряет свою любовь. Но здесь причина другая. Она слишком долго «собиралась» любить, а когда наконец полюбила — разлюбили ее.

«Конец» — короткий рассказ, скорее даже некое литературное упражнение, в котором молодой автор пытается передать состояние человека, отважившегося на самоубийство.

Уже тогда, в неизвестный читателю период своей литературной работы, Зошенко старался быть лаконичным, кратким в изложении сюжета, в описании чувств и поступков своих героев. В рассказе «Актриса», например (написанном в июле 1917 года), видно, как далек еще Зошенко от себя всем известного и в то же время как он уже близок к себе.

АКТРИСА

Дикий разгул и пьяная пляска. Вчерашние победители захлебнулись в крови и безумии. Город в руках солдат... Грабят уже нехотя. Надоело это. Дайте им женщин! Дайте же женщин!..

И кучками бродят солдаты по городу, такие жуткие, как шакалы, вынюхивают и высматривают и случайную женщину хватают своими руками и куда-то несут с радостным воплем...

Это был день безумия... Бегите, женщины, прячьтесь в подвалы! Сегодня праздник мужчин! Праздник победителя и зверя!

Станный солнечный день... Свет не мешает безумствовать. Странная опустевшая улица. Она для солдат сейчас. Странно нелепое пятно на камнях — кровь... Рельсы дороги заржавлены и непривычно пусты. Жутки разбитые витрины. Длинные и такие острые осколки стекол в окнах режут больно глаза... Бегите же, женщины!

Актриса Лорен остановилась у двери.

— Барыня, не ходите!..

— Нет, мне нужно! Оставьте!— И актриса вышла на улицу, нелепо и празднично одетая, в ярком пальто. Шла медленно, останавливалась и прислушивалась к гулким своим и чужим шагам и к дикому крику женщин там, на дворе, в саду, из окон.

Смотрели солдаты на нее недоверчиво и изумленно, оборачивались и смотрели ей вслед.

Вот идет толпа солдат. Кричат. Вот впереди тащат двух женщин. Их добыча. Одна без памяти, спокойная, другая вырывается и царапается и смешно, беспомощно барахтается в сильных руках солдат.

Они, эти солдаты, приближаются.

Актриса дерзко и вызывающе смотрит им всем в глаза. Вот так. Что же они ее не трогают? Не хватают

и не тащат... Один солдат только грубо и больно толкнул ее в спину. Ай!.. И больше ничего.

Они прошли мимо, эти солдаты. Опять опустела улица, и шаги стали четкие и глухие.

— Господи, да неужели же я так стара... Даже для этих животных!..

Актриса вытащила из сумочки зеркальце и остановилась.

Близок по теме к «Актрисе» печальный рассказ «Костюм маркизы». Здесь тоже грусть по ушедшей молодости и красоте. Отсюда и тональность повествования: смиренно-покойная.

Та же тема просматривается и в неоконченном рассказе «Какие у вас игрушки». Автор призывает женщину беречь свою «игрушку» — пажа, потому что он «великолепно восхищается вами, каждую минуту кричит, что прекрасны вы...».

С рассказами «любовного цикла» перекликаются и письма Михаила Михайловича ко мне, которые он писал летом 1917 года.

Каждое из них имеет даже название, так что скорее это не письма как таковые, а тоже литературные произведения: «Гимн придуманной любви», «Дайте мне новое», «Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа...».

Эти письма имеют не только названия — они имеют продолжение, сюжет. Любовь представляется герою этих писем-произведений (и та, которая у него, и которая вообще) придуманной. Это игра: кто — кого. И он мечтает отыскать «новое чувство», дать женщине «нездешнюю» любовь.

Вот кусочки из этих писем. Я привожу их с одной лишь целью: дать представление об их слоге. Мне кажется, что никакой, даже самый тонкий и знающий, исследователь никогда бы не догадался, что это принадлежит Зоценко.

«Я сентиментально привез с собой цветы. Пестрые и крикливые цветы — целая охапка. Цветы полей, и запах их, девственный и нежный, так не похож на развратный запах духов.

Я приехал ночью. И оттого, что ночь была блеклая и мысли далекие и неожиданные, и оттого, что я знал, что опять начнется целая и звучная симфония телефо-

нов, встреч, ненужных и волнующих, — я не спал. И не было больше соблазна. Я уже верил в любовь и искренне думал, что любимая женщина — святая, „и лучшая, и особенная“».

Или вот эти строки:

«А Вы хотите «нездешней» любви? Хотите, чтобы для Вас рыцарь любезно сошел бы с гравюр времен средних веков? Конечно, хотите.

Когда Вам будут говорить просто и ясно, без позы рыцаря и рисовки, о своих желанииях — Вы будете морщиться... А Вы не боитесь остаться «зрительницей» в жизни?»

А это — как стихотворение в прозе:

«Вместе с осенью пришло что-то новое... Какая-то тревога, может быть, печаль. А часто апатия, почти умирание... И капли дождя, что бьют по стеклу, — беспокоят...

Что они напоминают?

Да, слезы и Вашу печаль...

Помните, как Вы ждали осени? И вот пришла осень. Вот она, такая скучная и дождливая. Печальная. Пришла и покорила Вас, как покоряли уже и белые ночи, намеки ночей, и летнее небо, и даже белые цветы яблони. Весной у Вас были весенние, такие радостные глаза и наивные губы. Весной Вы ждали любви.

А когда пришло лето, городское и душное, Вы как-то изменились. В Вас ничего не осталось: весеннего. Летом Вы хотели любви, ибо всегда Вас все подчиняло. Весной Вы были весенняя, летними ночами знойная и чувственная, вечером часто такая же грустная, как задумчивые сумерки. И обаятельное утро рождало в Вас новое. Вас все подчиняло.

И вот пришла осень... Посмотрите — она во всем сейчас. Даже в сумеречных Ваших мыслях. Даже в Ваших глазах. И эти капли дождя, вот что бьют по стеклу, похожи на Ваши слезы. На Вашу большую, осеннюю печаль. Они беспокоят.

Тогда кажется, что нет больше личной жизни, что она ушла, что все умирает...»

Но не только культ чувственной любви владел умами молодежи в то предреволюционное десятилетие XX века. Были и философские сказки Уайльда, были поэмы Пшибышевского, было неодолимое, страстное стремление найти ответы на «вечные вопросы» — что такое Жизнь, Счастье в жизни?

Эти вопросы волновали и молодого Михаила Зощенко.

Он пишет свои сказки, в которых ищет ответ на эти вопросы. Это сказки «Каприз короля», «Тайна счастливого», «Остров Прекрасного». «Каприз короля» — о том, как потерявший вкус к земным радостям некий король совершает последнюю отчаянную попытку стать счастливым: он ищет свое счастье в любви к «особенной», непохожей на других, женщине. Первая и последняя страницы утеряны, но конец ясен: королю не найти женщину, в которой было бы «новое — то, чего нет у других».

Вопрос о счастье юноша-автор задает и в сказке «Тайна счастливого». Она написана в ритме напева, в ее языковом строе — элементы символизма и мистики (влияние Пшибышевского). Он приходит к выводу, что «счастье узнается тогда, когда оно прошло».

Кстати, молодой Зощенко повторил эти слова из сказки в незаконченном рассказе «И только ветер шепнул...»:

«И только ветер шепнул — куда идешь, прохожий, принц или паяц?

Блестящ и ярок солнечный день, но нелюдим и неровен мой путь. Неровен мой путь, и усыпан он камнями острыми. Это они остро впиваются в ноги.

И вдруг из лесу, что возле дороги, вышла женщина, прекрасная собой, но простоволосая, с глазами темными и как бы безумными. Прекрасна была женщина и плавны были ее все движения. Плавны были ее все движения и поступь, горделивая и спокойная. Озираясь, она вышла из лесу и увидела меня безумными своими глазами, остановилась и была как бы в нерешительности. Но потом подошла и голосом тихим и задумчивым сказала, и в речи ее было как бы продолжение чего-то давно начатого:

— Я встретила тебя, прости, что я тебя встретила. Много дорог я пересекла, многих и встретила, и многих спросила. Огромная печаль в глазах твоих, отчего это, встречный? Позволь же и тебя спросить то, что давно беспокоит меня и что никто не может объяснить мне: что такое жизнь? Где же сущность ее и где счастье? Прости, что я так спрашиваю тебя.

И поклонилась низко.

И печальные глаза мои стали еще более печальны:

— Не могу тебе ответить на это, женщина, ибо не дошел я еще до конца дороги своей, а когда дойду, то будет поздно уже. А впрочем, о счастье скажу тебе.

Много в жизни печального, еще больше грустного, еще больше придуманного. А одно из придуманного — счастье. Счастье твое не такое, как мое счастье, а счастье матери твоей, верь, не такое же, как и твое. И разве можно определить это придуманное? Впрочем, у каждой истины есть своя маленькая тайна, и тайна счастья: оно узнается только тогда, когда прошло...»

В сказке «Остров Прекрасного», также незаконченной, автор говорит о том, что люди «привыкли видеть конец во всем». А жизнь бесконечна. Люди этого не понимают. И в этом их несчастье.

Нужно сказать и еще об одном влиянии на Зошенко: зима 1918 года прошла «под знаком Ницше» (и позднее, в марте 1920 года, писал он мне: «...посылаю тебе две любимейшие мои книги — конечно, Блок и, конечно, Ницше»).

Влияние Ницше ощущается и в письме ко мне из Архангельска зимой 1918 года («Глаза мои устали, утомились, и не видел я истину, которую Вы мне дали»), и в «Философских раздумьях», или, как он еще их называл, в «памфлете-поэме» «Боги позволяют». Тут и стиль, и мысли — все от Ницше.

Идея поэмы: боги позволяют лгать, чтобы человек мог казаться себе человеком. А фон опять тот же: любовь, любовь...

И все остальное, сохранившееся от этих лет, — все о любви, о поисках гармонии в отношениях мужчины и женщины.

Писалось все это в холодном, голодном, темном — революционном Петрограде...

А революция?.. Революция тогда многими из нас еще не воспринималась. Какая она — было еще трудно понять в «развороченном бурей быте»... Понимание пришло потом, позднее, с годами...

От первых революционных лет сохранилось его письмо к «Принцессе Грезе» — сотруднику «Журнала для женщин», куда молодой автор думал послать свои новеллы, свои «cartes postales», свои «гимны нежной лжи»:

«У меня есть несколько милых нелепостей, несколько печальных «cartes postales» и несколько писем, не посланных женщинам, ибо часто они не были достойны.

Я пришлю их Вам, если Вы позволите, Принцесса? Мой друг сказал, что это подойдет к журналу вашему...»

Сохранились еще две вещи. Единственные в своем роде. Они не только не имеют никакого отношения к «любовному циклу» — в них уже нечто такое, что вплотную приближает Зошенко к тому, с чем он вскоре появится перед читателем.

«Чудесная дерзость» — фельетон, в котором он выразил презрение к «бесславному» премьеру Керенскому и невольное восхищение «чудесной дерзостью большевиков».

Осенью 1918 года он послал фельетон в «Красную газету», подписавшись псевдонимом «М. М. Чирков». Его не напечатали. В «Почтовом ящике» был ответ: «Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри».

Словно обидевшись на отказ, Зошенко пишет «cartes postales», где впервые и появляется его будущий герой. Он не слышал, не знает напечатанного в газете слова. А если не знает он, значит, такого слова нет! Он мнет газету и провозглашает: «Сегодня возбужду вопрос с точки зрения!»

...Дальше — осень, зима 1918—1919 года, работа инструктором по кролиководству и куроводству в совхозе «Маньково» Смоленской губернии. Красная Армия, фронт, демобилизация.

Летом 1919 года Михаил Зошенко работает старшим милиционером на станции Лигово, и тут «юмористический уклон» его дарования окончательно берет верх над «красивыми изысками». Он пишет товарищу по службе, старшему милиционеру Форсбергу, свои забавные «Приказы по железнодорожной милиции и уголовному надзору ст. Лигово».

В них уже хорошо чувствуется будущий писатель — его неповторимый стиль, его необыкновенное умение подмечать все смешное и пошлое.

И этот юмор, это желание добродушно посмеяться даже над своими близкими и друзьями — и в его, как он сам выражался, «приватных» письмах к товарищам гимназических и студенческих лет Александру Васильевичу Елкину и Павлу Михайловичу Лялину, и в письме — это уже лето — осень двадцатого года — к младшему брату Виталию.

В письмах к Лялину и брату один и тот же прием. — юмористический рассказ о посылке письма «с оказией».

В других письмах 1920 года — тоже поиски «стиля». Характерно в этом смысле письмо к сестре Валентине.

«Я нашел способ передать на бумаге живую человеческую речь», — говорил он тогда.

Летом 1919 года Зошенко поступает в Студию, организованную при издательстве «Всемирная литература», которым руководил А. М. Горький. Здесь были открыты отделения прозы, поэзии, критики и переводов. Помещалась Студия на Литейном проспекте, но с осени 1919 года ее перевели в только что открытый Дом искусств на Мойке, угол Невского.

И здесь, под руководством Корнея Ивановича Чуковского, который вел занятия в отделении критики, учится Михаил Зошенко.

Сначала — критические статьи.

Задуман был обширный цикл: обзор литературы 1910—1920 годов, книга — «На переломе».

В нее входили (по сохранившейся записи Зошенко) следующие разделы:

1. Реставрация дворянской литературы.

1. Лаппо-Данилевская.

2. С. Фонвизин.

2. Кризис индивидуализма.

1. Зайцев и Гиппиус. Поэзия безволя.

2. Неживые люди (Инбер, Северянин, Вертинский).

3. Трагический рыцарь (Блок).

3. На переломе.

1. Ал. Блок (поэма «12»).

2. Поэт безвременья (Маяковский).

4. Ложнопролетарская литература.

1. Поэзия борьбы и разрушения.

2. Имитация Уитмена.

5. Литературные фармацевты.

1. Брик.

2. Шкловский.

3. Эйхенбаум.

4. Чуковский («Некрасов»).

6. Нигилисты и порнографы.

1. Арцыбашев («Санин»).

2. Вербицкая («Если ты целуешься»).

3. Каменский.

От первой части остались лишь наброски, относящиеся к романам Лаппо-Данилевской — «Русский барин», «Долг жизни», «В тумане жизни».

Разбор романа другого автора, тоже «дамы-писательницы», Софьи Фонвизин,—«В смутные дни»— не начат.

Зошенко развенчивает и осмеивает эту «реставрацию дворянской литературы», сближает ее с «бульварной литературой».

«Местами роман прямо-таки переходит в бульварный, в авантюрный роман. И весь этот трафарет и слова бульварности — налицо.

Писатель, который хоть немного любит и знает жизнь слов, не рискнет говорить так шаблонно и по старинке».

Он издевается над моралью светского общества, где, в сущности, несмотря на то что все герои «влюблены» друг в друга, нет настоящей любви, есть лишь «страсть звериная, а не любовь. Любовь уничтожается совершенно».

Как говорят сами герои, есть лишь «грехопадение», «любви нет, есть один веселый, беспечный разврат», «связь», хотя некоторые влюбленные героини и «умирают от любви» в буквальном смысле слова.

В этом светском обществе, пишет Зошенко, «все чисто внешнее. Духовной жизни нет. Запросов нет. Мир понятен. Живут, имеют связи, утешаются, избегают скандалов...»

Особо отмечает Зошенко «великосветскую боязнь скандалов».

«Тут нет философии, нет „человека“».

«Убогая жизнь с ханжеской моралью, с копеечной философией».

И «идеализация» героев-дворян.

А по форме, по стилю — «шаблон», «трафарет», «дешевка», «слова-бульварности», «вкус к вещам», — с возмущением пишет Зошенко и приводит вопиющие примеры безвкусицы и пошлости.

И так ясно чувствуется: если б не революция, если б с этой насквозь лживой, ханжеской средой не было навсегда покончено, я думаю, что все «стрелы» зошековской сатиры, его уничтожающий смех были бы направлены против этой среды, против ее убогой, мещанской, несмотря на всю «великосветскость», морали, против ее растленных нравов. Трудно сказать, пошел бы писатель дальше этого.

«Поэзия безволья»... В коротком предисловии к главе автор пишет:

«Это не отдельная статья о Борисе Зайцеве, это отрывок из книги, которую я задумал давно. Моя книга о том переломе в русской литературе, который мы уже видим. Моя книга о тех писателях, которые были так характерны в болезненном прошлом.

Я начинаю с неудавшейся реставрации дворянской литературы и кончаю «Красным евангелием» Князева».

Далее идет несколько изменений по сравнению с первым вариантом плана книги:

1. Реставрация дворянской литературы.
 - а) Лаппо-Данилевская.
 - б) С. Фонвизин.
2. Кризис индивидуализма.
 - а) Арцыбашев.
 - б) Поэзия безволя (Зайцев, Гиппиус).
 - в) Неживые люди (Инбер, Северянин, Лидия Лесная, Кремер, Вертинский).
3. Побежденный индивидуализм.
 - а) Поэт безвременья (Маяковский).
 - б) Александр Блок («12»).
4. Ложнопролетарская поэзия.
 - а) Поэты борьбы и разрушения.
 - б) Имитация Уитмена.

Как же смотрит на эту «предреволюционную литературу» молодой критик?

Он пишет:

«Как же странно и как болезненно преломилась в сердце русского писателя идея, созданная индивидуализмом, — о свободном и сильном человеке!

С одной стороны — арцыбашевский Санин, в котором «сильный человек», которому все позволено, грядущий человек-бог, обратился в совершеннейшего подлеца и эгоиста. А радость его жизни — в искании утех и наслаждений. И бог любви — в культе тела». «...Лишь один сильный человек во всей литературе — арцыбашевский Санин».

«Но Санин — это меньшинство, это лишь одна крайность индивидуализма, другая страшнее, другая — пустота, смертная тоска и смерть».

«С другой стороны — безвольные, «неживые» люди».

«Вся почти литература наша современная о них, о безвольных, о неживых или придуманных, — Зайцев, Гиппиус, Блок, Ал. Толстой, Ремизов, Ценский — все

они рассказывают нам о неживых, призрачных, сонных людях».

Критик подробно анализирует творчество Бориса Зайцева — «поэзию смерти и безволя», книги «Земная печаль», «Полковник Розов», «Студент Бенедиктов» (по методу раннего Чуковского, на которого немного позднее он напишет пародию «Чуковский о Пильняке»).

Он доказывает, что герои Зайцева: Ивлев, Катя, Маргарита — люди, «влюбленные в смерть», идущие к ней нелепо и ненужно, без всяких к тому основательных причин, со страстным желанием «уничтожить, истребить себя», люди, у которых «нет совершенно желания жить, и нет воли, нет даже инстинкта к жизни».

И об этих людях — «прекрасных, умных и интеллигентных» — с нежностью и любовью рассказывает Зайцев.

Статью свою Зошенко кончает так:

«Арцыбашев и Зайцев — два русских интеллигента с двумя крайними большими идеями свободного от всякой морали человека.

И первый создал «подлого Санина», второй — влюбленного в смерть.

И влюбленный в смерть стал жить в каком-то бреду, во сне.

Тогда казалось, что вся жизнь — призрак и все люди — призраки.

Тогда сначала быт, а потом реальная жизнь ушли из литературы.

Бред, измышления своего «я» родили какую-то удивительную, ненастоящую, сонную жизнь. Поэты придумали каких-то принцесс, маркизов и «принцев с Антильских островов». И мы полюбили их, мы нежно полюбили виденья, придуманных маркиз и призрачных, чудесных Незнакомок.

Жизнь окончательно ушла из литературы».

Так смотрел на современную ему литературу молодой Зошенко — «поэзией смерти и безволя» называл он ее.

И эту литературу, этих «героев» он начисто отвергал.

И о таких безвольных и слабых и об их закономерной гибели писал он впоследствии в своих ранних вещах.

Это и «длинноусый» из раннего рассказа «Любовь», от которого уходит жена к сильному и цельному, про-

стому, «новому человеку» — «большевику», это и Аполлон (из повести «Аполлон и Тамара»), и Борис Котюфеев из «Страшной ночи», и Белокопытов из повести «Люди», и, наконец, Мишель Синягин из одноименной повести.

Следующая главка раздела «Кризис индивидуализма» — «Неживые люди».

Ей предпослан эпиграф:

«Так торжественно и помпезно в присутствии принцев крови и надушенных маркиз кончал свою жизнь индивидуализм».

В главе «Неживые люди» автор говорит о странной тяге предреволюционного «обывателя» к «изысканной поэзии — принцесс, маркиз, принцев с Антильских островов», о стремлении уйти от серой, нудной, будничной жизни в другой — «красивый, сказочный» мир:

«Мы презираем нашу нудную жизнь (плюем на нее).
Наш идеал — жизнь сказочного принца,
наше счастье — мечта о принцессе,
наша любовь — маркиза, греза,
наша тоска — серая наша жизнь».

«Так появились «поэзы» Северянина, песенки Вертинского, Изы Кремер, так появились кинофильмы с участием королей и графов.

А дальше появилась «любовь к пороку», изломанности, извращенности, даже патологии — Лидия Лесная, Анна Мар —

«Мы такие усталые,
Мы такие порочные.
Мы извращенные...»
«Подайте утонченный аромат грехов!»
(Лидия Лесная)

И критик решительно осуждает, не принимает эту литературу «неживых людей» и «ненастоящей жизни»:

«Какая же ненастоящая жизнь! Устранение жизни! Люди — марионетки. Это не жизнь. Это — измышление своего «я», преломление, выдумка. Неживые, ненастоящие люди!»

Но, разбирая отдельно первую книгу Веры Инбер «Печальное вино» и находя в ней поначалу знакомых «маркиз» и «принцесс», критик с радостью и большим интересом замечает в ней и другое:

«Это изысканная поэзия Короля Солнца.

Но нет-нет и проскользнет наше родное, русское, на французский манер:

Мы всю ночь сплетаем, как Парки,
Нити людских судеб...»

Сохранились наброски по поводу книги Анны Мар «Кровь и кольца». Из них ясно вытекает резко отрицательное отношение Зошенко к извращенной, патологической психике покончившей самоубийством писательницы.

(На рукописях этих глав пометка — «1919 год. Октябрь». П.)

Следующая глава книги — «Конец рыцаря Печального Образа» (о поэзии Алекс. Блока). Статья была написана по предложению Чуковского в августе девятнадцатого года.

В ней Зошенко останавливается на «идее поэта».

В мечту о любви уходит поэт от своей непонятной тоски, от унылой, серой скуки «долгих будней» — все покрыто постылой серой пеленой, все серое, и не серое лишь одно — любовь.

Но любовь у Блока — это даже не «любовь к далекой», как у Виктора Гофмана, это любовь к «неизвестной», к той, которая «никогда не придет», к мечте, к призраку.

Но мечта постепенно развенчивается поэтом — мистическая «Прекрасная Дама» превращается в «Незнакомку», затем в «Тэклу» — «нежную и тонкую». Но тут «прозревает» поэт, «печальный рыцарь», — «Тэкла» превращается в «Феклу» и наконец — в реальнейшую «Катку» из поэмы «Двенадцать»...

В этом критик видит «трагедию Блока», «прозревшего Дон Кихота, изверившегося в идее своей любви».

Зошенко в последний раз «всерьез» возвращается к теме своей юности, к теме любви — он размышляет и о том, какой путь прошла любовь от трубадуров до наших дней — до Маяковского, и о том, какой путь прошла «идея любви» у Блока.

Но тут он оговаривается:

«Я совершенно не настаиваю, что Александр Блок, изверившись в идее своей любви, написал поэму «Двенадцать». Я совершенно не отнимаю иную идею у поэта, которая так ясна...»

Поэтому «Двенадцать» он называет «героической поэмой», в которой все ясно — «от идеи до слов».

Статью свою он заканчивает следующими словами:

«Но я повторяю, что ничуть не отнимаю от поэта большую идею мировой социальной революции — это

так ясно. И старый мир — «голодный пес», и Иисус Христос, ведущий евангелистов к новой жизни, все это огромно и величественно...

Но я остановился на идее любви, характернейшей для всей поэзии Блока».

В этой статье, кроме «идеи любви и поэзии Блока», Михаил Зощенко говорит и о другом — о «новом пролетарском искусстве», говорит, что он признает это новое искусство.

«Да и как я могу не признать, когда я читаю книги и слышу песни — и они новые, несомненно новые, в них часто не испытанные еще в поэзии слова и мысли».

И в поэме «Двенадцать» он видит:

«Тут уж новые слова, новое творчество, и не оттого, что устарели совершенно слова, и мысли, и идеи наши, нет, оттого, что параллельно с ними, побочно, живет что-то иное, что, может быть, и есть пролетарское».

И он считает, что «героический эпос с элементарнейшей основой во всем — явление ничуть не удивительное, — я совершенно был уверен, что такое «умирание» в искусстве, в частности в литературе, какие были в последние годы, вообще не способно к продолжительной жизни».

Зощенко как бы ставит крест на всей литературе начала века, он чувствует, что она изжила себя, что она была нереальной, «придуманной», что ей суждено умереть вместе с породившим ее и уходящим в историю больным и изломанным классом, на смену которому пришел другой класс, сильный и цельный новый человек.

Следующая глава книги «На переломе» — «О Владимире Маяковском» (1919, июль).

Поэзия Маяковского поразила, потрясла молодого Зощенко.

В двух своих статьях — «О Владимире Маяковском» и «Вл. Маяковский» — он с искренним удивлением говорит о нем. С удивлением и восхищением.

В первой статье он противопоставляет «футуриста» Северянина «футуристу» Маяковскому:

«Вот и Северянин непременно футурист, а ведь он и Маяковский, я бы сказал, под одним знаменем величайшая наглость контрастов».

Северянин — «поэт-эстет, последний из умирающих».

Маяковский — «тринадцатый апостол», несущий «новое свое евангелие».

Но тогда Зощенко знал только «Простое, как мычание» и «Мистерию-буфф».

Поэтому Маяковский представлялся ему лишь «разрушителем», кастетом, крушащим старый мир.

«Тот» Маяковский разрушал, отвергая все старое, еще не зная «новых слов о жизни», он даже как будто призывал начать жизнь сначала, с каменного века: «Бросьте города, глупые люди». Зощенко писал о нем как о вдохновенном глашатае:

«Он гениальнейший поэт хаоса, разрушения.

Он совершеннейший «тринадцатый апостол».

Он заморозил меня огромной силой своей, волей к разрушению, идеей физической силы.

Так привыкли мы к поэзии манерной Северянина, к прекрасной Гиппиус, к прекрасным строчкам Зайцева, нам поистине удивительна огромная воля к жизни поэта после умирания, пустоты, отчаяния и непротivления».

Это был 1919 года, когда казалось:

«Все разрушено, все разрезано ножом, кастетом и вдохновенными криками».

Но Зощенко и тогда уже верил, что «приходит гений» и начинает «все заново». «Камень к камню, кирпич к кирпичу».

Маяковский — первый поэт, которого «принимает» Зощенко, принимает потому, что вместо манерного, «придуманного» Северянина и «неживого» Зайцева видит в нем силу и волю к жизни.

Зощенко не ошибся: очень скоро Маяковский стал активно помогать революции не только разрушать, но и строить новый мир.

Во второй статье о Маяковском Зощенко разбирает «особенности» его творчества — его рифмы, метафоры, гиперболы, ритм, манеру.

«Все ново, кричит, как афиша, чтоб услышали, чтоб в память врезалось, впилось бы в мозг». «И его прелесть именно в физической силе, в здоровье, контрасте с последними умирающими».

«В нем отрицание индивидуализма».

За все это и дорог так Маяковский молодому Михаилу Зощенко.

В задуманную Зошенко книгу должна была войти и статья «Литературные фармацевты» (Брик, Шкловский, Эйхенбаум, Чуковский).

От нее сохранились лишь начальные наброски под заглавием «Поэтические фармацевты» — о тех, кто в последние, «удивительные годы» — 1918 и 1919-й — «считает, сколько было си-бемолей в целом цикле вагнеровских произведений», кто подсчитывает, «сколько каких букв было в пушкинской поэме».

Зошенко с недоумением отмечает, что «формальными подсчетами заняты десятки страниц прекрасных изысканий о Некрасове» Корнея Чуковского...

Особняком стоит статья молодого Зошенко о творчестве Тэффи.

Статья интересна именно потому, что в ней в некотором роде ключ к пониманию творчества самого Зошенко — юмориста, сатирика.

Тэффи — «смешная писательница», хотя она сама говорит о себе, что ее рассказы печальны.

В чем же источник ее «смеха»?

Зошенко считает, что «во всех ее рассказах какой-то удивительный и истинный юмор ее слов, какая-то тайна смеющихся слов, которыми в совершенстве владеет Тэффи, между тем как содержание ее рассказов часто бывает вовсе не смешным и даже трагичным».

«Тут смешны не анекдотические столкновения людей и не сами люди-шаржи, — прекрасно смешит интимный ее сказ, мягкий ее юмор в смешных нелепых словах...»

«Во всех ее книгах люди не похожи на людей... это какие-то уродливые карикатуры».

«Ее книги — сборник шаржей и удивительных карикатур».

«Тэффи берет жизненную карикатуру людей и снимает еще карикатуру».

Получается какой-то двойной шарж.

Уродство увеличено в 1000 раз.

Пошлость увеличена в 1000 раз.

Глупость увеличена до того, что люди кажутся часто ненастоящими, неживыми.

Однако оставлены 2—3 характернейшие черты — и в этом все мастерство и талантливость — безобразно преувеличенные дают жизнь и движение героям».

«Я подчеркиваю здесь пошлость и глупость. С этим-то и оперирует, главным образом, писательница».

Дальше Зошенко говорит о «современном» юморе вообще:

«Все коротко. На три секунды. Все напряженно. Нельзя скучать. Природа ушла вовсе, и если и есть, то смешная.

Все на 3-х страницах. Идея вся определена, не спрятана под конец, не растянута на сто страниц».

И когда Зошенко сам станет писателем-юмористом, он будет строить свои «смешные» рассказы как раз по этому «рецепту».

...Подходит зима 1920—1921 года, Зошенко-прозаик берет верх над Зошенко-критиком.

В эту зиму — темную петроградскую зиму, при свете лампадки (электричество давали лишь на два часа, а керосина в продаже не было) — пишет Зошенко свои первые, впоследствии напечатанные, «профессиональные» рассказы.

Но прежде — последняя ненапечатанная вещь — «Серый туман», повесть о Петрограде первых послереволюционных лет.

Голод, холод, разруха — «ненастоящая жизнь», от которой трое запуганных людей, ничего не смыслящих в том, что происходит, далеких от понимания революции, ее сущности, целей и идей, уходят в лес.

В повести, кроме этой, главной, линии, намечена и вторая — нескладная, незадачливая жизнь рефлектирующего интеллигента — студента Повалишина. Он тоже ничего не понимает и не принимает в революции, он вообще слаб и безволен и, в сущности, ко всему равнодушен, даже к изменам когда-то любимой красавицы жены.

Этот «зайцевский» герой сам про себя думает: «А может, и он мертвый?» Он понимает, что для него «нет больше жизни, что все ушло», он в лес «умереть пришел».

Впоследствии Зошенко выделит из «Серого тумана» эпизод с «уходом в лес, в разбойники» и «переместит» в рассказ «Война».

Любопытно отметить, что в двадцатом году в его записной тетради, где он, по своему обыкновению, сохранившемуся на всю жизнь, наряду с набросками, отрывками задуманных произведений, мыслями, афоризмами и прочими вписывал фразы и слова, которые ему могут пригодиться впоследствии, — в этой записной тетради «красивые, изысканные» фразы 1917—1919 го-

дов, такие, как «Венок, сплетенный из милых, старых нелепостей», «В лесу так темно, что ручеек из болота ползет ощупью, натывается на деревья и пни и ворчливо обходит их», «Сияет улыбка, как солнце, и солнце смеется миру», сменяются вдруг совсем новыми, неожиданными: «крыть нечем», «шамать», «шпана», «голодовать», «дастишь», «упань», «хвалился знакомством под шпилем», «я не освещен»...

Эти «новые» слова, эти фразы мы встретим в его первых опубликованных рассказах «Любовь», «Война», «Старуха Врангель», «Рыбья самка», «Лялька Пятьдесят» и в «Рассказах Синебрюхова», которые он напишет летом — осенью 1921 года.

К этому времени относится уже знакомство Горького с «серапионами» и сам Горький уже даст оценку рассказам Зошенко.

Вот что пишет об этом Зошенко в своих дневниковых заметках 1921 года:

«Ал. Макс. читал «Старуху Врангель». Понравилось. Я был у него. Он все время читал выдержки и говорил, что написано блестяще. Но узконациональный вопрос. Даже только петербургский. Это плохо.

— Как,— сказал,— мы переведем на индусский язык такую вещь? Не поймут».

«Очень понравилась Алексею Максимовичу „Рыбья самка“».

В конце весны — начале лета 1921 года Зошенко пишет повесть «Красные и белые», забракованную Горьким.

Вот что пишет об этом Зошенко:

«Июнь — июль писал повесть «Красные и белые». Повесть погибла.

Нарочно растрепал ее и этим испортил.

Ал. Макс. сказал, что из всех моих вещей — это слабей и многословней. Многословней! На полутора листах — огромный роман.

Иные места, очень, думаю, хорошие, погибли».

От повести осталось лишь несколько первых страниц.

Задумана была повесть о жизни маленького провинциального городка, где установились уже новые, революционные порядки, где у власти стояли уже новые люди, правда, еще далеко не «правильные», не «настоящие» люди революции.

На сохранившихся страницах повести «остался» председатель горсовета Тюха, мечтающий об электрификации таким образом: «борона электрическая, пług заграничный электрический», «какой-нибудь бесплатный электрический бильярд». Он сокрушается о том, что пока «плохо человеку».

Это уже чисто зощенковский тип. Подобных людей Михаил Михайлович мог наблюдать, работая в то время конторщиком в военном порту «Новая Голландия» — в Петрограде.

Повесть написана от лица какого-то «обывателя» города Гиблого — очевидно, из прежних мелких чиновников, а теперь «совслужащего» в горсовете.

Язык повести выдержан в стиле дореволюционного «полунинтеллигента» из мелких чиновников.

После неудачи с «Красными и белыми» летом и осенью 1921 года Зощенко пишет цикл своих «Рассказов Синебрюхова», с которыми и выходит на литературную арену, — они появились отдельной книжечкой в издательстве «Эрато».

Тогда же были напечатаны и первые пять рассказов, написанных еще зимой.

С этих пор Зощенко становится профессиональным писателем и всего себя целиком отдает литературе.

Цель, о которой он мечтал с детства, была достигнута.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ¹

В СТУДИИ

1

В Петрограде, на углу Литейного и Спасской, стоял — да и стоит до сих пор — большой несуразный дом, принадлежавший богатому греку Мурузи, весь в каких-то арабесках и орнаментах. Некогда в этом доме проживал Мережковский. Здесь же, внизу, находилась знаменитая лавка Абрамова, бойко торговавшая в старые годы чудесными медовыми пряниками.

В начале революции одну из наиболее обширных квартир в этом доме захватила организация эсеров. Вскоре эсеры исчезли, и в квартире поселились беспризорники. Еще через несколько месяцев оттуда убежали и они — очевидно, застигнутые внезапной облавой. Убегая, они все же успели открыть на кухне и в ванной все краны.

Я забрел случайно в этот дом вместе с писателем Александром Николаевичем Тихоновым. Когда мы поднимались по загаженной лестнице, до нас донеслось клокотанье воды. Дверь была не заперта, мы вошли. Вода заливала все комнаты, в ней тихо шевелилась и мокла какая-то разноцветная бумажная рвань: по полу, как потом оказалось, были разбросаны тысячи эсеровских брошюр и листовок, которые и затопило водой.

Я снял башмаки и, добравшись до кранов, приостановил водопад. Александр Николаевич огляделся по сторонам и сказал:

— А не сгодится ли эта квартирка для Студии?

О Студии мы мечтали давно. «Всемирная литература» — издательство, руководимое Горьким, — чрезвычайно нуждалась тогда в кадрах молодых переводчи-

¹ Воспоминания. С. 13—66.

ков. «Стоит только,— тут же решили мы оба,— высушить полы, да очистить их от промокшей бумаги, да стереть непристойные рисунки и надписи, оставленные на стенах беспризорниками,— и можно будет здесь, в этой тихой обители, начать ту работу, к которой уже давно побуждает нас Горький: устроить нечто вроде курсов для молодых переводчиков, чтобы они могли овладеть своим трудным искусством».

Тихонов, друг и помощник Горького, был директором нашей «Всемирки», он мгновенно взялся за дело, и уже через несколько дней — в июне девятнадцатого года — состоялось торжественное открытие Студии. Общими усилиями полы были вытерты, надписи стерты, и когда эсеровские агитки просохли, оказалось, что ими можно отлично топить наш небольшой, но очень приятный камин.

Вскоре в Студии стало тепло и уютно, особенно после того, как ее секретарь Мария Игнатьевна Закревская раздобыла для студистов, при содействии Горького, горячую бурю жидкость под легендарным названием «кофе».

А однажды — мы восприняли это как чудо! — Мария Игнатьевна отвоевала для нас две большие буханки глиноподобного хлеба, которые с виртуозным искусством разрезала на мельчайшие части тупым и широким ножом, найденным тут же на кухне.

Впрочем, вскоре Марию Игнатьевну заменила юная быстроглазая Муся Алонкина, в которую один за другим то и дело влюблялись студисты.

2

Словом, все было бы в полном порядке, если бы жизнь не перевернула нашу первоначальную программу по-своему.

Дело в том, что среди студистов стали появляться такие, которые несколько не интересовались мастерством перевода. Не переводить они жаждали, но создавать свои собственные литературные ценности.

Мне особенно запомнились те, из которых впоследствии, через несколько месяцев, возникло «Серапионово братство»: Миша Слонимский, Лева Лунц, Вова Познер, Илья Груздев, Елизавета Полонская и работник угрозыска Михаил Михайлович Зоценко.

Студия мало-помалу стала превращаться в их клуб и, как теперь выражаются, в корне изменила свой профиль.

Не столько за тем, чтобы слушать чьи бы то ни было лекции, приходили они в нашу Студию, сколько за тем, чтобы встречаться друг с другом, читать друг другу свои литературные опыты, делиться друг с другом своими пылкими мыслями о будущих путях литературы, в создании которой они страстно мечтали участвовать.

В ту пору никто из этих юнцов не предвидел, что им суждено стать собратями. Не знали они также и того, что на свете есть Константин Федин, Всеволод Иванов, Вениамин Каверин и Николай Тихонов, с которыми через год или два им предстояло так тесно сплотиться под дружеской опекой их доброжелателя Горького.

Все это было еще впереди. А покуда их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое: голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, «испанка» и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли — кто в боях с Колчаком, кто — на койках заразных барачков. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, в великую ценность и силу словесного творчества, чтобы, несмотря ни на что, в таком мучительно-тяжелом быту исподволь готовиться к литературному подвигу.

Когда Горький через несколько лет написал для одного из бельгийских журналов статью о «Серрапионовых братьях», он вспомнил и Студию в доме Мурузи, которую он, кстати сказать, не раз посещал, особенно в первое время. «В Студии,— писал он,— собралось человек сорок молодежи; руководителями ее выступили члены редакционной коллегии «Всемирной литературы»: новеллист Евгений Замятин, хороший знаток русского языка; критик Корней Чуковский, филологи Лозинский, Шилейко, Шкловский и талантливый поэт Николай Гумилев»¹.

Кроме перечисленных, в Студии вели семинары театральный критик Андрей Левинсон, пушкинисты Николай Лернер и Юрий Данзас.

¹ Горький М. Группа «Серрапионовы братья» // Лит. наследство. М. Горький и советские писатели: Неизданная переписка. М., 1963. Т. 70. С. 561.

Студисты были милый народ, и я вспоминаю о них с удовольствием. Все они так явственно стоят передо мною, словно я видел их только вчера.

Самым молодым среди них был школьник Володя Познер, черноголовый мальчишка, не старше пятнадцати лет. Это был хохотун и насмешник — щеки круглые, глаза огневые и, казалось, неистощимые запасы веселости. Литература захлестнула его всего без остатка. Его черную мальчишескую голову можно было видеть на каждом писательском сборище. Не было таких строк Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, которых он не знал бы наизусть. Сам он писал стихи непрерывно: эпиграммы, сатиры, юморески, пародии, всегда удивлявшие меня зрелостью поэтической формы. В них он высмеивал Студию, все ее порядки и обычаи, высмеивал студистов, высмеивал Замятина, Шкловского, Гумилева, меня, и можно было наверняка предсказать, что пройдет еще несколько лет, и из него выработается даровитый поэт-обличитель, новый Курочкин или новый Минаев. Но жизнь его сложилась иначе: увезенный отцом за границу, он сделался парижским журналистом, видным политическим деятелем, членом Французской компартии, сотрудником «Юманите», автором французских повестей и романов, а Студия в доме Мурузи осталась для него светлым воспоминанием о далекой планете¹.

Был в Студии и другой мальчуган, голубоглазый, кудрявый, с девическим цветом лица, с ямочками на матово-бледных щеках. Звали его Лунц, Лева Лунц. Ему было уже семнадцать, был он университетским студентом, а казался школьником, да и то не из старших классов. В университете говорили о нем как о будущем светиле науки, феномене. Он знал чуть не пять языков, в том числе свой любимый — испанский. Прочитал на этих языках гору книг, но все еще по-детски любил играть в прятки, в пятнашки, в шарады, в лото, восхищался циркачами, жонглерами, фокусниками и очень жалел, что в русской литературе так мало увлекательных книг вроде «Трех мушкетеров», «Всадника без головы», «Острова сокровищ» и т. д.

¹ На русский язык переведен его роман «До свидания, Париж» (М., 1965).

Отчаянный спорщик, он проповедовал самые дерзкие, парадоксальные взгляды, запальчиво требуя, чтобы молодые писатели отказались от тургеневских и толстовских традиций. «Долой психологизм! Долой чеховщину!» — повторял он запальчиво. — Нам нужна литература головокружительных темпов, динамическая литература приключений и бурных страстей, более соответствующая новой эпохе».

Многим из нас это казалось кощунством. Мы негодовали на Лунца, возражали ему и в то же время не могли не восхищаться его искренностью, его эрудицией, его сильным и самобытным умом.

Он готовился стать драматургом и изводил всю бумагу, какую ему удавалось раздобыть, — а бумага тогда была редкостью, — на писание трагедий и драм.

Тогда мы еще не знали, что он болен смертельно, изнуренный долгим голоданием. Болезнь он переносил героически, без жалоб и хныканий, шутливо отмечая всякие разговоры о ней, словно это какой-то досадный пустяк.

Третий был Глазанов, коммунист, широкоплечий и рослый, в кожаной куртке, в сапогах до колен. Из студистов он больше всего сблизился с Лунцем, но сблизился как бы специально затем, чтобы спорить с ним и доказывать ему, что его теории ошибочны.

К нашему общему горю, Глазанов осенью ушел на войну и был убит под Питером в боях с Юденичем.

Четвертым замечательным студистом был Миша Слонимский — нервный, худошавый, застенчивый, очень начитанный юноша с громадными печальными глазами. Литература была его кровным, наследственным делом, так как все его родственники были писатели: и дед, и отец, и дядя (С. А. Венгеров), и тетка (Зин. Венгерова). Его книжные знания были так доскональны, что казалось, не миновать ему профессорской кафедры. В то время он деятельно собирал материалы для научной биографии А. М. Горького. Впоследствии все свои материалы он подарил Илье Груздеву, который вскоре после этого и стал «горьковедом».

Таковы были лучшие наши студисты.

Среди них не последнее место занимал Михаил Михайлович Зощенко, молчаливый и замкнутый молодой человек.

В сущности, он-то и будет главным героем настоящего очерка, и мне хочется вспомнить о нем возможно подробнее, так как я уверен, что каждая мельчайшая мелочь из жизни этого большого писателя будет чрезвычайно важна для его будущих — увы, слишком запоздалых — биографов.

Мне посчастливилось познакомиться с ним еще до того, как он написал свои первые книги, и теперь я попытаюсь извлечь из своей скудеющей памяти все, что она сохранила о том периоде его бытия.

Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел. Ему едва исполнилось двадцать четыре года. Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджачке и в изношенных, заплатанных штиблетах. Когда я узнал, что он родом полтавец, я понял, откуда у него эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица, эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах. И произношение у него было по-южному мягкое, хотя, как я узнал потом, все его детство прошло в Петербурге.

Его фамилия была известна мне с давнего времени. Усердный читатель иллюстрированной «Нивы», я часто встречал на ее страницах небольшие картинки, нарисованные художником Зощенко, — комические наброски из жизни украинских крестьян.

— Не родня ли вам этот художник? — спросил я у Михаила Михайловича при первой же встрече.

Он помолчал и неохотно ответил:

— Отец.

Он никогда не отвечал на вопросы сразу, а всегда — после долгой паузы.

Нелюдимый, хмурый, как будто надменный, садился он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громокипящие споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в дом Мурузи, но в первое время было невозможно сказать, какому из этих тече-

ний сочувствует Зошенко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне.

5

Бывшая студистка, поэтесса Елизавета Полонская, недавно опубликовала очень интересные воспоминания о Студии. В них есть небольшие неточности, но то, что она пишет о Зошенко, верно до последнего штриха.

...Полонская вспоминает такой характерный для него эпизод. Как-то в самом начале занятий я поручил им обоим представить к такому-то сроку краткие рефераты о поэзии Блока. Перед тем как взяться за работу, она предложила Михаилу Михайловичу совместно с нею обсудить эту тему. Зошенко без всяких околичностей отказался от ее предложения.

— Я буду писать сам,— сказал он,— и ни с кем не желаю советоваться.

Полонскую этот резкий отказ не смутил...

Когда он выступил в Студии со своим рефератом, стало ясно, почему он держал его в тайне и уклонялся от сотрудничества с кем бы то ни было: реферат не имел ни малейшего сходства с обычными сочинениями этого рода и даже как бы издевался над ними. С начала до конца он был написан в пародийно-комическом стиле.

...Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зошенко сразу выделился из массы своих соотечественников. Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока вульгарным слогом заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души.

Именно тогда, в тот летний вечер девятнадцатого года, мы в Студии впервые почувствовали, что этот молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает редкостной, чудодейственной силой, присущей ему одному,— силой заразительного смеха.

Как вспоминает Елизавета Полонская, я, читая студистам это первое произведение Зошенко, смеялся (буквально!) до слез. Так оно и было в самом деле. Утирая слезы, я выразил ему свое восхищение.

Дальше она утверждает, что тогда же я посоветовал молодому писателю посвятить свой талант юмористике. Это опять-таки верно, но не думаю, чтобы Зошенко нуждался в подобных советах. Он был человек свое-нравный, ретиво отстаивающий свою «самостийность», и, конечно, без всякой посторонней указки выбрал свой писательский путь, никому не подражая и ни с кем не советуясь.

6

Еще резче выразилось его строптивное нежелание подчиняться нашей студийной рутине через две или три недели, когда я задал студистам очередную работу — написать небольшую статейку о поэзии Надсона.

Через несколько дней я получил около десятка статейек. Принес свою работу и Зошенко — на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги.

Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой:

— Только это совсем не о Надсоне...

— О ком же?

Он помолчал.

— О вас.

Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как еще не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей Студии. Чужим темам предпочитал он свои, преуказанному стилю — свой собственный.

Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку «От Чехова до наших дней». С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда. Пародия по значительности своего содержания стоила критической статьи, но никогда еще ни один самый язвительный критик не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя.

Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай: что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда ничего не писал.

Пародия меня не обидела. Ее высокое литературное качество доставило мне живейшую радость, тем более что к тому времени я уже успел отойти от своего первоначального стиля, над которым издевался пародист.

При чтении пародии мне стала еще очевиднее основная черта его личности — упрямое нежелание подчинять себя чьим бы то ни было посторонним воздействиям. Своей пародией он, начинающий автор, горделиво отгораживался от моего менторского влияния смехом и громко заявлял мне о том. Иначе, конечно, и быть не могло: без такого стремления к интеллектуальной свободе он не стал бы уже в ближайшие годы одним из самых дерзновенных литературных новаторов¹.

7

Странно было видеть, что этой дивной способностью властно заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный человек.

Как мы знаем из его автобиографической повести, напечатанной позднее в журнале «Октябрь», хандра душила его с самого раннего детства, и смех был единственным противоядием его ипохондрии, единственным его спасением от нее. В той же автобиографии он вспоминает, что стоило ему взять в руки перо — и угнетавшие его мрачные чувства сменялись со странной внезапностью необузданно-бурным весельем.

Вот ночью он сидит у себя в конуре и пишет для газеты очерк «Баня».

«Уже первые строчки, — рассказывает он, — смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.

Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.

От смеха я чувствую боль в животе.

В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно.

Я кричу:

¹ Впрочем, через день или два (2 сентября 1919 года — дата в рукописи) он все же принес в Студию небольшой реферат «Поэзия Надсона». Впоследствии, в 1924 году, он написал другую пародию на меня («Чуковский о Пильняке» — тоже уморительно смешную). Одна из рукописей у меня сохранилась.

— Извините, Петр Алексеевич...

Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.

Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал.

Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать»¹.

Так между этими двумя крайностями он постоянно метался: между «угрюмством» и смехом. Метался и в жизни, и в творчестве. И, конечно, смех побеждал не всегда. Угрюмство зачастую не хотело сдаваться, и тогда у Зошенко возникали рассказы, где смех сосуществует с тоской. Веселость в сочетании с грустью — этим сложным чувством, которое, в сущности, и называется юмором, окрашены лучшие произведения Зошенко.

Конечно, все это открылось нам позже, через несколько лет, а во времена Студии, когда Зошенко еще не нашел своей подлинной литературной дороги, нас больше всего поражали его неутомимые поиски этой дороги. В тот краткий период ученичества он перепробовал себя во многих жанрах и даже начал было, как сообщил он однажды, обширный исторический роман. То и дело приносил он ко мне свои новые произведения — очерки, критические статьи, фельетоны, а также рассказы и повести из мещанского, чиновничьего, солдатского быта, и было поучительно следить, как жадно и настойчиво он добивается наиболее жизненного, живого, экспрессивного стиля.

Как-то в Студии я сделал доклад о натуральной гоголевской школе и приводил типичные образцы повестей, создававшихся ею под эгидой Белинского. Уже через несколько дней Зошенко принес в Студию пародийный рассказ, так искусно стилизованный им в духе повестей этой школы, словно рассказ был написан в 1844 году для одного из альманахов Некрасова. Пародист очень верно схватил характерные интонации, звучащие в повестях той эпохи, и здесь уже предчувствовался будущий Зошенко, пробующий силы в различ-

¹ Зошенко М. Перед восходом солнца // Октябрь. 1943. № 6. С. 86—87.

ных повествовательных жанрах (вспомните, например, его «Шестую повесть Белкина», эту «проекцию на произведение Пушкина», выдержанную в стиле тридцатых годов минувшего века).

Да и его тогдашние пародии на меня, на Евгения Замятина, на Виктора Шкловского были, в сущности, учебными экзерсисами в области литературной стилистики. Насмешливо копируя чужие стили, чужую манеру, будущий писатель тем самым вырабатывал свой собственный стиль, причем в пародиях сказывается с особенной силой его обостренная чуткость к различным интонациям речи, та утонченность писательского слуха, которая и сделала его впоследствии мастером сказа.

Конечно, не все его опыты были удачны, но самое их количество говорило о его целеустремленной энергии. Мало-помалу в нашем кругу создалась у него репутация писателя, подающего большие надежды. Он еще не напечатал ни строки, а уже нашлись среди студистов приверженцы его дарования.

С этими-то молодыми людьми, раньше всех уверовавшими в его литературное будущее, Зощенко стал мало-помалу сближаться, насколько это слово применимо к такому замкнутому человеку, как он.

Раньше всех он сошелся с Глазановым, который сдержанно, немногословно, но веско высказывал большое сочувствие всем его литературным попыткам. Сошелся с Михаилом Слонимским — на всю жизнь, чуть не до конца своих дней. Сблизился и с Лунцем, и с Познером и все чаще встречал поощрительным смехом их мальчишеские каламбуры и вирши, обнажая при этом на какую-то долю секунды свои красивые, крепкие белые зубы. На какую-то долю секунды — такая была у него манера смеяться. Смех намечался как будто пунктиром и тотчас же внезапно потухал.

Впоследствии, лет через пять, когда Зощенко стал гораздо душевнее, проще и мягче, он смеялся совсем по-другому, особенно в тесно сплоченной, привычной компании: более щедро и радостно.

Но это было позже, а тогда он, повторяю, словно приневоливал себя к дружескому сближению с людьми, преодолевая в себе какие-то застарелые навыки, мешающие ему жить нараспашку.

Мало-помалу студисты развели некоторые подробности его биографии. Оказалось, он — бывший военный. С самого начала германской войны ушел добровольно на фронт, где командовал ротой, потом батальоном и получил за храбрость четыре отличия. На фронте он был ранен, отравлен ядовитыми газами, нажил порок сердца и все же в советское время — опять-таки добровольцем — вступил в Красную Армию, был комендантом штаба N-ской части и участвовал в ряде боев против Булак-Балаховича.

Во время его пребывания в Студии в нем все еще чувствовалась военная выправка: поднятые плечи, четкий шаг. Но были дни, когда раны и ядовитые газы давали себя знать особенно сильно. В такие дни он как-то странно сутулился, словно изможденный бессонницей, и лицо его становилось болезненно-желтым. Как и все сердечники, он избегал порывисто-резких движений и ходил по улице так осторожно, будто боялся себя расплескать.

Как историк Студии, я не могу умолчать об одном наиболее курьезном из наших студистов, который был старше нас всех. Мы так и звали его: «старичок». Он регулярно посещал дом Мурузи с единственной целью — поспать. Ночью ему не удавалось как следует выспаться, потому что в его квартире из-за каких-то бытовых неурядиц у него не было даже угла. Он ежедневно приходил отсыпаться под гул наших споров и лекций, которые действовали на него как колыбельные песни.

Сколько бы ни бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики; какими бы таблицами рифм и ритмов ни соблазнял свою паству Николай Гумилев; какие бы чудесные ни плел кружева из творений Белого, Лескова и Ремизова хитроумный Евгений Замятин, — ничего этого не слышал старичок: пробравшись к любимой скамье, он мгновенно погружался в дремоту. И мы так привыкли к нему, что, бывало, в те дни, когда он не посещал нашей Студии, чувствовали себя сиротливо, словно нам не хватает чего-то, и спрашивали: где старичок?

Зощенко питал к старичку самые нежные чувства. Однажды он приблизился к спящему и, словно любясь им, долго молчал, а потом произнес убежденно: — Вполне прелестный старичок!

Студистов рассмешил этот необычайный эпитет, какого никто никогда не применял к старичкам, и они тотчас же подхватили его:

— «Вполне прелестная Муся»,— говорили они,— «вполне прелестная книга» и даже: «вполне прелестная драка», «вполне прелестные похороны» и т. д.¹

Но вот пришли какие-то строгие люди сугубо административного вида. Они прослышали о вторжении постороннего лица в стены Студии и безапелляционно потребовали, чтобы старичок удалился (так как он будто бы мешает нашим студийным занятиям) и чтобы мы запретили ему когда бы то ни было возвращаться сюда.

За гонимого вступился Глазанов, а вместе с Глазановым, к моему удивлению, Зощенко, который, внешне сохраняя ледяное спокойствие, начальственным голосом предложил этим людям уйти и не мешать нашим студийным занятиям.

В каждом его слове, в каждом жесте чувствовался бывший командир. Не помню, какие говорил он слова, но, очевидно, слова были довольно внушительные, так как пришельцы ретировались немедленно. Впрочем, возможно, что на них подействовало имя нашего высокого заступника А. М. Горького, на которое сослался один из студистов.

Как бы то ни было, «прелестному старичку» предоставили право продолжать свой насильственно прерванный сон, каковым правом он не преминул моментально воспользоваться.

10

В августе в Студию по моему приглашению пришел Александр Блок. Глуховатым, усталым, но все еще упительным голосом он прочитал поэму «Возмездие» и прозаическое предисловие к ней. Потом, через не-

¹ Я вспомнил это восклицание Зощенко, когда впоследствии прочитал у него: «Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост»; «Вздравствуйте,— говорю,— батюшка отец Сергей. Вполне прелестный день»; «А в животе прелестно — самогоном поигрывает».

сколько дней, пришел снова и прочел «Седое утро», «Соловьиный сад», «Скифов».

Чтение происходило под открытым небом на нашем студийном балконе.

Этого балкона уже нет. Широкий, с комнату средних размеров, он простирался над всем тротуаром Литейного, держась на чугунных столбах, испещренных восточным орнаментом. На нем свободно могло поместиться до двадцати человек.

Теперь, проходя мимо бывшего дома Мурузи, я всегда вспоминаю этот чудесный балкон, весь охваченный золотисто-сиреневой дымкой петроградского летнего воздуха, и на балконе понурого Блока с выражением смертельной усталости.

Студисты — и Слонимский, и Груздев, и Зоценко — слушали его благоговейно, но среди них были и такие, которые отнеслись к нему с явной враждебностью. Это была особая секта, исповедующая пролеткультовский догмат о неприятии старой культуры. Они заранее решили, что Блок «несозвучен», и слушали его чтение, насупившись и демонстративно пожимая плечами. Их было пять или шесть человек, и они всегда держались вместе, как заговорщики с камнем за пазухой. Блок чувствовал их неприязнь. Она угнетала его...

Между тем Студия стала хиреть. Иные ушли на фронт, иные, не вынеся разрухи и голода, предпочли покинуть Петроград и переселиться на юг, а иным (тем самым, которые восстали против поэзии Блока) наскучили наши семинары и лекции. Талантами эти юнцы не блистали, даже в грамоте были не очень сильны и по обычаю всех честолюбивых невежд не столько жаждали учиться, сколько — повелевать и командовать... Как бы то ни было, жизнь Студии к осени замерла. Вова Познер, ее летописец и бард, изобразил ее гибель в стихах:

Настала осень, студия пустела...

И дальше, через несколько строк:

Зима настала, серебрился иней:
И толстым слоем льда покрылся зал.
На кухне был потоп, пожар в камине,
Никто уж больше лекций не читал...

В ДОМЕ ИСКУССТВ

Надгробные эти стихи появились в «Чукоккале» 21 ноября 1919 года, а за два дня до того, 19 ноября на Невском в бывшем дворце петербургского богача Елисеева открылся ныне знаменитый Дом искусств, куда захиревшая Студия перекочевала в обновленном составе.

О том, чтобы этот дом был предоставлен писателям, я начал хлопотать еще в июле. Хлопотал и в Петрограде и в Москве. Дело долго не сдвигалось с мертвой точки, покуда во главе учреждения не встал А. М. Горький.

В мемуарной литературе Дом искусств описывался тысячу раз. Поэтому не стану вдаваться в подробности. Скажу только, что этот огромный домина выходил на три улицы: на Мойку, на Большую Морскую и на Невский — и что трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили Дому искусств, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален; была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях; была баня с роскошным предбанником; была буфетная; была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многочисленных писательских сборищ. Были комнатухи для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели: Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Аким Волынский, Екатерина Леткова, Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Владимир Пяст, Виктор Шкловский, Мариэтта Шагинян, Всеволод Рождественский... И не только писатели: скульптор С. Ухтомский (хранитель Русского музея), скульптор Щекотихина, художник В. А. Милашевский, сестра художника Врубеля и другие.

Здесь же водворились три студиста, те, которые уже успели приобщиться к писательству: Лева Лунц, Слонимский и несколько позднее — Зошенко.

На меня была возложена обязанность руководить Литературным отделом. Обязанность нелегкая, но трудился наш отдел с увлечением: мы расширили библиотеку (таскали на себе мешки с книгами с Фонтанки из Книжного пункта), наладили публичные лекции, возродили Студию, которая стала работать с удесятеренной энергией, принялись за издание журнала под названием «Дом искусств» (несмотря на тысячи препят-

ствий, мы все же выпустили два очень содержательных номера). Нами была организована Книжная лавка¹. По нашему приглашению в ДИСК (фамильярное название Дома искусств) прибыл из Москвы в 1920 году Маяковский и прочитал здесь с огромным успехом свою поэму «150 000 000». Несколько раз выступал у нас Горький. Несколько раз — Александр Блок. Часты были выступления Кони.

Естественно, ДИСК был магнитом для множества начинающих авторов.

К 1921 году из них выделились наиболее талантливые: Всеволод Иванов, Николай Никитин, Николай Тихонов, Константин Федин, Вениамин Каверин.

У каждого из этих новоявленных авторов хранились в потертых чемоданчиках, сумках, портфелях измызанные листочки бумаги, исписанные вдоль и поперек рассказами, очерками, повестями, стихами. Рукописи было невозможно довести до читателей, так как книгопечатание почти прекратилось. Дом искусств стал местом их дружеских встреч. К ним примкнули и лучшие наши студисты. Они жаждали общаться друг с другом, читать друг другу свои сочинения. Они обсуждали эти сочинения по целым часам в одной из комнатенок Дома искусств — наиболее неудобной, холодной и тесной — в комнатенке Михаила Слонимского.

Здесь-то и расцвело дарование Зошенко, здесь началась его первая слава. Здесь он прочитал только что написанные «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Восхищаясь многоцветною словесною тканью этого своеобразного цикла новелл, студисты повторяли друг другу целые куски из «Виктории Казимировны» и «Гиблого места». Многие слова и словечки из этих рассказов, также из рассказа «Коза», который они узнали тогда же, они ввели в свою повседневную речь, то и дело применяя их к обстоятельствам собственной жизни.

«Что ты нарушаешь беспорядок?» — говорили они. «Довольно свинство с вашей стороны». — «Блекота и слабое развитие техники». — «Человек, одаренный качествами». — «Штаны мои любезные». — «Подпоручик

¹ Упоминание о ней сохранилось в стихотворении Ал. Блока, обращенном ко мне:

Мы из лавки Дома искусства
На Дворцовую площадь шли...

ничего себе, но — сволочь». — «Что же мне такоеча делать?»

Эти и многие другие цитаты из произведений молодого писателя зазвучали в их кругу как поговорки. Слушая в Доме искусств плохие стихи, они говорили: «Блекота!» А если с кем-нибудь случалась неприятность: «Вышел ему перетык».

Вообще в первые годы своей литературной работы Зошенко был окружен атмосферой любви и сочувствия.

Думаю, что в то время он впервые нашел свою литературную дорогу и окончательно доработался до собственного — очень сложного и богатого — стиля. Талантливые юноши, люди высоких душевных запросов, приняли его радушно в свой круг. Он повеселел, стал общительнее, и было похоже, что тяжелая грусть, томившая его все эти годы, на время отступила от него. Правда, он и теперь меньше всего походил на таких профессиональных остроумцев и комиков, каким был, например, в старое время талантливый Аркадий Аверченко, сыпавший с утра до вечера смешными (и несмешными) остротами. Правда, и теперь выдавались такие периоды, когда на целые сутки Зошенко одолевала тоска, и он, уединившись в своей нетопленной комнате, прятался от всех посторонних. Но это было редко, в исключительных случаях. Обычно же среди новых друзей, так высоко оценивших его дарование, он давал своему юмору полную волю.

Если, проходя по коридору, вы слышали за дверью комнаты Михаила Слонимского взрывы многоголосого смеха, можно было с уверенностью сказать, что там Зошенко: либо читает свою новую рукопись, либо рассказывает какой-нибудь смешной эпизод. Войдешь — и увидишь: все сгрудились вокруг него и хохочут, как запорожцы у Репина, а он сидит с неподвижным лицом, словно и не подозревает о причине смеха.

...Дом искусств просуществовал около двух лет.

Написавшая о нем целую повесть Ольга Форш назвала его: «Сумасшедший корабль»¹. Этот корабль не раз натыкался на подводные скалы и в 1922 году затонул окончательно, едва только Горький уехал из России.

¹ Форш О. Сумасшедший корабль. Л., 1931.

К середине двадцатых годов Зошенко стал одним из самых популярных писателей.

Его юмористика пришлась по душе широчайшим читательским массам.

Книги его стали раскупаться мгновенно, едва появившись на книжном прилавке. Не было, кажется, такой эстрады, с которой не читались бы перед смеющейся публикой его «Баня», «Аристократка», «История болезни» и пр. Не было, кажется, такого издательства, которое не считало бы нужным выпустить хоть одну его книгу: и «Земля и фабрика», и «Радуга», и «Пролетарий», и «Огонек», и «Смехач», и «Прибой», и «Издательство писателей», и Детиздат, и Госиздат, и издательство «Красной газеты», и даже издательство с инфантильным названием «Картонный домик» — еле успевали печатать его сочинения, причем многие из его повестей и рассказов переиздавались опять и опять, и все же ненасытный читательский спрос возрастал из года в год...

...Подумать только: уже в 1928 году, то есть всего через восемь лет после напечатания его первых рассказов, появилась о нем целая книга в ученом издательстве «Academia» (в серии «Мастера современной литературы»).

А немного позднее, в 1929 году, когда он все еще был молодым человеком, издательство «Прибой» предприняло Собрание его сочинений.

Вводная статья к этому изданию начиналась такими словами:

«С именем Зошенко связана крупная литературная удача».

Но удача его была какая-то странная и, я бы сказал, роковая, чреватая тяжелыми последствиями.

Та публика, которая создала ему популярное имя, знать не знала, что у него есть своя, глубоко выстраданная, заветная тема. Публика увидела в нем только своего развлекателя, только пустопорожного

автора мелких и смешных пустикав и, утробно смеясь его «Аристократкам» и «Баням», относилась к нему с тем непочтительным чувством, с каким толпа обыкновенно относится ко всяким смехотворцам, анекдотистам, острякам, балагурам.

Его литературное значение поняли к началу тридцатых годов лишь такие знатоки и ценители художественного русского слова, как Алексей Толстой, Юрий Олеша, академик Евг. Тарле, Ольга Форш, Самуил Маршак, Юрий Тынянов, Валентин Стенич. (Здесь я называю лишь тех, от кого слышал своими ушами восторженные мнения о нем.)

Громче всех восхищался Алексей Максимович Горький.

«Хорош Зошенко», «очень хорош Зошенко», «очень обрадован тем, что Зошенко написал хорошую вещь»¹, — постоянно повторял он в своих письмах.

«А юмор ваш я ценю высоко, — сообщал он писателю, — своеобразие его для меня — да и для множества грамотных людей, — бесспорно так же, как бесспорна и его „социальная педагогика“»².

В каждом отзыве Горького — любовь и хвала. «Отличный язык выработали вы, Михаил Михайлович, и замечательно легко владеете им, — писал Горький, едва познакомившись с его сочинениями. — И юмор у вас очень «свой»... Данные сатирика у вас — налицо, чувство иронии очень острое, и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого...»³

Горький дважды сообщал молодому писателю, что любит читать его вслух — «вечерами своей семье и гостям»⁴.

Горький в то время, живя на чужбине, получал несметное множество книг, рукописей, брошюр и журналов, и то, что из всей этой груды он выбрал для чтения вслух рассказы и повести юного Зошенко, было само по себе верным свидетельством особенной любви Алексея Максимовича к автору «Уважаемых граждан».

¹ Горький и советские писатели: Неизданная переписка//Лит. наследство. Т. 70. С. 378, 490 и др.

² Там же. С. 163.

³ Там же. С. 159.

⁴ Там же. С. 159, 165.

О зощенковском языке Горький в одном из своих писем выражается так: «Пестрый бисер вашего лексикона»¹.

В «Воспоминаниях» Л. Пантелеева читаем: «Вообще Алексей Максимович очень часто вспоминал Зощенко, очень любил его и всегда, когда заговаривал о нем, как-то особенно, отечески нежно улыбался»².

3

Язык Зощенко, этот «пестрый бисер» его лексикона, уже к концу двадцатых годов привлек самое пристальное внимание критики.

Едва только в печати появились первые рассказы и повести Михаила Михайловича, его язык в этих первых вещах показался таким своеобразным и ценным, что профессор (впоследствии академик) В. В. Виноградов счел нужным написать о нем целый трактат, который так и озаглавил: «Язык Зощенко»³.

Вообще в то далекое время все статьи и рецензии о его сочинениях сосредоточивались почти исключительно на их языке.

Кем-то было тогда же подмечено, что многие рассказы и повести Зощенко рассчитаны на чтение вслух, так как в них чаще всего воспроизводится разговорная устная речь, и что, стало быть, почти все они писаны так называемым *сказом*.

С той поры это слово «сказ» прилипло к Зощенко раз навсегда. Благо в ту пору оно было модным. Ни одной я не помню газетной или журнальной статейки о нем, где его творчество не определялось бы *сказом*.

Критики писали один за другим:

«Типичен для Зощенко новеллистический сказ...»

«Литературная судьба Зощенко связана со сказом».

«В рассказах Зощенко мы наблюдаем явную тенденцию к сказу».

«Его рассказы даны в сказовой манере».

Сказ. Этим поверхностным словом исчерпывались все их суждения о Зощенко.

¹ Горький и советские писатели: Неизданная переписка//Лит. наследство. Т. 70. С. 163.

² Пантелеев Л. Избранное. Л., 1967. С. 463.

³ См. кн.: Зощенко М. Мастера современной литературы. Л., 1928. С. 51—92.

Откуда взялся этот сказ? Каково содержание этого сказа? Что хочет писатель сказать этим сказом? Ко всему этому они были вполне равнодушны. Не заинтересовало их также и то, что в зощенковском сказе была злободневность, что сказ этот не сочинен и не выдуман, а выхвачен автором прямо из жизни — из той, что кипела вокруг *в то время, когда он писал*. Это не лесковская мозаика старинных, редкостных, курьезных и вычурных слов — это живая, свежая, неподдельная речь, которая зазвучала тогда на базарах, в трамваях, в очередях, на вокзалах, в банях.

Зощенко первый из писателей своего поколения ввел в литературу в таких широких масштабах эту новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся по стране внелитературную речь и стал свободно пользоваться ею как своей собственной речью. Здесь он — первооткрыватель, новатор.

Так досконально изучить эту речь и так верно воспроизвести на бумаге ее лексику, ее интонации, ее синтаксический строй мог только тот, кто провел свою жизнь в самой гуще современного быта и узнал его на своей собственной шкуре. Зощенко именно таким человеком и был, человеком большого житейского опыта, прошедшим, так сказать, сквозь огонь, и воду, и медные трубы.

С самой ранней юности он весь с головой погружен во внелитературную речевую стихию: ему не было еще двадцати семи лет, а он успел побывать и столяром, и сапожником, и телефонистом, и штабс-капитаном 16-го гренадерского мингрельского полка, и милиционером, и плотником, и актером, и красным командиром, и агентом угрозыска, и бухгалтером, и контролером на железной дороге, — словно специально готовился к своей единственной важнейшей профессии — изобраителя нравов современных ему людей и людишек¹.

Такова была та трудная житейская школа, в которой он учился языку. Курс был долгий, учителей было много.

Ученик оказался на диво способный и памятный, с тонким, восприимчивым слухом. Он так успешно усвоил современное ему просторечие и с такой точностью (в сгущенном, концентрированном виде) воспроизвел его в своих сочинениях, что стоило нам в вагоне или на

¹ См. его шуточную автобиографию в «Литературных записках» (1922. № 3. С. 28—29).

рынке услышать чей-нибудь случайный разговор, мы говорили: «Совсем как у Зощенко».

Как-то летом в середине двадцатых годов я пошел разыскивать его жилье в Сестрорецке (он жил в какой-то слободе на окраине). День стоял жаркий, и все обитатели были на улице или за низкими заборами своих чахлах садов. То и дело до меня доносились обрывки их криков, перебранок и мирных бесед, и меня поразило, что все эти люди, и мужчины, и женщины, изъясняются между собою по-зощенковски.

Писатель жил в окружении своих персонажей, в сфере канонизированного им языка.

И хотя этот введенный им в литературу язык за полвека истаскали в своих сочинениях десятки подражателей и эпигонов писателя, на этом языке всегда остается печать его творческой личности.

4

Об этом языке в свое время будет напечатано немало исследований. Будет доказано, что это сложный химический сплав нескольких разнообразных жаргонов, и для каждого будут установлены рубрики: вот это воровской, а вот это крестьянский, а вот это солдатский жаргон, — и в конце концов будет доказано, что все эти жаргоны в своем органическом, живом сочетании дали писателю тот лексикон, который по праву называется зощенковским и который получил от Горького наименование: *бисер*.

Много потребовалось Зощенко творческих сил, чтобы сделать этот язык художественным, экспрессивным и ярким. Искусно пользуясь им для своих рассказов и очерков, Зощенко не забывал никогда, что сам по себе этот язык глуповат и что из него можно извлекать без конца множество комических и живописных эффектов именно потому, что он так уродлив, нелеп и смешон.

На каждой странице писатель готов отмечать вывихи его синтаксиса, опухоли его словаря, демонстрируя с веселым злорадством полную неспособность ненавистного ему слоя людей пользоваться разумной человеческой речью.

О какой-то женщине они, например, говорят, что она «нюхала цветки и настурции».

Как будто настурции — не цветки!

И вот другая такая же фраза:

«Раздаются крики, возгласы и дамские слезы».

Как будто слезы могли раздаваться.

И еще:

«Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пушай одной рукой поет, а другой свет зажигает».

Или:

«В одной руке у него газета. В другой почтовая открытка. В третьей руке его супруга держит талон».

Или:

«Музыка играла траурные вальсы».

И так далее.

Вздумал, например, зощенковский обыватель сказать, что ему очень хотелось бы, чтобы сердце у него билось ритмично, но он так непривычен к культурным словам, что у него получается:

«Сердце не так *аритмично* бьется, как хотелось бы».

Хочет пожаловаться, что кто-то критикует кого-то, и у него получается:

«Наводит на все *самокритику*».

Хочет накричать на кого-то, зачем тот нарушает порядок, а у него получается:

«Что ты *нарушаешь беспорядок?*»

Вот до чего бестолково речевое мышление у новоявленных советских мешан: слова непослушны их мыслям и часто выражают суждения, прямо противоположные тем, какие им хочется выразить.

Вдобавок эти скудоумные, как явствует из зощенковских книг, прямо-таки обожают казенные, канцелярские фразы, и когда, например, одному из них захотелось сказать, что он любит детей, он щегольнул таким канцеляритом:

«Я,— сказал он,— не имею (!) такого *бесчувствия* (!) в *детском вопросе* (!)».

Даже о рождении ребенка зощенковский мешанин выражается так:

«Родился ребенок *как таковой*».

Этот человек так порабошен эстетикой протоколов, донесений и рапортов, что, рассказывая, например, как его толкали в театре, только и находит такие слова:

«Кручусь... вызывая нарекания и даже *толкание и пихание* в грудь».

Канцелярские штампы обывательской речи, которые получили такое развитие в лексике тридцатых и сороковых годов, были зорко подмечены Зощенко еще при своем зарождении. (Вообще он ввел в свои книги очень

многие формы внелитературного языка, подмеченные лингвистами в более позднее время: и словечко «переживать» без дополнения, и «обратно» в смысле «опять» и др.)

Канцелярит всегда вызывал негодование Зошенко. В его новелле «История болезни» некто побывавший в больнице рассказывает:

«...тут сестричка подскочила:

— Пойдемте, говорит, больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, и красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтоб меня обмывать».

Своими рассказами Зошенко сигнализировал нам, что нарождается целое поколение людей, для которых «обмывочный пункт» куда милее, чем ванна, для которых лес — зеленый массив, шапка — головной убор, телега — гужевой транспорт и т. д. Их бедное мышление порабощено всеми этими казенными терминами.

Кроме канцелярита, новомещанская речь богата по наблюдениям Зошенко, дурно понятыми иностранными словами, которые еще с давнего времени так приманчивы для этих людей. Со смердяковским упоением они то и дело употребляют их совершенно некстати:

«И вот происходит такая *ситуация*...»

«И вот при такой *ситуации* у них происходит рождение ребенка».

«И вот при такой *ситуации* живет в Симферополе вдова».

То же самое со словом *элемент* (в смысле: человек).

«Жила, жила с таким отсталым *элементом* и взяла и утонула».

Возмущаясь какой-то нелепостью, они говорят:

«Это действительно *курская аномалия*».

Любят эти люди словечко *утопия*, причем, конечно, они твердо уверены, что оно происходит от слова *топить* и означает беду.

«Это же *утопия*, если всех жильцов выселять».

И вот их типичное построение фразы:

«...Бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто».

Алогизм, косноязычие, неуклюжесть, бессилие этого мешанского жаргона сказывается также, по наблюде-

ниям Зощенко, в идиотических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах.

Нужно, например, зощенковскому мещанину поведать читателям, что одна женщина ехала в город Новороссийск, и он ведет свое повествование так:

«...и *едет*, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще (!) бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком.

У нее ребенок на руках. Вот она с ним и *едет*.

Она *едет* с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе.

Вот она к нему и *едет*.

И вот она *едет* к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она *едет* в таком виде в Новороссийск.

Едет она к мужу в Новороссийск. А у ней малютка на руках...

И вот *едет* эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они *едут*, конечно, в Новороссийск...»¹

Слово *Новороссийск* повторяется пять раз, а слово *едет* (*едут*) — девять раз, и рассказчик никак не может развязаться со своей бедной мыслишкой, надолго застрявшей у него в голове.

Для того чтобы воссоздать это наречие, в сознании писателя должен постоянно присутствовать строго нормированный, правильный, образцовый язык. Только на фоне этой безукоризненной нормы могли выступить во всем своем диком уродстве те бесчисленные отклонения от нее, те синтаксические и словесные «монстры», которыми изобилует речь зощенковских «уважаемых граждан».

«УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ»

Пока сволочь есть в жизни,
я ее в художественном произведе-
нии не амнистирую.

В. Маяковский

1

Читая Зощенко, нельзя не прийти к убеждению, что низменный, грубый язык его «сказов» создан низкой, грубой средой.

¹ См. рассказ «Происшествие». (Слова *едет*, *едут* подчеркнуты мною. — К. Ч.)

Те, кто говорит на этом языке в его книгах, — люди очень невысокой морали.

Писателю до тошноты были ненавистны те бесчисленные хищники, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, которые, приспособившись к революционной действительности, мошеннически воспользовались ее светлыми лозунгами ради того, чтобы обеспечить себе процветание и полное право на бездушную черствость, на угнетение беззащитных и немощных.

Его книга «Уважаемые граждане» и примыкающие к ней рассказы — суровый обвинительный акт против этих приспособленцев, готовых рядиться в любые личины.

Таковыми рассказами, как «Парусиновый портфель», «Забавное приключение», «Плохая жена», он обвиняет в том, что все они скотски блудливы.

Таковыми рассказами, как «Кража», «Дрова», «На живца», он обвиняет их в том, что они лишены самой элементарной порядочности: мелкие жулики, воры, они даже не верят, что на свете есть честность; и когда одному из них случилось проглотить золотые монеты, он, испытывая острую боль в животе, все же побоялся обратиться к хирургам: как бы хирурги «во время хлороформа» не сперли у него этих монет («Сильнее смерти»).

А рассказами «Святочная история», «Спекулянтка», «Пожар» он обвиняет их в том, что все они злостно корыстны, заботятся только о собственной выгоде и всегда готовы поджечь дом, доверху набитый жильцами, если знают, что в фундаменте этого дома спрятано десять или пятнадцать рублей. А один из них даже притворился покойником, ибо хотел «начисто смыться», чтобы начать «новую великолепную жизнь» («Святочная история»). А другой, перед тем как сблизиться с любящей женщиной, настаивает, чтобы та написала расписку, что она, если станет матерью, не будет требовать у него алиментов («Расписка»).

Больше всего возмущает писателя их чудовищное неуважение к человеческой личности, их черствость и неискоренимое хамство. С гневом изобличает он этот порок в рассказах «Страдания молодого Вертера», «История болезни», «Веселая игра», «Поминки» и во многих других.

Здесь — золотая мечта о деликатности, чуткости, благожелательности людских отношений.

«Товарищи,— говорит Зощенко в «Страданиях молодого Вертера»,— мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громадные трудности,— давайте все-таки уважать друг друга».

В рассказе «Поминки» он напоминает читателям, что, если на тех ящиках, в которых перевозят какую-нибудь ценную кладь, пишут крупнейшими буквами: «Не бросать!», «Осторожно!» и проч.,— не худо бы и на каждом человеке писать: «Фарфор!», «Легче!»—«поскольку человек — это человек».

Изображаемый им быт до такой степени груб и свиреп, что одно деликатное, учтивое слово кажется здесь чудом из чудес, редкостным, необычайным событием, действующим на людей потрясающе. В раннем рассказе «Коза» маленький человечек Забежкин, двойник гоголевского Акакия Акакиевича, затурканный жестокой средой, вдруг на улице услышал от прохожего, который нечаянно задел его локтем, обыкновеннейшее слово «извиняюсь», и это слово как гром поразило его.

«Господи!— сказал Забежкин.— Да что вы? Пожалуйста...»

Но прохожий был далеко.

«Что это?— подумал Забежкин.— Чудной какой прохожий... И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая!»...»

Так воспринимается благожелательное любезное слово в том мире глумления над человеческой личностью, в котором провел всю свою жизнь Забежкин. Недаром он называет этого прохожего «*необыкновенным прохожим*», потому что для человека, привыкшего к ежедневным обидам, к постоянному склочничеству, самая заурядная вежливость кажется каким-то поразительным исключением из общего правила.

В «Огнях большого города» писатель рассказывает поучительную притчу о том, как в мерзостно-грубом быту один скандалист и задира буквально переродился и стал человеком, когда вместо ожидаемых им зуботычин, оплеух и ругательств услышал обращенное к нему учтивое слово и увидел почтительный жест.

«Уважаемые граждане»— страшная книга. Все взаимные отношения изображенных в этой книге людей основаны на бешеной ненависти.

«Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла,— рассказывает один из них с большим удовольствием.— И не то что драка, а цельный бой... Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали...»

Бой произошел из-за «ежика», маленькой щеточки для чистки закоптелого примуса.

Жиличка Щипцова взяла этот ежик на кухне и хотела почистить свой примус, а другая жиличка, «чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять».

Цена этому ежику грош, но осатанелые люди, бесконечно далекие от уважения друг к другу, от деликатной уступчивости, без которых немислима никакая совместная жизнь, до того пропитаны собственническими злыми инстинктами, что считают невозможным уступить хоть на минуту свой копеечный ежик другому:

«Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный...

— Я, говорит, ну ровно слон работаю... в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялись вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню... Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, говорит, за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка».

Следует очень колоритное изображение побоища, во время которого «кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу».

Эта кровопролитная битва кончилась лишь потому, что явился милиционер и сказал:

« — Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам...

— С чего же это вы, уважаемые граждане, разодрались?»

Клопный быт. Клопная мораль. Говорите этим людям о братской солидарности, о чувстве товарищества, о преодолении собственнических, темных инстинктов. Люди эти непоколебимо уверены, что все высокогуманные лозунги нужны лишь для внешнего употребления — для митинговых речей, для плакатов и газетных статей — и что никто не обязан воплощать их в своем обиходе, руководствоваться ими в своем повседневном быту.

Зошенко зорко подметил в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чуждые каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили благородную терминологию советской общественности и пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских вожделений и дел.

Сбывая с рук негодную работницу, они рекомендуют ее другим нанимателям так:

«Даром что это старуха, но это такая старуха, что она вполне *достойна войти в новое бесклассовое общество*».

Порицая какую-то девушку за то, что она польстилась на даровую еду, они говорят:

«Развернула свою *идеологию* в полном объеме».

И сторож, обворовывая тот магазин, который ему надлежит охранять, охотно применяет к себе термины новой эпохи:

«*Стою на страже государственных интересов*».

Их социальная мимикрия так велика, что они, мешане до мозга костей, то и дело заявляют себя ярыми врагами мешанства.

Негодяй, бросающий жену, объясняет свое негодяйство антимешанскими принципами:

«Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее *мелкобуржуазную сущность*».

И в другом рассказе другой негодяй точно такими же словами упрекает жену, когда она, изнуренная службой, захотела отдохнуть от работы:

«Поймите, это *буржуазное мешанство!*»

Это — слово в слово — то самое, что в «Клопе» Маяковского говорит бывший партиец, по уши погрязший в «буржуазном мещанстве»:

«В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта... я против этого мещанского быта... я против этого мещанского быту — канареек и прочего... Я человек с крупными запросами... Я — зеркальным шкафом интересуюсь».

Вообще «Уважаемые граждане» Зощенко по своему пафосу, по своей идейной направленности очень близки «Клопу» Маяковского. И там и здесь обличение советских мещан, тех «поразительных паразитов», которые, как говорит Маяковский, «били жен и при этом клялись Бебелем» и, хотя «стригли Толстого под Маркса», все же по своей внутренней сущности были подобны клопам.

«Некоторые думают, — говорит меланхолически Зощенко, — что если они не воруют, так они уже новые люди. А другие оклеивают свою комнату новыми обоями, и тоже их заполняет гордость, что они могут теперь называться представителями нового социалистического быта».

Видя, как прочно укоренились в советском быту эти растленные люди, оправдывающие антимещанскими фразами мещанское свое негодяйство, Зощенко, моралист и сатирик, воссоздал в своих книгах без всяких прикрас их «мерзопакостный» мир.

Критики, требовавшие, чтобы наша новая жизнь изображалась как некий Эдем, в который будто бы мгновенно превратилась вся многогрешная и нищая Русь, могли сколько угодно твердить о пасквильянтстве писателя. Вдумчивые читатели хорошо понимали, что превращение вчерашнего раба в человека есть очень долгий процесс и что, обличая мещан, ловко приспособившихся к новой действительности, Зощенко тем самым выражал свое глубокое уважение к ней.

Вот какими хотел бы он видеть подлинных (а не фальшивых) советских граждан, живущих в подлинном (а не в фальшивом) советском быту:

«Рисуеться замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. И мягкость нравов. И любовь к ближним, и отсутствие брани и грубости». Главной помехой на путях обновляемой жизни он, как и Маяковский, считал всех этих Сисяевых, Присыпки-

ных, Чучеловых, продолжающих и в новом облиции свою прежнюю клопину жизнь.

А критикам, обвинявшим его в клевете на современную жизнь, он отвечал без обиняков, напрямик. В новелле «Сирень цветет» он обращается к ним с такими словами: «Вот,— говорит он,— один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают. И ручки ей лобзают. И вот, конечно, арестовывают хозяина, инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не пухнет. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобзает. И вообще пугаются, как бы эти бывшие знакомые не кинули на них тень...»

«Ну что?— спрашивает писатель.— Может быть, это клевета? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора, пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто ну пустяки получают».

Конечно, эта гневная отповедь нисколько не утихомирила критиков. Дерзость писателя, отказавшегося видеть «красоту и величие» там, где «в каждую минуту нашей жизни» (подумать только: в *каждую* минуту!) ему видится вероломство и злая корысть, показалась им до того возмутительной, что они еще громче, чем прежде, объявили его сатиры фантастикой. Один из них с сердитым недоумением спрашивал:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Как-то в это самое время мы проходили с Михаилом Михайловичем по Литейному в сторону Невского. К нам подошел незнакомый субъект и накинулся на него с тем же упреком:

— Где вы видели такой омерзительный быт? И такие скотские нравы? Теперь, когда моральный уровень...

Он не договорил — потому что в эту минуту случилось небольшое событие, которое, как это ни странно, послужило косвенным ответом на его укоризны. Жизнь как будто нарочно постаралась создать «ситуацию», удивительно схожую с теми, какие Зошенко изображал в своих сатирах.

Мы в этот миг проходили мимо большого четырехэтажного дома, и вдруг прямо к нашим ногам упала откуда-то с неба ошипанная, обезглавленная, тощая курица. И тотчас из форточки самой верхней квартиры высунулся кто-то лохматый, с безумными от ужаса глазами и выкрикнул отчаянным голосом:

— Не трожьте мою куру! Моя!

Прохожих на Литейном было много. Время стояло уже не слишком голодное, но каждый прохожий глядел на курицу с таким вожделением, что мы оба сочли своим долгом защищать ее до последней минуты, чтобы она могла благополучно вернуться к своему обладателю.

Вот наконец и он. Выбегает из подворотни без шапки. Хватает курицу и, даже не взглянув на толпу, вскакивает, к нашему изумлению, на подножку трамвая и мгновенно исчезает вместе с курицей, потому что как раз в этом месте трамвай круто сворачивает на Симеоновский мост.

Не успели мы догадаться, что сделались жертвой обмана, что *схвативший курицу вовсе не тот человек, который кричал из окна*, как этот человек налетел на нас ястребом, непоколебимо уверенный, что мы-то и есть похитители курицы и что мазурик, так ловко надувший и нас, и его, на самом-то деле наш сообщник.

В толпе выразили такое же мнение, особенно те, что хотели сами овладеть этой курицей.

Вся сцена была словно выхвачена из зощенковских «Уважаемых граждан».

Когда наконец нам удалось ускользнуть от раздраженной толпы, обвинявшей нас в похищении курицы. Зощенко усмехнулся своей медленной, томной, усталой улыбкой и тихо сказал обличителю:

— Теперь, я думаю, вы сами увидели...

В голосе его не было ни торжества, ни злорадства. Лицо у него странно потемнело, и походка стала еще более похожа на чаплинскую — трудная и грустная походка обиженного жизнью человека.

И я уже не впервые заметил, что, когда ему пришлось каким бы то ни было образом сталкиваться с уродством «клопиного быта», он испытывал тяжелую боль. Он так и написал в «Голубой книге» о своей профессии сатирика: она «утомляет ум, предрасполагает к меланхолии... портит характер...».

Впрочем, характер его ничуть не испортился. Напротив. К этому времени уже почти ничего не осталось от того высокомерного, «шершавого» и даже как будто заносчивого Зощенко, каким мы знали его в студийные годы. Он стал мягче в обращении с людьми, более приветлив, уравновешен и прост.

Слава подействовала на него благотворно: во всех своих словах и поступках он сделался увереннее, спокойнее, тверже и четче. Чувствовалось, что все эти качества достались ему как достойный итог его длительной работы над собою, над своим трудным и сложным характером.

Какие суровые моральные требования он стал уже в самом начале тридцатых годов предъявлять к себе и к своему дарованию, видно из того чудесного письма, которое написал он А. М. Горькому 30 сентября 1930 года.

«Я,— говорит он в письме,— всегда работал по самым мелким журналам и всегда старался удерживаться «от высокой литературы». Сейчас я, например, работаю на заводе в стенной цеховой газете и в печатной заводской. Я сам вызвался на эту работу для того, чтобы видеть всю жизнь и принести какую-нибудь пользу, так как, сколько я понимаю, художественная литература сейчас мало существенна и мало кому требуется...

Меня часто ругают за эту мелкую и неуважаемую форму, которую я избрал. Но я, хотя и начал литературу иначе, пошел все же на это дело в полном сознании, что так требуется, ожидая при этом всяких себе неприятностей...»

«Меня,— говорит он дальше,— всегда волновало одно обстоятельство. Я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то... если так можно сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали стихи о цветках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. И тут что-то такое страшно запущено.

И все это заставило меня заново перекраивать работу и пренебречь почтенным и удобным положением»¹.

¹ Горький и советские писатели: Неизданная переписка//Лит. наследство. Т. 70. С. 162.

Когда один толстый журнал потребовал у него рассказов «высокого стиля», он наотрез отказался.

«Бог с ними,— думаю я (говорит он в автобиографической повести),— обойдусь без толстых журналов»¹.

И стал помещать в юмористическом листке «Бегемот» фельетоны на злобу дня под простодушным псевдонимом Гаврилыч. Вскоре для массового читателя Гаврилыч сделался родным человеком. Материалы для своих фельетонов Зощенко черпал из множества писем, присылаемых в редакцию на имя Гаврилыча с разных концов государства. Мне случалось видеть его за этой работой. Бодрый, приветливый, весь какой-то праздничный, нарядный, он с утра приходил на Фонтанку в дом «Красной газеты», где ютился тогда «Бегемот»,— приходил в легонькой кепке и с тросточкой,— присаживался к большому столу, на котором беспорядочной грудой были навалены корявые, дремучие, чаще всего дико безграмотные послания к Гаврилычу, полные воплей и жалоб незаконно обижаемых людей. Каждое письмо он прочитывал очень внимательно, не пропуская ни строчки, после чего тотчас же брался за перо, придвигал к себе узкие полоски шершавой бумаги и писал с необычайной быстротой. Не проходило и получаса, как тот или иной разгильдяй, или самодур, или плут был безжалостно ошельмован Гаврилычем. Многие из этих сатирических очерков оказывались подлинными шедеврами юмора. Самая быстрота их создания всегда восхищала меня. Зощенко писал их прямо набело, без помарок, в один присест, среди редакционного шума и гама.

Едва только успевал он закончить последние строки Гаврилыча, его ташили к другому столу — нужно было сочинить подписи под карикатурами, идущими в номере, да разбросать по страницам несколько смешных мелочишек, да проредактировать чью-то статью².

Едва только Михаил Михайлович заканчивал работу в «Бегемоте», за ним приходили с нижнего этажа из редакции «Красной газеты» — нужно было спешно исправить скучноватый репортерский отчет да внести «изюминку» в чей-то очередной фельетон. Всю эту чер-

¹ Зощенко М. Перед восходом солнца // Октябрь. 1943. № 6. С. 86.

² Существуют такие номера «Бегемота», в которых буквально на каждой странице ощущается присутствие Зощенко.

ную, неприметную, неблагодарную работу Зошенко исполнял с удовольствием. Здесь он чувствовал себя в своей стихии и работал, что называется, засуча рукава. Когда будет издано полное собрание его сочинений, я думаю, надо будет отвести целый том для его — подписанных и анонимных — «газетно-бегемотных» статей.

Повседневное общение с массовым, внелитературным читателем доставляло ему явную радость.

Проходило часа три, даже больше. Зошенко, ничуть не утомленный, в приподнятом настроении духа, уходил, помахивая легкомысленной тросточкой, и всякому, кто встречал его в это время на Фонтанке, на Невском, он казался беззаботным фланером. Между тем он шел к себе на Сергиевскую, чтобы снова засесть за работу над каким-нибудь рассказом или повестью.

В те годы он писал очень много, по целым дням не разгибая спины. И, очевидно, работа бодрила его. Именно в эту эпоху бывали такие периоды, когда он казался почти благодушным, в полной гармонии и с собою, и с миром. У него завелось очень много друзей, особенно в театральной среде. Слава его возросла еще более. «Зошенко невероятно читаемый автор», — свидетельствовал Николай Тихонов в журнале «Звезда»¹. Стоило ему появиться на каком-нибудь людном сборище, и толпа начинала глазеть на него, как глазела когда-то на Леонида Андреева, на Шаляпина, на Вяльцеву, на Аркадия Аверченко.

Но популярность не тешила Михаила Михайловича. Он не поддавался ее дешевым соблазнам и по-прежнему предпочитал оставаться в тени. Как-то, когда мы сидели с ним на скамейке в Сестрорецком курорте «на музыке», подошла к нему какая-то застенчивая милая женщина и стала выражать ему свои нежные читательские чувства. Зошенко не дослушал ее и сказал ей «по методу Гоголя и Репина»:

— Вы не первая совершаете эту ошибку. Должно быть, я действительно похож на писателя Зошенко. Но я не Зошенко, я — Бондаревич.

И, повернувшись ко мне, продолжал начатый разговор.

О таких же случаях рассказывал мне впоследствии его верный оруженосец и друг Валя Стенич, талантливый

¹ Звезда. 1930. № 3. С. 217.

вый переводчик иностранных романов, преданный литературе до страсти и отдававший всю душу своему любимому «Мише» (они были на «вы», но называли друг друга «Миша» и «Валя»).

По словам Стенича, Зошенко где-то в Крыму, на курорте, прожил целый месяц инкогнито под прикрытием фамилии «Бондаревич», спасаясь от докучливых поклонников обоего пола.

Зато в этом же самом сезоне было обнаружено пять или шесть самозванцев, которые на разных курортах выдавали себя за Зошенко и получали от этого изрядные выгоды. Один из «Зошенок» на волжском пароходе покорила сердце какой-то провинциальной певицы, которая через несколько месяцев предъявила свои претензии Михаилу Михайловичу и долго преследовала его грозными письмами. Лишь после того, как Зошенко послал ей свою фотокарточку, она убедилась, что герой ее волжского романа — не он.

В ту пору я часто встречался с Михаилом Михайловичем, захаживал к нему иногда. Рабочая его комната была обставлена по-спартански, без признаков роскоши, но в доме ощущалась зажиточность. Было видно, что нужда, преследовавшая Михаила Михайловича в начале двадцатых годов, уже далеко позади. И вообще жизнь его в ту пору казалась безоблачной. Критика наконец-то стала благосклонна к нему¹. Строгая его принципиальность, которая так явно выразилась в его многозначительном письме к А. М. Горькому, мало-помалу завоевала ему уважение литературных кругов Ленинграда.

Как раз в это время, в период «Бегемота» и Гаврилыча, произошел один небольшой эпизод, показавший, что Зошенко не только в статьях и рассказах, но и в реальной действительности жаждет быть исправителем нравов.

Жил тогда в Ленинграде один литератор, довольно способный, но гаденький. Звали его Тиняков. Когда-то он сочинял очень неплохие стихи в неоклассическом стиле, но потом стал сотрудничать в черносотенных громных листках. Потом ударился в похабщину и стал торговать из-под полы непристойными виршами.

¹ См., например, журнальный отчет о диспуте, посвященном его сочинениям: «Чей писатель Михаил Зошенко?» (Звезда. 1930. № 3. С. 206—219).

Потом нашел себе другую профессию: повесил на шею плакат, начертал на нем крупными буквами слово «ПИСАТЕЛЬ» и встал на Литейном проспекте в позе стыдливого интеллигентного нищего.

Весь его облик был в полном соответствии с вывеской: волосы до плеч, бородка клинышком, в глазах благородная гражданская скорбь. И в довершение типичности: фетровая мягкая шляпа да изодранный по-рыжелый портфель.

Деньги так и сыпались к писателю: сердобольные старушки, инвалиды, учителя и учительницы — люди, которые были гораздо беднее его, — охотно отдавали ему свои последние деньги.

Было ему в то время лет тридцать семь, а пожалуй, и меньше. К вечеру, когда его рваный портфель был порядком отягощен медяками, он снимал свою бесстыжую вывеску и направлялся в закусочную, где услаждал себя дорогими питиями и яствами, недоступными для большинства ленинградцев. Это повторялось ежедневно из месяца в месяц.

Все мы видели этого нищего и брезгливо сторонились его.

Никто и не подумал о том, чтобы как-нибудь изменить его жизнь.

Но вот по Литейному прошел Зощенко (кажется, вместе со Стеничем), и на глаза ему попался Тиняков.

— Сколько денег, — сурово спросил он у нищего, — вы добываете в месяц при помощи этой комедии?

Тот задумался:

— Сорок червонцев.

— Вот вам двадцать за полмесяца вперед, — и сейчас же уходите отсюда! Не позорьте литературу... ступайте!

Нищий взял деньги, заулыбался, закланялся, снял с шеи свою вывеску и сказал деловито:

— За остальными я приду к вам в редакцию. Ровно через две недели...

Но, едва только Зощенко ушел от него, он снова напялил вывеску и вернулся на прежнее место.

Зощенко, увидев его на обратном пути, потребовал, чтобы он сейчас же ушел и не смел возвращаться сюда.

Нищий неохотно покорился.

По прошествии нескольких дней я, проходя со Стеничем мимо Летнего сада, увидел Тинякова у самых во-

рот, возле урны, с той же постной физиономией мученика, с той же вывеской и с тем же портфелем.

— Но ведь вы обещали Михаилу Михайловичу...

— Обещал насчет Литейного. И свято держу свое слово. А насчет Летнего сада у нас разговора не было!— ответил «писатель» с нагловатой усмешкой.— К тому же я продешевил... по наивности...

Впрочем, дело не в нем, а в Михаиле Михайловиче, который не мог допустить, чтобы звание писателя было втоптанно в грязь.

Когда я под свежим впечатлением заносил в свой дневник краткую запись о встрече с «писателем», мне и в голову не приходило, что она, эта встреча, будет впоследствии подробно описана Зошенко в одной из заключительных глав его автобиографической повести «Перед восходом солнца».

В этой главе, которая сейчас передо мною, нищий изображен превосходно — горячими, эмоциональными красками. Зошенко был потрясен его откровенным цинизмом.

Их встреча на Литейном, оказывается, была не последней.

«Я,— пишет Зошенко,— встретил Т[инякова] год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту». Хватая за руки прохожих и грубо бранясь, Т[иняков] требовал денег.

Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни».

«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ»

Возможно, эта встреча с Тиняковым побудила Зошенко написать осенью 1930 года повесть о поэте Мишеле Сиянгине.

«Он больной, старый, усталый...» «Он нищий и бродяга...» «Он стал просить милостыню...» «У него рваное и грязное тряпье на плечах...»

Вообще человек, «потерявший человеческий облик», стал в ту пору, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, буквально преследовать Зошенко и занял в его творчестве чуть ли не центральное место.

Этот образ постоянно маячит в его книге «Сентиментальные повести». К книге лучше всего подошел бы подзаголовок: «Книга о загубленных людях, утративших человеческий облик».

По ее страницам проходят один за другим затравленные, отчаянно одинокие люди, отверженцы прочно слаженной обывательской жизни. В каждой из этих повестей (а также в рассказе «Коза») Зошенко вдумчиво и подробно исследует все обстоятельства, которые с неизбежностью фатума привели их к бессмысленной гибели.

«Сентиментальные повести» — такое же проклятие «сволочному» и страшному миру современных мещан, что и книга «Уважаемые граждане» (со всеми примыкающими к ней циклами юмористических очерков).

Но там он выступал против ненавистного ему мира со смехом, издевался, глумился над ним, а здесь он тоскливо размышляет о нем и делится своею тоскою с читателем. В отличие от «Уважаемых граждан», повествование ведется здесь замедленным темпом, со вступительными монологами автора, с его комментариями к изображаемому в книге событиям, — новый, неожиданный Зошенко, не такой, каким мы знали его по «Аристократкам» и «Баням».

Подводя в этой книге невеселый итог своим наблюдениям над обывательской жизнью, он раньше всего отмечает ее бесчеловечную лютость. И без всякого удивления пишет:

«Брат милосердия Сыпунов (брат милосердия! — К. Ч.) подошел к Володину и ударил его булыжником, вероятно, побольше фунта».

И рассказывает, как самую обыкновенную вещь, что этот же брат милосердия (брат милосердия!) раздобыл для какой-то женщины бутылку серной кислоты, чтобы она плеснула кому-то в лицо.

«Крой его, робя! Хватай! Здеся! Сюды, братцы, сюды загоняй! Бери его, братцы!» — кричит в этой книге толпа, с азартом преследуя свою тишайшую жертву.

И хотя в остальных повестях Зошенко не воспроизводит этих разбойничьих криков, читателю они слышатся здесь чуть не на каждой странице. Ибо здесь человек человеку — разбойник.

По всей книге проходят эти загнанные, неприкаянные, погибшие люди — и Аполлон Перепенчук, и Забежкин, и Котофеев, и Мишель Синягин, и Белокопы-

тов, все главные ее персонажи, и хотя причины их гибели издали могут показаться различными, но Зошенко отчетливо видит, что, в сущности, причина одна: страстная, ничем не истребимая вера в имущество как единственный фундамент человеческого счастья — вера, которая кажется им вполне совместимой с социалистическим строем.

В каждой повести движет людьми стяжательство, алчность, корысть, и Зошенко лишь тогда примиряется с ними, когда, пережив катастрофу, они освобождаются от хищнических своих вожделений, как это случилось с Забежкиным в рассказе «Коза». Разорившая его наглая бабища желает купить у него по дешевке пальто, которое он вынес для продажи на рынок, и вдруг он говорит ей, потупившись:

— Возьмите так, Домна Пантелеевна.

Это «возьмите так», этот полный отказ от стяжательства, противоречащий всем «идеалам» и «принципам» алчного мира, знаменует собою для Зошенко победу раздавленного жизнью человека над корыстной стихией мешанства.

На последних страницах повести, едва только Забежкин произнес свое «возьмите так», он становится для автора праведником с просветленной душой.

Недавно я перечитал эту книгу. Она по-прежнему для меня обаятельна. Меня снова обрадовала самообытность ее многосложного стиля, в котором ирония сочетается с лирикой, озорство и дурачество — с глубокой серьезностью, скептический, насмешливый тон — с задушевым. И над всем доминирует щемящая жалость, сокрытая в подтексте так глубоко, что иной неопытный читатель даже не приметит ее. Тем более что Зошенко, словно стыдясь своей жалости, то и дело напускает на себя равнодушие, постоянно уверяя читателей, что его несколько не волнует жалкая судьба этих пустяковых людей. Чтобы лучше скрыть свои эмоции, он часто прибегает к пародии, вводя в повествовательную ткань пошловатые штампы старых повестей и романов:

«Ужасная бледность покрыла ее лицо».

«Гнев зажегся в ее глазах».

«Было прелестное майское утро».

А порою столь же издевательски передразнивает «загогулистый» стиль модных в те времена беллетристов:

«Море булькотело... Трава немолчно шебуршала... Девушка шамливо и раскосо капоркнула».

Но даже этот пародийный фальцет не в силах скрыть его подспудное чувство, потому что оно проявляется в лирике. Это самая лирическая книга из всех, какие написаны Зощенко. Помню, живя в Сестрорецке, я пришел к нему как раз в ту минуту, когда он закончил свою «Страшную ночь», и он прочитал мне ее своим медленным, ровным, певучим, задумчивым голосом. Я воспринял ее как стихи — так ритмически звучала эта проза. И я еще сильнее ощутил музыкальность причудливой книги, которая из-за своей многостильности осталась почти недоступной элементарным вкусам той обширной толпы, которая видела в Зощенко своего развлекавателя. В автобиографических записках он сам вспоминает, что, когда он попробовал было выступить перед этой публикой на какой-то эстраде с чтением одной из своих наиболее серьезных вещей (очевидно, с «Сентиментальной повестью»), ему грубо закричали из зала:

— «Баню» давай... «Аристократку»... Чего ерунду читаешь!

«Ах (с тоскою подумал он), если б мне сейчас пройти на руках по сцене или прокатиться на одном колесе — вечер был бы в порядке»¹.

Именно этого и требовала от него та толпа, которую он клеймил в своих книгах.

Замечателен язык «Повестей». Он сильно отличается от того языка, какой воссоздан в «Уважаемых гражданах». Это почти литературный язык, но — с легким смердяковским оттенком: «какой фазой земля повернется в геологическом смысле», «а супруга невесть где бродит по случаю своей красоты и молодости...» Это язык полуинтеллигента тех лет, артистически разработанный Зощенко во всех своих оттенках и тональностях.

Здесь второе новаторское открытие писателя — словарь и фразеология современных ему полукультурных людей («уважаемые граждане» совсем некультурны). Он не только изучил этот язык, он сделал его своим, и в то время ему одному было дано извлекать из этого нелепого наречия столько блистательных литературных эффектов.

¹ Зощенко М. Перед восходом солнца // Октябрь. 1943. № 6. С. 89.

Писатель большой темы, большого гражданского чувства, большой, встревоженной, не знающей успокоения совести,— таким встал пред нами Зощенко в этой знаменательной книге.

Поэтому таким отъявленным вздором показались мне безумные строки, посвященные ему в «Литературной энциклопедии» 1930 года:

«Анекдотическая легковесность комизма, отсутствие социальной перспективы отмечают творчество Зощенко мелкобуржуазной и обывательской печатью».

Назвать обывателем самого ярого врага обывательщины можно было только при полном пренебрежении к истине.

БЕДА И ПОБЕДА

Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.

Мих. Зощенко

Простим угрюмство. Разве это Сокрытый двигатель его?

Ал. Блок

1

В 1931 году я надолго уезжал из Ленинграда. А когда воротился домой и встретил Михаила Михайловича, меня поразила происшедшая с ним перемена. Он сильно поблек и осунулся. Красота его как будто полиняла. Я стал расхваливать его «Сентиментальные повести». Он слушал неприязненно, хмуро, и, когда я сказал, что они особенно дороги мне изобилием разнообразных душевных тональностей, из-за чего эту книгу не может понять бесхитростный, неискушенный, наивный читатель, он заявил, что это-то и плохо в его повестях, что он ненавидит в себе свою сложность и отдал бы несколько лет своей жизни, чтобы стать наивным, бесхитростным.

При всякой нашей встрече он возвращался к этому разговору опять. Он говорил, что ему отвратителен его иронический тон, который так нравится литературным гурманам, что вообще он считает иронию пороком, тяжелой болезнью, от которой ему, писателю, необходимо

лечиться. Потому что для демократического читателя, к которому он и обращается со своими писаниями, выше всего — здоровая ясность и цельность души, простота, добросердечие и радостное приятие мира.

«Прежде чем взять в руки перо, я должен перевоспитать, переделать себя — и раньше всего вылечить себя от иронии, которую во мне пробуждает хандра».

Хандра действительно была проклятием всей его жизни. Теперь, к середине тридцатых годов, он окончательно утвердился в той мысли, что она-то и мешает ему, писателю, изображать жизнь во всем ее блеске и что усилием воли он должен преодолеть эту хворь. Только тогда у него будет право на творчество. С завистью цитировал он Анну Ахматову:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А хандра у него и в самом деле была свирепая, и мне довольно часто случалось ее наблюдать.

Приведу одну выписку из моего дневника от 2 ноября 1929 года.

«Я сидел у себя в комнате и, скучая, томился над корректурными гранками. Вдруг телефонный звонок. Настойчивый голос Михаила Кольцова:

— Хотите посмеяться? Бросьте все и приезжайте ко мне в «Европейскую». Ручаюсь: нахохочетесь всласть.

Я бегу что есть духу в гостиницу — сквозь мокрые вихри метели — и, чуть только вхожу к Михаилу Ефимовичу в большую теплую и светлую комнату, чувствую уже на пороге, что сегодня мне и вправду обеспечена веселая жизнь: на диване и на креслах сидят первейшие юмористы страны — Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров.

И тут же Кольцов, их достойный собрат.

Он, как всегда, возбужден. Шагает на высоких каблучках по ковру от двери к окну и обратно. Присядет на минуту, отхлебнет из стакана и снова начинает шагать. Невысокого роста, подвижный, худощавый, он очень похож на подростка, который только притворяется взрослым. Загруженный десятками ответственных дел — он и дипломат, и писатель, и авиатор, и глава одной из крупнейших издательских фирм, он часто

страдает мигренью, часто бывает озабочен, заторможен, издерган, но сквозь все его заботы и тяготы всегда готово пробиться веселье, особенно среди близких его сердцу людей. Порою мне кажется, что, если бы не эти просветы веселости, ему никогда не осилить бы столько тяжелых работ.

Сейчас он возбужден, как молодой режиссер за минуту до поднятия занавеса, и я по глазам его вижу, что он ждет каких-то чрезвычайных утех. Шумно приветствует запоздавшего Леонида Утесова и, потирая руки (его излюбленный жест), приступает к организации «веселого вечера».

— Итак, мы начинаем!— говорит он, взглянув на часы.

Но ничего не происходит. Все молчат.

Я раскрываю «Чукоккалу» (свой рукописный альбом-альманах), чтобы запечатлеть на ее страницах и сохранить для потомства шедевры искрометного юмора, которые сейчас будут созданы здесь, в этой комнате.

Но записывать нечего: чем усерднее старается Кольцов расшевелить знаменитых юмористов и комиков, тем упорнее они хранят молчание. Жуют бутерброды, пьют чай и даже не глядят на Кольцова.

Я встречался с Ильфом и Петровым в Москве (Кольцов и познакомил меня с ними как раз в период «Двенадцати стульев»). Там они каждую свободную минуту напропалую резвились, каламбурили, острили без удержу и однажды в Сокольниках стали, перебивая друг друга, выдумывать столько шутейных историй о некоем самовлюбленном самодуре, возглавлявшем один из лучших московских театров, что я, изнемогая от смеха, рухнул на молодую траву. Даже штраф, который мне тут же пришлось уплатить, не прервал этого припадка веселости.

А теперь они оба нахохлились над стаканами остывшего чая и сумрачно глядят на угрюмого Зошенко, который сидит в уголке и демонстративно молчит, как тот, кто, страдая зубами, дал себе заранее слово во что бы то ни стало не стонать и не хныкать, а дострадать до конца.

Он пришел на этот праздничный вечер такой нахмуренный, кладбищенски мрачный, что впечатлительные Ильф и Петров сразу как-то завяли и сникли. «Да-

же улыбнуться и то невозможно в присутствии такого страдальца».

Чтобы хоть чем-нибудь отвлечь Михаила Михайловича от его горестных мыслей, я кладу перед ним «Чукоккалу», которая нередко смешила его. Он даже позаимствовал из нее несколько строк для своего известного рассказа «Дрова». Но теперь он оцепенело глядит на нее, словно не понимая, откуда она взялась на столе. И только перед самым уходом набрасывает в ней грустную записку, которая начинается так:

«Был. Промолчал 4 часа...»

В записки чувствуется атмосфера «угрюмства» и вялой апатии, которая нежданно-негаданно воцарилась на этом хорошо организованном «вечере смеха». То, что написали в альманахе другие, носит такую же печать тяжелой скуки или хуже: насильственной резвости. «Вечер смеха» оказался самым скучным и томительным вечером, какой я когда-либо проводил в своей жизни.

Присмиревшие, словно виноватые в чем-то, мы тихо ушли из гостиницы. Кольцов был опечален и даже как будто сконфужен. Он один не поддавался этому гипнозу уныния. Сейчас он звонил мне. Оказывается, едва попрощавшись с гостями, он потребовал себе крепкого кофе и стал писать для «Правды» очередной фельетон»...

Такова запись в моем дневнике от 2 ноября 1929 года, на следующий день после этого грустного вечера.

2

Из автобиографической повести Михаила Михайловича мы узнали, сколько горя и бед принесли ему с юности эти припадки «угрюмства».

«Когда,— пишет он,— я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.

Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской...

...Уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.

Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч... Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках.

Хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не зная почему... Я хотел умереть, так как не видел иного исхода»¹.

В той же автобиографии он сообщает, что, когда Горький впервые увидел его, он спросил с удивлением: «Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?»²

С таким же вопросом обратился к нему Маяковский: «— Я думал, что вы будете острить, шутить, балагурить... а вы...

— Почему же я должен острить?

— Ну юморист!.. Полагается... А вы...»³

Когда «угрюмство» слишком донимало его, он уходил от семьи и ближайших друзей.

Как-то я зашел к нашему общему знакомому фотографу в его ателье на Невском, и фотограф сказал мне таинственным шепотом, что у него в мансарде, тут, за перегородкой в соседней клетушке, скрывается Зоценко. «Вторую неделю не бреется... сам себе готовит еду... и чтобы ни одного человека! Сидит и молчит всю неделю».

Вот эту-то злую болезнь Зоценко и решил раньше всего победить. Или, по его выражению, «выкорчевать из своего организма», мобилизовав ради этого все свои душевные силы. Не только потому, что она причиняла ему столько мучений, а потому главным образом, что считал ее опасной и вредной для своего творчества, для своих будущих книг. В эту пору он не раз уверял, что писатель *обязан* быть жизнелюбивым, духовно здоровым, братски расположенным к людям, что норма его мировоззрения — не ирония, не скепсис, но бодрый и горячий оптимизм. Иначе его писания будут клеветой на жизнь, искажением действительности.

И каких только он не делал усилий, чтобы принудить себя к жизнелюбию! В те часы, когда его тянуло в уединение, он заставлял себя идти к веселящимся людям и с ними разделять их веселье. Когда ему хотелось тишины, он выбирал себе такое жилье, за стеною которого бесцеремонный сосед ежедневно целыми часами учился играть на трубе. (Он сам говорил мне об этом в 1933 году.)

¹ Зоценко М. Перед восходом солнца // Октябрь. 1943. № 6. С. 60—61.

² Там же. С. 85.

³ Там же. С. 89.

В основе всех этих поступков лежала уверенность, что человек есть хозяин своей судьбы, своей жизни и смерти, что стоит ему захотеть — и он преодолет любую беду. Нужно только, чтобы человек произвел «капитальный ремонт» своей личности — организовал «собственными руками» свое физическое и душевное здоровье.

С восхищением говорил он о Канте, который «силой разума и воли» прекращал свои тяжелые недуги; а также о Пастере, которому удалось — опять-таки громадным напряжением воли — вернуть себе не только здоровье, но и молодость. Нужно не поддаваться болезни и, следуя примеру мудрецов, преодолевать те безрадостные вкусы и склонности, которые диктуются человеку болезнью.

В эти годы он производил впечатление одержимого: ни о чем другом не мог говорить.

— Корней Иванович, я уже совсем излечился! — сказал он мне однажды с торжеством, но лицо у него было измученное, а в глазах по-прежнему таилось угрюмство. — Я стал оптимистом, я раскрыл наконец свое сердце! (Последнюю фразу я запомнил буквально.)

Это было в Сестрорецке. Я зашел за ним для нашей обычной прогулки и увидел, что вся его рабочая комната буквально завалена книгами, чего прежде никогда не бывало. И книги были специальные: биология, психология, гипнотизм, фрейдизм. Всю дорогу он говорил исключительно на медицинские темы, а когда мы вернулись с прогулки, дал мне книгу некоего велемудрого немца в переводе на русский язык. Многие строки в ней были густо подчеркнуты, и, естественно, читая эту книгу, я вообразил, будто Зоценко подчеркнул те места, которые показались ему наиболее комическими: перевод книги был забавно коряв. Возвращая книгу, я сказал Михаилу Михайловичу, что действительно книга смешная и что меня особенно насмешили те строки, которые подчеркнуты им.

— Смешная? — спросил он с удивлением и даже как будто с обидой. — Да ведь это одна из самых серьезных и поучительных книг.

Вообще обо всем, что касалось его излюбленной темы — о самоисцелении тела и духа, — он говорил без тени улыбки, словно и не был никогда юмористом.

Когда я сказал ему, что для меня его книга «Возвращенная молодость» есть произведение большого искусства, он нетерпеливо насутился:

— Искусства? И только искусства?

Он жаждал поучать и проповедовать, он хотел возвестить удрученным и страждущим людям великую спасительную истину, указать им путь к обновлению и счастью, а я, нисколько не интересуясь существом его проповеди, восхищался ее замечательной формой, ее красотой.

— Ваша книга — уникал! — говорил я ему. — Вы создали произведение небывалого жанра: бытовую повесть в гармоническом, живом сочетании с физиологией, астрономией, историей. Такой книги еще не знала мировая словесность. И притом мастерство...

Он хорошо знал цену своему мастерству, но сейчас ему хотелось услышать, как подействовала на меня его проповедь.

— Никак не подействовала, но ваше искусство...

Он сердито взглянул на меня и, замолчав, повернулся к окну.

Мы ехали в поезде в одном купе из Ленинграда на юг, и лишь после того, как мы миновали Москву, он мало-помалу возобновил разговор и снова стал с увлечением рассказывать, какими сложными и многообразными способами добился он трудного умения управлять своей психикой и обеспечил себе навсегда душевное здоровье, равновесие.

— Ни иронии, ни уныния во мне уже нет, — повторил он, но в глазах его не было радости.

Я хотел сказать ему, что «Возвращенная молодость» при всем своем пафосе кажется мне иронической книгой.

В самом деле: на первых страницах автор обещает поведать читателям, как старый профессор усилием воли вернул себе утраченную молодость, но вместо этого мы узнаем, что омолаживание чуть не привело его к преждевременной смерти: вообразив себя юношей, старец вступает в любовную связь с некоей распутной красавицей, вследствие чего разбивает его паралич, — хороша «возвращенная молодость»!

Но я не сказал этого Михаилу Михайловичу. Слишком уж сильно хотелось ему верить в свою новооткрытую истину.

Глядя в поезде на его встревоженное, больное лицо, я с сокрушением думал: «И что это за странная участь у замечательных русских художников: почему, достигнув своим чудесным искусством всенародного признания и любви, они перестают полагаться на свой художественный дар и жаждут во что бы то ни стало учительствовать? Почему юморист, мастер смеха, вдруг отказывается смешить и смеяться, отказывается от своей привычной литературной манеры и отдает всю душу серьезным проблемам, которые считает наиболее существенными для благополучия и счастья людей?»

ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Прошло года два или три.

— Ну вот теперь я окончательно выздоровел, — радостно сказал мне Михаил Михайлович.

Встреча произошла в Ленинградском отделении Союза писателей. Вид у Зошенко и в самом деле был бодрый, на его загорелом лице не было и тени обычной апатии. С большим негодованием заговорил он со мною об одном возмутительном деле, которое тогда волновало нас всех. Какие-то злокозненные люди решили заставить одного из честнейших советских писателей — Алексея Ивановича Пантелеева, автора «Республики Шкид». Для этого была пущена в ход клевета: нашли какого-то халтурного писаку и подучили его заявить, будто Пантелеев ограбил его, похитил у него какой-то не то рассказ, не то очерк — и выдал чужое добро за свое...

Экспертами по этому делу вместе с Михаилом Михайловичем были Маршак и я, и, помню, мы оба не раз восхищались энергичными выступлениями Зошенко против влиятельных «деятелей», пытавшихся погубить Пантелеева...

Во все это время Зошенко производил впечатление совершенно здорового. Было похоже, что ему действительно удалось это чудо: победа над собою, над своей ипохондрией. Он так настойчиво, с таким неутомимым упорством требовал от себя оптимизма, радостного приятия жизни, без которого, по его убеждению, немислимо подлинное литературное творчество, что в конце концов достиг своего.

В ту пору он только об этом и мог говорить.

Тогда же — я зашел к нему на минуту из-за того же пантелеевского дела — он показал мне груды тетрадей и рукописей, аккуратно сложенных у него на столе.

— Это будет книга «Ключи счастья»,— сказал он, глядя на свои бумаги с нескрываемой лаской.— Это будет моя лучшая книга.

В тот год он писал очень много в разных жанрах, на разные темы, но его главной, всепоглощающей темой было: завоевание счастья.

Как-то он зашел ко мне на Кирочную за какой-то справкой о Некрасове и остался до позднего вечера — поговорить на любимую тему.

— Моя мать,— рассказывал он,— не раз упрекала меня, что у меня будто бы *закрытое* сердце. Но имеет ли право писатель писать, если у него закрытое сердце? Поэтому я раньше всего принял особые меры, чтобы сердце у меня распахнулось. Я загрузил себя общественной работой. Я стал писать добрые рассказы и повести о добрых людях и добрых делах.

Я знал эти «добрые» повести. Лучше бы он не писал их. Правда, они были искренни, написаны от чистого сердца. Но в них не было Зоценко, не было его таланта, его юмора, его индивидуального почерка. Их мог написать кто угодно. Они были безличны и пресны.

Он угадал мою мысль.

— Зато,— сказал он,— я каждое, каждое утро просыпаюсь теперь счастливым. Каждый день для меня праздник, день рождения. Никогда я не испытывал таких приливов безграничного счастья.

И он стал называть имена врачей, которые в один голос признали, что от его болезни не осталось следа.

И произнес — почти без изменений — те самые слова, которые через несколько лет я прочитал в его книге:

«Я должен (замечательно здесь это «должен») — я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо. И бороться, если плохо. Не хандрить! Когда даже насекомое, которому дано всего четыре часа жизни, ликует на солнце! Нет, я не мог родиться таким уродом!»¹

Стыдно признаться, я отнесся без большого сочувствия к той теме, которая волновала Михаила Михайловича. «Конечно,— говорил я себе,— прекрасна эта

¹ Зоценко М. Перед восходом солнца. С. 59—60.

попытка писателя победить в себе свое угрюмство силою науки и разума. Нельзя не восхищаться его оптимистической верой, что воля человека всемогуща, что путем контроля над собой, над своими страстями и склонностями, человек может исцелить свое тело и психику от самых тяжелых недугов. Все это так, но ведь недуги Михаила Михайловича нетипичны, исключительны, редкостны. Заинтересует ли его рассказ о победе над ними ту широкую читательскую массу, к которой он привык обращаться со своими писаниями? Ведь большинству читателей эти недуги не свойственны¹. Кроме того, автору придется придать своей книге личный, интимный характер, характер публичной исповеди, а это труднейший жанр, чуждый нашей современной словесности».

Повесть вышла значительно позже — в 1943 году, в самый разгар войны. Вместо прежнего названия («Ключи счастья») он дал ей новое: «Перед восходом солнца». В ней он с первых же строк заявил:

«...Это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым... Я сделал, в сущности, простую вещь — я убрал то, что мне мешало, — неверные условные рефлексy, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними». И т. д.

Обо всем этом я слышал от него много раз чуть ли не с середины тридцатых годов. В конце концов ему действительно удалось излечиться от своей ипохондрии, он стал бодр, оживлен и общителен. Едва началась война, он энергично включился в агитационную работу для фронта. Писал антифашистские рассказы, сочинял сценарии для солдатских спектаклей и страшно жалел, что порок сердца мешает ему пойти на боевые позиции.

Но главным оружием в борьбе с бесчеловечным фашизмом он считал свою повесть «Перед восходом солнца», которую ему не терпелось обнародовать для общего блага.

¹ В главе «С двух до пяти» он, например, сообщает, что этот радостный период детской жизни он провел в слезах и громких воплях. На пространстве двух страничек мы читаем: «Я плачу громче»; «Невероятный крик. Это я кричу»; «Кричу и плачу»; «С криком ужаса я убегаю»; «Я отчаянно реву»; «Ужасным голосом я кричу»; «Я проснулся. Кричу», и т. д. (Октябрь. 1943. № 8. С. 120—121). Нельзя сказать, чтобы это было типично для блаженного возраста от двух до пяти.

Краткие новеллы, которые в таком изобилии введены в ее текст, многозначительны, безусловно художественны. Здесь уже никаких притязаний на «сказ», никаких забот о курьезном и затейливом слоге. Даже те читатели, кого не интересуют научные медитации автора, не могут пройти равнодушно мимо таких рассказов, как «Двадцатое июля», «В подвале», «Умирает старик», «Нервы», «В саду», «Вор», «Предложение», «Финал», «Я люблю», «Двенадцать дней», «Эльвира».

В них такое свободное дыхание, такая непринужденная дикция, словно автор и не замечает своего мастерства.

Я сказал ему об этом при первой же встрече (в Москве в 1944 году) и прибавил, что рассказы эти нужно только вышелушить из общего текста.

— Как вы сказали? Вы-ше-лу-шить?— спросил он обиженным тоном, и губы его неприязненно сжались.— Вы-ше-лу-шить? То есть как это: вы-ше-лу-шить?

Но я и сейчас остаюсь при своем. Эти краткие новеллы как произведения искусства для меня гораздо дороже всей книги. Здесь Зошенко встает перед нами в новом, небывалом облики. Здесь он начисто отказался от той пряной, узорчатой, причудливо комической речи, которой он так виртуозно владел в своих «Уважаемых гражданах» и в других рассказах такого же стиля. Этот стиль был органически близок ему и создал его первую славу, но оказалось, что и вне этого колоритного стиля (который по праву называется зошенковским) он — умелец, силач.

Слишком уж горестны те эпизоды, о которых он здесь повествует, эти клочки воспоминаний о своей беспросветной и мучительной жизни,— и было бы дико, если бы, повествуя о них, он прибегал к стилизации, к причудливым словесным орнаментам. Здесь его язык незатейлив и прост, и в этой простоте его сила.

Научно-философская часть его книги не идет ни в какое сравнение с тою, которую он писал как художник. Здесь речь его туманна и расплывчата, а там она лаконична, прозрачна, гибка, выразительна.

Но, конечно, нельзя не отнестись с уважением к этим проповедническим, учительным главам, так как они внушены благородным желанием избавить людей от страданий. В эту свою высокую миссию он уверовал крепко, и она окрыляла его. Проповедник в его книге взял верх над художником — знакомая судьба типич-

ных русских талантов начиная с Гоголя и Толстого, отказавшихся от очарований искусства во имя непосредственного служения людям. Из зощенковской книги мы ясно увидели, что он — по всему своему душевному складу — принадлежит именно к этой породе писателей.

Знаю, что многим мое определение покажется неожиданным, странным. Зощенко до такой степени забытый писатель — совершенно неизвестный читателям, что до сих пор остается неведомой даже его основная черта: интенсивность его духовного роста. Он постоянно менялся, никогда не застывал на достигнутом, каждая новая книга знаменовала собою новый этап его психического и эмоционального развития. В каждой своей книге он — новый, совершенно непохожий на того, каким мы знали его по предшествующим его сочинениям. В двадцатых годах он — один, в середине тридцатых — другой, в сороковых годах — опять-таки непохожий на двух предыдущих. Он писатель многосторонний и сложный. Между тем читателям — даже лучшим из них — он представляется нынче чем-то вроде неудачного Аверченко — развлекательный, поверхностный, с мелкой душой. Читателей в этой ошибке невозможно винить. До них в настоящее время доходят лишь отдельные обрывки его сочинений — разрозненные, вне всякой связи с другими. Причем в последнее время стали появляться такие сборники его повестей и рассказов, словно их составители поставили себе коварную цель — убедить новое поколение читателей, что Зощенко был слабый и неумелый писатель. И они достигли этой цели: всякий, кто прочтет новый сборник, составленный из его наименее удачных вещей, непременно утратит интерес к его творчеству¹.

Чтобы узнать и полюбить это творчество, читателю необходимо иметь перед собою многотомного Зощенко, представленного хотя бы своими главными книгами: «Уважаемые граждане», «Сентиментальные повести», «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца», «Пьесы» и др. Только из совокупности всех этих книг перед нами возникнет подлинный

¹ К. И. Чуковский писал этот мемуарный очерк в первой половине 60-х годов, когда произведения М. М. Зощенко переиздавались еще крайне мало, а повесть «Перед восходом солнца» («Ключи счастья») не была напечатана до конца и в журнальном варианте.—
Ред.

образ этого большого писателя во всем своеобразии его дарования.

В последний раз я видел его в апреле 1958 года. Он приехал ко мне в Переделкино совершенно разрушенный, с потухшими глазами, с остановившимся взором. Говорил он медленно, тусклым голосом, с долгими паузами, и жутко было смотреть на него, когда он — у самого края могилы — пытался из учтивости казаться живым, задавал вопросы, улыбался.

Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях.

— Чем вы объясните, — спросил я, — вашу озорную привычку давать своим вещам те заглавия, какие уже есть в литературе? У Гете вы взяли заглавие «Страдания молодого Вертера», у Дюма — «Двадцать лет спустя», у Розанова — «Опавшие листья», у Блока — «Возмездие», у Чехова — «Нервные люди», у Мопассана — «Сильнее смерти». Мне чудится здесь сатирический — очень действенный и острый — прием.

Он только рукою махнул.

— Мои сочинения? — сказал он медлительным и ровным своим голосом. — Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения...

И перевел разговор на другое.

Я познакомил его с одним молодым литератором.

Он печально посмотрел на юнца и сказал, цитируя себя самого:

— Литература — производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил.

Через три месяца его не стало.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО¹

1

В 1919 году в литературной студии, которой руководил К. И. Чуковский, появился молодой человек небольшого роста с красивым, темным, как на матовой фотографии, лицом, по фамилии Зощенко. Он обратил на себя внимание своим болезненным видом, молчаливостью, некоторой упрямой обособленностью. Ходил он, опираясь на палочку. При этом в походке его замечалось иногда нечто чуть ли не фатоватое, а при случае и настороженно-гордое, готовое к отпору. Темный полувоенный костюм свой он носил с известным щегольством. Девушки немедленно нашли в нем сходство с князем Андреем из «Войны и мира» и очень быстро разузнали кой-какие подробности его биографии.

В рассказе «Рука ближнего» Зощенко писал: «Дозвольте изложить эту правдивую историю старому рубаке, участнику гражданской войны, бывшему полковому адъютанту восьмого образцового полка Деревенской Бедноты». В этих словах не выдумка, а истинная правда. Был Зощенко и рубакой, и адъютантом.

Сын известного художника-передвижника, он в 1915 году стал «офицером военного времени», как тогда называли некадровиков, был на фронте начальником пулеметной команды, командовал батальоном. Доброволец Красной Армии, он действительно был адъютантом полка Деревенской Бедноты. Контуженный, отравленный газами, больной пороком сердца, он после военной службы работал кролиководом и куроводом, милиционером, сапожником, агентом уголовного розыска, а в то время, когда студия с Литейного, где помещалась вначале, переехала во вновь организованный Дом искусств на углу Невского и набережной Мойки,

¹ Воспоминания. С. 110—128.

он служил в петроградском военном порту. У него была самая богатая биография из всех студистов. Во всяком случае, профессий он перепробовал больше всех. И вот двадцати пяти лет от роду он стал писателем.

В самом начале 1921 года он прочел нам, «Серапионовым братьям», один из первых своих рассказов. Рассказ назывался странно — «Рыбья самка», и были в нем такие слова: «Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу...» Печальный облик автора, его тихий, можно сказать — меланхолический голос как бы подчеркивали эту великую грусть, но в интонациях, в отдельных словечках звучала такая насмешка автора над своими героями, что мы невольно смеялись.

«Ой,— сказал поп и дверь прикрыл тихонечко...» Что было тут смешного? Но тон всего рассказа, самый выбор слов заставляли смеяться и запоминать иные, казалось бы, ничего особенно не заключающие в себе фразы. Они возникали где-то на гребне стилистической волны, как кульминация и вывод, подспудно подготовленные и обоснованные, и, может быть, потому и выделялись, оставались в памяти, получали значение общее.

Чем дальше, тем яснее и прозрачнее становился стиль Зощенко. Некоторые выражения его входили уже в наш обиход. Пока что — только в наш.

— Не для цели торговли, а для цели матери,— говорили мы, когда затевали какое-нибудь общественное дело.

На стук в дверь отвечали опять-таки из Зощенко:

— Entrez ¹, Машенька...

Зощенковский язык обволакивал, завораживал — уж очень он оказывался пригодным в самых разных случаях жизни.

Потом заговорил Назар Ильич господин Синебрюхов — герой первой книжки Зощенко:

— В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю. А вот из иностранных держав про Польшу знаю...

В шум, гром и сумятицу рождавшейся советской литературы вошел тихий, упрямый, крепнувший от рассказа к рассказу голос Зощенко, особый, свойственный только ему и никому больше. И мы, молодые той на-

¹ Войдите (фр.).

чальной поры, обрадовались этому свежему голосу, обещавшему еще не слышанную нами музыку.

Да, это была не какая-нибудь игра в литературу с фокусами и выкрутасами, это — всерьез, это вот и есть та самая настоящая, неподдельная художественная проза, самородная, подлинная, новая, говорящая о сегодняшнем, идущая от сердца, а не просто из чернильницы, и новизна ее соразмерена с реальной действительностью, растет из нее, а не носится оторванно от всего на свете, как какие-нибудь «ничевоки» или другие неслыханные новаторы тех времен. Так чувствовалось, когда Зошенко читал у нас свои рассказы.

В первых вещах его было больше печали, чем юмора, как будто автор сомневался, уместно ли смеяться в такое напряженное и трудное время. Он был словно несколько подавлен всем, что пережил, и не знал еще в точности, как распорядиться тем жизненным опытом, которым эпоха одарила его. Он вызывал чувство уважения к тому, что привелось ему испытать, желание помочь и некоторые опасения за его здоровье и жизнь.

К литературной работе он относился с величайшей серьезностью. На одном из первых наших собраний не помню кто — кажется, кто-то из гостей — заявил сгоряча после того, как Лев Луниц прочел свою пьесу «Вне закона»:

— Наконец-то я слышу здесь не пустяки, не детскую игру, а настоящее, подлинное литературное произведение!

А на прошлом собрании читал Зошенко!

Лицо у Зошенко почернело, он поднялся, схватился маленькой своей рукой за грудь и запротестовал. Можно как угодно оценивать то, что пишут другие, но обвинять в легкомыслии, в какой-то игре, в халтуре — это недопустимо! Зошенко имел вид бретера — вот-вот вызовет на дуэль!

Мы его очень поддержали, в том числе и Луниц. Но сразу же выяснилось, что гость не имел дурных намерений, что он просто неудачно выразился, что он очень просит извинить его...

Зошенко затих, посидел мрачный, молчаливый, потом губы его дрогнули, и он улыбнулся. В улыбке темные глаза его становились обаятельно-добрыми и показывались зубы ослепительной, редкостной белизны.

С того дня мы, чуть что, смеялись: «Зощенко обиделся!»

Улыбка преображала весь облик Зощенко. Чем больше он проникался доверием к нам, его новым товарищам, тем чаще она появлялась на его лице и тем больше давал он волю своему природному юмору и в разговорах своих, и в произведениях.

Он писал небольшие рассказы.

— Я на высокую литературу не претендую, — говорил он.

Слова «высокая литература» он произносил с подчеркнутой иронией, и возникали в воображении тома достопочтенной беллетристики, эпигонской, подражательной, способной приспособиться ко всему на свете, лишенной настоящего чувства и глубокой самостоятельной мысли, всего лишь имитирующей чувство и мысль, но при этом весьма претенциозной — «коммерчески приемлемой», как цинично выразился кто-то в те времена.

Зощенко в ту пору не раз заговаривал о том, что надо писать для народа, создавать народную литературу, и это были не просто слова. Чувствовалось, что это убеждение выращено всем его жизненным опытом. Доводя эту свою мысль до крайних пределов, Зощенко отказывался ставить свое имя на обложку, когда выходила его первая книжка «Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова». Историю издания этой книги хорошо рассказала в своих воспоминаниях Елизавета Полонская.

В 1922 году, после закрытия Дома искусств, Зощенко и я получили комнаты в другом отсеке того же дома, на пятом этаже, с входом со двора, с улицы Герцена. Мы попали в большую коммунальную квартиру, где жили люди самых разных профессий. Собрания «Серапионовых братьев» перенеслись из прежней моей комнаты в новую, из окна которой открывался во всю длину свою Невский проспект. Если в Доме искусств мы иной раз беспокоили своих почтенных соседей — писателей и художников — шумом споров о литературе, то тут мы оказались одними из самых тихих.

Чего только не случалось здесь! Скандал за скандалом. Милиционер часто появлялся в этой беспокойной квартире. Кухонные же склоки и свары на тему «чей ежик» происходили здесь постоянно, под этот крик и визг жили, как под неизбежный шум примуса. Здесь

проявлялись в мельчайших происшествиях смешные и страшные, горькие и злые черты. И здесь, в этой коммунальной квартире, Зощенко писал своих «Уважаемых граждан» и «Нервных людей», создавал тип, получивший тогда же свое название — «зощенковский персонаж». Так животворна была сила зощенковского таланта, что грустная и злая жизнь превращалась под его пером в поучительные, обличительные и в то же время вызывающие неудержимый хохот шедевры художественной прозы.

Юмористические рассказы быстро принесли ему широкую известность. Уже не в узком кругу, а в широких массах бытовали его выражения — «отвечай, как на анкету», «собачка системы пудель» и так далее, и так далее. «Зощенковский персонаж» в течение каких-нибудь четырех-пяти лет стал столь знаменит, что людей стыдили:

— Ты прямо из Зощенко! Вот ровно такой же!

Писал Зощенко в те годы много, рассказ следовал за рассказом. Вспоминаю, как он, посидев у меня, пошел по делам в своей кепочке (он так до конца дней и не сменил кепку на мягкую шляпу). И вдруг через какой-нибудь час, может быть даже меньше, стук в дверь, и он появился снова у меня в комнате. Он был несколько возбужден, улыбался, в глазах как бы застыл смех.

— Понимаешь,— сказал он с некоторым недоумением,— написал сейчас рассказ.

— Как так? Ведь ты же уходил...

— Да нет. На лестнице схватило, и пришлось вернуться. Все-таки, знаешь,— прибавил он вдруг,— это вроде болезни. Вообще от хорошей жизни писателем не становятся. Надо что-то претерпеть или вообще стать больным.

Смех в его глазах растаял.

Рассказ, который он написал тогда, был «Аристократка», одна из знаменитых его вещей.

В мелких страстях и страстишках мещанского микромира, в неожиданных и диких курьезах быта Зощенко находил и демонстрировал всем опаснейшие бактерии, отравлявшие жизнь и работу людей. Лицом к лицу со сквернами жизни, обличая их, он и сам иногда отравлялся, как отравляется рабочий на вредном производстве, например — свинцовыми белилами, или как исследователь в своей лаборатории — ядовитыми парами, или как доктор — видом ран и запахом гноя. Он

уединялся, мрачнел. Люди смеялись, читая произведения Зощенко, но автору было не до смеха — ядовитые испарения душили его, как газы на войне. Однажды в таком состоянии «отравления» он сказал мне:

— Где-то я читал, что Фонвизин, уже полупараличный, катался в тележке перед университетом и кричал студентам: «Вот до чего доводит литература! Никогда не будьте писателями! Никогда не занимайтесь литературой!» Надо спросить Чуковского, верно ли это.

Не знаю, право, чего больше в юмористических рассказах Зощенко — горечи или смеха. В таких, например, вещах его, как «Каменное сердце», льются слова до бешенства страстные.

Смех, грусть, горечь — все соткано воедино в сложной новизне его лучших произведений, в словесной вязи их. В «Истории болезни» он вдруг называет плакат воззванием, и это как нельзя лучше передает впечатление тяжело больного человека, ошарашенного грубым объявлением: «Выдача трупов от 3-х до 4-х». «Воззвание» — это громоподобно, оно бьет в уши. В этом же рассказе фельдшер говорит: «Если вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте». И это внезапное в разговоре с больным «что вряд ли» вместе со смехом вызывает буквально ужас. «История болезни» — один из тех рассказов Зощенко, в которых до предела доведено изображение грубости, крайнего неуважения к человеку, отчаянной некультурности, самодовольного невежества, душевной черствости, хамства. В таких своих превосходных и злых рассказах Зощенко выступал как подлинный гуманист и яростный обличитель, жестоко уязвленный пороками и уродствами человеческими. А если пересказать сюжет той же «Истории болезни», то он может показаться удивительно мелким, бледным, обыденным. Но Зощенко подымал самые обыденные сюжеты и «мелкие» происшествия до уровня высокого искусства — в этом его отличительная особенность, и в этом, кстати, замечательная традиция русской классической литературы. Достаточно вспомнить «Шинель» Гоголя.

Время нэпа было очень трудным, и многие сбивались, спотыкались, даже падали, теряя перспективу. Резко изменившаяся жизнь создавала в повседневных буднях драматические эпизоды, совсем непохожие на те, что возникали в накате гражданской войны, но зато

очень сходные с такими, которые случались в дореволюционные времена.

Мы обедали и ужинали обычно в кафе «Двенадцать». Это нэповское заведение помещалось на Садовой улице, недалеко от Невского, и название свое взяло от номера дома, а отнюдь не от поэмы Блока, как думали некоторые литераторы. Днем кафе это имело вполне благопристойный вид, вечерами же, часов после десяти, оно меняло свой облик. Появлялись воры, бандиты, подсаживались к столикам проститутки. Пьяный шум постепенно заполнял большой дымный зал. Музыканты во главе с маэстро рассаживались на эстраде в глубине и веселили пропойц и растратчиков модными шимми и дикси. Парочки направлялись по лестнице во второй этаж, в отдельные кабинеты. Сцены из жизни, отброшенной, казалось бы, навсегда в прошлое, возникали тут клочками и обрывками, как в кошмаре каком-то.

Однажды вечером к нашему столику, за которым мы поедали бифштексы по-деревенски, запивая их пивом, подошла высокая молодая женщина, худошавая, с тонким лицом и большими, словно раз навсегда удивленными глазами, в полосатой мужской кепке, в светлом жакете и короткой юбке. Она поздоровалась с Зощенко. То была его бывшая сослуживица по ленинградскому порту, машинистка. Но она уже не работала в порту.

— Меня уволили по сокращению штатов,— сообщила она.

Совершенно ясно было, чем она сейчас зарабатывает. Официант, низкорослый крепыш, чернявый, с усиками над губой-пиявкой, в прежние времена служивший, наверное, вышибалой в публичном доме, обратился к ней на «ты»:

— Чего тебе? Водки? Шампанского?

Бывшая сослуживица Зощенко не нашла ничего оскорбительного в его хамском тоне, такое обращение стало уже привычным для нее.

Зощенко, конечно, оборвал официанта, деликатнейшим образом повел себя с девушкой («как студент»,— заметил он потом без улыбки), но зла этим не исправишь.

Зло ходило по улицам, хамило, врывалось в дома и в души.

Иные бывшие герои спивались и, бия себя в грудь, кричали:

— За что боролись?

Другие хватались за отвлеченный, парадный, барабанный оптимизм, оторванный от живой жизни, но эта соломинка не спасала, не давала выхода.

Вообще по-разному путались люди в сложнейшей обстановке того времени, и многообразны были формы шатаний, сомнений, колебаний, разочарований, падений. Слова «обрастание», «разложение», «перерождение» определяли опасности, которые подстерегали в повседневном быту. Стойкость каждого испытывалась весьма жестоко и ежечасно.

В те годы голос Зошенко, его произведения звучали резким осуждением всем мерзостям. Зошенко мерил людей и жизнь высокой меркой, выстраданной им в его боевой биографии, и несоответствие многого в быту и нравах того времени этой мерке порождало его «смех сквозь слезы», его глубокую и горькую сатиру, имевшую очень точную социальную направленность. Зошенко принадлежал к тем, кто вступил в ожесточенную борьбу с пакостями жизни.

В личной жизни Зошенко отличался удивительной неприязнательностью. Когда появлялись у него деньги, он не берег их, раздавал, по большей части безвозвратно. Долго жил по коммунальным квартирам, хотя мог бы, став уже известным писателем, устроиться лучше. Отсутствие практицизма было у него изумительное, он совсем не умел заботиться о себе, о своих удобствах, сразу как-то уставал. В этом направлении у него не было никакой настойчивости.

— А ну его к черту!— говорил он и бросал едва начатые попытки как-то улучшить свое существование.

Он любил только изящно одеться, вот и все.

Подспудная печаль его юмористических рассказов очень явственно проступала в его жизненном облике и поведении. Эта горечь очень чувствовалась и многими читателями. Однажды я слышал, как один рабочий, беря книгу Зошенко, возразил библиотекарше:

— Это не просто смешные рассказы, над ними и плакать надо!

Никак не был похож Зошенко на присяжного юмориста-весельчака. Тем досадней и обидней было встречать отношение к нему как к этакому остряку-бодрячку, который обязан веселить общество. Мне это казалось попросту оскорбительным. А между тем и среди его поклонников находились люди, не понимавшие, что таится

за его юмористикой, какая «великая грусть» видится ему в авгиевых конюшнях нравов человеческих, какая плодотворная тоска мучает его. Один из таких поклонников, желая сказать Зоценко приятное, заявил однажды в застольном тосте:

— Аверченко у нас уже нет. Но есть Зоценко, который достойно заменил его.

Зоценко поднялся и ушел.

Бывало, что он уклонялся, убегал от ожидавшего его успеха. На вечер, который предложили нам устроить по случаю пятилетия «Серапионовых братьев», Зоценко не явился. Он прислал мне письмо: «Дорогой Миша, передай мои извинения всем товарищам за то, что я не был 3 числа в Доме печати. Я был в Детском и не мог приехать. Кроме того, все это время у меня плохое сердце. Вчера я даже послал телеграмму в Харьков, в Одессу и в Москву с отказом от выступления...» Так «дипломатически» начал он, но дипломатия не была сильной стороной его характера, и он закончил откровенно: «...если говорить правду, то сердце у меня не так уж плохое, даже хорошее, но просто ужасно не хотелось и не хочется выступать. Ты, надеюсь, меня понимаешь. Так пушай «серапионы» меня простят. Целую тебя. Твой Зоценко. 6/II 26».

А ведь его ждали овации. Он уклонился от триумфа.

Нет, не очень-то любил Зоценко свою славу юмориста. Да и вообще никогда не шел он навстречу успеху, славе. Он был вправе сказать позже в автобиографии: «Я никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия».

Он активно ненавидел в жизни то, что подвергал осмеянию в своих произведениях, слово и дело в этом смысле у него были слиты. И в творчестве своем он отнюдь не был только юмористом. Особые свойства его таланта, его характера сразу же, еще в студии, понял К. И. Чуковский, который всегда оставался для Зоценко большим авторитетом.

Горький с первых же прочитанных им в 1921 году вещей Зоценко высоко оценил его творчество, заметил, что страдание для этого молодого писателя — враг человека и подлежит уничтожению. Горький все годы неизменно хвалил и поддерживал Зоценко. Я нахожу в письмах Алексея Максимовича ко мне постоянные упоминания о Зоценко. То он сообщал о переводе рассказа «Виктория Казимировна» на французский язык,

то просто писал: «Хорош Зошенко — передайте ему сердечный привет», или коротко, по поводу очередного рассказа Зошенко: «Очень хорош Зошенко». Иногда он отзывался распространенней: «Рассказ заставляет ждать очень «больших» книг от Зошенко. В его «юморе» больше иронии, чем юмора, а ирония жизненно необходима нам» (это замечание относится уже к 1925 году). Позже, 25 марта 1936 года, Горький писал Зошенко в связи с его «Голубой книгой»: «Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы, если б вы дали в такой же форме книгу на тему о страдании!..» И дальше: «Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». Он так же предлагал Зошенко «высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру».

Да, Горький глубоко понимал творчество и личность Зошенко, его любовь к людям, его стремление прогнать из жизни «великую грусть».

2

В самые первые дни и недели нашего знакомства Зошенко как-то поделился со мной замыслом повести, которую он хотел назвать «Записки офицера». Он рассказывал:

— Едут по лесу на фронте два человека — офицер и вестовой, два разных человека, две разные культуры. Но офицер уже кое-что соображает, чувствует...

Тут Зошенко оборвал и заговорил о другом.

Но потом он не раз вновь и вновь возвращался вдруг все к той же сцене в лесу. Что-то светлое возникло в том ненаписанном эпизоде, что-то важное и существенное, автобиографическое, может быть — определившее жизнь. Но всегда Зошенко недоговаривал, и похоже было, что он не рискует коснуться испытанного им в том прифронтовом лесу чувства словами приблизительными, да и вообще любыми словами.

На одном собрании кто-то в те давние времена прекнул Зошенко его дворянством. Зошенко, почернев, ответил прямо и резко:

— Я порвал со своим классом еще до Октябрьской революции.

И мне вспомнились ненаписанные «Записки офицера».

В памяти Зошенко, очевидно, остался и жил некий переломный момент, когда накопленные впечатления достигли предела, последней черты, и вдруг без всякого уже нового внешнего толчка, вот просто так, в лесу, в мыслях о едущем сзади вестовом, что-то окончательно сдвинулось в душе, словно переместился центр тяжести, и все предстало по-новому, как новый мир, требующий новых, решительных действий, непохожих на прежние.

Те, кто был на фронтах первой мировой войны, вместе с солдатами испытывали на себе ее бедствия и видели воочию рабское, бесправное положение народа, одетого в серые шинели, знают это чувство, этот свет, как бы вдруг зажигающийся в душе и заставлявший иначе, по-другому взглянуть на все окружающее и на себя, сидящего в окопах, или едущего по лесу с вестовым, или просто стоящего с котелком в очереди к походной кухне с задымленной, покривившейся трубой.

В 1927 году в Париже я впервые и единственный раз в своей жизни встретился с Анри Барбюсом и, взглянув в его внимательно всматривающиеся, удивительно добрые глаза, увидел в них этот свет решения, принятого в бедственные для народа времена.

Я думаю, что не ошибаюсь, говоря о том переломном моменте в жизни Зошенко. Уж очень часто в разговорах со мной в те месяцы, когда он еще только становился писателем, когда начинал писать, вспоминал он о том эпизоде во фронтовом лесу. В каких-то намеках, полусловах он все возвращался к нему.

Там, в его дописательской жизни, сформировался его характер, оттуда вынес он свою жизненную позицию, свои взгляды на жизнь и человека, тогда же родилось и стремление его создавать литературу народную.

Одновременно с рассказами Зошенко писал повести. Первую серию повестей Зошенко создал в 1922—1926 годах, и они не пользовались такой повсеместной известностью, как его юмористические рассказы. Они были «трудней» для чтения, эти оригинальные, поистине новаторские произведения.

Уже герой первых его рассказов Синябрюхов говорил: «Каким ни на есть рукоеслом займусь — все у меня в руках кипит и вертится». В повестях этот мо-

тив занимает, по существу, основное место, является критерием для характеристики людей.

Стрелочник спрашивает Аполлона Перепенчука, героя повести «Аполлон и Тамара», собравшегося покончить с собой:

« — Знаешь ли какое ремесло?

— Нет...

— Эта худа,— сказал стрелочник, покачав головой.— Как же это, брат, без рукомесла-то жить? Это, я тебе скажу, невысказано худа! Человеку нужно непременно понимать рукомесло...»

И еще раз:

«Как же это можно без рукомесла? Нипочем не можно... Как же существуешь-то?»

Стрелочник устраивает Аполлона Перепенчука на работу могильщиком — ирония автора не требует тут никаких комментариев. Так кончается «сентиментальная повесть» Зошенко о любви «глубоко переживающего» Аполлона к девушке, носящей традиционно романтическое имя Тамара. Так трактует он беспочвенных, занятых только переживаниями и пустопорожними рассуждениями людей.

В повестях своих Зошенко осмеивает тех, кто ничего не умеет делать, но зато полон никчемных, отвлеченных рассуждений. Эти люди живут у Зошенко в совершенной оторванности от реальной жизни. В «Мудрости» фигурирует философствующий бездельник, отделившийся от людей, и вот «какое-то веяние смерти сообщилось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть». И он умирает от удара в тот день, когда решил вернуться к жизни.

Позднее Зошенко написал «Воспоминания о М. П. Сянгице». По страницам этой повести гуляет задумчивая «благородная» личность, не имеющая никакой реальной цели в жизни и лишенная какой-либо определенной профессии. Это не человек, а пародия, собирательный тип бездельника, приобретшего этаким интеллигентский облик и в дореволюционной беллетристике выставлявшийся иногда даже как тип положительный. Это, пожалуй, самая резкая, самая издевательская из повестей Зошенко. С ней может поспорить в этом отношении разве только рассказ «Дама с цветами», где в самом отвратительном виде показана фальшь высших «переживаний», существующих у мещанина

только для самолюбования и умиления перед самим собой.

Но недостаточно и уметь что-то делать. Герой повести «Страшная ночь», например, имеет профессию — он играет в оркестре на музыкальном треугольнике, в этом и только в этом заключается его роль в жизни. И вот он поражен мыслью, что треугольник могут вдруг отменить. Отменят — и «как жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?». Ужас охватывает его, и он переживает страшную ночь, он звонит в колокол, чтобы разбудить, созвать людей.

Этот Котофеев похож, в сущности, на трагических персонажей Леонида Андреева, которыми тот пугал читателей. И от сюжета повести Леонид Андреев, может быть, не отказался бы, только нагнетал бы мрак. Зощенко же просто ведет Котофеева в милицию, где героя повести и штрафуют за нарушение общественного порядка.

«Чем, кроме этого, я прикреплен?» Оказывается, одной профессии недостаточно, требуются более глубокие и крепкие связи с обществом.

Много и откровенно привелось мне разговаривать с Зощенко. Однажды, 8 января 1928 года, жена моя, практикуясь в стенографии, взяла да и записала незаметно для нас один из наших разговоров, а потом показала нам. У меня сохранилась эта запись. Зощенко, оказывается, говорил:

— Ты можешь ошибаться, считая, что романтика и лирика украшают мои молодые вещи. Это не украшает, это построено на ужасе... И мне совсем не смешно, когда я смеюсь, разговаривая с девицей. Вообще-то, ежели говорить обо мне, то я не верю, чтобы я мог изобразить благодушный организм...

И тут же:

— Я хочу быть нормальным человеком... Вот напишу «Записки офицера», у меня там положительный тип будет... У меня еще продлится какой-то период моего нездоровья, но возможно, что скоро наступит благоприятная полоса, такая, какая была до неврастения, два года тому назад. В эту полосу я напишу вторую книгу повестей, для большинства которых у меня сюжеты уже есть. Потом я стану приблизительно здоровым, нормальным человеком и напишу совершенно здоровую вещь со счастливым концом, авантюрную — «Записки офицера», которую я ношу черт знает сколько

лет. И умопомрачительный сюжет у меня есть, и ни одного факта я не тронул... И если бы я не подумал, что для этого нужно здоровье — конечно, вышла бы ерунда собачья, я бы осекся... В «Записках офицера» какая-то линия будет от исходной точки. Я вернусь к ней. Был у меня какой-то период возмужалости, когда мне стыдно было говорить лирические вещи. Я понемножку приду к ним опять...

Он добавил:

— Я знаю, что надо быть здоровым человеком, чтобы их написать. Ты смотри, я не курю в течение года, я не пью, веду размеренный образ жизни, второй год лечусь...

То он курил, то бросал курить, пьяным не бывал никогда, но «Записок офицера» так и не написал.

«Записки офицера» с неизбежностью прикоснулись бы к темам, которые в ту пору усиленно разрабатывались другими писателями, — «перестройка интеллигенции», «революция и интеллигенция», а по всему складу зощенковского характера и таланта эти темы, как мне думается, не годились ему. Наверное, он мог уловить словами чувство, испытанное в прифронтовом лесу офицером, оставшимся наедине с вестовым. Но ему, видимо, было неинтересно переносить в литературу это замеченное уже другими писателями чувство. Он брал конечный результат, писал с жизненной и литературной позиции, к которой его привели участие в первой мировой и гражданской войнах, советская работа. А то свежее, молодое чувство сродства с вестовым, с солдатами, с народом он словно берег в душе, как камертон, который давал ему тон в жизни и в литературе. Может быть, оно и было той «исходной точкой», о которой он упомянул в нашем разговоре. Может быть, оно лечило его, когда он отравлялся бытом нэповских лет.

«Построено на ужасе», «не верю, чтобы я мог изобразить благодушный организм», а с другой стороны — «у меня там положительный тип будет», «здоровая вещь со счастливым концом» — вот обычный диапазон его настроений, повторяющийся мотив при наших встречах, в тех, конечно, случаях, когда мне удавалось ввести в тему нашего разговора его самого, его творчество. Вообще же в суждениях о себе он был даже не просто скромнен, а как-то даже невнимателен. В том же разговоре, который я уже цитировал, он сказал:



Будущему писателю два года.



М. Зошенко-гимназист.



М. Зоценко
на русско-германском фронте.
1915 г.



Поручик М. Зошенко. 1916 г.



М. Зошенко среди «серапионовых братьев». 1922 г.

Стоят (слева направо):

Л. Лунц, Н. Тихонов, К. Федин,
И. Груздев, В. Каверин.

Сидят (в том же порядке):

М. Слонимский, Е. Полонская, Н. Никитин,
Вс. Иванов, М. Зошенко.



М. М. Зошенко. 1923 г.



М. М. Зощенко читает свой новый рассказ.
Харьков. Конец 20-х гг.



М. Зоценко и М. Шагинян. 1928 г.



М. М. Зошенко. Начало 30-х гг.



М. М. Зошенко. 1933—1934 гг.



М. Зошенко и Ю. Олеша.
Вторая половина 30-х гг.



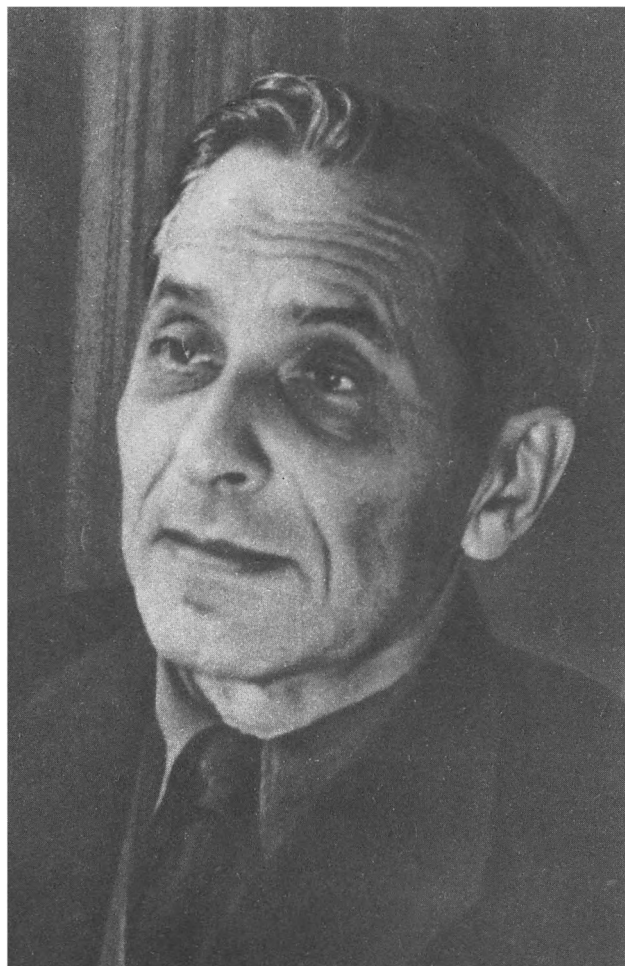
М. М. Зошенко. 1939—1940 гг.



М. М. Зошенко среди гостей
вернувшегося на родину А. Вертинского.
Декабрь 1943 г.



М. М. Зошенко. 1958 г.



М. М. Зошенко.
Одна из последних фотографий писателя.



Гражданская панихида
в Доме писателей им. Маяковского.

— Черт с ним, хвалит или ругает меня Институт истории искусств. Неужели ты думаешь, что я сам не знаю, чего стоят мои вещи? А пушай ничего не останется.

Так выразился он о своих замечательных и знаменитых юмористических рассказах, которые к тому времени для него отошли уже в прошлое.

Мне всегда думалось, что после первых своих вещей, в которых он так откровенно сказал о «великой грусти», он как бы спрятался, надев комическую маску. Но в прорези этой маски глядели умные и печальные глаза автора, то добрые, то злые, меняющие свое выражение часто и резко, в зависимости от того, что видели они и как отзывалось виденное в душе автора.

Комический сказ, созданный Зощенко, обнажал, обличал мещанина, как бы «взрывал» мещанскую психику изнутри. Природный юмор спасал Зощенко от «ужаса», о котором он говорил мне не раз («это построено на ужасе»). Зощенко прорывался сквозь уродства жизни, наступал на нэповские нравы в своей комической маске, как солдат в противогазе сквозь отравленный участок фронта. Он вносил в ряды «уважаемых граждан» и «нервных людей» смятение и беспорядок — «нарушал беспорядок», как выразился один из его персонажей.

Увы! Некоторые критики видели только маску и не замечали лица автора, его позиции. 12 сентября 1929 года он писал мне в письме из Ленинграда в санаторий: «Чертовски ругают... Невозможно объяснить. Я сейчас только соображаю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и люблю мещанством! Эва, дела какие! Я долго не понимал, в чем дело. Последняя статья разъяснила. Черт побори, ну как разъяснишь? Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности... В общем, худо, Мишечка! Не забавно. Орут. Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом». В журнале «Звезда» № 7 за 1940 год, в статье о Зощенко, в единственной своей монографической критической статье в жизни, мне привелось в связи с такого рода попреками говорить: «Зощенко... обвиняли в тех самых грехах, в каких, бесспорно, виновны его персонажи. Это все равно что пожарного счесть пожаром, или ассенизатора признать навозом и выбросить

его в помойку, или критику приписать грехи рецензируемой им книги...»

Комическая маска под конец просто мучила Зошенко. Но его надежды сказались и в цитированном выше разговоре со мной: «У меня был период возмужалости, когда мне стыдно было говорить лирические вещи. Я понемножку приду к ним опять...»

Он нашел свой новый стиль к началу тридцатых годов в новой серии рассказов и повестей. Наряду с развитием прежней своей манеры в таких рассказах, как уже упоминавшаяся «История болезни», появились у него такие вещи, как «Страдания молодого Вертера», «Огни большого города», «Возмездие», его прелестные рассказы о Леле и Миньке, его совсем необычные, оригинальнейшие «Возвращенная молодость» и «Голубая книга» и многие другие произведения, в которых автор разговаривал с читателем, не «стыдясь» лирических, а порой и откровенно гневных нот.

Поколение, к которому принадлежал Зошенко, на Западе было названо «потерянным поколением». У нас, в России, революция спасла это поколение от судьбы западных наших сверстников, героев произведений Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и других крупных западных писателей. Большая часть этого поколения активно делала революцию, стала поколением зачинателей, первопроходцев во всех областях жизни и строительства, в том числе и в литературе. Зошенко — плоть от плоти этого поколения первооткрывателей, поколения начальной советской поры.

Мне всегда думалось, что Зошенко со своей славой юмориста (и в тот период, когда он глядел из-под комической маски, и позже) был, по существу, романтиком, только в двадцатые годы ему одно время было «стыдно» обнаруживать это, как бывает стыдно возмужавшему молодому человеку показаться слишком чувствительным, сентиментальным. В этом смысле он в разговоре со мной довольно точно определил «период возмужалости», когда ему «стыдно было говорить лирические вещи». Чувство сродства с народом и революцией дало Зошенко силу прийти к новому, зрелому лиризму в своих произведениях. Его человеколюбие все явственней выражалось и в жизни, и в литературе.

Вспоминаю, как один литератор, восхищаясь строительством новых городов и заводов, вымолвил такое:

— Все-таки главное — это города, дома, машины, а не люди.

Глаза у Зошенко стали как замороженные: неподвижные, чужие, злые.

— Значит, коробка важнее человека?

Он усмотрел бездушие в словах литератора и сразу же пошел в наступление.

Он с увлечением сотрудничал в газетах, не чураясь никакой самой черной репортерской работы, и во все вкладывал душу.

Для него не существовало пустяков, мелочей. Каждую строчку он писал всерьез и от души. Работу ремесленную или по указке, без выношенной темы, он называл диктантом.

— Ну, это диктант,— говорил он про газетную статью, рассказ, роман, про всякое равнодушно выполненное литературное изделие, вне зависимости от жанра и размеров.

В годы первой пятилетки он работал в заводской многотиражке, и помню, как на одном собрании ошеломило и спутало «проработчиков» выступление рабочего, который, не считаясь ни с какими тогдашними литературными «табелями о рангах», восхищался фельетонами Зошенко в заводской газете:

— Такие чудные вещицы он нам пишет!

Зошенко в своей литературной работе ни на один миг не забывал, что главное — люди, что все для людей, работающих, строящих, достойных любви и уважения, для тех людей, у которых «все в руках кипит и вертится», и читатели это очень чувствовали.

Из поездки на Беломорканал он вывез «Историю моей жизни», которая очень понравилась Горькому. Он жил современностью самым интенсивным образом...

Зошенко создавал свои рассказы о Ленине, написанные прозрачным, чистым языком, без всяких парадных слов. Естественно и непринужденно вылились из души писателя эти чудесные, ясные, простые рассказы, в которых высокой поэзией овеян образ величайшего из гуманистов и демократов, самого человеческого человека.

«Он хотел, чтобы все люди, которые работали, жили бы очень хорошо. И он не любил тех, кто не работает». Такими простейшими словами начал Зошенко свой рассказ «Покушение на Ленина». В двенадцати рассказах-эпизодах Зошенко стремился показать правди-

вость Ленина, его бесстрашие, волю, умение работать, скромность, справедливость, любовь к природе и красоте. Глубоким и светлым, молодым и свежим чувством проникнуты эти рассказы Зошенко. В рассказах этих восстанавливалась и пропагандировалась чистота, простота, глубокая человечность Ленина, ленинских идей.

С самого начала войны Зошенко много работал. Вместе с Е. Шварцем он написал антифашистскую пьесу, которая ставилась Н. Акимовым в дни ленинградской блокады. Затем война разъединила нас, в последние годы, как и в первые годы знакомства, вновь живших в одном доме. Встречи наши в Москве во время войны были кратковременными и не слишком частыми.

3

В августе 1946 года я, потрясенный только что выслушанным докладом, в котором Зошенко подвергся жесточайшей критике, шел домой через город, еще носивший страшные следы бомбежек и обстрелов. Мой спутник, молодой поэт, то и дело спрашивал меня:

— Что теперь будет, Михаил Леонидович? Что теперь будет?

Дома ждали меня Б. М. Эйхенбаум, М. Козаков с женой З. А. Никитиной и А. Мариенгоф с женой А. Б. Никритиной. Они были тоже взволнованы докладом. Мне сказали, что сейчас придет Зошенко.

Он пришел. В кепочке. В сером пиджачке и брюках в полоску. С палочкой. С легкой усмешкой на тощем лице.

— К чему же меня приговорили?— спросил он.— Меня не позвали на собрание.

Я ответил, что положение в высшей степени серьезное.

Все мы вместе прошли ко мне в кабинет.

Зошенко спросил уже без улыбки:

— Какое самое худое слово из всех худых слов было обо мне сказано?

Меня оставили с ним наедине, и я постарался сжато изложить суть доклада. Заключение я так:

— Тебе бы, по-моему, следовало прежде всего заявить, что ты советский человек и советский писатель.

— А кто же я такой?— искренне удивился Зошенко.— Как это вдруг на старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я и не был за все годы!

Мы перешли в другую комнату, где сидели остальные.

Зошенко хотел понять то, что произошло, но недоумение вновь и вновь вспыхивало в нем. Поистине то была страшная ночь.

Бдение наше длилось до утра. Затем мы расстались. О сне, конечно, и думать было нечего.

День за днем положение обострялось — в газетах, по радио, на собраниях. Имя Зошенко приобретало какой-то зловещий цвет.

Как-то в те дни я шел с Зошенко по набережной канала Грибоедова, и он сказал мне:

— А ведь со мной опасно показываться на людях.

— Да ну тебя! Не до шуток.

— Вот именно, что тут не до юмора. Появились какие-то критики, которые соединяют имена. Ты заметил? Я уже сложил чемоданчик.

Зошенко завершал работу над циклом партизанских рассказов, и через год некоторые из них были опубликованы в журнале «Новый мир». Полностью весь цикл вошел в книгу Зошенко, вышедшую в 1961 году в издательстве «Советский писатель». Мне кажется, что до сих пор эти талантливые и своеобразные рассказы остались не оцененными по достоинству.

В Гослитиздате в превосходном переводе Зошенко вышел роман финского писателя Майю Лассила «За спичками».

Жилось Зошенко необычайно трудно. Невыразимо трудно. Но, вопреки всем обстоятельствам, он упорно работал.

Долгий перерыв в издании его книг кончился только после 1953 года.

В 1958 году отмечалось девяностолетие Горького. По приглашению родственников Алексея Максимовича я и Зошенко отправились в Москву.

Я привык видеть Зошенко чуть ли не каждый день, а в дороге, в поезде, я посмотрел на него как бы со стороны и поразился — как он постарел и какой больной вид у него.

Дом на Малой Никитской. Столько связано воспоминаний с этим домом! В большой комнате — люди,

близкие Горькому. А Горького нет. Он пошел бы к Зо-щенко навстречу с протянутой рукой, с неповторимым ласковым сиянием синих глаз, с тем словом, которое нужно именно сейчас, именно Зощенко... Но здесь были люди горьковской традиции, горьковской любви, горьковского сердца. Зощенко был встречен здесь с душевной теплотой.

Летом того года я был под Москвой. Ночью меня вызвали к телефону. Голос З. А. Никитиной из Москвы сказал:

— Умер Миша Зощенко.

На Сестрорецком кладбище на песчаной горе — могила. Над ней поставлена стоймя большая мраморная плита. На этой плите — большими буквами: «МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО».

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО ¹

Шуточные черты в жизни литературного кружка «Серapiионовы братья» не были значительны. Смеялись много, но перья не очень ладили с весельем. Без умысла подражать знаменитому «Арзамасскому Обществу Безвестных Людей» «Серapiионовы братья» в самом начале двадцатых годов вели протоколы. В протоколах пенилось молодое озорство, но веселья не получалось. Не укоренились в кружке и прозвища. Изредка приходило на память, что Всеволода Иванова зовут «братом алеутом», а Николая Никитина — «братом ритором». Приклеилось только одно прозвище, ставшее нарицательным для всех нас, — «серapiионы», но никакого оттенка шутки в нем не было, оно широко распространилось как литературная кличка, и только.

Однако «серapiионы» дорожили смехом. Как дыхание не может состоять только из вдоха, а заключает в себе и выдох, так же точно нельзя построить искусство на одном вдохе — на серьезности, оно требует выдоха — смеха, во всех его мыслимых оттенках, от улыбки до хохота. Но совсем в духе русской литературной традиции с ее подавляющим большинством «серьезных» писателей книги наши, вдохнув в себя воздух окружающей нас новой жизни, как бы задерживали выдох.

Все же с нами был писатель, который мог бы сказать: хорошо, я сделаю за всех вас необходимый выдох, я буду смеяться так, что один уравновешу всю вашу серьезность.

Писатель этот — Михаил Зощенко.

У «серapiионов» был в ходу рефрен, неизбежно повторявшийся под веселую руку, прибаутка, смысл которой был так же ясен для нас, как туманен для окружа-

¹ Воспоминания. С. 3—12.

ющих. В самый неожиданный момент, после сурового обсуждения нового рассказа или теоретического спора, вдруг предостерегающе сухо раздавался чей-нибудь голос: «Зощенко обиделся». И сразу общий хохот. Иной раз наоборот — все веселятся, острят, потом наступает пауза усталости, как вдруг опять в тишине слышится протокольная констатация: «Зощенко обиделся». И снова поднимается веселый смех. Сам Зощенко при этом усмехался своей замедленной, изящной, пренебрежительной улыбкой, будто говоря: а ведь правда, возьму да и обижусь.

Этот человек был первым из всей молодой литературы, который, по виду без малейшего усилия, как в сказке, получил признание и в литературной среде, и в совершенно необозримой читательской массе. Он действительно проснулся в одно прекрасное утро знаменитым, с первых своих шагов почувствовал все неудобство популярности.

Неудобство это состояло не только в том, что на пароходах и на курортах стали попадаться авантюристы, выдававшие себя за писателя Зощенко; что надо было прятаться от притких устроителей развлекательных концертов и гастрольных турне; что появились подражатели в газетах и журналах, снимавшие с Зощенко то, что способен снять плагиатор,— одежду. Нет, неудобство и даже тяжесть положения заключались в том, что талант Зощенко вызвал самое разностороннее и трагикомическое непонимание.

Раньше всего Зощенко нашел признание на наших субботах с вещами, довольно отдаленными от тех, которые пришлось по вкусу читателям юмористических журналов. Мы были покорены необыкновенным даром писателя сочетать в тонко построенном рассказе иронию с правдой чувств. Еще не вполне угадывая его самобытность, находясь в постоянной атмосфере литературных поисков, мы сравнивали Зощенко со всеми возможными его предшественниками, по сходству и по противоположности, и эти сравнения и давали ему повод обижаться на своих друзей, иногда очень серьезно. Самобытность его никогда нами не подвергалась сомнению, но мы не могли заранее определить ее меру, тем более что тогда говорилось о «серапионах» как о явлении традиционном. Автор умнейших и глубоко исторических статей о Петербурге начала двадцатых годов — Мариэтта Шагинян, друг и участник наших

суббот, в своем «Литературном дневнике» прямо писала, что «серапионы» «возрождают исконную русскую классическую повесть».

«Возрождал» ее и Зошенко. А так как рассказы и повести его становились все разностороннее, то аналогии между ними и образцами соответствующего жанра в прошлом заводили нас во все углы XIX века. Между тем Зошенко пришел в литературу, как никто более, со своим голосом, своим героем, своей темой, каждой строкой уверенно заявляя: вот так надо писать, и только так я буду писать, не иначе!

Однажды, возвращаясь в трамвае из Лесного, после литературного вечера в Политехническом институте, где студенты устроили Зошенко овации, к которым он еще не успел привыкнуть, я говорил с ним о его искусстве. Он тогда начал выступать в журналистике с фельетонами, написанными на темы газетных хроник или читательских писем. Я сказал, что его работа может привести к созданию типов не меньше общепонятных, чем горбуновские. И я тут же оговорился, что неумирающий генерал Дитятин делает Ивана Горбунова из мемуарного персонажа историко-литературным явлением. Но никакие оговорки уже не могли меня спасти: слово вылетело, я пропал.

— Да?— спросил меня Зошенко чрезвычайно деликатно, но почти не открывая рта.

Больше тогда ничего не произошло.

Насыщеннее, богаче становились наши отношения с годами, и уже давно очевидной сделалась плодотворность наших молодых споров, когда по какому-то случайному поводу Зошенко припомнил мне разговор в трамвае.

— А помнишь,— внезапно сказал он, отодвигаясь, чтобы лучше видеть мое лицо,— помнишь, как ты меня сравнил с Горбуновым?..

Он сказал эти слова так, чтобы никто, кроме меня, не слышал, с усилием скрывая напряжение и с похолодевшим взглядом тяжелых, медленных и темных своих глаз. Я увидел, что неожиданностью вопроса он хочет смутить меня и смущением наказать за ошибку, какую я посмел сделать хотя бы и столько лет назад.

«Зошенко обиделся»,— засмеялись бы на серапионовской субботе. Да, на нас он во всяком случае имел бы основание обидеться, потому что мы ближе всех

знали его работу и не вправе были толковать о ней верхоглядно.

Горький, ожидавший в Сорренто книги Зошенко «с трепетным нетерпением», писал мне по поводу одной из его повестей:

«Если последний остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит — наверное можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие. Люди, которые сравнивают его с Лесковым, — ошибаются, на мой взгляд, Зошенко заряжен иначе, да и весь — иной. Очень хорош».

С Лесковым сравнивала Зошенко та критика, которая была наиболее чувствительна к жизни слова и, стало быть, к стилю, чем к иным сторонам литературы. Такое «формальное» сравнение было одобрительно, хотя и односторонне, а критика, пытавшаяся говорить о самом существе произведений Зошенко, о том, чем именно он «заряжен», одобряла его скупой брани щедро. Все смеялись над книгами Зошенко, но все считали необходимым выразить по его адресу свое неудовольствие.

Неприхотливая публика любила его за то, что он смешил, принимала его за отчаянного весельчака и обижалась, если обнаруживала в веселых книгах невеселые темы. Нет, говорил читатель, не надо ему братья не за свое дело, он — юморист. Это, в сущности, означало: не надо рассуждать, я хочу смеяться. Желание уважительное. Но Зошенко мало считался с ним.

Критики, со временем распознав в нем сатирика, все внимание устремили на то, чего им не хотелось бы видеть в его сатире. Одни решили, что сарказм Зошенко бичует пережитки прошлого — мещанство, унаследованное революцией от былого и еще не искорененное ею. По их мнению, Зошенко преувеличивал наличие этих пережитков в нашем быту и потому не стоило тратить силы на борьбу с мельницами.

Другие находили, что у сатиры Зошенко нет цели, потому что осмеиваемый герой не существует — ему просто нет места в новом обществе, лишенном уродств и безобразий, которыми хочет наделить действительность писатель.

Третьи шли дальше, говоря, что сам Зошенко и есть обыватель, от имени которого он ведет свои сказы, что он глядит на мир глазами мещанства, что он филистер.

Я полагаю, если возможен спор, существует ли объект сатиры, то, очевидно, он существует, но его либо не понимают, либо не хотят видеть. В споре о Зощенко проявилось исторически традиционное отношение общества к своему сатирику: оно оспаривает то, что он утверждает. Оно очень довольно, когда может воскликнуть: «Как он их разделал!» Но, в самом деле, нельзя требовать, чтобы оно восклицало с удовольствием: «Ну, он меня и разделал!»

А ведь Зощенко именно *меня* «разделал», нас, людей нашего времени, нашего общества, то есть какую-то трудно отделимую составную его часть, и, может быть, ни один другой писатель не дал для разума отдельных сторон бытового, национального нашего характера такого обилия художественных и, значит, верных свидетельств, как Зощенко.

Цель его сатиры — добытчики личного счастья, люди однобоких качеств, умеющие только брать, принимающие за должное все, что они получают, не желающие давать ни крошки того, что от них требуют. Приобретатели личных благ, иногда лирические, иногда грубые, изредка хитроумные, всегда алчно-практичные. По этой вбетонированной в обывательщину цели Зощенко бьет всем разнообразием своего оружия.

Мне жалко, что я не критик. Я показал бы именно разнообразие оружия Зощенко, таящееся в видимом сходстве стиля всех его произведений.

Очень важны для понимания зощенковских намерений те «спутники», которые следуют за основными жанрами в его вещах. К сатире он дает комментарий, рассказывающий о нравоучительной тенденции темы. К пародии — пишет пролог, объясняющий пародийность повести и ведущий борьбу за литературу.

Зощенко принадлежит к тем немногим или, вернее, нескольким советским писателям, которые стремятся работать так, чтобы могли появиться книги «о литературном деле такого-то». Он думает об этом своем деле как о единственном смысле существования. В книгах, которые поняты все еще немногими, он ведет борьбу не только за свое искусство, но за искусство вообще, и я не знаю в наше время более сильного полемиста, чем Зощенко, когда он обращается к своим литературным противникам, называя их «молодыми, начинающими критиками»:

«Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идеи взяты, безусловно, не крупные. И герои не гораздо такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить — персонажи действительно взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством.

Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно нету...»

Зошенко меньше другого писателя испугало бы отношение к литературе как к «службе». В то время, когда писались поэтические рассказы в духе «Как создаются курганы» Всеволода Иванова, Зошенко готов был разрабатывать тему «как создаются очереди у бань». Но оттого, что находились люди, серьезно думавшие, будто писать на такую тему означает «не порывать с действительностью», репортерская тема давала Зошенко возможность борьбы за литературу не как за службу, а как за поэтическое искусство.

Это был изнуряющий труд — бороться с упрощителями искусств посредством приемов упрощения, и только вера в безошибочность своего пути поддерживала силы Зошенко. Горький и тут раньше всех разгадал и почувствовал, что происходило.

«Очень обрадован тем, что Зошенко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это, но последнее время о нем я слышал, что он устал от «юмористики», от мелкой, журнальной работы и — „болен“».

Это было так, Зошенко был болен, и — слишком очевидно — «юмористика» способствовала его заболеванию. Болезнь и последующее исцеление из биографического факта сделались основной темой писателя, и в ней нам привелось лучше всего узнать несмеющегося, серьезного Зошенко.

Кто желал веселиться и видел в Зошенко юмориста — счел его богоотступником, когда он отказался развлекать. В свое время известная его повесть «Воз-

вращенная молодость» — конечно, не руководство по врачеванию, не лечебник и не популярно-научное сочинение, хотя иронический дар рассказчика провоцирует иллюзию наличия всех этих литературных видов в сложном автобиографическом произведении Зошенко, это — книга-переживание.

Горький раз написал мне по поводу столкновений критики с художником:

«Критикам следовало бы заглянуть в работы И. П. Павлова о рефлексах [...] и опыты Павлова с собаками, пожалуй, помогли бы критикам более толково рассуждать о том, как создается искусство».

Этого, разумеется, нельзя понять без комментария. И вдруг, много лет спустя, я обнаружил такой комментарий у Зошенко, давшего его со слов самих физиологов. Один ученый заявил, что наука может в совершенстве изучить на собаке высшую нервную деятельность организма, но, чтобы понять собаку, с нею нужен разговор, и это есть область искусства. Именно в этой мысли о разговоре с собакой, дополняющем объективное изучение ее организма, думаю я, близко встретились наука и искусство для взаимопонимания.

Зошенко заболел. Он стал искать средство излечения. Он нашел его. Он нашел его с помощью науки. Он решил, что это поучительно. И в то же время: Зошенко — художник. Он обретается в постоянных поисках темы. Он считает одной из важнейших тем внутреннюю жизнь художника, который был болен и преодолел болезнь. Он находит это поучительным. Ведь он мог бы не преодолеть болезни, как, например, ее не преодолел Гоголь. Он мог бы сделаться ее жертвой. В самом деле, взгляните в трагедию Гоголя...

Да, да, сколь ни дерзко, сколь ни вызывающе такое неожиданное уподобление, оно-то, уж конечно, никогда не могло бы обидеть выше меры обидчивого Зошенко.

Не потому только, что «Сентиментальные повести» — в очевидном родстве с «Миргородом» и «Петербургскими повестями». Не потому, что, написав «Ревизора», Гоголь терзается судьбою своего создания, подслушивает разговоры театральной публики, полемизирует, обороняется, спорит, а Зошенко своими прологами, комментариями, пародиями обнажает всю боль за свое призвание и борется с критикой. И даже не потому, что Гоголь чем дальше, тем меньше смеется, посвящая свое перо проповеди и нравственному служе-

нию, а Зошенко вместо сатиры отдается потребности поучительства. Нет, Гоголь создал помимо сочинений книгу своей жизни, писательскую судьбу, и вот взгляните в эту судьбу и спросите себя: не кажется ли вам, что, когда Зошенко убеждает вас в своем полнейшем исцелении от болезни, он как бы торжествует, что ушел от неминуемой судьбы, отдаленно подобной той, которая стала трагедией Гоголя? Конечно, конечно, это только неправомерное сравнение, а никоим образом не тождество, но — повторяю — единственное сравнение, которое никогда не могло бы обидеть столь обидчивого Зошенко.

Внутреннему миру художника угрожает разрушение. Угроза побеждается. Художник наблюдает за процессом исцеления изощренным глазом. Он стремится к истине, опираясь на правду науки и правду искусства. Нет сомнения, что наука будет с огромным любопытством наблюдать, как искусство дополняет ее опыт, как художник ведет свой захватывающий разговор с собакой. Искусство же не может не ценить своего обогащения целой сферой нового материала. Идея столкновения для общего дела науки с искусством, природа которых вполне основательно противопоставляется друг другу, не могла не восхитить мечтателя и реалиста Горького. За два года до смерти он мне сказал:

— Книги Зошенко великолепны. Возьмите хотя бы «Голубую книгу». Тут дело не столько в сатире, не столько в жанре, сколько в замысле. Художник является во владения ученого на правах хозяина, полновластно. Ошибки здесь несущественны. Гораздо важнее то, что это нам сулит в будущем. Огромное дело, понимаете ли, делает этот человек. Огромное...

Существует убеждение, что здоровые люди не говорят о болезнях. Из такого убеждения вытекало бы, что интерес Зошенко к теме болезни свидетельствует нам о его нездоровье. Он ищет ключ к своей судьбе, значит, он тревожится за нее и она загадочна ему.

Иногда в его интонации, такой покоряющей и чело-вечной в его торжестве, с каким он говорит нам: смотрите, смотрите, я исцелен, я совершенно не тот, каким был, когда болел, я — новый, перерожденный человек! — в его как бы стеснительной улыбке, с какой он хочет передать нам свое удовлетворение жизнью, нам слышится приглушенное слово: смотрите, смотрите, я обречен на здоровье! Я обречен говорить и говорить

о том, что я здоров, что я доволен, что все хорошо. Я обречен утверждать, что знаю секрет исцеления болезней одной силой собственной воли. Я обречен говорить, что мир прекрасен.

Возможно, это только интонационный обман, только особенность иронического стиля. Может быть, Зощенко действительно совершенно здоров и мир ему представляется раем? Я даже думаю, что его болезнь — мелкая работа, как выразился Горький, а его исцеление — большое искусство. Независимость большого искусства от мелкой работы вполне раскрывает секрет исцеления. Слабость недуга преодолена силою воли к большому труду — что еще может легче объяснить нам причину убежденности Зощенко в том, что он переспорил судьбу?

Однако почему же ухо не может отделаться от лейтмотива продолжающейся борьбы Зощенко за признание, за место в искусстве, за самую жизнь?

Художник всегда болен повышенной чувствительностью, он, как говорят теперь, легко раним. Он реагирует на слабейшие токи в окружающей его среде. Едва повышенное напряжение тока убивает его.

И я не могу забыть, как иду с Зощенко по Литейному в приятный летний день и как, дойдя до Сергиевской, где он тогда жил, Зощенко — очень оживленный, жестикулирующий — вдруг весело прерывает самого себя:

— Да, послушай, какой смешной случай! Я живу в жакте, знаешь? Неожиданно кому-то там приходит на ум, что мою квартиру надо уплотнить. Кто-то приехал, тетка к управдому или черт знает к кому. Начинают наседать, звонят, ходят. Перемеряли все комнаты, рассуждают, где станет сундук чьей-то родственницы, куда подвинуть мой буфет, — размещаются. Я сказал, что никого не впущу. Тогда управдом начал грозиться. «В суд, говорит, на таких людей надо подавать, расселись, говорит, так, что другим места нет, другие под открытым небом живи». Что делать, понимаешь ли, — донимают, не дают работать. Я тогда решил пожаловаться Горькому. А жакт наш называется его именем — жакт имени Горького. Я подумал — обращусь, так сказать, по принадлежности. Пока я ждал ответа, управдом не дремал и втиснул ко мне жильцов. Началась моя жизнь в коммунальной квартире. Вдруг, понимаешь, в жакт приходит письмо из Италии, от Горького. Он

пишет, что ему очень приятно, что жакту присвоено его имя, что он, правда, не знает, что такое жакт и как писать это слово, с большой буквы или с маленькой, и — на всякий случай — пишет с большой. Когда, пишет, буду в Ленинграде, непременно зайду к вам, в красный уголок, попить чайку. И дальше, понимаешь ли, пишет: у вас в доме живет замечательный писатель Михаил Михалыч Зощенко, так я очень вас прошу, не притесняйте его, и все такое. Можешь представить, что тут началось! Управдом с письмом Горького в руках прибегает ко мне, трепеща извиняется, расшаркивается. На жильцов он топает ногами, они летят вон из квартиры. Они уже ему никакие не родственники. Весь дом в полном смятении, и даже заседание жакта назначается и полы везде моют. Может, на заседании обсуждалось, не присвоить ли жакту имя Зощенко вместо Горького. Этого я не знаю...

Трудно сказать, в какой точке жизненного пути ожидает человека встреча с управдомом — с этим увековеченным Зощенко трагикомическим героем нашей литературы. Но еще труднее знать, в какое мгновение надо подать руку художнику, когда внутренние препятствия оказываются на пути его призвания, его искусства. В жизни нашего поколения писателей Горький не упустил ни одного такого мгновения.

Когда среди людей я вижу Зощенко — как он стоит, худощавый, грустный, отыскавший, по своей обычной манере, незаметное место в стороне, как будто извиняющийся за молву, им возбужденную, как будто говорящий с улыбкой: да, право же, весь шум произошел не по моей вине, — когда я вижу его таким, я думаю: мы не должны забывать, что художник реагирует на слабейшие токи и что часто едва повышенное напряжение тока его убивает. Часто, когда художнику кажется, что он преодолел в своем искусстве все препятствия, они возникают заново. Тогда ему нужна рука Горького.

Если мы будем это помнить, то иллюзия Зощенко, что он здоров, может превратиться в действительность. Он не только будет нас уверять, что исцелился, а действительно исцелится, и в его интонациях исчезнет «обреченность на здоровье», и он весело скажет, что, правда, больше уже не обижается.

МОЛОДОЙ ЗОЩЕНКО¹

1

Однажды за столом у Горького зашла речь об «Энциклопедии весельчака» — было такое издание (как ни странно — многотомное, в конце XIX века). Горький отозвался об «Энциклопедии» с похвалой как о занимательном и, отчасти, поучительном чтении. Я вспомнил, что у меня есть том, изрядно потрепанный, и рассказал один из анекдотов — кстати, в XIX веке под этим словом подразумевалась коротенькая история, не предназначенная для того, чтобы непременно рассмешить зрителя: скорее заинтересовать, развлечь.

История была следующая. К знаменитому парижскому врачу приходит красивый, изящно одетый молодой человек, который жалуется на непреодолимую скуку, дурное настроение, меланхолию, переходящую в полное нежелание существовать. Но тщательный осмотр показывает, что пациент совершенно здоров, и тогда доктор начинает советовать ему изменить образ жизни:

— Может быть, немного вина?

— У меня лучшие винные погреба в Париже.

— Женщины? Разумеется, в разумных пределах.

— Мне давно надоели лучшие женщины Франции, Италии, Германии.

— Коллекционирование, рыбная ловля, наука?

— Нет, нет и нет.

Пауза.

— О, я придумал, — говорит наконец обрадованный доктор, — вам надо пойти в цирк и посмотреть гениального клоуна и фокусника Кларетти. Его бесподобные шутки — лучшее средство против меланхолии. Ручаюсь, что на другой день вы будете здоровы.

¹ Воспоминания. С. 91—109.

— Увы, доктор! У меня нет возможности воспользоваться вашим советом. Перед вами — этот бесподобный Кларетти.

Казалось бы, какое отношение имеет этот старинный анекдот к Михаилу Михайловичу Зощенко. Однако я рассказал его не случайно. За годы многолетней дружбы я никогда не слышал его смеха: маленький рот с белыми ровными зубами редко складывался в мягкую улыбку. Читая свои рассказы, он был вынужден иногда останавливаться — ему мешал оглушительный, почти патологический хохот аудитории, и тогда взгляд его красивых черных глаз становился особенно задумчивым и грустным. Мягкость и твердость — эти два противоположных понятия ничуть не противоречили в нем друг другу. Но было и что-то еще, сторонящееся, глубоко спрятанное, — склонность к одиночеству, к уединенности размышлений? Что-то напоминающее веселопечальный анекдот из «Энциклопедии весельчака» о фокуснике Кларетти.

2

Сомерсет Моэм в автобиографической книге «Эшенден, или Секретный агент» рассказывает о том, как он с профессиональной целью подвергал себя рискованным испытаниям. Он поступил в Интеллиженс Сервис и изучал себя, выбирая то, что могло когда-нибудь пригодиться для повести или рассказа. Он выполнял граничившие с подлостью ответственные поручения.

Те события, которые произошли с Зощенко, не были избраны с профессиональной целью.

«В 13-м году я поступил в университет, — пишет Зощенко. — В 13-м — поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, — поехал добровольцем на войну. Офицером был...» (Ему еще не было двадцати двух лет, когда, многократно награжденный за храбрость, он дослужился до звания штабс-капитана.) «А после Революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции «Лигово», был агентом

уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте добровольцем в Красной Армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после Революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это потому, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивее.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

Арестован — 6 раз.

К смерти приговорен — 1 раз.

Ранен — 3 раза.

Самоубийством кончал — 2 раза.

Били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а просто так — не везло...»

Если бы в этом (далеко не полном) перечне он не научился различать явления, если бы не поднялся он над ними с несравненным талантом человечности, мы не прочитали бы его грустно-смешных рассказов, без которых невозможно вообразить литературу 20-х годов.

3

Уже и тогда, среди едва замечавшихся отношений, была заметна близость между Зощенко и Слонимским. «Зощенко — новый Серапионов брат, очень, по мнению Серапионов, талантливый», — писал Слонимский Горькому 2 мая 1921 года.

Зощенко был одним из участников Студии переводчиков, устроенной К. И. Чуковским и А. Н. Тихоновым для будущего издательства «Всемирная литература».

Но почему Зощенко не сразу появился на наших субботках, как другие студисты — Лунц, Никитин, Познер? Мне кажется, что это связано с решающим переломом в его работе.

«Когда выяснилось, что два-три моих способных опыта были всего лишь счастливой удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — писал Бабель в своей автобиографии, — Алексей Максимович отправил меня в люди. И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди.»

Ничего преднамеренного не было в том беспримерном «путешествии в люди», которое совершил Зошенко между 1915 и 1920 годами. Возможно, что ему хотелось (как Борису Житкову) «научиться всему», и действительно, на торжественном вечере, устроенном в его честь ленинградским Домом писателей, он с гордостью сказал, что однажды на пари сшил костюм и, хотя пиджак слегка скособолил, выигрыш остался за ним.

Однажды он рассказал мне, что в молодости зачитывался Вербицкой, в пошлых романах которой под прикрытием женского равноправия обсуждались вопросы «свободной любви».

— Просто не мог оторваться, — серьезно сказал он.

Он был тогда адъютантом командира Мингрельского полка, лихим штабс-капитаном, и чтение Вербицкой, по-видимому, соответствовало его литературному вкусу. Но вот прошли три-четыре года, он вновь прочел известный роман Вербицкой «Ключи счастья», и произошло то, что он назвал «чем-то вроде открытия».

— Ты понимаешь, теперь это стало для меня пародией, и в то же время мне представился человек, который читает «Ключи счастья» совершенно серьезно.

Возможно, что это и была минута, когда он увидел своего будущего героя. Важно отметить, что первые поиски, тогда еще, может быть, бессознательные, прошли через литературу. Пародия была трамплином. Она и впоследствии была одним из любимых его жанров: он писал пародии на Е. Замятина, Вс. Иванова, В. Шкловского, К. Чуковского. Это была игра, но игра, в которой он показал редкий дар свободного воспроизведения любого стиля, в том числе и пушкинского («Шестая повесть Белкина»), что, кстати сказать, далось ему с немалым трудом. Он оттачивал свое перо на этих пародиях: перечитайте их — и вы увидите живых людей, отчетливо просвечивающих сквозь прозрачную ткань стилизации. Характеры схвачены пронизательно, метко — и, может быть, именно в этом сказался многосторонний жизненный опыт. Как Зошенко «наслушался» своих героев, так он «начитался» и с блеском воспроизвел изысканный стиль Евг. Замятина, парадоксальный В. Шкловского, «лирически-многоцветный» Вс. Иванова.

Вопреки своей отдаленности друг от друга, все они, с его точки зрения, писали «карамзиновским слогом» — и он дружески посмеялся над ними. Дружески, но, в сущности, беспощадно, потому что его манера, далекая от «литературности», в любом воплощении была основана на устной речи героя.

Кто же был этот герой?

Тынянов в одной из записных книжек набросал портрет мещанина и попытался психологически исследовать это понятие.

«Лет 20—25 тому назад в Западной Руси слова «хулиган» не существовало, было слово — «посадский». В посадах, в слободах оседали люди, вышедшие за пределы классов, не дошедшие до городской черты или перешедшие ее...

Мещанин сидел там на неверном, расплывчатом хозяйстве и косился на прохожих. Он накапливал — старался перебраться в город, пьянствовал, тратился, «гулял» (обыкновенно злобно гулял). Чувство собственности сказывалось не в любви к собственному хозяйству, а в нелюбви к чужим.

Стало быть: оглядка на чужих, «свои дела», иногда зависть. Почти всегда — равнодушие. Пес, этот барометр социального человека, старался у мещанина быть злым. Крепкий забор был эстетикой мещанина. Внутри тоже разивалась эстетика очень сложная. Любовь к завитушкам уравнивалась симметрией завитушек. Жажда симметрии — это была у мещанина необходимость справедливости. Мещанин, даже вороватый или пьяный, требовал от литературы, чтобы порок был наказан — для симметрии...

...Все это нужно как заполнение пространства, которого мещанин боится. Пространство — это уже проделанный им путь от деревни к городу, и вспомнить его он боится. Он и город любит из-за скученности. Между тем дисимметрия, оставляя перспективность вещей, обнажает пространство. Любовь к беспространственности, подспудности — всего размашистей и злей сказывается в эротике мещанина. Достать из-под спуда порнографическую картинку, карточку, обнажить уголок между чулком и симметричными кружевами, приткнуть, чтобы не было дыханья, и наслаждаться частью женщины, а не женщиной».

В «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» Зошенко не только понял это всепроникающее

явление, но проследил лицемерно-трусливый путь мещанина через революцию и гражданскую войну. В этой книге было предсказано многое. У нового мещанина (времен нэпа) не было «забора», он жил теперь в коммунальной квартире, но с тем большей силой развернулась в нем «оглядка на чужих», зависть, злобная скрытность. Беспространственность утвердилась в другом, эмоциональном значении.

«Рассказы Назара Ильича...» писались, когда Зоценко пришел к «серапионам». Расстояние между автором и героем было в нем беспредельным, принципиально новым. Каким образом это «двойное зрение» не оценила критика, навсегда осталось для меня загадкой.

5

Проболтать до рассвета, не отпустить, не отступить — от друга. Острота настоящего, его неотъемлемость, еще незнакомое угадывание в нем будущего. Надежда! Единодушные не мысли, но чувства. Доверие! Звон старинных часов, показывающих не только дни и часы, но и годы, раздаётся, когда в блеске молодости открывается улыбающееся лицо. Совершается открытие: да, так было! Вот оно, колючее, обжигающее, не постаревшее за столетия воспоминание!

Но иногда нужно просто ждать, отложив в сторону старые письма, старые фото. И оказывается, что первое впечатление под рукой, а не там, где ты пытался найти его, пласт за пластом отбрасывая время. Постороннее, случайное, косо скрестившееся, ничего, кажется, не значившее отбрасывает занавеску волшебного фонаря — и то, что ты искал за тридевять земель, открывается рядом.

В этот вечер — «Серапионовы братья» собирались по субботам — читали поэты: Тихонов — из книги, которую он решил назвать «Орда», и Полонская — из книги, для которой мы все придумывали название.

«Гостишек» не было, и мне особенно нравились такие встречи — я был сторонником замкнутости нашего «ордена». Должно быть, моему студенческому воображению мерещилось нечто рыцарское, требующее обрядности, «посвящения». Первая читала Полонская, приятная, с неизменной мягкой улыбкой на свежем лице, с черным пушком на верхней губе, который шел

к ней и тоже каким-то образом был связан с ее мягкостью и добротой. По моим тогдашним понятиям она была не очень молода — лет двадцати семи. Отличный врач, никогда не оставлявший своей профессии, она писала стихи, которые мы любили и ценили.

Когда редакция «Литературных записок», издававшихся Домом литераторов, предложила «серапионам» опубликовать свои автобиографии, я отделался каким-то неостроумным мальчишеским вздором, а она ответила тонко и по-женски умно. Мне хочется привести ее ответ не только потому, что он характеризует и атмосферу тех годов, и нашу единственную «серапионову сестру», но и потому еще, что автобиография Зошенко, отрывок из которой я привел выше, была написана по той же просьбе редакции «Литературных записок». Вот что написала Е. Г. Полонская: «Когда я была маленькой, я всегда думала, что кроме гимназии и университета существует еще школа, в которой учат разным, необходимым для жизни премудростям, известным только взрослым людям. Как брать билет на вокзале, как нанять носильщика, договариваться с извозчиком, как торговаться в лавке, как просить извинения за шалости и как отвечать на вопросы: кого ты больше любишь — папу или маму?»

В гимназии училась хорошо, но трем вещам никак не могла научиться — не опаздывать на первый урок, не смотреть исподлобья и не говорить дерзостей. Затем я уехала за границу, окончила университет и наконец, побывав во многих городах, убедилась, что такой школы, о которой я мечтала в детстве, не существует. К сожалению, список предметов, которым я не могла научиться, еще увеличился: нужно чувствовать серьезность разных положений, поступать на службу и уходить со службы, вести переговоры с редакторами и издателями, хлопотать о том, чтобы сделаться 187-м кандидатом на академический паек, обижаться к стати и отвечать вовремя. Я заявляю, что пока такой школы нет, я вовсе не обязана это делать. Писание автобиографий относится к той же серии. Писать автобиографии я не умею. Я пишу стихи».

Когда я познакомился с Елизаветой Григорьевной, она уже не смотрела исподлобья.

В тот вечер она прочитала несколько стихотворений, которые впоследствии вошли в книгу «Знаменья». Тихонов предложил исправить одну строку: вместо —

Мне пресно сладкое, я горького хочу —

он посоветовал:

Мне пресно сладкое, я горечи хочу.

— А то Алексей Максимович может принять на свой счет,— сказал он под общий хохот.— Хотя, без сомнения, будет польщен...

Потом он стал читать свои стихи — и превосходные. С каждым днем он писал все лучше. Сибирь явилась перед нами, с ее мамонтами, захлебывающимися, потому что на ковчеге для них не нашлось места во время всемирного потопа,— и через миллионы лет земля, где:

...из рек, убегающих прямо,
Так широко и плавно,
Может пить только бог или мамонт,
Приходя как к равному равный.

Потом пришел Зошенко, франтовато приодевшийся. Только что вышла его первая книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Хотя часть тиража (к счастью, небольшая) появилась по ошибке в обложке «Трактата о трагическом» Константина Державина, гораздо важнее было то, что наборщики, работая над книгой, читали рассказы вслух и вся типография смеялась до упаду.

Очень хорошо было, что пришел Зошенко, но, к сожалению, он пригласил к «серапионам» трех актрис какого-то театра, гастролировавшего в Петрограде,— и это, с моей точки зрения, было плохо. Девушки, впрочем, были хорошенькие, особенно одна, востренькая, белокурая, которой, очевидно, понравилось мое мрачное, насупленное лицо, потому что, пока ее подруги читали стихи, она делала мне глазки.

Пожалел ли я о сердечной атмосфере этого вечера, когда мы чуть ли не впервые серьезно заговорили о поэзии? Груздев, до прихода Зошенко и «гостишек» упрекая Георгия Иванова, Адамовича, Оцуца в «болотной безошибочности и гладкости», процитировал Гумилева:

...И как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Полонская, редко выступавшая, сравнив баллады Одоевцевой и Тихонова, обвинила Одоевцеву в холодном, рассудочном подражании английской поэзии.

Показалось ли мне, что бесцеремонное вторжение хорошеньких актрис, которых Зошенко не должен был приглашать, оскорбляет наш «орден»? Не знаю. Но я с отвращением слушал пошловатые стихи гостей, а когда чтение было закончено, накинулся на них издевательски-резко. Не помню, что я говорил. Помню только, что процитировал Брюсова, который однажды сказал при мне, что даже лошадь, если она очень постарается, может написать одно вполне приличное стихотворение.

Федин, как всегда, попытался придержать меня, прервал на какой-то бессвязной фразе, пошутил...

Куда там! Я продолжал свою язвительную речь — и, не дождавшись других выступлений, девушки обиделись и ушли. Зошенко проводил их.

«Серапионы» дружно ругали меня, я отбивался — и замолчал, когда он вернулся. Все замолчали. Должно быть, не только я, никто из «братьев» таким его еще не видел. Смуглое лицо побелело, красивые темные глаза чуть косили. Он был в бешенстве. Не повышая голоса, он сказал, что я вел себя как ханжа — помнится, меня не только оскорбило, но еще и удивило это слово, — и потребовал, чтобы товарищи осудили мое возмутительное поведение. Я ответил, что очень удивлен тем, что он, требуя от меня ответа, обращается к другим, и что не позволю устраивать над собой суд, тем более что ни в чем не считаю себя виноватым.

— Полагаю, что вопрос может решить только та встреча лицом к лицу, — сказал я холодно, — с помощью которой еще недавно решались подобные споры и от которой я ни в коем случае не намерен уклониться.

Гордо подняв голову, я вышел и не помня себя помчался по Невскому. Мы деремся! Правда, Зошенко промолчал, и у меня не было уверенности, что он понял, что я его вызываю. Он промолчал, а кто-то (кажется, Федин) улыбнулся. Все равно мы деремся! Завтра нужно ждать секундантов... Десять шагов и до результата.

Тыняновы уже спали, и я рассказал о ссоре утром, после бессонной ночи.

Юрий Николаевич морщился, слушая меня, я знал это выражение энергичного и одновременно беспомощного неодобрения, когда он встречался с нелепостью, которая уже совершилась, и, стало быть, в ней ничего

нельзя изменить. В нелепости был виноват, по его мнению, я.

— Почему?

— Ну, хотя бы потому, что ты был, по-видимому, невежлив,— раздражаясь, заговорил Юрий Николаевич.— И ведь это уже не в первый раз. Мне кажется, что ты должен извиниться перед Зоценко.

— Ни за что!

— Ну, как хочешь. А мне пора.

И он ушел на работу.

Это были трудные для меня дни января 1922 года. В университете я еще не сдал минимум за первое полугодие. В Институте восточных языков (я учился и там) нельзя было не посещать занятий, но я не ходил и в институт: сидел дома, зубрил историю римской литературы и вскакивал на каждый звонок. Ждал секундантов.

Кого из друзей просить взять на себя эту трудную, но благородную роль? Я сочинял предсмертные записки, уверенный в том, что буду убит. Зоценко недавно снял военную форму, был известен своей храбростью — можно было не сомневаться в том, как окончится встреча.

Прошло два дня, Юрий Николаевич стал подсмеиваться надо мной и вдруг притащил откуда-то «Дуэльный кодекс». Я рассердился, потом прочел кодекс. Он был написан сыном (или племянником) известного Суворина, издателя газеты «Новое время». В коротком предисловии автор сообщал, что однажды как будто «принял вызов на дуэль», а в пространном послесловии — что он его все-таки не принял.

По-видимому, кодекс был издан, чтобы доказать доблесть автора,— человек чести, он слишком хорошо знал, как надо ее защищать. Многие изумило меня в этой книге. Она была отражением жизни, казавшейся фантазмагорией именно потому, что о ней было рассказано фотографически точно. Лишь семь-восемь лет тому назад достаточно было не ответить на поклон — и оказаться в двадцати шагах перед пистолетом. С помощью дуэли можно было защищаться от оскорбительного письма, действия, компрометирования жены и даже от жеста, если он покажется неприличным.

Особенное место отводилось печати: обиженный мог вызвать на дуэль автора, а если тот скрыл свое имя под псевдонимом — издателя или того и другого.

Драться полагалось на шпагах или гладкоствольных пистолетах, заряжающихся сферической пулей. Вспоминая, как ловко мы с братом фехтовали на отцовских шпагах, я пожалел, что вызван был, по-видимому, не я, а Зошенко и, следовательно, выбор оружия принадлежал ему.

Читая главу «Цель дуэли», я задумался: дуэль, оказывается, была «недопустима как средство тщеславия, возможности хвастовства и фанфаронства»: вся Тынкоммуна единодушно упрекала меня в фанфаронстве. Согласно кодексу, ждать полагалось не долго — два дня. Они уже прошли, но я добросовестно просидел еще два. Скучный учебник Модестова по римской литературе был изучен вдоль и поперек, из Института восточных языков позвонили и сказали, что я буду исключен, если не явлюсь на очередное занятие.

Наконец после долгих колебаний — идти или нет? — взволнованный, с горящими щеками, я отправился на первую годовщину нашего «ордена». Зошенко, веселый, красивый, с добрым лицом, пришел туда поздно, когда мы играли в какую-то игру вроде «телефона». Это было в комнате Мариэтты Шагинян в Доме искусств. Поклонившись хозяйке, он стал неторопливо двигаться вдоль ряда играющих, здороваясь, и, дойдя до меня, остановился. Я вскочил, и, как Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, нас стали мирить, уговаривая и толкая друг к другу.

Наконец мы поцеловались, и Зошенко сказал мне, улыбаясь:

— Знаешь, а ведь я эти дни почти не выходил. Думал: черт его знает, мальчишка горячий! Ждал секундантов.

6

Утверждая, что «все мы вышли из гоголевской „Шинели“», Достоевский ошибся даже по отношению к своим современникам. И все же, если исключить всеобщность этих слов, они наметили ту традицию в истории русской литературы, которая в XX веке привела к знаменательному появлению Зошенко. Именно он написал нового «маленького человека», духовный мир которого ограничен самым фактом его существования. О близости между Гоголем и Зошенко говорить не при-

ходится, недаром второй относился к первому с таким болезненным интересом. Для обоих литература в конечном счете была единственным средством самопознания, и если бы в руке оказалось не перо, а резец скульптора или кисть художника — ничего бы не изменилось. Для обоих это было явлением, возникшим на заре творчества, развивавшимся в поисках самого себя, то отступавшим, то наступавшим и в конце концов определившимся как главная черта их духовного мира. Литература сама по себе, не связанная с безотвязным стремлением понять себя, для них почти не существовала.

Известно, какие муки испытал на этом пути Гоголь, взваливший на себя ношу ответственности за собственный талант. Не сладко пришлось и Зощенко, который от поисков здоровья («Возвращенная молодость») пришел к поискам духовного здоровья для всего человечества («Перед восходом солнца»). Во второй части этой книги он сознательно отстранил несравненный дар «художественной информации», достигший под его пером необыкновенной изобразительной силы.

Но поставим рядом два великих открытия, которые были сделаны Гоголем в XIX веке, а Зощенко — в XX веке. Они объединяются в понятии «маленький человек»!

Акакий Акакиевич — мастер, художник, всецело поглощенный тайнами своего скромного дела. В его переписывании ему видится «какой-то свой разнообразный и приятный мир... некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Он беден и незащищен, он сам почти превращен в те «ровным почерком выписанные строки», которые занимают его воображение и на службе, и на улице, и дома. Он ничтожен, его не замечают не только «значительные лица», но и товарищи по работе. Но еле слышная нота ответственности, переходящей в сочувствие, начинает звучать в глубине рассказа. Кто виноват? Вот почему так потрясен молодой чиновник, посмеявшийся над Акакием Акакиевичем и услышавший в ответ лишь простые слова: «Зачем вы меня обижаете?» Вот почему молодой чиновник останавливается, «как пронзенный», и много раз «содрогается на веку своем», видя, «как много

в человеке бесчеловечья». Подчеркнутое преувеличение, с которым написаны эти строки, раскрывающие *историю совести*, звучат как проповедь, предсказывая «Выбранные места из переписки с друзьями».

И эта нота сочувствия не только слышится все сильнее, но звучит как набат на последних страницах, когда шинель украдена и Акакий Акакиевич смертельно, непоправимо обижен. Вместе с шинелью от него отнимают жизнь. Но хотя «Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто в нем его никогда и не было», остается идея совести, принимающая фантастические очертания. Как будто для того, чтобы показать, что безвинная гибель маленького человека не осталась неотмщенной, разворачивается панорама ночного Петербурга, в котором «мертвец в виде чиновника» сдирает «со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы». Все соотнесено в «Шинели», все выстраивается перед невидимым взглядом, обличающим «скрытое бесчеловечье даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».

7

Этой внутренней связи нет в мире, который встает со страниц ранней прозы Зощенко. Его герои, даром что они живут в коммунальных квартирах, существуют отдельно, идея совести отнюдь не мучает их, она полностью вытеснена идеей собственности. «Вот в литературе существует так называемый «социальный заказ», — писал он. — Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно. Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывает, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере, связывались раньше самые плохие литературные традиции... Мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти не фигурировал раньше в русской литературе. Я взял подряд на этот заказ. Я предполагаю, что не ошибся».

Он не только не ошибся. Он первый почувствовал силу нового мещанина, для которого нравственность была только обузой. Он первый написал Борьку Фомина в полосатых подштанниках, у которого жизнь то возносится на необозримую высоту, то падает, как камень в воду, в зависимости от того, что происходит с пятью тысячами, которые он выиграл — по займу или в лотерею («Голубая книга», «Трагикомический рассказ про человека, выигравшего деньги»).

Психологический мир этого героя, в сущности несложный, исследован Зощенко во всех оттенках — и это почти анатомическое исследование происходит в присутствии автора, который делится с читателем своими размышлениями, ничего не скрывая. В «Голубой книге» он попытался даже «систематизировать» отношения между многочисленными представителями этого мира, пять разделов недаром называются «Деньги», «Любовь», «Коварство», «Неудачи» и «Удивительные события» — названия говорят за себя.

Но есть у Зощенко и другой герой, тоже безоглядно погруженный в собственные интересы, но не стремящийся к корыстной любви, довольствующийся малым и менее всего склонный к коварству. Уже в самом начале своей деятельности (1922) он написал повесть «Коза», уж такую гоголевскую во всех отношениях, что даже странно, что никем еще не отмечено это сходство. Герой рассказа бухгалтер Забежкин, мечтающий о собственной козе, — почти зеркальное отражение Башмачкина, мечтающего о новой шинели. Весь рассказ написан в гоголевском «ключе».

«А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так — любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Вот ведь, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой... дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза... И подбежит эта дама к Забежкину... «Ох, — скажет, — молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают...» И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва,

и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо...»

«Неуважаемая мелкая форма», которая была нужна Зошенко для того, чтобы показать нового «маленького человека», неразрывно связана в рассказе с «неуважаемым мелким героем». Забежкин так же одинок, как Башмачкин, и так же, если не более, незащищен: Акакию Акакиевичу не грозит сокращение штатов. Оба не чувствуют трагической незаметности своего существования, оба мечтают о неизмеримо малом счастье, и оба гибнут, когда это ничтожное счастье отнимают у них.

В «Сентиментальных повестях», написанных в конце двадцатых годов, Зошенко возвращается к этой теме в новом повороте. Мелкий герой задумывается над смыслом своего существования — опасная затея! Тапер Аполлон Перепенчук («Аполлон и Тамара»), обманутый любимой девушкой, доведенный до нищеты, осмеливается предположить, что человек «так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка», и о том, что «человечество должно изменить свою жизнь, чтобы найти покой и счастье и чтобы не подвергаться таким страданиям, которые произошли с ним».

В «Страшной ночи» эта тревожная мысль развивается. Герой рассказа — Борис Иванович Котофеев — музыкант, играющий в симфоническом оркестре на треугольнике: «Читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра, вправо, сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах».

Такой профессии не существует — ударные инструменты, в число которых входит и треугольник, занимали свое, существенное место в симфоническом оркестре, когда Зошенко писал свою повесть. Треугольник важен своей «ничтожностью». Более жалкого занятия придумать, кажется, невозможно, а между тем Борис Иванович неразрывно связан с треугольником, «прикреплен к нему» и без него существовать не может.

И вот нехорошая мысль начинает мучить музыканта — мысль о том, что «жизнь не так уж тверда в своем величии». Что в жизни все случайно и что, стало быть, «все завтра же может измениться». Он убеждается

в этом, встретив бывшего учителя чистописания, дошедшего до полного падения, потому что «предмет этот был исключен из программы». Но ведь в один несчастный день может быть отменен и треугольник?

Страшное волнение охватывает Бориса Ивановича. В его неподвижный, устоявшийся мир врывается идея цели. Зачем он жил? Он как бы переносится в свое будущее — «электрический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем чтобы сразу, одним ударом, свалить его». Он уже не «прикреплен», в жизни нет ничего, что прежде служило опорой, и ничего не остается, как просить на улицах подаяния. «Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая себе отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

— Гражданин... Милости прошу... Может, человек погибает в эту минуту...

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

— А-а,— закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар.— Граждане!.. Милости прошу... На мое несчастье... На мою беду... Подайте, кто сколько может!»

Его принимают за пьяного, улюлюкающая толпа преследует его, загоняет в церковь. Но «Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей».

Так «мелкий герой» впервые восстает против своей машинальной, замкнутой жизни. Уже не позвякивает меланхолический треугольник. Колокольный звон разносится по городу, возвещая, что больше так продолжаться не может. Но это — погребальный звон по проснувшемуся сознанию. Не может, но будет. Выхода нет.

Зощенко был небольшого роста, строен и очень хорош собой. Глаза у него были задумчивые, темно-карие, руки — маленькие, изящные. Он ходил легко и быстро, с военной выправкой — сказывались годы в царской, потом в Красной Армии. Постоянную бледность он объяснял тем, что был отравлен газами на фронте. Но мне казалось, что и от природы он был смугл и матово-бледен.

Не думаю, что кто-нибудь из нас уже тогда разгадал его — ведь он и сам провел в разгадывании самого себя не одно десятилетие. Меньше других его понимал я — и это неудивительно: мне было восемнадцать лет, а у него за плечами была острая, полная стремительных поворотов жизнь. Но все же я чувствовал в нем неясное напряжение, неуверенность, тревогу. Казалось, что он давно и несправедливо оскорблен, но сумел подняться выше этого оскорбления, сохранив врожденное ровное чувство немстительности, радушия, добра.

Думаю, что он уже и тогда был высокого мнения о своем значении в литературе, но знаменитое в серапионовском кругу «Зощенко обидится» было основано и на другом. Малейший оттенок неуважения болезненно задевал его. Он был кавалером в старинном, рыцарском значении этого слова — впрочем, и в современном: получил за храбрость четыре ордена и был представлен к пятому в годы первой мировой войны.

Он был полон уважения к людям и требовал такого же уважения к себе.

Однажды после затянувшейся «серапионовской» субботы мы почему-то должны были спуститься не на Мойку, как обычно, а по черной лестнице во двор. Но что-то происходило на дворе — испуганные крики, ругательства, угрозы.

Мы стояли на лестнице, внизу неясно светился прямоугольник распахнутой двери. Скоро выяснилась причина суматохи: какой-то пьяный человек, без шапки, в распахнутой шинели, с обнаженной шашкой гонялся за всеми, кто выходил из дверей или появлялся в воротах. Шашка посверкивала в слабом свете, выходить было страшно, и, переговариваясь с возмущением, мы ждали. Впрочем, недолго. Зощенко, стоявший на первой ступеньке, появился на дворе и неторопливо направился прямо к буюну. Тот замахнулся с грубым руга-

тельством, и мы только вскрикнули, когда Зошенко не отклонился. Он стоял пряменький, подняв плечи. Шашка просвистела над его головой. Не знаю, что он сказал обезумевшему человеку, но тот, бессвязно бормоча, стал отступать. Так, с шашкой в руке, его и взяли подошпевшие милиционеры.

9

Мало кто помнит о стремительном взлете его славы в двадцатых годах. Уже в 1928 году издательство «Academia» выпустило посвященный ему сборник статей, в котором участвовали В. Шкловский и В. Виноградов.

«Сделанность вещей Зошенко, присутствие второго плана, хорошая и изобретательная языковая конструкция сделали Зошенко самым популярным русским прозаиком. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Как поезд», — писал Шкловский.

Я был свидетелем воплощения этой формулы в жизнь. На перегоне Ярославль — Рыбинск находчивый пассажир продавал за двадцать копеек право почитать маленькую книжечку Зошенко — последнюю, которая нашлась в газетном киоске.

К концу 1927 года Михаил Михайлович напечатал тридцать две такие книжечки, среди которых были и повести «Страшная ночь» и «Аполлон и Тамара».

Десятки самозванцев бродили по стране, выдавая себя за Зошенко. Он получал счета из гостиниц, из комиссионных магазинов, а однажды, помнится, повестку в суд по уголовному делу. Женщины, которых он и в глаза не видел, настоятельно, с угрозами требовали у него алименты. Корреспонденция у него была необъятной. На некоторые значительные письма он отзывался, тысячи других оставались без ответа, и в конце концов, отобрав из них три-четыре десятка, он опубликовал «Письма к писателю», книгу не столько объяснившую, сколько подтвердившую его успех, ни мало не нуждавшийся в подтверждении.

Его слава была связана с открытиями в русской прозе; его слова и выражения вошли в разговорный язык. Однако в хоре похвал пробивалось и бессознательное непонимание. Для этого нужно было только одно: не чувствовать юмора. Впрочем, для того чтобы

не почувствовать зощенковского юмора, нужна полная глухота,— такие люди едва ли могут отличить музыку от уличного шума.

Характерное для Зошенко гордое достоинство соединялось с полным бесстрашием, более того — небоязнью смерти.

Мы сближались медленно, моя мальчишеская самоуверенность, мои резкости на собраниях «Серапионовых братьев» не нравились ему — человеку, о котором Шкловский метко сказал, что «у него осторожная поступь, очень тихий голос... манера человека, который хочет очень вежливо кончить большой скандал...» («Мастера культуры», «Academia», 1928).

Впоследствии моя искренняя любовь к нему, мое восхищение его удивительным дарованием смягчили его. Мы стали друзьями, хотя я никогда не чувствовал, что моя личность и мои книги глубоко занимали его.

Мне кажется, что он отказывался судить людей, легко прощая им подлости, пошлости, даже трусость. Его особенно интересовали люди ничтожные, незаметные, с душевным надломом — это видно, кстати, по его книге «Письма к писателю», где авторский комментарий показывает, в какую сторону был направлен этот самобытный, оригинальный ум.

Внутренняя напряженность, которая была видна в нем с первых дней нашего знакомства, усилилась, когда он стал знаменитым писателем.

Но он был щедр, внешне открыт, несмотря на то что часто находился в «болезненно нервическом раздражении» («Письма к писателю»), несмотря на то что подчас естественная, обыкновенная жизнь казалась ему настоящим открытием, чудом. Он никогда не острил, его милый, мягкий юмор сказывался не в остротах, а в почти неуловимой интонации, в маленьких артистических импровизациях, возникающих по неожиданному, мимолетному поводу,— это-то и было прелестно.

Он радовался удачам друзей, как бы далеки ни были их произведения от его литературного вкуса. Зависть была глубоко чужда ему и даже, кажется, непонятна,— не говорю уж о его доброте, неназойливой, деликатной,— он мог, оставшись без гроша, броситься помогать полужнакомым людям...

1929—1980

ЧТО Я ПОМНЮ О ЗОЩЕНКО

Увидела я его впервые в Доме искусств (на Мойке, 59) в Студии, не помню точно, когда именно — в конце 1919 или в начале 1920 года.

Мне уважительно по отношению к нему сказали, что он воевал, отравлен газами и интересный человек.

Зошенко был очень молчалив, мрачен, роста небольшого, с красивым лицом. Походка у него была особенная, немного фатоватая, как-то компенсирующая его небольшой рост. Глаза удивительные, карие, очень добрые, когда он улыбался, показывая чудесные белые зубы. Цвет лица темный, что придавало ему болезненный вид. И как будто он прихрамывал, во всяком случае опирался на палку. Носил какой-то полувоенный костюм, как многие в те годы. Говорили, что у него ордена за храбрость и даже какое-то наградное оружие. Он воевал в царской и в Красной Армии.

Потом я встретила его на «Серапионах» — это уже двадцать первый год. Он входил в состав этой молодой литературной группы и прочел там, кажется, два рассказа — «Викторию Казимировну» и «Рыбью самку», которые очень понравились. И вот я припоминаю один вечер, когда Лев Лунц читал свою пьесу «Вне закона». Чтение имело шумный успех. Федин, высказываясь по поводу пьесы, добавил, что наконец-то он слышит настоящую взрослую вещь. А на предыдущем собрании читал Зошенко! Он прямо-таки почернел и чудовищно обиделся. Вспыхнул резкий разговор, который дружно постарались замять. Обидчивость его потом вошла в поговорку. И вот ему, бедняге, пришлось после сорок шестого года выдержать столько обид и унижений.

А вообще-то, каждый рассказ, прочитанный Зошенко, ожидался с большим интересом и обычно нравился.

Мы с моей подругой (она была секретаршей Студии, и происходило это, видимо, еще в двадцатом году, звали ее Муся Алонкина, и ей был посвящен первый альманах «Серапионовых братьев») как-то случайно узнали, что у Зощенко родился ребенок, что он очень нуждается и у них плохо с питанием. Мы решили, что Зощенко обязательно нужно помочь. Не сообщая никому ничего, своими собственными силами собрали посылочку (там была даже манная — для ребенка), соблюдая глубочайшую тайну, отправили Зощенко. И, встречаясь после этого с ним в Доме искусств, трепетали — как бы чего не вышло. Вдруг он узнаёт, обидится, рассердится. Но прошло какое-то время, и мы успокоились. Как вдруг, совершенно неожиданно, он подошел ко мне и сказал: «Большое вам спасибо», поцеловал мне руку (мне было тогда неполных восемнадцать лет), и больше мы с ним никогда об этом не говорили. Как-то он узнал, но ведь он мог и виду не подать, что знает, и никого не благодарить, потому что посылка была отправлена совершенно анонимно.

Жил он как-то отдельно, в жизни молодых — с вечерами, танцами, романами — не участвовал или присутствовал в качестве молчаливого зрителя. А если и оставался случайно допоздна, то просто укладывался на двух креслах в комнате М. Л.¹ спать и иногда становился невольным свидетелем весьма эксцентрических сцен. Комнатой М. Л. его друзья пользовались в его отсутствие весьма свободно, а иногда даже запирались и не пускали его самого чуть не до утра. Да, такие были нравы.

Зощенко был женат. Выглядел старше, больнее, умудреннее жизненным опытом. С ним и обращались осторожно, как с больным. Нам, так называемым «девицам» (так назывались постоянные посетительницы серапионовских чтений), он казался «загадочным» (по тогдашней терминологии). Острил он неожиданно и очень серьезно. Не просто ради смеха. В его шутке (пожалуй, тут в самом деле больше подходит слово «шутка») был скрытый смысл.

Читал он довольно часто, вызывая дружный смех и восхищение. Его язык воздействовал так сильно, что мы стали повторять его смешные словечки, нещадно коверкая свой «интеллигентный» язык. Я много лет го-

¹ М. Л. Слонимский.

ворила при случае: «Собачка системы пудель», «Не для цели торговли, а для цели матери» и т. д.

Теперь уже смутно помню веселые серапионовские годовщины и те необыкновенно смешные и талантливые пародии и сочинения, которые к этим дням писали чаще всего Зоценко и Евгений Шварц. Несколько таких годовщин праздновали у Тихонова, у Федина, раз у Груздева, не помню, где еще. Запомнился мне, к сожалению, только конец одной пародии на Маршака:

.
.
А детишки пис-пис.
Госиздату гип-ура!
Пети-мети автора!

(Жест рукой, изображающий получение денег, — эти пародии читались.)

На все собрания, вечера, годовщины Зоценко всегда приходил один. Жену его никто не знал и не видел. И вот как-то летом (в самом начале двадцатых годов), приехав к брату на дачу в Сестрорецк, я встретила в Дубках Зоценко. Он мне обрадовался и, как это ни странно, повел к себе на дачу. Жили они на Литейной, снимали маленькую мансарду. Жена его оказалась художенькой, очень подвижной блондинкой с пышными волосами цвета меда и очень разговорчивой. Кажется, она в то время работала воспитательницей в детском саду. И, очевидно, училась в университете, потому что в двадцать четвертом году во время так называемой «чистки» ее «вычистили» из университета из-за социального происхождения — она была дочерью какого-то офицерского чина (совсем некрупного) царской армии. Она, естественно, очень тяжело пережила это отчисление.

В тот раз, в Сестрорецке, она много говорила, называла Зоценко полным именем «Михаил», что мне было непривычно, и казалась очень возбужденной. Потом, познакомившись с ней ближе, я поняла, что такой она была всегда. Ее роль в жизни Зоценко очень большая и сложная, мне кажется, что многим в своей литературе он обязан ей, но я не считаю себя вправе вдаваться в их взаимоотношения.

Не помню, почему он привел меня к себе на дачу. Кажется, он дал мне тогда свою только что вышедшую книжку. Да, это вполне возможно.

Потом он пошел меня проводить, и по дороге нам встретилась цыганка. Она пристально поглядела на Зошенко и сказала: «Заграничные твои глаза, давай я тебе погадаю!» Нас это очень рассмешило.

Я чувствовала, что Зошенко относится ко мне с доверием и симпатией, и мне это было приятно. Уже несколько позже он мне как-то сказал: «У меня к вам дружбишка».

Вскоре пришел настоящий успех в литературе и успех у женщин. Но жизнь еще шла скромная. Они с М. Л. после превращения Дома искусств в ресторан «Шквал», а потом и вовсе закрытия переехали в другую квартиру, собственно, того же дома, только с входом с улицы Герцена, 14, со двора (третий двор). Окно комнаты М. Л., узкой, длинной, страшно неудобной, выходило на Невский, как раз на угол Мойки, комната была угловая, а Зошенкина — была рядом, окнами во двор. По другую сторону, рядом с М. Л., была комната художника Милашевского, подальше — Давид Выгодский, бывшая жена Ходасевича Анна Ивановна с сыном Гариком, вдова Гумилева, поэт Нельдихен, грузчик, женщина легкого поведения, бывшие служащие Елисева — Евдокия Васильевна (очень славная) и ее муж. Одним словом, настоящий Ноев ковчег, даже не коммунальная квартира, потому что там не было коммунального быта, я даже кухни не помню. Впрочем, наверно, была и кухня.

«Серапионы» по-прежнему собирались в комнате М. Л., и там читались такие интересные, такие талантливые вещи, и всегда шло горячее обсуждение, шли горячие споры, никого не щадили, кроме Зошенко. Один раз даже чуть не подрались!

Как-то раз я пришла на очередное чтение слишком рано. М. Л. не было дома, и комната была заперта. На мой стук из своей комнаты рядом вышел Зошенко и пригласил меня подождать у него. Я впервые увидела, как он живет (не считая дачи в Сестрорецке). Обстановка была самая примитивная. Ни он, ни М. Л. никакого внимания быту не уделяли, и эта черта у них сохранилась на все времена...

Мы часто втроем — я, М. Л. и Зошенко — ходили по вечерам в ресторан или в кавказский подвальчик на Невском ужинать. Они разговаривали, делились мнениями, обсуждали книги и писателей и пр. Я большей частью молчала и «училась». Потом они провожали

меня домой. Иногда к нашей троице присоединялся Федин, а иногда за ресторанным столом собиралась большая компания — и Никитин, и Тынянов, и Эйхенбаум. У меня сохранилась открыточка, которую они мне там купили, с разными смешными экспромтами, написанными в тот вечер.

Зощенко часто острил на мой с М. Л. счет, строя перспективы на предмет нашей свадьбы, — как он будет у нас гостить, ночевать в качестве друга, ночью ошибется дверью и т. д. Мы очень смеялись этим шуткам.

Он уже был знаменит, начинались его многочисленные «офицерские» романы с хорошенькими женщинами, он стал вести так называемый светский образ жизни. Семейная его жизнь так и оставалась для нас загадкой. Он рассказывал нам о своих поездках на выступления в разные города, о том, как его там торжественно встречали, но все это не хвастаясь, а как друзьям, просто как факты.

Он вообще-то всегда был подтянут, даже в самые худшие времена, а тут стал элегантен — особой, зощенковской элегантностью.

Он с женой и сыном поселился в большой прекрасной квартире (уже забыла — кажется, на улице Чайковского). Вера Владимировна обставила квартиру белой мебелью в стиле Людовика XVI, у Зощенко появился, правда, довольно скромно обставленный красным деревом, но все же — кабинет. Мы с М. Л. были уже женаты, и вот как-то вместе с приехавшим из Москвы Шкловским оказались приглашенными к Зощенкам. Нас принимали в большой комнате Веры Владимировны, где был накрыт парадный стол. Увидев всю эту обстановку, столь непривычную для Зощенко: мебель Луи XVI, картины с маркизами в золоченых рамах, фарфоровых пастушков и пастушек и большую раскидистую фикусовую пальму, — невоздержный Шкловский воскликнул: «Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Вера Вл. смутилась, Зощенко почернел и растерялся. Думаю, что раньше он даже не замечал эту пальму. (И вот как забавно: на экраны вышла картина по зощенковским рассказам «Не может быть», и там в квартире его героев — пальма!)

Вообще же Зощенко, по-моему, жил как-то отдельно даже в общей семейной квартире. Что-то он извлекал из этого быта (с ними жили родные Веры Вл. и бывали ее друзья), особенно для своих повестей, где так много

людей вроде бы неактуальных, нелепых, отставших от времени, в общем — беспомощных, с «мещанским» сантиментом и претензией. Но ведь его юмор в этих повестях — это не просто юмор или карикатура, что-то для смеха. Внутри его вещей и боль, и жалость, и размышление.

И в разговорах, при свойственной ему своеобразной лексике, он был всегда глубок, умен и интересен.

* * *

Еще хочу вспомнить один эпизод — очевидно, конца двадцатых — начала тридцатых годов. Мы жили еще на улице Марата, значит, это было до тридцать четвертого года. У нас сидел Зощенко, и неожиданно явился Леонид Добычин, часто у нас бывавший, еще только начинавший печататься, но уже вызвавший большой интерес. И я, и М. Л. очень внимательно к нему относились, и он, по-моему, относился к нам с доверием и симпатией. Мы обрадовались его приходу. Нам казалось, что встреча двух таких своеобразных и ярких людей, в чем-то даже близких в своей резко сатирической манере, должна вызвать обоюдный интерес и внимание. Оказалось совсем не так. То есть Зощенко, уже очень популярный, можно сказать, знаменитый, в расцвете таланта и успеха, проявил было интерес, а Добычин весь взъерошился и совершенно неожиданно, ни с того ни с сего, глядя на Зощенко ненавидящими глазами, стал перечить, говорить резкости и вскоре ушел, оставив у всех нас очень неприятный осадок. Зощенко ничего не понял и недоумевал — почему Добычин такой злой. Мы тоже ничего не поняли. Думаю, между ними возник какой-то резус-фактор, какая-то необъяснимая несовместимость. Не помню, говорили ли мы потом с Добычиным о его реакции на встречу с Зощенко. Во всяком случае, это был редкий случай, когда Зощенко вызвал такое резко отрицательное к себе отношение. Обычно он привлекал людей.

* * *

Еще эпизод. Год 1937-й или 1938-й — не помню. Мы оказались спутниками в поездке в Коктебель. По дороге, в Джанкое, была пересадка. Мы с Зощенко пошли обедать в местный ресторан. За обедом мы разговари-

лись, и я попутно спросила его, почему он, так интересуясь медициной, написав такую интересную книгу «Возвращенная молодость», не пошел в свое время на медицинский. Он ответил мне, что не пошел сознательно, потому что учеба в институтах ограничивает свободу мышления. Студентам забивают голову установившимися взглядами, устаревшими «истинами», и это ограничивает их сознание. Может быть, слова были и не эти, но за смысл я ручаюсь. Я, окончившая университет и занимавшаяся физиологией, обиделась и прошлась насчет невежественности и ненаучного подхода. Зоценко вспыхнул и в свою очередь прошелся весьма резко на мой счет. В общем, мы поссорились и закончили обед в мрачном молчании. Вышли из ресторана врозь. Я — впереди, он — отдельно сзади. Мне было и обидно, и больно. Вдруг он меня догоняет и говорит: «Дусенька, я к вам очень хорошо отношусь, я не хочу с вами ссориться». Я сразу повеселела, отшутилась, и мы как ни в чем не бывало, в мире и согласии доехали до Коктебеля.

Вот еще схожий эпизод. В 1939 году мы с М. Л. были на шевченковском пленуме в Киеве. Там же был и Зоценко. Он был в окружении своих московских приятелей, с которыми я уж не помню (а может быть, и не знаю), почему у М. Л. на том этапе обострились отношения. Как-то утром я (одна, без М. Л.) сижу в гостиной, жду, когда откроют ресторан. В гостиную входит Зоценко с москвичами, с которыми я не знакома. К моему величайшему изумлению, он проходит мимо меня и не здоровается. Я была страшно оскорблена и решила порвать с ним все наши такие давние и такие добрые отношения, порвать окончательно. Как вдруг он возвращается, подсаживается ко мне и говорит: «Я знаю, я очень виноват перед вами, простите меня...», дальше не помню, что он говорил. Я простила.

* * *

Может быть, тут же уместно вспомнить и такой разговор Зоценко и М. Л. В каком году — не помню. Речь шла о товариществе, о писательских взаимоотношениях, хорошенько не помню о чем.

М. Л. сказал: «Я никогда не пропускал войска на твою территорию». А Зоценко — сокрушенно (именно сокрушенно): «А я пропускал...»

Прошла война. Мы были эвакуированы в разные города и не встречались. За это время Зощенко напечатал в «Октябре» свое знаменитое «Перед восходом солнца», был страшно обруган, вернулся в Ленинград, по-моему, раньше нас. В Ленинграде он встретил у руководства очень хороший прием, хотя, как правило, к эвакуированным относились недоброжелательно. Правда, Зощенко эвакуировался не по собственному желанию, а по указанию свыше. Так или иначе положение его в Ленинграде было прочное и спокойное. Он как-то посolidнел, успокоился, и даже в его обиходе появились какие-то снисходительные, покровительственные нотки. Мне они не нравились, но тем не менее отношения были дружеские, привычные.

И тут грянул доклад А. Жданова и постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

По-моему, мы еще жили в Комарове и приехали на этот день в Ленинград. Никто ничего точно не знал (я говорю о близких нам людях), ходили какие-то неясные слухи. М. Л. ушел на собрание. И вот тут, кажется, вечером мне позвонил Зощенко (а он тоже в это время жил на своей даче в Сестрорецке), позвонил из города, и я поняла, что ему на это собрание билет не послали. Мы условились, что, когда М. Л. вернется, мы ему позвоним и он придет к нам.

М. Л. вернулся с собрания не один. Пришли к нам еще Козаковы, Мариенгоф с Никритиной, Эйхенбаумы. Сразу же позвонили Зощенко, и он пришел. Он явно был обеспокоен, но старался не подавать вида и пытался шутить. М. Л. увел его в кабинет и рассказал ему о том, что происходило на собрании. Кстати, один из московских «руководящих» товарищей предложил М. Л. выступить с осуждением Зощенко. М. Л. отказался (может быть, его потому и включили в то знаменитое постановление, потому что сам рассказ, по поводу которого «постановляли», не представлял специального интереса). Выступил Н. Никитин — очень растерянно и, не закончив выступления, под каким-то нелепым предлогом сошел с трибуны (или, как он сказал в своей сумбурной речи, — с эстрады). О Никитине я, естественно, говорю со слов тех, кто был на собрании.

В общем, все были и очень удивлены, и очень обеспокоены. Просидели мы за столом в ту ночь очень дол-

го. Советовали Зощенко написать на самый верх, объяснить неправильность трактовки его писательского труда. О чем говорили точно, я уже не помню, а писать по принципу «если память мне не изменяет» о столь важных вещах не хочу. Помню только, что атмосфера была очень дружная.

Шли дни, полные всяких тревожных событий. Зощенко ничего не предпринимал и наверх не писал. Как я потом узнала, и Вера Вл. уговаривала его сделать это. Тучи сгущались, и в конце концов мы с Катей Саяновой решили почему-то, что, может быть, нас он послушается, и пошли к нему уговорить его написать письмо Сталину, чтобы снять с себя обвинения в том, в чем он не виноват. Мы говорили горячо и долго. Он слушал нас терпеливо, но и не выражая согласия. В конце концов он поблагодарил нас за участие и поцеловал мне руку, а Кате — нет. Меня это очень шокировало, и мне было неудобно — она приняла во всем этом разговоре такое же горячее участие, как и я. Потом я поняла, что она была женой Саянова, а Саянов напечатал ту несчастную «Обезьянку» и на собрании всячески отмежевывался. Вероятно, это его затормозило.

Письмо Сталину, очень достойное, спокойное письмо, было все же им написано и отправлено.

В постановлении после доклада Жданова кроме главных обвиняемых — Зощенко и Ахматовой — были еще упомянуты и осуждены несколько писателей, в том числе и М. Л. Положение их после этого стало невыносимым, а М. Л. стало особенно трудно, потому что тогдашнее руководство Союза в Ленинграде по ряду причин, о которых я здесь считаю неуместным говорить, относилось к нему очень плохо и обрадовалось возможности, так сказать, узаконить это положение. М. Л. фактически пришлось в течение нескольких лет жить и работать в Москве и только ненадолго приезжать в Ленинград к семье, потому что ни жить, ни работать здесь ему не давали.

Мы совершенно обнищали, влезли в долги, которые вернуть смогли только после пятьдесят первого года, когда вышли «Инженеры». Я опять занялась стенографией, брала переписку на машинке, вязала кофточки, но это не обеспечивало нашего существования. Зощенки продавали вещи, продали половину своей сестрецькой дачи. У них-то было совсем плохо.

Как же все-таки они жили? Зощенко, по-моему, ни к кому не обращался за помощью. Он был слишком самолюбив и горд. Я знаю, что ему (через Веру Владимировну, по-моему) помогали Каверин, Мариэтта Шагинян, Федин (он мне как-то сказал, что получил письмо от Веры Вл.). Купила для них рабочие карточки и этим обеспечила какой-то жизненный минимум Л. А. Чалова, с которой он был в эвакуации в Алма-Ате. И, конечно, большой поддержкой для него была Марина Деодоровна Мухранская. Она ему сказала, что, пока она существует, он с голоду не умрет (это я пишу с его слов), а ситуация была такая и его положение было таково, что эти слова имели совершенно реальный смысл. После пятьдесят первого года, когда М. Л. уже прочно вернулся в Ленинград, мы расплатились с долгами и жить стало легче, Зощенко иногда занимал у нас деньги на оплату квартиры. Мы предлагали ему взять столько, сколько ему нужно, а он говорил, что он будет брать у богатых, а вот у нас будет брать на квартиру и ему будет спокойнее житься, зная, что квартира у него всегда будет оплачена.

* * *

Перехожу к тому, что было записано мной в 1961 году по просьбе, верней, по требованию Корнея Ивановича Чуковского. Я рассказала ему о моих последних встречах с Зощенко, о его болезни, и он мне сказал с упреком: «И вы не записали!» Но записывать под свежим впечатлением я не могла — было не до того. Да и потом, когда я хотела написать нашим общим друзьям о последнем месяце его жизни, у меня не получилось. И все-таки попробую...

Самая близкая по дате запись — это мое письмо Л. Б. Черненко-Харитон, моей ближайшей подруге еще с серапионовских времен. Писала я ей в Харьков спустя полгода после трагических событий — 21 декабря 1958 года, но письмо не послала, оно сохранилось у меня. Очевидно, мне показалось каким-то сухим описание болезни М. М., я не сумела передать атмосферы этого моего последнего общения с ним. И все-таки сейчас я перепису сюда то, что я ей писала, потому что это точнее, чем вспоминать или переписывать то, что я записала по памяти в 1961 году.

«...Лидочка, я этой весной пережила тяжелое время. В середине мая я вернулась из Железноводска. И в первый же день позвонила М. М. То, как он говорил по телефону, меня просто потрясло. Он плохо понимал, что я говорю, отвечал невпопад, но меня узнал и сказал жалким, больным голосом, что ему очень плохо, чтоб я зашла к нему.

Я сразу же пошла. Оказывается, у него был какой-то приступ, что-то вроде спазма мозгового в результате, как сказали врачи, отравления никотином. Он почти ничего не ел и очень много курил. И у него что-то случилось с головой. Он путал слова, не всегда понимал, о чем идет разговор, на полуслове терял нить разговора.

И в то же время он мне страшно обрадовался, и мы разговорились. И я увидела, что и в болезни он никак не может выйти из круга наболевших и мучительных для него вопросов. Я пыталась отвлечь его от самого себя, рассказывала о концертах Шостаковича и Прокофьева. Он был близок с Шостаковичем, и его эти рассказы интересовали. При этом, не слыша той музыки, о которой я говорила, он удивительно точно и тонко определил творческие индивидуальности обоих. Но он сразу же опять возвращался на свою привычную мучительную тропу и говорил все о том же, все о том же...

Он лежал на большой постели, одетый, маленький, очень худой, похожий на тряпичную куклу с большой головой, которую надевают на пальцы, на игрушку бибобо. При нем была Мариша, которая своим спокойствием, хозяйственностью, организованностью хорошо на него действовала, а Вера Вл. была на даче, и он не хотел, чтоб она приезжала.

А в общем-то, он был один, несмотря на жену, сына, внука и Маришу. Он мне вдруг сказал: «Нет, я плохо устроил свою жизнь. Мне нужна была добрая женщина, которая бы меня жалела».

Лидочка, не буду Вам все описывать. До нашего отъезда я бывала у него часто, почти каждый день. Ему стало лучше. Он действительно стал выходить и вскоре уехал к Вере Вл. в Сестрорецк, и мы успокоились насчет его здоровья. Перед нашим отъездом он зашел проститься. Когда он уходил, мы с ним, прощаясь, поцеловались, и я с какой-то внутренней тревогой подумала: «А вдруг это в последний раз...» И вот так и случилось.

Все это было очень тяжело.

Он надписал мне только что вышедшую его книжку — это было в первые дни, когда он еще лежал в постели, при Марише. Он взял перо и вдруг сказал: «Какая глупость! Я не могу писать тебе на «вы». Я так давно тебя знаю и люблю (Вы, конечно, понимаете, что это «люблю» никакого специфического оттенка не имеет), я напишу тебе на „ты“». И он сделал надпись на «ты», а потом сразу же как будто забыл об этом и говорил, как обычно, на «вы». Эта книжка хранится у меня как величайшая ценность.

...Мы уехали, потрясенные последним с ним разговором, а через две недели узнали, что все кончено. Я хотела сразу написать Вам и не смогла».

Вот это письмо. А теперь я добавлю то, что я записала по памяти в 1961 году, после разговора с Корнеем Ивановичем.

Он не давал себя лечить, не соглашался на врачей. Литфонд тоже как-то не торопился прислать врача, очевидно, зная, что он будет встречен неохотно и Зошенко все равно не даст себя полечить, как нужно. Все же я договорилась и убедила Зошенко, что надо сделать анализ крови. Он неохотно согласился. Анализ сделали, я спросила врачей, каков результат. Мне сказали, что только формула сильно сдвинута, но это может быть и при гриппе.

Вообще взаимоотношения Зошенко с врачами, их интерес к нему и его встречи с психиатрами представляют особый интерес.

У его изголовья на столе лежала его книжка в переводе на польский (кажется, именно на польский) и очень милое письмо из иностранного издательства не то тоже из Польши, не то из Венгрии, не помню. Но он к этому был равнодушен, а когда я села у его кровати, он начал возбужденно говорить мне о своем положении, о том, что его не реабилитировали, что он по-прежнему ходит в оплеванных и виноватых, что его не печатают, что ему вернули рассказы оттуда-то и оттуда, чего-то не напечатал «Крокодил». Действительно, в это время положение его опять осложнилось (может быть, после пресловутой встречи с английскими студентами).

Одним словом, его сжигали горькие мысли, накопившиеся обиды, неудачи, трудности с печатанием, затянувшаяся история с пенсией.

Слушать все это было очень тяжело, было страшно

его жалко в этой его униженной гордыне, в этой его беззащитной уязвимости, в неумении, неспособности переступить через несправедливость, постараться забыть, восстановить свои жизненные силы, отнестись философски, что ли. Нет, ему нужна была полная и почетная реабилитация. Он говорил в том духе, что, мол, обвинили и опорочили его публично и печатно на весь мир, а вот нигде не сказано, что он оскорблен напрасно.

Он был упрям, и самолюбив, и горд, и глубоко человечен, просто, наивно человечен. И он не мог приспособиваться к обстоятельствам, даже его великолепный юмор ему в этом не помогал. Он противостоял в своем человеческом достоинстве и литературной честности всей тяжести обрушившихся на него обвинений и оскорблений, выстоял морально, но физически и психологически сломился.

Время шло. Я навещала его почти ежедневно, приносила по указанию Мариши кефир, что-нибудь вкусненькое, но он ничего не ел. Столы были завалены едой, которую ему, очевидно, готовила Мариша. У него давно, с самого постановления, образовался какой-то странный невроз на почве еды, и он не мог есть, верней, ел с отвращением и смехотворно мало.

В один из дней я договорилась с Маришей, что принесу ему кефир и она мне откроет. Звоню — мне открывает Вера Вл., приехавшая с дачи и страшно обеспокоенная положением вещей. Зощенко был мрачен и совсем по-детски делал мне «страшные глаза» в сторону Веры Вл. Когда она вышла зачем-то из комнаты, он стал умолять меня, чтобы я убедила Веру Вл. уехать обратно на дачу. Я перешла к ней в комнату и посоветовала ей ехать на дачу и по телефону узнавать о его состоянии с тем, чтобы в случае необходимости немедленно приехать в город. Вера Вл. уже в общем не возражала, соглашалась с тем, что Марина его кормит и смотрит за ним, жаловалась на его трудный характер и на его странности, или, как она говорила, «психоневрозы», на нежелание лечиться. Чувствовалось, что между ними очень много сложностей, и все это поднималось вновь и вновь, когда они были вместе. В общем, решили, что она уедет. Зощенко сказал ей, что, когда ему станет легче, он приедет в Сестрорецк. Она уехала.

Он сказал, что через день-два уедет в Сестрорецк, и чувствовалось, что ему даже уже хочется уехать из города.

Вскоре он действительно уехал в Сестрорецк.

И вот накануне нашего отъезда из Ленинграда звонит Зощенко. Он приехал на несколько дней в город по делам (думаю, в связи с хлопотами насчет персональной пенсии, которые ему очень досаждали, а пенсия была ему очень и очень нужна как некое реальное обеспечение) и хочет нас повидать. Вечером он к нам пришел.

Нужно сказать, что как раз в эти дни в газетах появилось постановление о музыке, окончательно реабилитирующая осужденных в 1948 году музыкантов, и, в частности, очень уважительно трактовался Шостакович. А Зощенко после сорок восьмого года как-то соотносил свою судьбу с судьбой Шостаковича, и это давало ему облегчение. Они были хорошо знакомы, Зощенко бывал у них в доме, дружил с его матерью. Шостакович тоже интересовался Зощенко, между ними существовала какая-то внутренняя связь. (Недаром потом, после смерти Зощенко, мы, навещая его могилу, несколько раз встречали там Шостаковича.)

Правда, Шостакович был намного моложе, другого поколения, гибкий, стойкий, многоплановый. Не буду сравнивать их таланты, дело не в этом, а в какой-то общности судеб. И эта новая реабилитация, которая, по мнению Зощенко, восстанавливала честь и достоинство музыкантов (в частности, Шостаковича), никак его не коснулась. Он остался один — под сомнением, непрощенный (а вины своей он, естественно, никакой не чувствовал), не возвращенный вместе с другими к норме.

Одним словом, когда он появился у нас, мы с М. Л. были поражены его тягчайшим душевным состоянием. Он был чудовищно мрачен и угнетен и сразу же заговорил об этом новом постановлении, о том, что к нему несправедливы, о том, что он один остался «нерабilitированным».

Мы его успокаивали, как могли, говорили, что дело его давно решено, что не было надобности еще раз его ворошить, ссылались на Ахматову. Но почему-то с Ахматовой он не связывал свою судьбу, а все возвращался к Шостаковичу. И опять говорил, что нигде не напечатано о нем, как о музыкантах, то есть что отношение к нему было неправильным.

Просидел он у нас в тот вечер очень долго — кажется, часов до двух. М. Л. исчерпал все доводы

и убеждения. Зощенко сидел весь черный и говорил, говорил, говорил...

К концу вечера М. Л. все же как будто удалось его успокоить, что-то объяснить, дать какую-то перспективу. Мы очень сердечно, по-дружески простились и даже поцеловались на прощание, чего у нас, вообще-то, не водилось.

Когда он ушел, мы почувствовали себя совершенно опустошенными. Было очень грустно и беспокожно, но мы беспокоились о его душевном состоянии, а не о его здоровье — нам казалось, что оно уже восстановлено.

А через две недели мы узнали, что Зощенко умер.

Хочу записать еще вот что. Вера Вл. показывала мне первые «опусы» Зощенко, писанные им еще до Дома искусств и, очевидно, до контактов с Горьким и с литературной средой. Там те персонажи, которых он потом высмеивал, фигурируют в качестве «романтических» героев. Они узнаваемы, но разноплановы. По-моему, эта эволюция очень интересна с точки зрения зощенковской литературной биографии. Я говорила об этом Юрию Томашевскому, но он никак не отреагировал и это не нашло отражения в его работах о Зощенко. А мне кажется, что это очень интересно и важно для литературной биографии писателя.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С МИХАИЛОМ ЗОЩЕНКО ¹

Когда начинаешь писать о прошлом, одно воспоминание тянет за собой другое. Вспоминаешь людей, места, где их встречал, улицы города — все вспоминается очень ясно, но очень уж трудно ориентировать это во времени.

Девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый годы, полные событий, прошли так быстро, что только по отдельным деталям, штрихам, которые приходят на память, говоришь себе: «Это, вероятно, было тогда-то!»

Помню переполненный людьми трамвай номер пять — «Волково кладбище — Гавань».

Ездили тогда по железной дороге и в трамваях бесплатно. Трудно было втиснуться в вагон и так же трудно выйти из него. На подножках гроздьями висели пассажиры, цепляясь одною рукой за поручень, а другой — за соседа. На трамвайной «колбасе» ездили не только мальчишки, но нередко и весьма солидные взрослые люди. Почти все пассажиры были одеты в шинели или в пальто, сшитые из старого защитного материала, который за годы войны обтерся и приобрел лоск, побелев на швах. На головах были кепки или военные фуражки без значков.

Так как я ехала до гаванского кольца, у меня хватило времени, чтобы прочитать все объявления, которыми были сверху донизу обклеены стекла вагона. И вот среди всевозможных реклам, призывов и извещений об открытии самых различных студий — театральных, вышивальных, акробатических — я прочла о том, что издательство «Всемирная литература» открывает кратковременные курсы для переводчиков. В тот же день вечером я была на Литейном проспекте в доме двадцать восемь, где помещалась канцелярия курсов.

¹ Воспоминания. С. 129—136.

Мне предложили на выбор четыре отделения: прозы, поэзии, переводов и критики. Во главе каждого из отделений стояли известные писатели. Одновременно со мной на курсы пришло несколько человек, большей частью в шинелях и только двое в штатских пальто.

Высокий, широкоплечий, белокурый, голубоглазый, с открытым лицом и медлительными движениями — таков был один из них, а другой — смуглый, среднего роста брюнет. Они оба записались на отделения прозы и критики, а я выбрала поэзию и критику, хотя, собственно говоря, мне хотелось записаться на все отделения. Я услышала тут и фамилии обоих: Груздев и Зощенко. Мы вышли вместе, и темноглазый сказал мне: «Очень удобно, что занятия на курсах вечерние». Мне это тоже было удобно.

Тут же я узнала от Зощенко, что он служит в милиции: «писарем» — сказал он.

С обоими я стала встречаться на занятиях Корнея Ивановича Чуковского, руководителя отделения критики. На первом же занятии он рассказал нам о широких замыслах Алексея Максимовича Горького, стоявшего во главе издательства «Всемирная литература», которое задумало ознакомить русского читателя в образцовых переводах с лучшими произведениями народов всего мира.

Корней Иванович сразу подверг сомнению, что мы все будем заниматься переводами, и действительно, как выяснилось из разговора, не переводы привлекали нас сюда. Во всяком случае, большую часть из нас. Среди молодежи были люди, прошедшие через войну — империалистическую и гражданскую, и многие из них мечтали написать о том, что они видели в жизни. Именно это желание и привело их в «школьные комнаты дома Мурузи» на углу Литейного проспекта и Спасской улицы.

Наши курсы помещались во втором этаже, в бывшей барской квартире. Мы занимали две «классные» комнаты. Здесь стояли школьные парты, за которыми нам, взрослым, не слишком удобно было сидеть, и застекленные книжные шкафы, полные французских, немецких и английских книг.

Корней Иванович Чуковский вел занятия умно и непринужденно. Он рассказывал, над чем работает сам, и предлагал нам включаться в работу над этими же темами. Ведь кроме переводчиков издательству

«Всемирная литература» нужны были и квалифицированные редакторы, и авторы вступительных статей. Лишь много позднее я узнала, что у издательства не было отбоя от предложений «перевести что-нибудь» или «снабдить какую-нибудь книжечку вступительной статьей». После долгих месяцев саботажа изголодавшиеся бывшие решили «подработать на культурных мероприятиях большевиков», использовать свое знание иностранного языка, полученное от бонн и гувернанток, совершенно не подозревая того, что перевод есть искусство, требующее литературного дарования и безупречной грамотности.

Корней Иванович в то время работал над проблемами творчества Александра Блока и в числе прочих тем предложил нам написать статью о трех только что вышедших томах его стихотворений. Все темы, кроме блоковской, были быстро разобраны. Без темы остались Зошенко и я. Тогда Корней Иванович предложил нам написать «основательную», как он сказал, статью о Блоке вдвоем, включив туда же разбор стихотворения «Скифы» и поэмы «Двенадцать», о которых тогда много спорили.

Не без страха я согласилась взять на себя разбор третьего тома стихов Блока. Тогда Чуковский поручил Зошенко проанализировать первые два тома. В ответ Михаил Михайлович (к этому времени я уже знала, как зовут Зошенко) что-то пробурчал — по-видимому, он согласился. По окончании занятий я предложила ему встретиться и обсудить, как мы будем работать.

Мое предложение он отверг, заявив, что будет писать сам и ни с кем советоваться не желает.

Я взялась за третий том, перечла стихотворение за стихотворением и написала большую статью. Никогда еще я не писала с таким чувством ответственности. Впервые при столь внимательном чтении лицо поэта открылось мне во всем своем трагическом величии и значении. Помню, Корней Иванович читал нам тогда стихи Блока «К музе»: «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть...» Я бывала на вечерах, где выступал Блок. В самых, казалось бы, патетических местах своих стихов он изумлял бесстрастной ровностью голоса, отсутствием каких-либо внешних признаков волнения, и именно это в связи с драматизмом содержания потрясало его слушателей.

В своей статье мне хотелось передать это ощущение обреченности, которое чудилось мне и в стихах, и в облике поэта. Не зная, насколько мне это удалось, я предложила Зошенко прочесть мою работу и дать мне свою. Он отказался: «Читайте свой реферат, а я прочту свой».

Недели через три я огласила свою статью на очередном занятии. Выслушав ее, Чуковский похвалил некоторые мысли, хотя кое в чем со мной не согласился. Потом Зошенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение.

— Другой стиль,— заявил он.

Чуковский взял у него тетрадку:

— Давайте я прочту.

Корней Иванович стал читать вслух, привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям «Крокодил» и «Тараканище». Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зошенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно «по стилю».

Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал:

— Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения.

Зошенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман — наша совместная статья о Блоке не состоялась. Но впоследствии, читая рассказ Зошенко о чувствительном писателе, я невольно вспоминала то, что он когда-то, на самой заре своего литературного пути, написал о Прекрасной Даме и ее поэте.

Спустя некоторое время я встретила Зошенко у «серапионов». Он читал свой рассказ «Виктория Казимировна», историю прекрасной полячки. Рассказ понравился всем, но никто и не думал тогда, что это рассказ юмористический. В нем ярко проявился своеобразный сказ Зошенко, его манера говорить о высоких вещах самым простым, будничным языком. Косноязычие героя рассказа, человека, пытающегося говорить своими словами о действительно трудных вопросах и проблемах жизни, производило то особенное, неповторимое очарование, которое так свойственно таланту Зошенко.

Прошло еще немного времени, и Зошенко прочел нам свой новый рассказ «Аристократка». Замечательно

подслушанная интонация бытовой мещанской речи, умение увидеть и описать своих героев в действии и в раздумье, тонко отобранные зримые детали внешности, поведения, костюма — все это обеспечило «Аристократке» огромный успех у читателей, которые сразу потянулись к новому юмористу.

Осенью девятнадцатого года потребность авторов стихов и прозы издавать свои произведения сделалась так велика, что самочинные издательства возникали в Москве и Петрограде одно за другим. Так возникло издательство «Эрато». Советское законодательство в то время облегчало появление так называемых кооперативных издательств. Достаточно было собраться несколькими авторам и заявить, что они намерены создать кооперативное издательство на паях, как им это разрешали. Авторам оставалось только позаботиться о бумаге, типографии и распространении книг.

Кооперативное издательство «Эрато» учредили молодые поэты Иннокентий Оксенов, Лазарь Берман и совсем еще молодой режиссер и теоретик театра Константин Державин. Управление делами взял на себя мой брат, студент университета.

У каждого из нас было по книге, которую мы хотели издать. Мы установили пай — кажется, что-то вроде ста миллионов (тогда их называли «лимонами») на пай, — и выпустили три книги стихов. Разумеется, денег на выкуп тиражей наших книг у нас не хватило, и типография выдавала нам по сто экземпляров сборников, а мы разносили книжки стихов по книжным магазинам и ларькам, где их брали на комиссию. Вырученные деньги мы вносили в кассу типографии и получали следующую партию экземпляров наших книжек. Чтобы выпустить четвертую книгу, нам нужен был еще один или два пайщика.

Однажды вечером у «Серапионовых братьев» я предложила Зошенко и Груздеву издать свои книги.

— У меня есть несколько вещичек, — сказал Зошенко, — и я издал бы их отдельным сборником, назвав его «Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова».

Мы договорились о паях, и Зошенко принес свою рукопись, поставив условие не печатать его фамилию на обложке, а пометить ее только на титульном листе. Он

потребовал также, чтобы обложка была из самой дешевой оберточной бумаги, наподобие лубочных изданий. Одновременно принес свою рукопись Костя Державин, который озаглавил свое произведение: «О трагическом», а на титульном листе он добавил слово: «Опыт».

Пока мы создавали наше кооперативное издательство, цена денег падала. Метранпаж типографии потребовал от нас каких-нибудь реальных ценностей за свою работу, хотел, чтобы мы достали ему хотя бы бриллиантин для фабрикации усов, которые он любил закручивать кверху.

Пустив в ход свои медицинские связи, я добыла целую коробку, не менее сорока тюбиков бриллиантина. Метранпаж был удовлетворен.

Вскоре я принесла на очередное собрание «серапионов» пачку свежеспавших типографской краской брошюр, где на передней обложке крупными буквами было набрано:

РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬЧИХ ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

Михаил Михайлович взял принесенный мною пакет и вышел в коридор, чтобы там посмотреть его содержимое. Тем временем в комнате М. Слонимского я рассказала товарищам, какой успех имели рассказы Зоценко у наборщиков. Метранпаж сказал Берману: «Я никогда не слышал, чтобы наши наборщики так смеялись! Книга будет иметь успех».

Кто-то вспомнил о том, что такой же успех имели у наборщиков «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В это время вернулся Михаил Михайлович, мрачный, и в руках его был пакет, который он подал мне со словами:

— Возьмите, мне это не нужно.

Мы развернули пакет и когда раскрыли книги, то обнаружили, что под обложкой «Синебрюхова» находится книжка Константина Державина «О трагическом. Опыт». Оказывается, брошюровщицы ошиблись.

Зоценко был очень рассержен. Мы стали уговаривать его не придавать значения случившемуся, говорили, что обложку можно переклеить. Зоценко молчал. Мы знали, что он очень вспыльчив, но никогда не показывает этого на людях.

Костя Державин не стал «принципиальничать» и получил экземпляры своей книжки, с которой сорвал собственноручно чужие обложки.

На неудаче с книгой Зошенко окончилось наше издательство «Эрато».

Рассказы Назара Ильича Синебрюхова вошли в первую книгу Зошенко, которая действительно принесла ему громкую славу, предсказанную наборщиками. Через два года в «Серапионовской оде», которую я по традиции сочиняла к первому февраля, годовщине основания литературской группы «Серапионовы братья», я написала:

И только Зошенко теперь
Живет в обломках старой хазы,
И юмористы СССР
Валяют под него рассказы.

Сам Михаил Михайлович на каждом из таких собраний веселил нас специально написанной к случаю остроумной новинкой.

В обычной жизни он был так же неразговорчив и мрачен, каким я знала его во времена Студии при издательстве «Всемирная литература». Он много читал, занимался историей, естественными науками, психологией. Одним из первых он отозвался на призыв писать для детей и создал свои рассказы о Ленине, предельно ясные и точные по языку и по мысли. Они имели большой успех.

Михаил Михайлович легко знакомился с людьми и охотно вступал с ними в общение. Одевался он всегда скромно, со вкусом. Обладал способностью внезапно «возникать» возле нас. Он любил и умел говорить о том, чем был занят его ум, но только с теми людьми, чье мнение интересовало его.

Однажды я сказала при нем, что, читая его книги, невозможно понять, говорит ли он в шутку или всерьез. Он промолчал, но, видно, рассердился и одно время не разговаривал со мною. Много позднее он сказал об этом кому-то из наших общих друзей — кажется, Мариэтте Сергеевне Шагинян, и она объяснила ему мою мысль. Сам-то он всегда знал, когда шутит и когда говорит серьезно.

История литературы может быть рассказана с разных точек зрения — человек убеждается в этом на своем коротком жизненном пути.

Недавно я прочла в одной из недолговечных энциклопедий, что Михаил Зощенко был писатель, которого «довольно много читали в начале двадцатых годов, а потом забыли». Последнее вряд ли соответствует действительности. До Великой Отечественной войны, да и во время ее, Зощенко был одним из наиболее читаемых у нас в стране писателей, имя его стало даже нарицательным для широчайших кругов читателей. «Совсем как у Зощенко», — говорили люди друг другу, и каждый понимал, что это означало.

Михаил Михайлович Зощенко — один из тех, кто начинал нашу литературу и много сделал для нее. Память о нем и сейчас волнует.

ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ ¹

Я хочу рассказать о своем знакомстве с замечательным советским писателем Михаилом Михайловичем Зощенко, о дружбе и переписке с ним.

Столкнулась я с Зощенко в самом начале своей литературной работы. Я приехала учиться в Ленинград, в университет, из Харькова. Там окончила «школу-коммуны». В этой школе все свободное от занятий время мы маршировали по улицам города, распевая Маяковского: «Бейте в площади бунтов топот, выше гордых голов гряда, мы разливом второго потопа перемоем мир городов города». Ощущение, что все начинается заново с Октября в жизни, в искусстве и в науке — это было то, с чем мы входили в жизнь.

Мы знали, что Маяковский объявил эпоху социалистического искусства. Я принадлежала к тем, кто мечтал делать социалистическую науку об искусстве, а не продолжать науку буржуазную.

Чем привлекло творчество Зощенко меня в то время? Для меня Зощенко был одним из тех писателей, кто очень рано понял смысл происшедших в Октябре кардинальных революционных перемен, полную невозвратимость к прошлому и начал свой путь со стремления немедленно создать литературу для народа, «доступную бедным», как он шутовски говорил.

Впоследствии я посвятила Зощенко ряд статей, дважды писала предисловия к Собранию его сочинений. (Первая моя статья была написана в 1927 году, а последняя в 1965-м.) В 1935 году я переехала из Ленинграда в Москву. У меня сохранились письма, написанные мне Зощенко из Ленинграда.

¹ Воспоминания. С. 137—144.

После опубликования моей первой статьи о творчестве Зощенко в 1927 году в «Вечерней Красной газете» отец моего мужа, Яков Адольфович Бронштейн, близкий друг Куприна и многих других русских писателей, встретился где-то с Зощенко. Зощенко просил его поблагодарить меня за мою статью в газете, сказал, что хотел бы познакомиться, поговорить.

После какого-то вечера в Доме печати, который помещался тогда в Мариинском дворце, я подошла к Зощенко, и он проводил меня до моего дома.

Впечатление от первого знакомства было разительным. Почему?

Как критик, я понимала смысл литературных устремлений Зощенко. Я ни в какой мере не склонна была повторять ошибки вульгарно-социологической критики того периода и отождествлять автора со знаменитым уже тогда рассказчиком его рассказов — обывателем, горе-философом. Я знала, что писатель стремится создать сатирический образ, рожденный послереволюционной действительностью, образ того представителя из массы, который не причастен к буржуазной культуре и враждебен ей, но который не включился в новую социалистическую культуру.

Я не ждала, что Зощенко может быть похож на своих героев. Но я видела человека не только чуждого той среде и тому мироощущению, которые он «описывал» в своих произведениях, не только человека совершенно иного по манерам, одежде, речи. Я видела человека, внутренний мир которого вознесен очень высоко в круг общечеловеческих дум и страданий («За всех расплачусь, за всех расплачусь», — звучали где-то в подсознании слова Маяковского).

Впоследствии я поняла, что, может быть, потому Зощенко так блистательно удалось создать трагикомический образ мещанина-обывателя любой формации, что он по своим человеческим качествам был свободен от основных черт и устремлений людей этого типа.

Дальнейшее знакомство привело меня к наблюдениям над атмосферой, в которой жил этот молодой и уже столь знаменитый писатель. Казалось бы, ему только и «греться в лучах славы», но ранимость его была беспредельна. Все доставляло ему страдания, вплоть до неудачно взятого билета в театр, до необходимости «пойти в гости». Только работа, только то, что ждало его за письменным столом, привлекало его безогово-

рочно. Впоследствии, в одном из своих писем мне, он определил это так: «Я есть в некотором роде машина для литературных работ и весьма не сильный человек для жизни. Я умный, но мой ум — в литературе, в философии, а не в повседневной жизни...»

Письма, которые лежат передо мной, говорят не только о недуге, но и о путях исцеления.

Приведу одно из них почти целиком. Это первое письмо Зощенко, написанное мне из Ленинграда в Москву.

«Извините, Евгения Исааковна, что я вам не ответил в прошлый раз. Последний месяц я был в плохом состоянии. Много работал и думал («Ключи счастья») и, наверно, благодаря этому получилось у меня что-то вроде бессонницы. Засыпал едва в 6 утра. И были нехорошие нервы. Вот вредность нашего цеха! Уже через 2—3 недели небольшого, в сущности, труда — во всяком случае, не такого напряженного, как у меня бывало, — уже здоровье портится, и все снова летит к черту, что заработано с таким адским трудом.

Но на этот раз я не унываю. Я вовремя спохватился, умерил мою работу и теперь стараюсь поменьше думать, хотя это очень трудно и жалко.

Так что сие бедствие весьма плачевно отозвалось на моей особе — не то что бы я захандрил (теперь такого у меня не бывает), но впал в некоторую чрезмерную осторожность и временно порвал почти все отношения даже с друзьями. И даже не писал писем. Сейчас я тоже еще не совсем в хорошем виде, но надеюсь на милосердие божие, что все скоро будет в порядке.

Вместе с тем имею мужество признаться, что в подобном нездоровье я так и буду влачить свое жалкое существование философа, ежели не переключусь на более достойное для человеческого ума дело — на более простое и благородное занятие, не связанное ни с литературой, ни с умствованиями всякого рода.

Ну да уж вам-то это известно более чем кому.

«Гол. кн.» наконец напечатана — остались всякие типографские мелочи. Так что книга будет в первой половине января... Редактор меня очень обидел и досадил — порядочно поправок и переделок во всех пяти частях. А в совокупности со старыми поправками — это огорчает ужасно.

«Ключи счастья» пока отложил. Напишу две легкие повести «Черный принц» (для Эпрона) и одну вещь для двух пятилеток (очень неплохо).

Вот как обстоят мои дела — работа и нездоровье. И даже нет никаких «романов».

До свиданья! Привыкли ли к Москве? Как здоровье?

Мих. Зощенко».

Перечитывая письма Зощенко, я нахожу в них рядом с мрачными настроениями иную интонацию, иную тему, неизменно возникающую и повторяющуюся после самых грустных «аккордов». Это строки, свидетельствующие о том, как он исцелился «силой воли к свободному труду».

Вот примеры: «Сейчас мое здоровье улучшилось. Чувствую себя порядочно. Так что все было от излишней работы. Но кое-какие мелкие недочеты (психического порядка) еще остаются. И тут мне еще предстоит борьба, которая, без сомнения, кончится моей победой, так как успехи уже велики и я даже раза два «ходил в гости», чего не было со мной года два». И дальше идут строки, уже не относящиеся к болезни, а к трудностям литературной работы и грядущим планам. Приведу их также:

«Работаю сейчас над легкой вещью, пишу (для Эпрона) о «Черном принце». Это что-то вроде «исторического исследования» — было ли золото на затонувшем корабле. В общем, работа любопытная и на материале. «Ключи счастья» отложил пока. «Голубая книга» наконец вышла, по крайней мере один (контрольный) экземпляр у меня. Снова и не без огорчения увидел, что редактор ужасно меня «потеснил». Тут все вместе — и я был сам довольно строг к себе, и редактор... В общем, получилось, что мне подрумянили щеки, выкинув все мои словечки: может быть, пожалуй, возможно и т. д. Например, у меня сказано: «Неудачи будут исчезать» — исправлено: «Неудачи исчезают». И все в этом роде. Очень досадно. Общий тон несколько сместился. Возможно, что читатель так резко не заметит, но я чувствую это не без боли. В общем, смешно думать о настоящей сатире. Недаром я (посмотрите) написал, что меняю курс литературного корабля (это в коварстве)».

Заканчивается это письмо так: «Вот воспользовался вашей добротой и все письмо снова о моих делах. До свидания. Пишите».

Письмо, в котором главным образом он говорил не о своих делах, содержит в себе такие слова: «Мое здоровье довольно хорошее. Я бодр и весел. Все спокойно. И особенно у меня ясно и спокойно с работой (даже если меня будут страшно ругать)».

А вот строки из последнего письма в Москву, относящегося к 1938 году: «А психически я сейчас совсем здоров. Всякие явления и страхи исчезли совершенно. И тут моя работа была на высоте. Для закрепления этого следовало бы пожить безмятежной жизнью года два. Но вот этого-то и не удается сделать. И тут приходится признаться, что не все в моих руках... Напишите мне, подумав обо всем, что я вам говорю».

В своих воспоминаниях я хочу коснуться моих отношений с Зощенко как отношений писателя и критика.

Я восхищалась тем творческим своеобразием и литературным блеском, с которыми Зощенко реализовал свою тему. И конечно, хотя я писала об этом не для писателя, а для читателя, мне было дорого признание Зощенко в том, что я понимаю его творчество и верно его трактую. Мне и теперь радостно думать, что моя критическая работа, наряду с работами других критиков, чем-то помогли Михаилу Михайловичу.

Зощенко не относился пренебрежительно и свысока к критике. Однажды он, перечислив несколько статей о его творчестве (в числе которых была и моя), сказал: «Эти статьи удовлетворили меня как писателя. Судя по ним, я могу считать, что наша критика находится не в таком уж печальном положении, как это многие утверждают. Я указываю на эти статьи не потому, что авторы их благосклонно относятся к моему творчеству. Меня обрадовала не столько их похвала, сколько правильное (с моей точки зрения) проникновение в суть дела, верный анализ идейного содержания книг».

Отношения мои с Зощенко как отношения писателя и критика имели свою историю. Интересно в этом смысле письмо Зощенко, которое однажды, еще до переезда в Москву, я нашла в своем почтовом ящике. Вот это шутивное письмо целиком.

«Дорогая и уважаемая Евгения Исааковна!

Ну как же со статьей? ГИЗ надоел мне — пугает, что собрание мое страшно задержится из-за первого тома. В чем же дело? Там же маленькая переделка. Третий месяц пошел, дорогая Евг. Ис.! Очень Вы меня огорчаете этим делом. Я бы, конечно, не торопился, но к лету без этого могу остаться без денег. Стану тогда, как Тиняков, у подъезда Вашего дома с протянутой рукой. Несколько раз хотел Вам звонить, да не знаю Вашего телефона. Адрес же вспомнил и то, может, наврал. Не заставьте же ждать, дорогая Евг. Ис.

Ваш *Мих. Зоценко*. 27/III 31 г.»

В этом письме речь идет о моей вступительной статье к первому тому 2-го издания Собрания сочинений Зоценко в ГИЗе. Задержалась я со статьей потому, что много размышляла в это время о творчестве Михаила Михайловича и приходила иной раз к довольно сложным выводам о назревшей необходимости творческих «перемен». Эти мои раздумья и должны были найти отражение в новой редакции текста вступительной статьи. Думаю, что они были своевременны.

Только подспудно начинался в творчестве Зоценко уход от гротескной шаржированности периода «короткого рассказа» и «сентиментальных повестей» 1922—1927 годов.

Еще впереди был тот период, когда в творчество Зоценко вошел и занял свое место высокий и трезвый пафос социалистического переустройства жизни и внутреннего мира человека. Впереди была «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Рассказы о Ленине», такие рассказы, как «Страдания молодого Вертера», «Огни большого города» и многое-многое другое.

Позволю себе привести один пример того, как в творчество Зоценко входили новая мысль и новый образ, так как это произошло как бы на моих глазах. Задолго до создания «Голубой книги» Зоценко написал рассказ, который в новой редакции вошел в «Голубую книгу» под названием «Мелкий случай из личной жизни». Он начинался «многообещающей» фразой: «Иду я однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины (в первой редакции стояло «бабы») не смотрят». Какие бы кардинальные меры автор рассказа ни предпринимал, начиная от висения на кольцах, употребления большого количества какао и других питательных

продуктов и до покупки пальто «с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете», — ничто не помогало. Женщины не смотрели. Он так и не приобрел расположения женщин, если не считать внимания одной из них. Но это внимание разъяснилось совсем не в том плане, как этого хотелось герою. Эта женщина опознала купленное им на рынке пальто с неумеренного размера плечами за украденное у ее мужа!

На этой грустной и скептической ноте рассказ заканчивается. Но в «Голубую книгу» он попал с новым финалом:

«И вот что интересно — этот небольшой случай произошел со мной года два назад.

И хотя за эти два года я, казалось бы, еще больше постарел, но, тем не менее, этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И, главное, смешная подробность: я в это лето одевался, как нарочно, исключительно худо... И вот тем не менее это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен, и даже мы вскоре женимся по взаимной любви».

Помню, как раз в это время Зошенко сказал, что он понял психическую силу любви. В этом смысле рассказ подключается к целому ряду рассказов, уже лишенных пессимистической статики и посвященных Зошенко движущемуся, изменяющемуся душевному миру современного человека.

Трудно отделить иной раз литературные отношения от дружеских. Михаил Михайлович относился ко мне глубоко дружески (однажды даже сказал: «У нас с вами какая-то родственность мозга»).

«Полюбите свою профессию!..», «Статьи, это у вас здорово получается», «Это все открытия» — подбадривал он меня, как старший товарищ, в начале нашего знакомства, совпавшего с началом моей литературной работы.

Особенно дорого мне одно дружеское письмо, полученное мною от Зошенко из Ленинграда после того, как долго не писала ему.

«Почему Вы мне так давно не писали?»

...Я так привык получать Ваши письма, что теперь чувствую какой-то непорядок в моей размеренной жизни. Сообщите, как идет Ваша жизнь. Из моего прошло-

го опыта могу вынести заключение, что прекращенная переписка (даже дружеская, как наша) всегда говорит либо об очень хорошей перемене (счастливая любовь, неожиданный брак, богатство), либо об очень плохой (болезнь нервов и хандра, тоска, беременность, отчаяние и т. д.).

Так что к чему отнести ваше долгое молчание, дорогая Евгения Исааковна? Вдруг неожиданно прекратилась вся Ваша забота и Ваше участие, которое я чувствовал на себе. Почему-то Вы не сообщили мне, получили ли мою «Голубую книгу», которую я послал Вам тотчас в день выхода (начало февраля!). В общем, ожидаю от Вас ответа — как Вы живете и что делаете (в литературе)?»

Дороги мне и строки одного из писем Михаила Михайловича, где он благодарит меня за письмо: «Последнее Ваше письмецо очень хорошее и доброе. И я не без радости прочитал его. И даже подумал, что Вы, кажется, и на самом деле ко мне исключительно добры. Я был к Вам до сих пор недоверчив, потому что думал, что за всем этим — Ваше женское сердце, склонное к фантазиям и к романтике. Но письмо Ваше такое рассудительное и умное, и оно написано настолько как-то в реальной жизни, что я начинаю о Вас по-другому думать...»

Я побывала в Ленинграде в марте 1958 года, видела Михаила Михайловича за три месяца до его смерти. Приехала я в Ленинград в плохом настроении. Михаил Михайлович был очень добр и внимателен ко мне и в длинном разговоре успешно развеял мой «пессимизм». Мне показался он оживленным, говорил о своих новых работах, о посещении его финской молодежью, о советских поэтах.

Светлое, высокое человеколюбие жило в душе этого замечательного человека и замечательного писателя. Я имела счастье попасть в его орбиту.

Когда в один июльский день в Москве я узнала о смерти Зощенко, мне показалось — вокруг стало темнее.

ЗОЩЕНКО ЗАМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ¹

Впервые я увидел Михаила Михайловича Зощенко в редакции ленинградского юмористического журнала в 1926 году.

На Фонтанке, во дворе дома, где помещался банк, была маленькая дверь с дощечкой «Бегемот». На лестничной площадке третьего этажа стояла большая фигура добродушного, улыбающегося бегемота из папьемаше. А дальше в маленькой комнатке за столом сидел секретарь редакции Николай Николаевич Черный, с лицом, явно не допускающим никакого юмора.

«Бегемот» был любимым журналом ленинградцев, а имена его сотрудников — Анатолия д'Актиля, Владимира Воинова, Дмитрия Цензора, Владимира Тобоякова, Сергея Томского, Михаила Левитина, Игнатия Ломакина, Константина Мазовского — хорошо знали читатели.

Но первым и главным среди них было имя Михаила Зощенко.

Мне минуло в ту пору шестнадцать лет, я учился в последнем классе школы и втайне мечтал стать писателем. Что у меня было для этого? Почти ничего. Но в моем коленкоровом портфельчике лежало двадцать рассказов и сорок анекдотов. Можно ли было думать, что не напечатают хоть один?

С трудом преодолевая смущение, я вошел в редакционную комнату и сказал:

— Здравсьте...

— Добрый день, — ответил Черный.

Рядом с ним сидел высокий, худощавый человек, гладко причесанный на английский пробор, в блестяще начищенных ботинках и с глазами, в которых притаились хитринки. Он был безукоризненно одет и столь же

¹ Воспоминания. С. 145—152.

безукоризненно вежлив и оказался знаменитым художником-карикатуристом Николаем Эрнестовичем Радловым.

— Мне бы хотелось видеть товарища Зоценко,— произнес я, замирая от ужаса.

— В настоящее время его нет в редакции,— ответил Радлов.— Но, может быть, мы можем его заменить?

— Зоценко заменить нельзя!— категорично заявил я и тут же понял, что совершил бестактность.

— Это, конечно, верно,— вежливо согласился Радлов,— мы тоже склонны так думать, но если вы принесли в редакцию свою рукопись, для этого не обязательно присутствие Зоценко. Мы тоже кое-что понимаем. Можно нам поверить.

И именно в эту минуту в комнату вошел скромный, мне даже показалось — немного застенчивый молодой человек в сером пальто и такой же кепочке.

— Здравствуйте,— сказал он.— Какие новости?

— Вот вам и незаменимый Зоценко,— сказал Радлов.

— Почему «незаменимый»?— спросил Михаил Михайлович.

— А это уж вам объяснит этот товарищ,— улыбнулся Черний, указав на меня.

— Объясните,— попросил Зоценко и провел меня в соседний небольшой кабинетик. Я объяснил...

Михаил Михайлович снял пальто и повесил его на гвоздик за шкафом. Он был в скромном, не бросающемся в глаза пиджаке в клеточку. Из кармана выглядывал аккуратный белый платочек, воротничок белой рубашки был идеально отглажен. У него были удивительные глаза, темно-карие, глубокие, внимательно вглядывающиеся в вас, но не одними зрачками, а как-то всеми глазами полностью. Очень добрые и в то же время очень печальные были у него глаза.

Мы сели к столу, на котором лежало много рукописей. Зоценко молчал и с интересом меня разглядывал. Впоследствии я убедился, что так он смотрел на всех.

Я ждал, что он что-нибудь скажет, а он вежливо ждал, пока заговорю я. Наконец это, видимо, ему надоело, и он прервал молчание:

— Я вас слушаю.

И тогда я рассказал ему, как мечтал с ним встретиться, как хочу писать и как жажду быть напечатанным в «Бегемоте».

— Дайте что-нибудь почитать,— предложил он.

Я достал из портфельчика рассказ. Он назывался «Ося».

— Разница с тургеневским только в одной букве,— заметил Зошенко,— у Тургенева была «Ася».

И начал читать, быстро листая страницу за страницей.

Я сидел ни жив ни мертв.

— Рассказ не получился,— тихо промолвил Зошенко, кончив читать.— Такое ощущение, что вы сели его писать, еще не зная, как вы его напишете. Вы писали без плана. Правда?

— Правда,— согласился я.

— И вы были не слишком озабочены тем, что и как пишете. Что это у вас за фраза: «Она была девушкой в полном смысле этого слова»? Или вот: «Она смотрела в зеркало на свое лицо, нос, шею и плечи, пока не дошла до ручки». Вам это кажется остроумным? Поэтому вы и принесли этот рассказ в «Бегемот»?

Я молчал.

— Чего вы хотите? Писать или печататься?

— И то и другое,— честно признался я.

— Оставьте мне свои рукописи и приходите в следующую субботу в это же время.

В следующую субботу, когда я примчался в редакцию, в комнате сидели Зошенко, художник Б. И. Антоновский, полный, с лицом, похожим на улыбающуюся луну, карикатурист Б. Малаховский, весь заостренный, как бы нарисованный тонким пером, не выпускающий изо рта трубку, и писатель К. Мазовский, больше похожий на скромного патера, чем на писателя, пишущего смешное.

Зошенко опять увел меня в соседнюю комнату.

— Я не хотел, чтобы кто-нибудь был свидетелем нашей беседы,— сказал он.— Все плохо. Не весело, не смешно, не жизненно. А главное — лишено смысла. Надуманные остроты, плоские каламбуры. Юмор должен возникать внезапно, рождаться от образа, от характера описываемого вами человека, от точки зрения автора. А наспех притянутые ни с того ни с сего остроты — не играют. Почему вы пишете о писателях и художниках? Вы их хорошо знаете? Бываете в их среде?

— Нет.

— Как же тогда вы пишете? Писать надо только о тех людях, которых вы знаете. Чем заняты? Работаете? Учитесь?

— Учусь в школе. Заканчиваю.

— Попробуйте написать о школьниках, об учителях, о родителях. Вы никогда не пробовали поставить себя на место папы и мамы, а их на свое место? Тут есть возможность для смешного рассказа. И не думайте, что юмористический рассказ должен обязательно вызывать хохот. Если ваш смешной рассказ заставит кого-то прослезиться — это гораздо дороже. А самое главное — читайте. Больше читайте и старайтесь понять, как написан тот или иной рассказ, почему и во имя чего он написан. Учитесь писать, читая.

Через неделю я принес Михаилу Михайловичу новую пачку рассказов. Еще через неделю он мне ее вернул с тем же отзывом. Тогда через пять дней я принес пачку, вдвое большую. На этот раз на лице у Зошенко я увидел страх...

Я терроризировал его своими посещениями долгих три месяца. Собрание моих сочинений к тому времени составляло добрых две сотни рассказов. И каково же было мое счастье, когда однажды Зошенко не увел меня в соседнюю комнату, а в присутствии Радлова, художников В. Лебедева и К. Рудакова сказал:

— Мы решили напечатать ваш рассказ, Володя. Читайте его в очередном номере.

Зошенко был моим литературным крестным отцом, и я всегда буду благодарен ему за уроки, советы, жестокую правку первых моих сочинений, за его требовательность и прямоту. Он привил мне вкус к работе, и мне кажется, мы с ним подружились. Во всяком случае, с этих пор я всегда, когда это было возможно, советовался с ним, а он часто делился со мной своими замыслами и читал мне отрывки из еще не написанных рассказов и пьес.

Журнал «Бегемот» был закрыт, и на его месте возник новый ленинградский сатирический журнал «Ревизор», в котором я стал сотрудничать постоянно.

Шли годы. Меня увлекла драматургия, и почти каждую свою новую пьесу я нес к Зошенко. Он знал точно, как сделать смешную фразу из несмешной и как сделать смешную фразу так, чтобы она звучала печально.

— Хочу написать пьесу для театра малых форм, — сказал он мне как-то. — Пьесу про заседание петербургских исторических памятников. Екатерина II со своими фаворитами, Медный всадник со змеей, Николай I, Александр III — про собрание чугунных царей. Показать всю их «чугунность». Как считаете? Все пишут исторические пьесы, почему бы и мне не написать? Только я сразу обо всех царствующих особах...

Пьеса была написана за шесть дней и поставлена в Ленинградском театре малых форм под названием «Культурное наследие». Поставил ее режиссер В. Р. Раппопорт, автор популярного некогда водевиля «Иванов Павел».

* * *

Читал Зошенко свои смешные рассказы абсолютно серьезно, почти без интонаций, совершенно бесстрастно. И именно эта «равнодушная» манера рождала смех, возникающий от речевой ткани рассказа. Он не выделял смешные места в речи своих героев, как это делал, скажем, отличный исполнитель его рассказов Владимир Хенкин. Артист всегда, если можно так сказать, играл рассказы Зошенко и обязательно изображал внешне его электромонтера, водопроводчика или пациента в больнице.

В отличие от актеров Зошенко спокойно, без выражения, с тишайшей и тончайшей, почти незаметной акцентировкой читал свои вещи. И, наверное, именно поэтому в зале возникал гомерический хохот после каждого его слова. Ближе всего к этой манере читали рассказы Зошенко Владимир Яхонтов и Игорь Ильинский. Но, повторяю, такого исполнителя рассказов Зошенко, как сам писатель, больше не было.

Я видел много его пьес, но они имели настоящий успех только тогда, когда их почти не играли, то есть не старались показать ярко характеры героев и не стремились по-разному за них говорить, а играли всю пьесу почти в одной интонации — интонации автора. Очень близок был к этой манере Леонид Утесов.

Зошенко любил цирк, и особенно буффонных клоунов. Мы вместе смотрели антре Коко и Роланда. Это была старая классическая клоунада с обливанием водой, когда белый клоун (Роланд в своем ослепительно сверкающем костюме и утрированных галифе, на кото-

рых сияют луны, в белоснежных чулках и маленьком колпачке) стоит у подножия стремянки и держит в поднятых руках большую воронку, а рыжий Коко в просторном коричневом пиджаке, широченных брюках и гигантских туфлях несет ведро с водой, чтобы облить своего партнера. Но рыжему не везет. Сначала он спотыкается и проливает воду себе на ноги. Потом, суется, спеша, тащит второе ведро. Та же неудача. Возвращается за кулисы и, задыхаясь, выбиваясь из сил, тащит третье, но роняет его у самого выхода. И уже в совершенном отчаянии, тащит целое корыто с водой, лезет на стремянку и грохается с нее вниз, окатывая с головы до ног себя. Серьезность, с которой это проделывается, беззаветная увлеченность клоуна, его отчаяние после каждой неудачи — все это безумно смешно. Зошенко хохочет, как ребенок. На глазах у него слезы. Хохочет весь цирк. Это настоящий океан хохота, поистине «очищающего» организм. Чудится, будто смех вытесняет из тебя все дурное, все хворости, все печали, заботы, беды.

В том, что клоун падает и обливается водой, казалось бы, нет ничего смешного, но, когда это происходит с человеком, задумавшим злое, это оказывается неожиданно смешным. Это смех торжествующей правды и справедливости. Этот смех назидателен в лучшем смысле этого слова. Это по-хорошему глупо и по-детски просто.

— Порок наказан! Наказан смехом!— говорит Михаил Михайлович, вытирая слезы.

Эх, послушали бы его критики, выливающие ушаты гнева на эту «безыдейную клоунаду», с которой «необходимо бороться». Совсем она небезыдейная! Она осмысленна в своем кажущемся бессмыслии, и ушаты гнева критиков обрушиваются на них самих, как вода на рыжего в этой блистательной клоунаде.

* * *

22 июня 1941 года я уходил на фронт и, не застав Зошенко дома, отправил ему письмо. Его ответ пришел в Винницу, где я уже работал в редакции газеты Южного фронта «Во славу Родины». Михаил Михайлович писал (цитирую по памяти): «...это правильно, что вы пошли на фронт. Я тоже собираюсь. Мой вам совет — не сидите в штабах и в редакции, а будьте участником

всех событий. Но зря и глупо не лезьте под огонь. И больше пишите. На войне необходим юмор. Он помогает в самые тяжелые минуты».

До конца войны мы не виделись.

А потом наступили для него тяжелые времена, о которых тяжело сегодня вспоминать.

Я в это время жил в Москве и, приехав в Ленинград, позвонил ему по телефону.

— Приходите, Володя, я дома. Я никуда не хожу.

Когда я пришел к нему, он ходил по комнате и курил.

Он не жаловался. Наоборот.

— Все хорошо,— утверждал он.— Работаю... пишу... У вас тоже ведь было в этом роде...

— Смешно сравнивать,— сказал я.

— Если смешно, уже неплохо. Ничего. Все разъяснится. А пока вот перевожу книгу финского писателя Лассила «За спичками».

Зощенко имел обыкновение скрывать свои хворобы и горести. Конечно же, ему было очень трудно. Он привык издаваться и печататься часто и огромными тиражами, привык к тому, что в театрах с триумфальным успехом идут его пьесы. И. Юзовский рассказывал мне, что публика столько смеялась, глядя пьесу «Парусиновый портфель», что спектакль шел вместо двух с половиной — три часа, а Зощенко, сидя в зале, с недоумением поглядывал на зрителей и все спрашивал: «Почему они смеются? Что здесь смешного?»

Он привык к успеху. В 1929 году «Вечерняя Красная газета» проводила анкету, где был вопрос о том — кто самый любимый и известный человек в Ленинграде? Первое место занял Зощенко.

Он привык встречаться с людьми, читать свои рассказы и слышать неутраченные взрывы смеха, аплодисменты. И вдруг все кончилось. Он заперся в своей комнате, ушел в себя. Но он не терпел, чтобы его жалели, выражали ему сочувствие. Он шутил, пытался улыбаться и сворачивал разговор на другие темы.

Через месяц я был у него опять.

— Все неплохо,— сказал он.— Работаю. Прислали мне из Литфонда деньги... Видите? — показал он мне папку, набитую письмами... — Это все письма читателей об их делах, о разных происшествиях. Думаю, что из этого сможет получиться книга...

В его положении многие не могли бы написать ни строчки. А он писал. Каждый день. И улыбался.

И еще через месяц, приехав в Ленинград, я снова пришел к нему.

— Дела поправляются,— сказал он.— В «Новом мире» печатают мои «Партизанские рассказы». Делаю еще один перевод. Все очень хорошо.

Он улыбался, но был бледен, худ и выглядел очень утомленным.

— Михаил Михайлович, вы ведь писали киносценарий. Что с ним?

— Ничего! В кино надо иметь связи,— сказал он, загадочно улыбаясь,— а у меня нет никаких знакомств.

Потом мы встретились в Москве, во дворе писательского дома на 2-й Аэропортовской. Зощенко приехал тогда в Москву и жил у поэта Владимира Лифшица.

Он ходил небольшими шагами по двору и рассказывал:

— Все хорошо. Кажется, будут издавать мой однотомник. Дела поправляются. Вот «Крокодил» прислал письмо, хотят, чтобы что-нибудь для них написал...

Больше я его не видел.

У меня на письменном столе стоит фотография Михаила Михайловича. Большие, бездонные глаза смотрят грустно. Но если долго и внимательно смотреть в них, можно заметить прячущуюся в них улыбку. Она таится в плотно сжатых губах.

О ЗОЩЕНКО

Не каждого писателя, даже из тех, чьи произведения мне нравятся, хочется перечитывать еще и еще.

Если в поэзии такой подход правомерен: уж коли поэт тебе «пришелся», не перечитывать и даже не запоминать наизусть невозможно, — то с прозой дело обстоит иначе.

Однако не мыслю жизни без повторных перечитываний Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Пушкина (не только стихов, но и прозы).

Из современников же меня тянет перечитывать только Зошенко (не считая творчества Всеволода Иванова, которым я пристально занимаюсь). И каждый раз многие его рассказы я читаю как бы заново.

В чем тут секрет? Рассказ, написанный Зошенко 40—50 лет тому назад, с точным соблюдением реалий того времени, когда был написан, читается мною так, словно бы сегодня он писался.

Такое же чувство возникает у меня и при перечитывании рассказов Всеволода Иванова из цикла «Тайное — тайных».

Поразмыслив, я пришла к выводу, что и те рассказы Михаила Михайловича, которые я воспринимаю как современные, и рассказы Всеволода роднят два качества.

Во-первых, единство героев. Михаил Михайлович называет их «бедными людьми» (духовно бедными), а Всеволод — «маленькими людьми» (в том же смысле).

И этих своих бедных, маленьких героев оба они жалеют за их душевную обездоленность.

И у того, и у другого писателя встречаются ненавидимые ими персонажи: оба считают заклятым врагом узколобое мещанство, увенчанное себялюбивым, старающимся все и всех подмять под себя бюрократизмом.

Но и у того, и у другого есть герои, описывая убогий внутренний мир которых, они преисполнены к ним жалостью.

Оба страдают, но палитра у них разная. Всеволод показывает драму, почти трагедию не осознающего своих чувств и поступков человека, которого эта невозможность познать самого себя приводит в роковой тупик.

У героев Зощенко — тот же душевный тупик, но показывает он его иным приемом — юмористическим. Однако несомненное сочувствие всегда — пусть и подспудно — присутствует.

Если о смехе Гоголя принято говорить, что он смеется сквозь слезы, то о смехе Зощенко я бы сказала, что он смеется сквозь сочувствие — сострадавая своим бедным душой и разумом героям.

У обоих писателей — и у Михаила Зощенко, и у Всеволода Иванова — общая цель — показать не осознающим себя людям, что именно таится в их душах, в их не познанном ими самими сознании.

Юмор всегда более доходчив, но есть в нем и обоюдоострая сторона: не каждый читатель, смеясь, способен дать себе точный отчет — над чем же, собственно, он смеется и не вернее было бы тут прослезиться?!

Вероятно, именно поэтому, несмотря на потрясающий, буквально всенародный успех своих рассказов, Зощенко перешел к иной форме повествования, вводя иногда в него прямо — в лоб — морализующие рассуждения.

Мне не раз привелось присутствовать при чтении (всегда камерном, или у нас дома, или у Груздевых) самим Михал Михалычем своих рассказов и пьес. Он читал как бы отрешенно, не интонируя, но тем самым выявляя внутренний смысл произведения.

Однажды я присутствовала при публичном чтении, в гостиной ЦДЛ — у камина. В начале тридцатых годов был короткий период, когда правление этого учреждения пыталось под председательством поэта Семена Кирсанова обратить ЦДЛ в подлинный клуб. Затея эта была ханжески признана элитарной, оторван-

ной от масс, и зарождавшийся клуб вновь стал учреждением.

Так вот, в гостиной у камина сперва прочел несколько рассказов Зощенко Игорь Владимирович Ильинский. Когда он читал, все присутствовавшие едва дух переводили от смеха. На смену ему площадку занял автор.

Михал Михалыч отличался изысканной вежливостью. Никак ее не нарушая, он обратился к Игорю Владимировичу с такими примерно словами: «Вы замечательно сыграли мои рассказы, дорогой, бесценный Игорь Владимирович, но ведь я, когда писал, думал, что их глазами будут читать и размышлять над ними, задумываться над душевным миром или над его отсутствием у моих героев. Если Вы и все собравшиеся не против, я сам прочитаю один из тех рассказов, которые Вы блестяще только что разыграли».

Разумеется, и Игорь Владимирович, и все присутствующие дружно просили Михал Михалыча прочитать.

Если память мне не изменяет, прочитал он всем отлично известную «Аристократку».

Все слушали с напряженным вниманием, и никто не смеялся. Убогая бездуховность «аристократки» и ее поклонника управдома невольно взывала к состраданию.

Игорь Владимирович поблагодарил Михал Михалыча «за урок» и сказал, что он обдумает, какая разница должна существовать между театрализацией рассказа и его чтением вслух.

Михал Михалыч тоже поблагодарил Игоря Владимировича «за снисходительность», но добавил: «Когда я думаю, что это надо сыграть, — я пишу пьесу».

При всем моем глубоком уважении к Михал Михалычу, я думаю, что он был не совсем прав, потому что, даже и сострадав его героям, я, например, смеюсь (хотя смех у меня труднее вызвать, чем слезы), читая его рассказы наедине. А когда он читал сам, смех слушатели (если были посвященными) сдерживали.

* * *

Что может быть печальнее неспособности человека разобраться в себе самом — разве что неспособность критика понять писателя, творчество которого он берет судить.

Заблуждающийся человек тоже вредит не одному себе, но и обществу, в котором протекает его жизнь.

А критик, облыжно трактующий творчество, неправильно перетолковывающий авторский замысел, может быть приравнен к потенциальному злодею, пусть иногда и по неведению — недостатку культуры и чуткости, творящему злое дело.

Наша советская культура заслуживает к себе уважения и вдумчивого отношения.

Обоих, и Михаила Зошенко, и Всеволода Иванова, идя на поводу у вульгарно-социологических толкований напостовцев, склонных отождествлять автора с изображаемыми им персонажами, на «полную катушку» критиковали. В отношении Зошенко дошло даже до преступного и парадоксально-нелепого, к счастью теперь отмененного, постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

После этого печально известного постановления Зошенко хотя и не был репрессирован, но фактически убит. Убить ведь можно не только пулей, но и зловредным постановлением: обычной формы бюрократической «бумажкой».

Михал Михалыч был человек мужественный. Он стойко переносил обрушившееся на него бедствие. Говорил: «Мне некого винить. Я попал под неумолимое колесо истории».

Но человек не всегда властен над своим собственным организмом. У Михал Михалыча сдала нервная система. Его лечили, но неудачно. Умер он от дистрофии, не потому, что у него не было еды, а потому, что ему казалось, будто он утерял способность проглатывать пищу.

* * *

Не могу сказать, что я близко знала Михал Михалыча Зошенко, но встречалась я с ним довольно часто, хотя иногда с большими перерывами.

Неправильно сказать «встречались» — мы никогда не встречались вдвоем, и вообще у меня не было друзей, отдельных от Всеволода.

Но мне кажется — что подтверждается дружбой Михал Михалыча с женами Слонимского и Груздева — ему было легче (хотя и «по-мужски» — без намека на фривольные отношения) дружить с женами своих дру-

зей, чем с ними самими, доверительно общаться с женщинами, чем с мужчинами.

Да и машинопись второй части «Перед восходом солнца» Михал Михалыч передал на хранение ведь персонально мне, а не Всеволоду, и к тому же беседуя со мной на эту тему с глазу на глаз.

Это никак не означает, что он не любил Всеволода или не доверял ему. Наоборот, в вопросах чисто литературного свойства он апеллировал прежде всего к нему. Да и дружескую нежность к нему же испытывал. Могу привести этому свидетельство.

В 1955 году состоялся юбилей шестидесятилетия Всеволода. Михал Михалыч на юбилей этот не приехал, но прислал в подарок стаканную табакерку с выгравированной надписью: «Всеволоду Иванову с любовью и почитанием Михаил Зошенко» (у Всеволода тогда возникла кратковременная причуда нюхать табак) и маленькое письмецо: «Прими этот мой маленький подарок и мое (прости!) запоздалое поздравление с твоим славным 60-летием. Любящий тебя Михаил. 5/VII.55 г.».

* * *

Нечего и говорить, как тяжело мы пережили постановление. Это печальное событие застало нас на Рижском взморье, где мы проводили лето.

Всеволод отреагировал по-своему. Он написал роман «Одесская святыня».

В этом романе — извечная тема «Поэт и царь».

Писал Всеволод два месяца непрерывно, неотрывно. Исторические реалии у него были давно заготовлены, но трагический поворот задуманному придало именно роковое постановление.

Всеволоду, что называется, на собственной шкуре отлично была знакома манера критики отождествлять автора с описываемым им персонажем.

Когда в 1928 году Всеволод опубликовал рассказ «Особняк», избобличающий мещанина-стяжателя, в журнале «На литературном посту» была помещена статья, в которой отождествлялся сам Всеволод с выведенным им персонажем.

Статья была снабжена иллюстрацией работы Кукрыниксов: Всеволод в образе цепного пса сидит у со-

бачьей будки, охраняя «свой» особняк. Примечательно, что в библиотеке им. Ленина из комплектов журнала именно эта карикатура тщательно вырезана.

Возвращаясь к роковому постановлению сорок шестого года, надо сказать, что это постановление произвело шоковое впечатление на всех писателей, обитавших в Доме творчества имени Райниса. Писатели начали срочно разъезжаться, атмосфера была, что называется, предгрозовой, как и охарактеризовал ее приехавший к нам из Ленинграда на машине, с женой Татьяной Кирилловной, Илья Александрович Груздев.

Они нас «успокаивали», уверяя, что пока Михаил Михайлович бодр и преисполнен надежды, что «все выяснится».

Всеволод мог успокоить себя, только усиленно трудясь и, как я написала выше, изменив конец задуманного романа в сугубо трагическом плане.

* * *

При встречах с Михал Михалычем разговоры всегда были о литературе, искусстве, политике и никогда о том, что называется «личным».

Познакомилась я с ним в 1926 году в Ленинграде, на каком-то семейном торжестве у Леонида Утесова, куда привел меня Исаак Эммануилович Бабель, с которым я тогда дружила.

За столом Михал Михалыч оказался моим соседом и сразу пленил своей изысканной вежливостью и скромностью, доходящей до застенчивости.

В то время он был уже очень знаменит. Люди узнавали его на улице и в общественном транспорте. А когда я стала говорить ему, какое большое впечатление производят на меня его рассказы, он засмутился, как начинающий подросток.

За все время многолетнего знакомства я не могу вспомнить ни одного поступка Михал Михалыча, бросающего хоть бы малейшую тень на тот изысканный его образ, который живет в моей памяти.

Когда я стала женой Всеволода Иванова, Михал Михалыч бывал у нас в каждый свой приезд в Москву, но, когда мы приезжали в Ленинград, он никогда не приглашал нас к себе (я так и не познакомилась с его женой), а приходил к нам в гостиницу, или же мы

встречались у наших общих друзей, Татьяны Кирилловны и Ильи Александровича Груздевых. С Татьяной Кирилловной Михал Михалыч был особенно дружен.

Михал Михалыч, как и Всеволод, — один из «серапионов».

С «серапионами» были у Всеволода самые прочные и длительные дружеские связи, что стало для меня сразу очевидным. Груздевы устроили специальный «прием», на который Всеволод повез меня в 1929 году знакомиться со всеми «серапионами».

Каждый год «серапионы» отмечали «свой» день — 1 февраля. Став москвичом, Всеволод ездил в Ленинград «на дату». 30 ноября 1925 года Всеволод пишет Горькому: «В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполняется пять лет Серапионов. Приезжайте в гости к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы собираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо!»

О той встрече, когда «было очень хорошо», рассказывал мне не только Всеволод, но и Михал Михалыч, который был инициатором розыгрыша Груздевых, в чьей квартире происходили серапионовские встречи. Чем-то отвлекши хозяев на кухню, расшалившиеся, как мальчишки, «серапионы» быстро перетащили и переставили в чинной груздевской квартире всю мебель и очень радовались изумлению и растерянности аккуратных Груздевых.

В черновиках «Истории моих книг» Всеволод пишет: «...Я любил и люблю поныне «Серапионовых братьев». Мы были и учителями, и учениками друг у друга. Когда М. Горький познакомил меня с молодыми писателями «Серапионовыми братьями» из Дома искусств, я стал «серапионом» и принял шуточную кличку „брат алеут“».

Илья Александрович Груздев рассказывал мне, как всех их поразил в первый свой приход к ним Всеволод, какое впечатление произвел прочитанный им рассказ, начинающийся так: «В Сибири пальма не водится...». Рассказывал Илья Александрович и о реакции Михал Михалыча. Уже на второй встрече он сказал: «Не валяй дурака, Всеволод, а скажи прямо, какой университет ты окончил. Это ведь только Веня Каверин, утомленный своим образованием, поддается на твои факирские фокусы».

В письме литературоведу Н. Н. Яновскому Всеволод писал: «...Например, я никак не могу согласиться, что взгляды группы «Серапионовы братья» так уж чужды нам. Во-первых, взгляды эти не представляли такую уж монолитную философию и единую эстетику, о которых, кстати сказать, мы знали тогда очень мало. «Серапионовы братья» были разные *люди* (выделено Вс. Ивановым.— *Т. И.*), и нельзя путать статью Л. Лунца — *очень* (курсив Вс. Иванова — *Т. И.*) молодого человека, с очень молодыми, пылкими воззрениями,— с жизненным путем многих, весьма отличных, как Федин, Зощенко, Тихонов,— советских писателей. Стало быть, о каких же взглядах идет речь? <...> Заняться бы вопросами стиля!»

Всеволод в «Истории моих книг» описывает: «Жили мы почти голодно, почти дружно и почти весело. Мы собирались один раз в неделю. Мы были безжалостны друг к другу. Несешь рассказ и думаешь получить одобрение, порадоваться, а приходилось порой испытывать ужас и презрение к самому себе.

Не замечая ни испуга на лице автора, ни сострадания на лицах других «серапионов», очередной оратор — особенно хорош был в этой роли Н. Никитин — «брат ритор» — обстоятельно разбирал, хвалил или дробил прочитанное. Слышался сердитый баритон Федина, радостный тенор Льва Лунца, и умоляюще сопел Шкловский — он хоть и не принадлежал к «серапионам», но был самым близким ходатаем и защитником. В. Шкловский, оглядев однажды наши голодные лица, сказал вполголоса и мечтательно:

— Хорошо бы приобрести мешок муки, поставить его в углу — и чтобы каждый приходил и брал себе, сколько ему нужно.

Мы были разные, то шумные, то тихие, то строптивые,— и литературу мы понимали по-разному, но все вместе мы полны были страстного желания совершенствоваться. Во имя этого мы были безжалостны к слабостям друг друга и приходили в кипящую радость при успехах.

* * *

Я уже упомянула выдающуюся вежливость, скромность и шепетильность Михал Михалыча, иногда она оборачивалась анекдотически.

Всеволод часто вспоминал какие-то заветные «лакомства» своего детства и, пытаясь претворить воспоминания в действительность, неизменно испытывал разочарование.

Иногда то были сосульки из замороженного молока, а то так самодельная «жвачка», которую Всеволод изготовил, когда мы жили на даче во Влахернской. При этом изготовлении присутствовали дети и соседская девочка Варя. Свои дети, из уважения и польщенные доверием, покорно жевали прилипавшую к зубам жвачку из смолы вишневого дерева, сваренную с примесью небольшого количества глины. Соседская девочка Варя, сказав: «Подумаешь, я и просто землю могу есть, только противно», — выплюнула жвачку, не стесняясь.

Всеволод сам не употреблял своего изделия, но хранил его в специальном горшочке.

Когда в очередной раз пришли к нам в гости приехавшие на какой-то пленум «серапионы»-ленинградцы, Всеволоду взбрело на ум угостить своей жвачкой друзей. Все «серапионы» (сколько помнится, это были: Федин, Груздев, Никитин, Слонимский) поступили точно так же, как девочка Варя: попросту выплюнули в топившийся камин предложенную им жвачку и весело принялись трунить над Всеволодом.

Но не Михал Михалыч.

Зошенко старательно пытался жевать эту жвачку-смолку. Потом побледнел и, едва выговорив (жвачка ведь склеивала зубы): «Прошу простить. Приходится внезапно вас покинуть. Вспомнил о неотложном деле», — стал прощаться.

И как его ни уговаривали, Михал Михалыч ушел.

Его деликатность не позволила ему выплюнуть Всеволодову жвачку-смолку в камин, как это спокойно и весело сделали все остальные.

* * *

Приезжая к нам, Михал Михалыч обязательно читал что-нибудь вновь написанное. Только он любил читать, так сказать, в «семейном кругу», заранее предупреждая: «Буду читать — хотелось бы вам одним», но никогда не забывал пригласить к слушанию наших детей, пленяя их своим уважительным отношением «как к взрослым», всерьез интересуясь их мнением.

После чтения доверительно и деликатно (как все, что он делал) Зощенко говорил:

— Знаешь, Всеволод, кажется, я открыл наконец секрет построения сюжета.

Нечего и говорить, что каждый раз предшествовавшее открытие сменялось новым.

* * *

В последний свой приезд в Москву (уже после постановления) Михал Михалыч, придя к нам, передал мне на хранение машинопись второй части своего произведения («Перед восходом солнца»), жестоко изруганного прессой за первую опубликованную часть.

Машинопись эта — на желтой толстой «военной» бумаге — до сих пор хранится у меня в архиве. Вероятно, это — третий или четвертый экземпляр, буквы не везде пропечатаны и вписаны рукой автора, а на некоторых страницах и целые абзацы вписаны его рукой.

Вручая мне машинопись, Михал Михалыч сказал: «Эта рукопись мне всего дороже из того, что хранится в моем архиве. Привез в Москву, раздам друзьям на хранение. Мало ли что может еще случиться?» Кому, кроме меня, Михал Михалыч дал первый и второй экземпляры перепечатки, он не сказал, и я не спросила.

Когда после смерти Всеволода (1963 год) я стала отдавать в перепечатку его не опубликованные при жизни рукописи, отдала перепечатать и машинопись Зощенко.

Один экземпляр перепечатки отдала Корнею Ивановичу Чуковскому, другой — Вениамину Александровичу Каверину. Ни тот, ни другой не сказали мне, что машинопись «Перед восходом солнца» у них уже имеется. Из этого заключаю, что им на хранение Михал Михалыч машинопись не давал. Кому дал, кроме меня, так и остается для меня загадкой.

В 1968 году появился у меня ранее мне незнакомый Арсений Владимирович Гулыга. Он спросил, хранится ли у меня машинопись второй части «Перед восходом солнца». На мой вопрос, откуда ему это стало известно, Арсений Владимирович ответил, что, прочитав в опубликованных дневниках Корнея Ивановича о том, что

Зошенко дописал «Перед восходом солнца», он поехал в Ленинград, но в архиве, хранимом женой Зошенко, не нашел законченного варианта «Перед восходом солнца», а только наброски и заготовки. Тогда в случайном разговоре с Львом Зиновьевичем Копелевым он узнал, что машинопись этого законченного автором произведения хранится у меня.

Арсений Владимирович сказал, что он уже договорился о публикации, но для «проходимости» необходимо изменить название и выдать это не за продолжение, а за самостоятельное произведение с названием «Повесть о разуме».

Гулыга принял и другие предосторожности. Он попросил меня, в случае если ко мне официально кто-нибудь обратится, не показывать «оригинала» (машинописи с правкой Зошенко), а показывать только новую машинопись, озаглавленную «Повесть о разуме», к которой он, Гулыга, написал предисловие. Еще он добавил, что отвезет, из предосторожности, такую новую машинопись в архив вдовы Зошенко.

У Арсения Владимировича задуманное удалось. «Повесть о разуме» увидела свет в 1972 году (журнал «Звезда» № 3).

А вот у меня произошел с изданием не опубликованного при жизни Всеволода романа «Кремль» неприятный казус. Роман должен был выйти в журнале «Простор» в том же году и месяце, что и «Повесть о разуме» в «Звезде». Но в Алма-Ате распространили фальшивые сведения, будто К. А. Федин (бывший тогда председателем Союза писателей СССР) снимает свое хвалебное предисловие.

Ю. Н. Верченко, секретарь Союза писателей СССР, заявил протест против публикации. Сам съездил в Алма-Ату и уговорил главного редактора «Простора» Шухова рассыпать набор «Кремля», за что обещал ему Государственную премию. Набор был рассыпан. А Шухов выведен на пенсию и от огорчения скончался, получив вместо обещанной премии инфаркт.

* * *

Последнее наше свидание с Михал Михалычем произошло в 1958 году, когда мы со Всеволодом задержались в Ленинграде для того, чтобы повидаться с боль-

ными друзьями. Мы возвращались после туристического круиза вокруг Европы, начавшегося в Одессе, а закончившегося в Кронштадте.

Мы остановились в двойном номере гостиницы «Европейская». К Ольге Дмитриевне съездили в Тярлево, где она жила. А Михал Михалыча я пригласила на обед к нам в «Европейскую».

Михал Михалыч сперва отнекивался: «Болен. Не выхожу из дома». Потом сам позвонил, сказал: «Очень все же хочется повидаться. Пусть Дуся (Ида Исааковна Слонимская) и Таня (Татьяна Кирилловна Груздева) за мной зайдут и привезут к вам».

Жили они все в одном доме. Я сговорила с женщинами, чтобы они взяли такси и привезли к нам Зоценко.

Обед оказался душераздирающим. Михал Михалыч, сидя между привезшими его своими подругами, обращался то к одной, то к другой: «Дуся, оказывается, я могу пить бульон. Таня, ты заметила, я даже кусочек пирожка проглотил!»

Все старались изо всех сил казаться бодрыми и веселыми, но вид у Михал Михалыча был столь ужасен и интонация, когда он возвещал, что может что-то проглотить, столь отчаянна, что я несколько раз, не в силах сдержаться, выбегала в соседнюю комнату — плакать.

Михал Михалыч скоро устал, и его уложили отдохнуть, потом свели под руки и усадили в машину.

Больше я его уже никогда не видела. А через два месяца пришла весть о его кончине.

* * *

Что может быть печальнее неспособности человека разобраться в себе самом? Именно этому посвящено аналитическое (своеобразный психоанализ) произведение «Перед восходом солнца», в котором Михал Михалыч старается, не щадя самого себя, помочь обуреваемым комплексами людям побороть эти комплексы, проследив и установив причины их возникновения.

Его превратно поняли. Неспособность критика понять писателя, творчество которого он берется судить, — преступна.

Критик, облыжно трактующий творчество, неправильно перетолковывающий авторский замысел, может

быть приравнен к потенциальному злодею, пусть иногда и по неведению — недостатку культуры и чуткости — творит он свое злое дело. Михаил Михайлович Зощенко — жертва такого в данном случае преступно задуманного злодеяния.

К счастью, мы дожили до перестройки, и сейчас уже стало трюизмом неоспоримое утверждение, что наша советская культура заслуживает к себе уважения и вдумчивого отношения.

НЕПОВТОРИМЫЙ РАССКАЗЧИК¹

В начале тридцатых годов судьба впервые свела меня с Михаилом Михайловичем Зошенко.

Работая в Московском университете, задумал я организацию литературных вечеров как в Москве, так и за ее пределами. Наряду с москвичами было решено пригласить и ленинградских писателей. Собранные деньги предназначались на путевки в дома отдыха для нуждающихся студентов.

И вот я в Ленинграде. Первым делом направился к жившим там Маршаку и Чуковскому, договориться с ними о детских утренниках в Москве. Договорившись, заодно порасспросил их о Зошенко.

В один голос они предупреждали меня, чтоб я не питал надежды. «Это застенчивый, скромный человек,— говорил Маршак.— Он и в Ленинграде-то почти никогда не выступает, а уж в другом городе... Нет, ничего у вас не выйдет». Приблизительно то же сказал и Чуковский, только добавил: «Впрочем, попытайтесь! Чем черт не шутит!»

Вот в каком настроении я шел к Зошенко. «Без надежды и без цели он глядит перед собой»— такие строчки роились в голове, когда я приближался к дому, в котором он жил.

Дверь открыл сам хозяин. Квартира, помнится, в бельэтаже. Темноватая прихожая, загруженная домашним скарбом, высоко подвешенный велосипед.

Михаил Михайлович учтиво приглашает в кабинет.

С места в карьер я рассказал о цели моего визита.

— Сомнений нет,— сказал Зошенко,— благие цели!

Мой рассказ он выслушал внимательно, и дал... отрицательный ответ:

¹ Воспоминания. С. 200—211.

— Цели-то благие, да не для меня эта цель. У вас мерило Маяковский — гигант, трибун, оратор, вы привыкли с Маяковским ездить. А я со своим тихим голосом вовсе для этого дела не гожусь.

— Но в Ленинграде вы ведь выступаете иногда?

— Только в общих литературных вечерах, вместе с поэтами, для разнообразия. Или, скажем, в интимной обстановке, в узком кругу... А тут публично, да еще с афишами — нет, это не для меня.

Я решил перевести разговор на Маяковского. Упомянул о том, как Маяковский восхищался его рассказами, как нередко в дороге мы цитировали их. Вспомнил и о том, как, выступая однажды на диспуте об облике советского иллюстрированного журнала, Маяковский произнес такие слова:

«В разговоры о тираже я не верю. Покойное несчастное «Эхо», попади оно к Кольцову и Голомбу, — не пошло, а побежало бы к читателю. Они бы ему ножки приставили! Зошенко разошелся бы в «Огоньке» в двух миллионах экземпляров... Зошенко... большой, квалифицированный и самый популярный писатель. Его нужно всячески продвигать в журналы». (Тогда я, разумеется, привел эти слова Маяковского по памяти; сейчас цитирую их по стенограмме.)

Попутно я задал Михаилу Михайловичу наивный вопрос: знает ли он стихотворение «Фабриканты оптимистов»?

— Еще бы! Ведь я там упоминаюсь, как-никак.

— А знакомо ли вам другое название этого же стихотворения?

— Почему другое?

— Второе — афишное. В духе Маяковского. Знаете ведь, как он свои афиши формулировал. Там значилось: «Замуж за Зошенку»!

Михаил Михайлович заулыбался. Оказалось, что это для него новость. В стихотворении идет речь о витрине фотоателье на главной улице Саратова. Есть там такие строки:

И рисуется ее глазам уж,
что она
за Зошенку
выходит замуж.

Эти строки и дали Маяковскому основание для второго, афишного, заглавия.

Разговор о поездке продолжался, но незаметно тон его стал иным: Зощенко уже не возражал. Я же старался нарисовать перед писателем радужную картину поездки.

— И встряхнуться вам, Михаил Михайлович, право же, невредно. Кстати, ваш «товарищ по несчастью» Михаил Ефимович Кольцов уже дал согласие. Следуйте его примеру! А ведь он крепкий орешек — притворялся вначале бездарным оратором. Но чем больше он внушал мне этакое, тем крепче я на него наседаю. Договорились, что он будет читать свой доклад по написанному тексту. Но тема весьма актуальная, привлекательная — «Женева — город мира»...

— А как же это вы предполагали — он и я? — спросил Зощенко.

— Нет, нет, отдельно! Между вами недельный интервал. Города все как на подбор: Харьков, Ростов, Баку, Тифлис. На обратном пути — Кисловодск. Соглашайтесь, Михаил Михайлович!

— Вы меня почти уговорили. Меня смущают, по правде говоря, мой неровный характер и мои хворобы. Боюсь вас подвести — ведь проклинать будете, ежели я сорву ваши добрые начинания... Но была не была — согласен! Только в случае аварии пеняйте на себя!

— Спасибо!

Меня буквально захлестнула радость. И я с места в карьер приступил к сугубо деловой части переговоров:

— Составим программу вечера. Сначала вы дадите немного биографии, расскажете об особенностях вашей работы, о сатирическом жанре как таковом. На это уйдет, я полагаю, минут двадцать пять.

Зощенко вздрогнул:

— Что вы, что вы, я столько не вытяну. Да и неловко уделять столько внимания своей персоне. Надо отвести на это десять минут. Не больше.

Говорили в тот раз о многом: о количестве написанных рассказов, о переписке с читателями. Я заметил:

— Меня поражает ваша работоспособность. И продуктивность вашей работы!

Михаил Михайлович насторожился:

— А меня скорее огорчает малая продуктивность. Поскольку вы сидите у стола, приоткройте верхний ящик. Видите? Это все — неоконченные рукописи. Имеются ветераны — лежат неделями, а то и месяцами.

Возможно, кое-что никогда и не увидит света! Я пишу медленно и тяжело. Разве что за исключением фельетонов.

Когда я собирался покинуть гостеприимного хозяина, он спросил:

— Павел Ильич, вы меня извините, чем вы объясните вашу удачу? Многие ведь обращались ко мне с подобными предложениями. И соблазнительные были варианты. Всегда решительно отказывался. А тут вдруг такое чудо. Я еще и не осознал своего поступка.

Я, признаться, даже растерялся. Пролетел:

— Я, конечно, не колдун. И не гипнотизер тем более. Но мне, естественно, знакомы кое-какие секреты. Главное — вера в ваш успех!

У меня вдруг мелькнула мысль: не передумает ли Михаил Михайлович? Я пробормотал:

— Может быть, закрепим договором?

— Вы меня не так поняли. Обойдемся без договора. Меня вполне устраивает пример Маяковского, с которым вы были связаны. К тому же — такое авторитетное учреждение, как Московский университет... Я понимаю, как много интересного сулит мне это путешествие. Но очень боюсь его. Боюсь, что вся затея кончится провалом. С другой стороны, приятно, что студенты отдохнут и подлечатся. Да и сам я выйду в свет, побываю в местах моей молодости... Я ведь жил на станции Минутка под Кисловодском, работал контролером на ветке Минводы — Кисловодск. Устроился по протекции. Это было счастьем: жил не голодая, подкопил малость, да еще бесплатный железнодорожный билет... Встречусь в Харькове с сестрой — у меня там сестра живет. Так что поехать стоит, конечно. Держите со мной связь. Если будете еще до мая в нашем городе, заходите.

* * *

И вот наконец середина мая, мы с Михаилом Михайловичем в Харькове. Здесь предстояло его «боевое крещение».

Каюсь, я пытался скрыть от Зошенко некоторые обстоятельства, в частности то, что выступать предстоит в самом большом театральном помещении города. Но вскоре понял, что сестра писателя посвятила его в эту тайну. Михаил Михайлович предупредил меня, что боится оркестровой ямы. Как быть?

Я договорился с дирекцией, и рабочие сцены наглухо закрыли досками оркестр. Все было сделано оперативно, на доски постелили ковры и водрузили маленький столик.

Приближался решительный час. Около двух тысяч человек заполнили зал. У кассы толпа не получивших билета взывает к милосердию администратора. Пожарные протестуют. Милиция на страже. И без того нелегально продали триста входных. Дирекция опасается за перекрытия.

Я отправился на сцену. Стою рядом с Михаилом Михайловичем и в который уж раз напутствую его, напоминая об условленном, даже отрепетированном начале выступления. Три биографические подробности должны были дать настрой залу. Первая из них гласила:

«Я родился в Полтаве, в 1895 году».

Как выяснилось впоследствии, Зошенко родился в Петербурге. Но отец его был полтавчанином, паспортов тогда еще не было, и Михаил Михайлович считал своей родиной Полтаву.

Вторая биографическая подробность касалась происхождения:

«Мой отец — художник. Его картины имеются и в Третьяковской галерее, и в Академии художеств, и в музее Революции».

Третья, пожалуй самая неожиданная, должна была прозвучать так:

«Я переменял в жизни не менее двадцати профессий. Был и комендантом почты и телеграфа, и агентом уголовного розыска, и дегустатором, и инструктором по кролиководству... Потом — постовой милиционер, столяр, сапожник... И в конце концов выбрал самую тяжелую профессию — писателя».

— Если вы сделаете такое вступление, все пойдет отлично! Вы — на коне!

Михаил Михайлович никак не реагировал на мои слова. Будто и не слышал. Между тем опоздание нарастало.

— Не забудьте упомянуть, — продолжал я, стараясь не проявлять тревоги, — о том, как вы чинили башмаки одному писателю на Васильевском, а через много лет он узнал в вас своего коллегу. И непременно начните чтение со «Слабой тары». После чего еще два-три рассказа и — перерыв. Ну, ни пуха ни пера!

С этими словами я легонько, по-дружески подтолкнул Михаила Михайловича. Но он ни чуточки не шевельнулся. И тут прозвучали страшные для меня слова:

— Я выступать не буду. Боюсь выйти на сцену. Такое скопление! Это меня приводит в ужас. Спасайте. Скажите, что я заболел. Поймите, что моего лепета никто не услышит.

— Я ручаюсь за вас. Ведь я какой ни есть, но все-таки актер в прошлом. И не буду отлучаться, буду все время здесь, рядом. Идите!

И Зошенко понял: обратного пути нет. И сделал лишь один шаг вперед.

А это только и требовалось: сразу же раздался шквал рукоплесканий! Когда зал стих, Зошенко произнес слова вступления, произнес медленно и четко, так же, впрочем, как он это делал, разговаривая с глазу на глаз. Ни один человек не заметил, наверно, его волнения.

Зал живо реагировал на вступление. При упоминании Полтавы раздалась хлопки — быть может, среди зрителей были и полтавчане.

Рассказы Михаил Михайлович начал читать, пожалуй, еще более спокойно. Как свойственно таким скромным и талантливым людям, Зошенко недооценил своих возможностей на эстраде, своей способности воздействовать на аудиторию. Это особенно подтвердилось после «Слабой тары». Естественно, живая реакция на первый рассказ вселила в автора веру, он непосредственно ощутил силу своего искусства. После каждого рассказа звучали овации. Иначе прием, который оказала писателю публика, не назовешь.

Когда вечер закончился, я услышал:

— Все вы рассчитали правильно, и я ничуть не жалею, что принял приглашение. Спасибо!

Моей радости не было границ.

Зошенко читал своеобразно, он увлекал слушателя, невзирая на свой тихий голос и скромный вид. А может быть — и благодаря этим своим чертам?

В Зошенко не было ничего от артиста в обычном понимании этого слова, никакого «актерского профессионализма». Но авторская интонация захватывала вас, буквально брала в плен. Для людей, даже знакомых с тем или иным рассказом Зошенко, авторское чтение все равно было чем-то совсем новым, подлинным от-

кровением. Сам автор почти не улыбался, но публика заливалась смехом.

Итак, вечер окончен, но харьковчане еще продолжают буйствовать, доносятся даже крики «браво!» и «бис!». Последнее невольно вызывает улыбку, когда адресовано писателю. Но искренний восторг все делает простительным.

Сестра Михаила Михайловича по окончании вечера сказала ему:

— Миша, ты просто герой — никак не ожидала такого выступления! — И при этом расцеловала брата, тем самым как бы отблагодарив его за всех слушателей.

* * *

После Харькова — Ростов. После Ростова наш путь лежал на Баку. Путь этот продолжался тогда дольше, чем теперь. И мне повезло: в купе мы с Михаилом Михайловичем оказались вдвоем.

О чем только не переговорили в дороге! Он сетовал на критику, которая далеко не всегда его удовлетворяла, далеко не всегда проявляла понимание его работы, подчас видела в нем только талантливого юмориста.

— Нередко слышишь: где грань между юмором и сатирой? Грань-то, конечно, есть, но не всегда бесспорная и точная: часто юмор и сатира соседствуют, в одном произведении мы можем встретить и веселую улыбку, и горький, бичующий смех. Это так, однако ведь никому не придет в голову назвать Гоголя или Салтыкова-Щедрина юмористами! Я себя с ними не сравниваю, мне до них далеко. Но все лучшее, что я написал, считаю сатирой.

На следующий день Михаил Михайлович снова вернулся к той же теме.

— До настоящего сатирика, — сказал он, — я еще не дотянул, наверное. Однако веры в свою работу не теряю. Полагаю, что я полезный писатель. Мои сатирические вещи должны доходить до читателя. До многих уже доходят, дойдут и до других. Возможно, нужны годы для этого, но, надеюсь, дойдут, иначе нет смысла писать. Постепенно читатели привыкают к короткой фразе, к языку моих персонажей, подслушанному на улице, на собрании домкома, в пивной. К языку и «лестничке» Маяковского до сих пор далеко не все

привыкли. Кое-что людям дается с трудом, не сразу... Я заметил, что ребятам легче в этом отношении: они воспринимают проще, они не слишком связаны традицией...

Я горячо поддержал все, что Зошенко говорил о Маяковском. Напомнил, что ведь и язык Гоголя — его украинизмы, его периоды, его удивительные гиперболы — тоже до многих дошли не сразу.

— Как бы вы коротко сформулировали, — спросил я, — основные особенности «Ревизора»? Мне он дорог с юных лет, хоть там, кажется, нет ни одного порядочного человека. Да и в театре я играл много ролей из «Ревизора». Всю пьесу знал наизусть.

— Я не совсем согласен, что огульно всех действующих лиц причисляют к отрицательным. Это не совсем так. Да и отрицательные тоже не одинаковы. Есть выдающиеся жулики и авантюристы во главе с городничим, который умудрился даже целую церковь в карман сунуть. Великолепная, кстати, характеристика главы города. Но есть более скромные чиновники, рядовые, так сказать, жулики... Даже Хлестаков — уж на что прохвост, а ведь не бездарен. В основном, по-моему, обстоятельства да еще отцы города сделали его лжереvizором. Не явно отрицательна, например, Марья Антоновна. Судьба ей как будто улыбнулась — ну как прозевать столичного жениха?.. Трактирный слуга... Он Хлестакова раскусил, понимает, что тот нахал... Вообще же, выше «Ревизора», по-моему, трудно подняться в комедийном жанре.

В Баку поезд должен был прийти в шестом часу утра, и мы рассчитали так, чтобы пораньше отойти ко сну. Но не тут-то было.

В вагон-ресторан я направился один, поскольку Михаил Михайлович, сославшись на отсутствие аппетита, отказался составить компанию. Вернувшись, я описал ситуацию:

— Народу нет, но они скоро начнут сворачиваться.

Забросив чтение, Зошенко спрыгнул с верхней полки и, не спеша, стал собираться.

— Не заказывайте рыбы, — предупредил я его. — Она ничего хорошего не сулит, не вздумайте прельститься.

Он кивнул и вышел. Вернувшись, снова устроился на любимой верхней полке, продолжал читать. Шли ча-

сы... И вдруг — о ужас! Тихий, сдержанный писатель застонал:

— Погибаю! Я съел рыбу!

В поезде я отыскал врача.

— Надо дотянуть до Баку, снимать с поезда смысла нет,— сказал врач. Он раздобыл кое-какие лекарства, советовал пить чай. Но улучшения не наступало. Всю ночь не спали.

В Баку с трудом добрались до гостиницы. По совету дежурного мчусь к авторитетному врачу. Разбудили старика, лишь только я назвал имя больного. Не прошло и десяти минут, как врач стоял у постели Зошенко.

— Необходимо срочно везти в больницу,— тяжелое отравление.

На крыльце корпуса «приемного покоя» сидел дежурный врач — молодой, красивый, с ассирийской бородкой. Он читал книгу.

— Кого привез? Что с больным?

— Писатель Зошенко.

— Ты что, смеешься надо мной? Живой, настоящий Зошенко? Кошмарный сон! Всю ночь я читал Зошенко, чтоб не уснуть, и вдруг! Надо спасать, а то я сам умру...

Засуетились сестра, няня. Уложили больного. А он безмолвствует.

— Ты не волнуйся,— говорит врач Михаилу Михайловичу,— жить будешь, я тебе ручаюсь!

Меня удалили из кабинета. И я теперь стоял у крыльца, наблюдая занятную картину. По двору бегут люди в белых халатах. Все зашевелилось — бегут посмотреть на знаменитость.

Через полчаса Зошенко был помещен в палату. Мечта врача попасть домой после дежурства развеялась, как облачко. Он оставался на посту, откуда не привел Зошенко в чувство. А к вечеру снова явился в больницу, чтобы перевезти писателя в гостиницу. На фоне голодной диеты странно выглядела бутылка первоклассного вина, которую врач Рубен Аркадьевич прихватил с собой. Он уговорил своего подопечного выпить рюмочку: «Никакого вреда, только бодрости прибавит».

На следующий день, 1 июня 1933 года, Зошенко должен был выступить в оперном театре. Тут он мог бы и отказаться. Но решил быть героем до конца.

В зале бушевали южные страсти — пуще, чем в Харькове. Рубен Аркадьевич, высоко задрал свою ас-

сирийскую бороду, победно оглядывал зал. «Если б не я,— говорил весь его вид,— как своих ушей, не видать бы вам Зошенко!»

С не меньшим успехом прошли затем и вечера Михаила Зошенко в Тбилиси. Тоже в помещении Оперного театра, тоже — при огромном стечении публики.

Последним пунктом был Кисловодск. Здесь, уже на обратном пути, Михаил Михайлович недели две отдыхал после утомительного концертного турне.

* * *

Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что Зошенко впервые публично выступал в Москве только лет через пять — в 1938 году.

Это было в клубе писателей, где тогда пытались перестроить привычный уклад клубной жизни, изменив в первую очередь традиционный вид зала: убрали зрительские ряды, поставили вместо них столики с лампами под абажурами. Верхнего освещения нет, немного бокового оставили. И даже сам выступающий — без помоста, просто за столиком, стоящим в углу зала. В день открытия обновленного клуба и выступал Зошенко. Все будто скромно, с одной стороны, неофициально, а с другой — уж больно непривычно.

Наш гость появился у столика. Но не успел он начать чтение, как внезапно из противоположного угла донесся зычный голос: «Миша, давай про золото». Это сказал Алексей Толстой. Видимо, он уже был знаком с этим новым рассказом.

Зошенко решил выполнить «заказ» старшего коллеги. «Хорошо», — сказал он. И, несколько нарушив свой первоначальный план, объявил: «Король золота».

Успех был велик, и, пожалуй, не зря Алексей Николаевич проявил такую инициативу: от первого рассказа зависит многое. Впрочем, очень дружно принимались и все последующие рассказы. Здесь аудитория была много меньше, чем, скажем, в Харькове или Ростове, в Баку или Тифлисе, но — профессиональная, писательская. Это был триумф, завоеванный в аудитории коллег. Как сейчас, помню раскаты смеха, начинавшиеся чаще всего двумя слушателями, отличавшимися особой непосредственностью, — Алексеем Толстым и Александром Фадеевым.

Зошенко и Яхонтов впервые встретились в конце тридцатых годов.

Собираясь в очередную поездку в Ленинград, Яхонтов обратился ко мне с просьбой познакомить его с Зошенко:

— Я часто бываю в Ленинграде, но не представился до сих пор случай познакомиться. Самому как-то неловко.

— Почему? Смешно! Вы — артист, захотели познакомиться с автором. Позвоните ему сами — это так просто. Запишите его телефон. Все артисты, желающие ввести в свой репертуар данного автора, договариваются с ним. Это так естественно! Ведь собираетесь не-бось читать Зошенко.

Яхонтов продолжал настаивать на своем, и я позволил в Ленинград. Зошенко обрадовался: «Я с удовольствием с ним познакомлюсь!»

Яхонтов сразу же по приезде в Ленинград пригласил Зошенко на свой концерт в зале Академической капеллы.

Михаил Михайлович охотно принял приглашение. Однако не воспользовался оставленным ему местом в первых рядах, а раздобыл билет в последние ряды, чтоб оставаться в тени.

Яхонтов со сцены искал, не обнаружил Зошенко и решил, что тот не явился. И только после концерта Михаил Михайлович пришел за кулисы.

Так состоялось знакомство, вскоре перешедшее в тесную дружбу.

Когда Яхонтов появлялся в Ленинграде, Зошенко непременно приходил к нему в «Европейскую» и нередко посещал литературные концерты прославленного чтеца.

Контакт артиста с писателем вскоре принес замечательные плоды: Яхонтов впервые сделал программу из произведений Зошенко. А через некоторое время мне удалось организовать их совместный вечер в Москве, в клубе МГУ. Точнее, это был вечер троих, ибо Виктор Борисович Шкловский охотно согласился произнести вступительное слово о творчестве Зошенко.

Народу видимо-невидимо. Послушать Зошенко, Яхонтова и Шкловского хотела, кажется, вся студен-

ческая молодежь столицы. (Овации сопровождали выступление каждого из троих!)

Зошенко, из всех исполнителей отдававший прежде предпочтение Игорю Ильинскому, теперь часть своего восхищения перенес на Яхонтова, читавшего его рассказы в ином ключе. Да и рассказы Яхонтов в большинстве выбирал такие, которые другим исполнителям казались наименее выигрышными. Даже сатирические и явно юмористические места он интерпретировал в строгих, сдержанных тонах, зато философский план зошенковского творчества выявлялся в его чтении с особенной полнотой.

* * *

В конце 1942 года я был в командировке в Алма-Ате и снова встретился с Зошенко.

— Осенью сорок первого, — рассказал мне Михаил Михайлович, — однажды поздно вечером я дежурил на крыше. Внезапно чей-то голос меня позвал: «Бросайте работу, сдайте дежурство и — срочно вниз. Сейчас отвезут вас на аэродром». Стал собираться, но трудно-то, знаете, в считанные минуты уложиться без потерь. Кое-что забыто из нужных рукописей... Теперь свыше года живу здесь, в этой комнатке, работаю на Мосфильме — его ведь тоже сюда перебазировали. Правлю сценарии, составляю титры...

Михаил Михайлович жаловался на сердце:

— Оно у меня и так не идеальное, а тут, в горах, резкие перепады давления, температуры.

Я предложил подумать, не стоит ли переехать в Ташкент — спуститься с гор.

Зошенко категорически отверг эту мысль:

— Нет, нет. Переезд, устройство... Здесь у меня работа, здесь люди, к которым привык. Виктор Борисович Шкловский тоже здесь, а с ним, как вы знаете, никогда не скучно.

Во время одного из моих визитов к Зошенко вслед за мною в комнату медленно вошла со двора собака. Зошенко достал из-под кровати миску, худющий пес стал лакать.

— Ваш?

— Нет, что вы. Куда мне! Ничей он, заблудший. Он и не претендует на проживание и полный рацион. Похлебает немного и уйдет.

Пес именно так и поступил.

Я расспрашивал о том, как налажен быт. В ответ Зощенко посвятил меня в свою кухню — в самом буквальном смысле этого слова.

— Стараюсь питаться дома, приношу обед из Дома ученых, меня к их столовой прикрепили. Приспособил, как видите, плитку на кирпичах, хорошую электроспираль поставил.

В комнате поразительная чистота, хотя тут же и варит, не только разогревает готовый обед. Все по хозяйству делает сам.

— А не лучше ли не возиться и есть в столовой?

— Дома практичнее. Могу есть, когда захочу, и не в один прием, а поделив обед на две трапезы. И сам кое-что готовлю, комбинирую... Отведайте компот мужского приготовления, — внезапно предложил хозяин. — Не очень сладкий, но вполне съедобный.

Я не стал отказываться. Компот из урюка точно соответствовал полученной им характеристике.

— Сами-то что-нибудь новое написали? Мосфильм не все время отнимает?

— Естественно, за такой срок кое-что сделал. Два сценария написал, один из них уже принят. Немного для «Крокодила» писал. Над одной большой рукописью тружусь... Без дела не сижу.

* * *

Недавно выпущена пластинка с единственной сохранившейся записью зощенкоовского голоса. Рассказ в авторском исполнении, запись сделана в 1933 году — в том самом году, когда мы с Михаилом Михайловичем ездили по городам Украины, Кавказа и Закавказья.

Поставишь эту пластинку, закроешь глаза — и кажется, будто слушаешь выступление Михаила Михайловича перед огромной читательской аудиторией.

НА КАНАЛЕ ГРИБОЕДОВА, 9¹

1

В середине двадцатых годов XX века мне было всего двадцать лет.

Мир был молод, но следы старого еще напоминали о себе повсюду. Новое и старое причудливо переплеталось, как слова на увиденной мною тогда вывеске:

«Сапожная мастерская имени Анри Барбюса».

Кто придумал это? Уж не тот ли зощенковский персонаж, который угощал пирожными «аристократку»?

Улицы еще выглядели так, словно только что поменялись местами с рисунками, сделанными ламповой копью современником Зошенко художником В. В. Лебедевым.

Вот матрос в бескозырке. Стоит спиной к вам. Рядом с ним уличная дева без строго определенных занятий. Есть у этой девицы ножки. Кривые и озябшие. Есть и руки. А лица нет. В этом ей отказал щедрый художник. Но зато ножки почти отделились от девицы и шагают сами по себе, как гоголевский Нос.

Зошенко тоже отказывал кое в чем своим героям, но одним он наделял их со щедростью мифа — жизнью.

Употребив слово «миф», я не совсем оговорился. Кто-то из философов сказал: «Миф — это тоже картина мира». В те незабываемые для меня годы рассказы Зошенко ощущались куда живее, чем просто литература. Казалось, с вами заговорили дома, улицы и скверы, заняв интонацию у нэпмана, а хриплый голос — у честного, но чрезмерно простодушного управдома.

Голос же самого Зошенко, его стиль были неотделимы от вдруг заговорившей с вами улицы, и поэтому он мне казался таким же «мифотворцем», как создатели эпоса, тоже творившие в соавторстве с жизнью.

¹ Воспоминания. С. 153—168.

Употребив слово «эпос» (пусть простят меня литературоведы), я имел в виду дивную пластичность, свойственную коротким рассказам Михаила Михайловича Зошенко почти в той же степени, как повестям Гоголя и романам Диккенса.

Увидеть Зошенко, познакомиться с ним — нет, на это я тогда не рассчитывал. Казалось мне это столь же несбыточным, как встретить Гоголя, вышагивающего своей подпрыгивающей походкой где-нибудь на Малой Морской — ныне улице, называющейся его именем.

2

Познакомился я с Михаилом Михайловичем уже не в двадцатых, а в тридцатых годах. Жизненные обстоятельства сделали нас почти соседями. Я поселился с семьей на канале Грибоедова, в доме № 9, в «писательской» надстройке (два новых этажа были надстроены над тремя старыми); там жил и Зошенко.

Как был он не похож на себя! На тот образ, который возникал, когда мир начинал разговаривать с вами, используя неповторимую бытовую интонацию, занятую у кавалера, подсчитывающего съеденные его дамой пирожные.

Он был не похож на свои рассказы и на своих персонажей.

Своей элегантной внешностью он скорее напоминал о блоковской поэтичной и несколько воздушной реальности, чем о реальности, знакомой вам по жактовской конторе или по коммунальной бане, где вместо отобранной у вас одежды вам выдавали картонный номерок, грозивший раствориться в воздухе вместе с мыльной пеной.

Шел Зошенко по улице Софьи Перовской, собираясь свернуть на Невский. И улица вдруг сворачивала в другое, внезапно открывшееся измерение, словно вместе с улицей вы вошли в старинный, пахнувший то полями и окутанный музыкой Шопена роман.

Это ощущение неизменно являлось ко мне, когда я встречался с Михаилом Михайловичем, словно над нами была не одна и та же, иногда протекавшая, крыша и наши бытовые нужды обслуживал не один и тот же управдом, тоже элегантный и интеллигентный, не похожий на зошенковского.

Это ощущение некоторой почти сказочной сверхреальности в моем сознании, вероятно, происходило от несовпадения образа Зощенко, созданного бытовой интонацией его рассказов, с тем реальным Михаилом Михайловичем, который существовал в нашем трехмерном мире, аккуратно платя членские взносы в местное или заседая в приемной комиссии Ленинградского отделения Союза советских писателей, бессменным председателем которой он был много лет.

Да, улица Софьи Перовской сворачивала в другое измерение, когда по ней шел своей легкой, воздушной походкой Михаил Михайлович, словно он спешил не на заседание редсовета издательства «Советский писатель», чтобы там отстаивать книги молодых начинающих писателей, не вставленные в план, а на свидание с теми людьми, которых он изображал.

Только однажды мне привелось присутствовать на свидании писателя с его персонажами.

Это произошло на рынке. Тогда еще там были книжные лотки, и у букинистов можно было случайно купить редкую книгу.

На Обводном канале среди лотков поймали вора. И разгневанная толпа продавцов и покупателей торжественно вела его в отделение милиции.

Вдруг чей-то голос раздался в предгрозовом затишьи толпы, удрученной сознанием долга еще не свершившегося правосудия. Кто-то пожалел воришку, укравшего железный хлам:

— Дайте вору звонка, чтобы в ушах зазвенело, и отпустите с богом!

Это был голос одного из здешних лоточников, по-видимому, мастерски владевшего рыночным жаргоном.

Оказывается, он был услышан не только мною. Возле книжного лотка я увидел Михаила Михайловича Зощенко, с интересом наблюдавшего сцену, поставленную великим режиссером — самой жизнью, словно специально для него.

— Как вам нравится это выражение, — спросил я Михаила Михайловича, — «дайте вору звонка»?

— Этим и кончится, — сказал Михаил Михайлович. — Дадут звонка. Народ отходчив. А до милиции далеко.

И действительно, толпа смиростивилась, отпустила вора, словно для того, чтобы попасть в один из лукавых, смешных и бесконечно добрых, но еще не написан-

ных рассказов того писателя, который заставлял глубоко задуматься над противоречиями жизни не только рафинированных интеллигентов, но и людей, знающих рыночный жаргон.

3

Популярность Зошенко была ни с чем не соизмерима. Жизненную ситуацию, когда она выглядела смешной, всегда называли «зошенковской», словно ее создали не бытовые особенности самой жизни, а Зошенко, на этот раз создатель не только сюжетов, но и как бы самих фактов.

Писателя, более точно, чем Зошенко, передающего бытовую разговорную интонацию улицы двадцатых и начала тридцатых годов, я не знаю, хотя тогда жили писатели не менее зоркие и артистичные, чем Михаил Михайлович, — например, Бабель или Булгаков.

Иногда мне казалось, что быт, окружавший нас в те теперь уже далекие годы, та кухонная и коммунально-квартирная реальность, где сердито шипел чем-то недовольный примус и шалило паровое отопление, забавляясь печальями и мелкими страданиями жильцов, «стилизовали» себя под «зошенковский мир», подражали ему. Мир становился до того «зошенковским», словно смотрел на нас сквозь призму смеющегося и чуточку грустного зошенковского слова.

Да, бытовые, обыденные и особенно кухонные вещи, хотя уже одухотворенные поэтичными и утренними натюрмортами Петрова-Водкина, еще не были «вещами в себе», как нынешние электрические и газовые плиты. Вещи были более откровенными, наивными и забавными, словно были вписаны в зошенковскую прозу.

Припоминается мне такой эпизод, тоже совершенно «зошенковский». Было это в первые годы после войны. То портились и текли паровые трубы, то, казалось — без всякой причины, почти мистическим образом перегорали пробки; обветшавшие провода, требуя замены, напоминали о том короткими замыканиями. А управхотом («комендантом», как его почтительно называли) только что поступил работать в надстройку интеллигентный молодой человек, очень следивший за своей прической и писавший и стихи, и прозу, и, кажется, пьесы. Он взвалил на свои хрупкие интеллигентные

плечи организационно-хозяйственные обязанности, преследуя далекую и красивую цель: познакомиться с крупными писателями и с их помощью научиться хорошо писать.

И вот однажды у Михаила Михайловича в кабинете перестала нагреваться батарея парового отопления. Зощенко вызвал управхоза, и тот, раскрыв толстую конторскую книгу... стал читать свои стихи. И, кажется, оба забыли о паровом отоплении.

Я уже упоминал, что Михаил Михайлович в течение многих лет был председателем приемной комиссии Ленинградского отделения ССП.

Отчитываясь на общих собраниях о работе комиссии, Зощенко облакал факты в строгую дидактическую форму и вдруг менялся даже внешне, становясь похожим на взыскательного, но вместе с тем доброго гимназического учителя. Оценивал он произведения начинающих авторов по старой, еще времен гимназии, шкале, ставя одним тройки, другим, более способным, — четверки. До пятерок, так же как и до двоек, дело доходило редко.

О его необычайной справедливости и объективности свидетельствует среди прочих следующий факт.

Подав заявление с просьбой принять его в Союз писателей один уже не молодой и очень склочный человек, подозревавший почти всех профессиональных писателей в буржуазных и мелкобуржуазных воззрениях. Зощенко, не любивший этого человека, к удивлению всех, оценил его повесть на пятерку: склочный писатель был талантлив, а Зощенко, уважавший объективность выше всего на свете, оценил произведение так, как, по мнению его, оно заслуживало.

4

В первой половине тридцатых годов поселился в Ленинграде необычайно талантливый и оригинальный, ныне несправедливо забытый писатель Леонид Иванович Добычин.

Первым заметил его талант К. И. Чуковский, напечатав рассказ Добычина «Встречи с Лиз» в журнале «Русский современник», который он редактировал.

Л. И. Добычин переехал в Ленинград из Брянска, познакомился и подружился с М. Л. Слонимским,

Ю. Н. Тыняновым, В. А. Кавериным, К. И. Чуковским и автором этих воспоминаний и опубликовал несколько рассказов в серапионовском альманахе «Ковш».

В своих интересных воспоминаниях, опубликованных в журнале «Звезда», о Добычине и его прозе писал недавно Каверин, поместив в качестве цитаты целиком один из добычинских рассказов. Сделал он это специально, чтобы познакомить любознательного советского читателя с необыкновенно талантливой и своеобразной прозой, обойденной малолюбознательными критиками и ленивыми историками литературы.

Рассказы Добычина поражали интеллигентного читателя не только своей лапидарной сжатостью, но какой-то особой, не встречавшейся до него в русской прозе фрагментарностью. Впрочем, слово «фрагментарность» я употребляю потому, что под рукой нет другого, более подходящего.

О чем же идет речь? Речь идет об особом эстетическом явлении, которым давно пора бы заинтересоваться нашим теоретикам. У Добычина каждая фраза — это микромир, своей рода Лейбница монада. А монада, о чем знают не только философы, окон не имеет. Добычин был писатель «закрытого типа», заправивший свою мысль в подтекст, и его концепция юмора (а он тоже писал об обывателях, то есть о слишком элементарных людях) резко отличалась от зощенковской.

Добычин, несмотря на свою корректность, иногда в разговоре со знакомыми не скрывал, что он отвергает зощенковский юмор, что этот юмор кажется ему слишком упрощенным, что от этой упрощенности и идет популярность ставшего «слишком быстро» знаменитым писателя.

Оба — и Добычин, и Зощенко — старались не встречаться. До поры до времени им удавалось избегать друг друга. Если оба случайно появлялись на одной улице, то спешили разойтись, чтобы не наговорить друг другу дерзостей. Знал я об этом не от Зощенко, а от Добычина, который почти ежедневно заходил ко мне, как он откровенно и насмешливо выражался, для того чтобы «убить время».

Но от М. Л. Слонимского я впоследствии узнал, что нечаянная встреча все же состоялась. Зощенко однажды пришел к Слонимским, когда у Михаила Леонидовича сидел пришедший «убить время» Л. И. Добычин.

Меня интересовала встреча писателей-антагонистов. И я много раз расспрашивал о ней у Слонимского. Но, благородный во всех своих действиях и поступках, Михаил Леонидович, избегавший «сплетен», даже если они нужны для истории литературы, всякий раз отводил разговор в сторону, смеялся и только повторял:

— Тогда еще не употреблялось взятое напрокат из физики слово «аннигиляция». Но я боялся, что от присутствия рядом этих двух антагонистов произойдет нечто такое, что происходит от столкновения вещества с антивеществом.

Здесь, в этих беглых и коротких воспоминаниях о встречах с Зошенко, может быть, и не уместно много распространяться о философской загадочности юмора, но совсем обойти эту тему тоже нельзя.

Юмор во всех странах и во все времена пытался выявить элементарное и бездуховное в человеке, показать сходство «элементарного человека» (обывателя) с вещью и сходство вещи с бездуховным человеком. Лучше всех это удавалось Гоголю, традиции которого унаследовал и развивал Зошенко.

Холодный, «закрытый» юмор Добычина был, как мне кажется, генетически более связан с юмором Флобера — там, где Флобер давал своему юмору волю, как, например, в «Мадам Бовари», где высмеивался обыватель — позитивист провинциальный аптекарь Гомэ.

Пусть извинит мне читатель эти, наверное, не очень убедительные рассуждения. Но и сам Зошенко тоже любил рассуждать, например, в биографических повестях, в тех местах, где заходила речь о психологии, физиологии и медицине. Рассуждая, он подключал юмор, который становился подтекстом для того, чтобы вывести изображение за пределы одномерного мира управхозов, столь зло и одновременно добродушно высмеиваемого Михаилом Михайловичем.

Это парадоксальное соединение злого с добродушным, смешного с грустным, минутного с вечным, единичного с всеобщим и является той трудно разрешимой проблемой, которая занимает многих, в том числе и автора этой статьи.

Как было бы хорошо, если бы иные эстетика, слишком рассудочно и скучно рассуждающие о юморе, тоже подумали о том, что юмор враждебен всякой элементарности, что в нем скрыта тоска по духовности и красоте.

Есть что-то сервантесовское в этом желании Зо-щенко одушевить людей и вещи, показать антиномию в человеке, соединить мечтательное с реальным, как это делал Сервантес, и с помощью своего великолепного и тонкого юмора сделать всех более духовными.

5

Долгий опыт личного и духовного общения с писателями привел меня к выводу, что писателей можно разделить как бы на две категории. Одним свойственна откровенность, и они охотно пускают посторонних в свою творческую лабораторию, не делая тайны из особенностей своего творческого процесса, другие же, наоборот, держат свою внутреннюю душевную работу втайне, не любят распространяться о своих художественных вкусах и пристрастиях, о которых так любили откровенничать Томас Манн, Паустовский и Олеша.

К какой из этих двух категорий следует отнести Зо-щенко? Казалось бы — к первой, к той, что не вешает на дверях своей творческой лаборатории замок, а держит эти двери открытыми: об этом как будто свидетельствуют биографические повести. И все же я в этом не уверен.

Летом 1938 года в Коктебеле я спросил Михаила Михайловича, как он относится к творчеству Хемингуэя.

— А почему вас это интересует?

— Потому что Хемингуэй, как мне кажется, лучше других чувствует характерные особенности современного человека. И, кроме того, он мастер и вы мастер. И мне хотелось знать, как вы относитесь к его мастерству?

Мне показалось, что Зощенко хотел уклониться от этого разговора. Он неохотно сказал:

— Хемингуэй и его видение далеки от меня. Он иногда кокетничает своим мужеством и слишком любит заниматься рыбной ловлей. А мне чуждо это инфантильное занятие.

— А кого из современных западных писателей вы высоко цените?

И Зощенко назвал мне имя знаменитого тогда норвежского писателя, который лучше многих других умел писать о любви. Но сделал он это признание под моим

нажимом, по-видимому вовсе не расположенный к разговору о том, что находится рядом с интимными сторонами его внутренней творческой работы.

Гораздо охотнее Зощенко говорил не о литературе и искусстве, а о науке, особенно — о физиологии и психологии. Это была его любимая тема.

Помнится мне наш разговор за столиком ресторана в Доме писателя имени Маяковского, уже в конце пятидесятых годов.

— Расскажите мне все, что вы знаете о кибернетике,— попросил он вдруг меня.— Недавно прочел книгу Винера. Трудное, но увлекательное чтение. Математические формулы я, конечно, пропускал. Верил Винеру и без формул. В свое время я с таким же любопытством читал книги по психологии и медицине.

— Почему вы так интересовались медициной?

— В частности, потому, что хотел излечиться от одной редкой, малоизученной болезни, которой я заболел еще когда был гимназистом. Причиной ее была психологическая травма. Сильное нервное переживание. Умер отец. И мы с матерью, оставшись без средств, пошли к одному важному лицу, от которого зависела наша участь. И это важное лицо очень бессердечно приняло нас. Я по молодости еще ни разу не встречался с такой черствостью и бездушием. Очень нервничал. И последствия дорого мне обошлись. Мне стало трудно глотать пищу, до того трудно, что я не мог есть.

— И вам удалось излечиться от этой болезни?

— Удалось. И без помощи врачей. Силой воли. Самовоспитанием. И самоубеждением. Хотя и не сразу... В нашем организме есть много такого, что не снилось нашим медицинским мудрецам и светилам. Как видите, обошелся без светил.

Несколько дней спустя мы продолжили разговор. Речь зашла о том, что в обыденных суждениях называют судьбой.

— А существует ли судьба?— спросил я Зощенко.— Не метафора ли это? Не псевдоним ли того, что люди ленивого ума не умеют точно обозначить?

— Чтобы знать это,— ответил Зощенко,— нужно уметь проникнуть в тайны жизни. Между поведением человека и его судьбой существует подспудная связь. Судьба — это та страсть, то преуказанное поведение, которым впрок заряжает человека жизнь.

В Ленинградском отделении Союза советских писателей самой многочисленной творческой секцией считается секция прозы.

В довоенные годы она не была такой многочисленной. Но зато в ней состояли и активно работали Федин, Шишков, Тынянов, Алексей Толстой, Тихонов, Мих. Козаков, Слонимский, Лавренев, Каверин, Никитин. И, разумеется, Зощенко.

Сейчас кажется странным, что такая, в общем, обыкновенная организация, как секция прозы, состояла сплошь чуть ли не из классиков. Но классики поражали своей скромностью, и тогдашние заседания секции отличались от нынешних содержанием и глубиной затрагиваемых вопросов и проблем, особенно в те дни, когда в заседаниях участвовали Тынянов, Федин и Зощенко.

Заседания, как правило, стенографировались. И мне думается, что многие стенограммы заседаний послужат бесценным материалом для будущих и настоящих историков советской литературы.

Хорошо мне запомнилось одно из этих заседаний.

Из Москвы на несколько дней приехал Ю. К. Олеша и пожелал встретиться с ленинградскими писателями в будничной рабочей обстановке, на заседании секции прозы.

Пришел (специально ради Олеша) Ю. Н. Тынянов, из-за болезни редко посещавший секцию.

Олеша был очень тронут и, выступая, часто обращался к Тынянову, выделяя этим его из всех присутствующих.

Выступление Олеша походило на устное эссе, мысль прихотливо и причудливо возникала, возбуждая умы присутствующих и подчиняясь не столько логической, сколько ассоциативно-эмоциональной связи.

— Не люблю Александра Дюма,— сказал вдруг Олеша.— Мне всегда бывает скучно его читать. Он рассказывает, вместо того чтобы показывать и изображать. Литература без изображения — не искусство.

Тынянов заступился за Дюма, назвав его гениальным рассказчиком. Начался спор между Тыняновым

и Олешей, который трудно восстановить сейчас, спустя тридцать пять лет.

Зошенко на заседании не был, находился, кажется, в отъезде. Через несколько дней я встретился с ним и рассказал ему о споре Тынянова с Олешей.

— Тынянов не только хороший писатель, но и самый крупный в наше время литературовед и историк,— сказал Михаил Михайлович и добродушно улыбнулся.— Где с ним спорить писателю, даже такому, как Олеша! Писатели, к сожалению, редко относятся к фактам объективно и исторично. А Тынянова в этом не упрекнешь... Если бы я присутствовал на заседании, я бы тоже заступился за Дюма.

Михаил Михайлович принимал участие в обсуждении наиболее интересных и острых проблем, которые ставились на заседаниях секции прозы. Принимал он участие и в критических обсуждениях книг своих товарищей по секции.

Помню (это было в конце 1945 года) подобное выступление (оно продолжалось не меньше получаса) Зошенко на заседании секции в тот вечер, когда обсуждалась моя повесть «Дом на Моховой». Не знаю, сохранилась ли стенограмма этого выступления. В одной из глав этой моей повести, посвященной изображению войны и блокады Ленинграда, описывается фронтной Сестрорецк, городок, только что покинутый эвакуированными жителями. Дома еще выглядели так, словно их обитатели отлучились на час или на два и вот-вот вернуться.

Через толстое стекло часового магазина было видно, как еще продолжали жить большие часы, строго и точно отмеривая время.

— Все это описано реально,— говорил тихо, словно размышляя вслух, Зошенко,— но есть одна совершенно недостоверная деталь. Часы тикают. А это не может быть слышно через стекло магазинной витрины. Ошибка? Просчет? Другого автора, я не сомневаясь, в этом бы обвинил. Но у Геннадия Гора свое видение, свои взаимоотношения с миром и действительностью. И я не считаю нужным засчитывать ему за недостаток то, что в его стилистической манере может оказаться достоинством.

Я привожу это место из выступления Зошенко не для того, чтобы привлечь внимание читателя к своей

особе, а чтоб отметить осторожность суждений Михаила Михайловича, когда речь шла о прозе и праве писателя на «ошибки», сделанные не случайно, а продиктованные стилистическим поиском.

7

Реальность становилась более пластичной, я бы сказал — более романтической и театральной, когда на улице появлялся Михаил Михайлович, шагая своей легкой, характерной, элегантной походкой.

Здания каждый раз спешили превратиться в декорацию, стать картиной или рисунком, превратиться в страницу книги, чтобы вписать Зошенко в свой фон.

Даже на карикатурах и дружеских шаржах (а они не всегда бывают дружескими) Зошенко выглядел красавцем, правда, с несколько подчеркнуто преувеличенной элегантностью и стройностью фигуры. Она и служила мишенью для карикатуриста — эта полная изящества, стройная фигура, идущая характерной походкой или стоящая перед вами. Вспомните хотя бы талантливое изображение Михаила Михайловича, созданное Малаховским в его хорошо известном дружеском шарже. Да, Михаил Михайлович обладал выправкой военного. Держался всегда подтянуто, и трудно было представить его в туфлях и халате. Я часто представлял себе Зошенко бравым строевым офицером первой мировой войны или не менее молодцеватым командиром Красной Армии, активным участником гражданской войны. Михаил Михайлович, несмотря на свою кротость и доброту (а может, благодаря им), был очень смелым офицером, кавалером многих боевых наград.

Обыватели, встречавшиеся с Зошенко, каждый раз разочарованно отмечали, что писатель в повседневной жизни никогда не острит, всегда молчалив и даже чем-то как будто опечален. Действительно, Зошенко острил очень редко, говорил с полной серьезностью даже о вещах смешных и выглядел слегка печальным даже среди веселой компании.

Антиномия между красивым, слегка печальным обликом писателя и его земным, слишком земным, глубоко погруженным в быт и нравы юмором, мне думается, была кажущейся. Да и был ли в своей сущности юмор Зошенко уж таким бытовым и заземленным, как это казалось некоторым его читателям и критикам? Сам

стиль Зощенко, его манера и способ видеть, впитавший в себя некоторые бытовые черты времени, был где-то внутренне романтичен и, повторяю, по-блоковски воздушен и прекрасен, ведь он был направлен против бездуховности обывателя, с тем чтобы утвердить высоко-нравственные, высокоэстетические ценности, созданные Октябрьской революцией и внедряемые в народ Лениным и Луначарским.

Сочетание бытовой реальности с чем-то глубоко романтичным и мечтательным и было онтологическим свойством Зощенко и свидетельствовало о том скрытом, не бросающемся в глаза единстве, которое пронизывало все существо этого необыкновенно талантливого и самобытного писателя.

Зощенко, как и всякий подлинный мастер юмора, был против элементарного в человеке, против воинственной бездуховности, которую проявляют мещанин и обыватель, иногда прикрывая свое убожество псевдо-революционной фразеологией. От сочетания этой фразеологии с противоречащими громким словам обывательскими поступками и возникал этот божественный, восхитительно неожиданный юмор, заставлявший смеяться миллионы людей и чувствовать несоответствие между старым и новым, в чем больше всего было заинтересовано как раз новое, а не старое.

Понимал ли Зощенко бездуховность и элементарность в человеке (обывателе), как Гоголь, как нечто не только исторически-социальное, но и метафизически-космическое?

Пусть на этот вопрос ответят эстетики. От себя мы можем сказать только одно: что юмор Зощенко был не только бытовым и литературным, но философским, онтологическим, помогающим раскрывать глубоко скрытое за словами и фактами, проникающим сквозь явление в его сущность. У Зощенко была своя концепция юмора, не похожая на концепцию его выдающихся современников: Мих. Булгакова, Е. Шварца, Даниила Хармса, Л. Добычина, Олейникова, Ильфа и Петрова.

Зощенко удалось в своих удивительных рассказах, иногда напоминающих своей сдержанной эпичностью и жизненной мудростью, сгущенным и как бы раст-

воренным в слове опытом — притчу, расколдовать пространство и время, показать через ритм скрытую музыку бытия и высоко подняться над обыденностью.

Артисты — и не только чтецы — любили и сейчас любят читать прозу Зошенко и, как подобает актерам, делать акцент не на ритме повествования, не на скрытой музыке, пронизывающей стиль его рассказов, а на чисто внешней характерности поведения его часто смешных, забавных персонажей. Такая читка выхолащивает глубинную сущность зошенковской прозы, переводит глубинные слои и смыслы в упрощенный план. Они, к сожалению, не столько читают Зошенко, сколько разыгрывают в лицах чисто внешние ситуации и характеры, иногда превращая поэтичную прозу в водевиль. Разумеется, это замечание не относится к таким необыкновенным мастерам, как Игорь Ильинский и Сергей Юрский.

Зошенко, читая свои рассказы и даже пьесы (я присутствовал при его чтении пьесы «Парусиновый портфель»), никогда не превращался в актера, как иные писатели на трибуне, а оставался самим собой, чуждый всякого актерства и не похожий на человека, который, выйдя на публику, надел маску. Он не подчеркивал голосом ничего характерного и смешного. Наоборот, его голос и интонация были чуточку грустными, как и он сам, растворивший себя без остатка в своей классической по завершенности прозе.

О чем же грустил Зошенко? Нет, об этом я не решился его спросить. Но сколько раз я собирался спросить о его понимании Гоголя — одного из самых великих и не до конца разгаданных прозаиков всех времен и народов! Вопрос свой о Гоголе я все откладывал и откладывал, пока не стало того, кто, может быть, один на свете мог дать на этот вопрос удовлетворительный ответ.

Да, кроме Зошенко и Бахтина, вероятно, никто бы не смог разгадать эту сложную загадку истории и теории литературы. Бахтин — потому, что он был, как мне представляется, самый крупный русский литературовед нашего времени, а Зошенко — потому, что, как никто другой, близок своим видением к Гоголю.

В элегантной, романтической внешности Михаила Михайловича, в его сдержанном чувстве собственного достоинства, заключенном в каждом его жесте и слове, я ощущал нечто рыцарски-благородное, бесконечно духовное и поэтичное. Но если это так, почему же он любил изображать элементарных, лишенных всякого признака духовности людей, а «я», свое лирическое и рыцарское «я», уводил в подтекст, словно его стыдил.

На этот вопрос можно ответить тоже вопросом. Почему великий Сервантес создал двойственный образ Альдонсы-Дульцинеи в лице одной так странно дwoящейся женщины? Не для того ли, чтобы показать вечную антиномию реальности и грустной человеческой мечты?

10

Когда разговариваешь с незаурядным человеком, чаще всего следуешь течению не своей несколько робеющей мысли, а мысли своего умного собеседника.

Мне много раз довелось беседовать с Г. М. Козинцевым и всегда — только о живописи: Григорий Михайлович, по-видимому, считал, что ничто, кроме живописи, меня не интересует. Евгений Львович Шварц, любивший подшучивать, каждый раз требовал от меня, чтобы я объяснил ему теорию относительности Эйнштейна и обязательно в трех словах. Зошенко чаще всего говорил со мной тоже о науке, но уже не о физике, а о психологии. Кажется, он считал меня сциентистом — «идолопоклонником» всех достижений научной мысли, всех открытий и гипотез. Сам Михаил Михайлович интересовался не только наукой, но и ее методами. В частности, он в разговорах со мной не раз задевал сложнейшие проблемы, говоря не только об учении Сеченова и Павлова, но и о спорных гипотезах Фрейда и модного на Западе швейцарского психолога К. Г. Юнга. Суждения Михаила Михайловича свидетельствовали не только о его эрудиции в этой области, но и о глубокой самостоятельности его мысли.

Как-то зашел разговор о чрезвычайно популярном на Западе, введенном Юнгом, понятии «архетип», которым там пользовались не только ученые-специалисты,

но и писатели. «Архетип» — понятие весьма сложное, и если его перевести на обыденный язык, едва ли способный передать его ускользающий смысл, то нужно прийти к выводу, что на уровне подсознательного, столь излюбленного Фрейдом и Юнгом, все люди наполнены архаическим, существующим еще со времен среднего палеолита психическим слоем, порождавшим когда-то мифы, а сейчас — художественные произведения.

Я не смогу теперь точно воспроизвести мысли Зошенко, но они поразили меня своим изяществом. Зошенко считал, что писатель должен описывать в человеке не только личное, но и «родовое», то, что в его психике отложила история. Писатели, гонящиеся за модой, потому и не удовлетворяли его, что они пренебрегают родовым и историческим ради временного и индивидуального. Зошенко критически относился к импрессионизму, выделяющему мгновенье из вечного и в какой-то мере абсолютизирующему это временное и мгновенье.

Я пишу обо всем этом, чтобы читатели не представляли Зошенко бытовым, далеким от сложных духовных и культурных проблем нашей эпохи, каким его иногда изображали плохо понимавшие его критики.

11

Однажды Л. И. Борисов и я, проходя мимо Дома книги, где расположен самый большой в городе книжный магазин, увидели стоящую под дождем необозримую очередь, завернувшую с Невского на канал Грибоедова и протянувшуюся по набережной канала до Чебоксарского переуллка, до больницы имени Софьи Перовской.

— За чем стоят? — спросил Борисов у человека с зонтиком, стоявшего в очереди.

— Однотомник Зошенко только что выбросили, — ответил человек с зонтиком почти словами персонажа из книги, за которой он стоял под дождем.

Уже подойдя к дому № 9, где мы жили и где жил Михаил Михайлович, мы увидели его самого, только что вышедшего из ворот.

— За чем они стоят? — спросил он нас тихо.

— За чем? За вашим однотомником! Кто еще, кроме вас, соберет такую очередь? — ответил Борисов.

— С ума сошли! Да ведь проливной дождь. Пока стоят, промокнул до нитки.

Лицо Зощенко вдруг стало печальным, будто он очень чем-то огорчился, и вдруг он исчез, словно из трехмерного мира под дождем он шагнул в другое, несбыточное измерение, где его ждали вымыслы, сны, хорошая погода, мифы и ставшие мифическими его герои, превратившиеся, как Дон Кихот, Собакевич, мистер Пиквик и чеховский Человек в футляре, в нечто не подверженное старению.

СЛЕЗЫ СКВОЗЬ СМЕХ ¹

Впервые я увидел его году в тридцатом в Гаграх, на пляже, жарким осенним утром.

Широкая, раскаленная солнцем прибрежная полоса была сплошь покрыта весело шевелящейся пестрой толпой купальщиков, темно-зеленые горы глядели на эту суету свысока и осуждающе неподвижно, ветер доносил из парка звуки какого-то музыкального ширпотреба — словом, все было именно таким, каким ему полагалось быть в эту пору на кавказском берегу Черного моря. И только Зощенко выглядел совершенно не так, как должен был выглядеть знаменитый писатель-юморист тридцати пяти лет от роду, проводящий свой отдых на юге.

Он стоял, опершись на трость, в парусиновом костюме и белой фуражке, старомодных даже в те годы, худой, с печально приподнятыми бровями на темном иконописном лице, и разговаривал с дикарски раскрашенной блондинкой в купальном халатике, картинно полулежащей у его ног на горячих гагринских камушках.

Девица, судя по всему, чрезвычайно польщенная вниманием своего собеседника, невпопад похохатывала в ответ на каждую его фразу, он же был задумчив и невозмутимо серьезен. Помню, как удивила меня церемонная почтительность, с какой он слушал щебетание своей дамы, ни единым движением не выдавая своего истинного к ней отношения. В том же, что отношение это не могло быть никаким иным, кроме пренебрежительного, я, зная Зощенко только по его сочинениям, нимало не сомневался.

¹ Воспоминания. С. 181—199.

Позднее, уже познакомившись с ним, я понял, что в то утро на пляже он и не думал кривить душой. Оказалось, что он относится серьезно и уважительно ко всем без исключения людям, с которыми его сводит судьба, даже и в тех случаях, когда не испытывает к ним решительно никакой симпатии. Вот и верь после этого первому впечатлению, если, руководствуясь им, я готов был заподозрить в неискренности одного из самых чистосердечных и правдивых людей на свете.

Меня познакомили с ним в одной из московских редакций, и я сразу же, не помню уже, по какому поводу, счел нужным поведать ему, что собираюсь писать статью об эстетизации страдания как об одном из мотивов русской дореволюционной литературы. Этот мотив ныне я неожиданно обнаружил в некоторых сочинениях наших советских писателей.

Михаил Михайлович живо заинтересовался моим намерением, рассказал о письме Горького на эту тему, которое незадолго перед тем получил, и даже пообещал прислать мне копию этого письма.

Расставшись в тот день с Зошенко и размышляя о нашем с ним разговоре, я был очень смущен. Во-первых, статья, о которой я сообщил ему, существовала еще только в моем воображении и у меня не было никакой уверенности, что мне удастся ее написать; во-вторых, я поделился с Михаилом Михайловичем совсем еще незрелыми соображениями об ее предмете, и теперь мне казалось, что наговорил при этом множество глупостей, а главное — я начисто не был приучен к интересу известных писателей к моим замыслам и, вспоминая наш разговор, внезапно пришел к заключению, что некоторые интонации в голосе моего нового знакомого были явственно ироническими.

Каково же было мое удивление, когда через неделю я получил от Зошенко письмо, которое неопровержимо свидетельствовало о том, что он и не думал иронизировать по моему адресу, а, напротив, отнесся к нашему недавнему разговору вполне серьезно.

В письме содержалось признание моей якобы работы в каком-то, как я сейчас понимаю, не слишком существенном рассуждении; мысль самого Зошенко о том, что в борьбе со страданием «недостаточно изменить философию», ибо корень зла здесь не в отношении

к нему философов и литераторов, а в условиях, его порождающих; сообщение о том, что в книге, которую Михаил Михайлович сейчас пишет, будет содержаться ответ Горькому на его письмо, и, наконец, просьба — прислать мою статью, когда она будет написана, с тем, что он, «возможно, ответит на нее» в той же книге. В конверт была вложена копия широко известного теперь горьковского письма по поводу «Голубой книги».

«Комплименты мои едва ли интересны для Вас и нужны Вам,— писал Алексей Максимович в этом письме,— но все же кратко скажу: в этой работе своеобразный талант Ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних».

Дальше в горьковском письме шли рассуждения о литераторах, превративших страдания в лейтмотив человеческого существования, а завершалось оно таким призывом:

«Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович, высмеять человека, который, обнимая любимую женщину и укол палец булавкой, уничтожает болью укола любовь свою, человека, который восхищался могучей красотой Кавказа до поры, пока не споткнулся о камень на дороге, ушиб большой палец на ноге и — проклял «уродливое нагромождение чудовищных камней», — высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно миру...

...Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить».

Помню, какое поистине оглушительное впечатление произвело на меня все вместе взятое — и горьковское письмо, и внимание ко мне Зошенко, и самая прикосновенность, или, точнее, прикосновение мое к миру, где живут, размышляют и пишут настоящие большие писатели, о которых мы с моими университетскими товарищами жарко спорили, которых читали, перечитывали и почитали, но почти никогда не видели и с которыми совсем уж редко общались.

Непосредственным же следствием этого потрясения оказалось то, что я совершенно запутался в своих собственных размышлениях о страдальцах в литературе и, живо представив себе Михаила Михайловича первым читателем моей будущей статьи, до смерти перетрусил и не сумел довести свой замысел до конца, что, впрочем, не помешало мне испытать чувство горячей

благодарности к Зошенко, так внимательно и серьезно отнесемусь к моим литературным мечтаниям.

...Прошло еще несколько лет, прежде чем мне удалось познакомиться с ним поближе. Было это уже в конце тридцатых годов, когда мы с Евгением Петровичем Петровым, работая вместе над киносценариями для Ленфильма, стали часто бывать в Ленинграде.

У Петрова с Зошенко были давние дружеские отношения, и, встретившись с ним в один из наших приездов, он пригласил Михаила Михайловича пообедать с нами у нас в гостинице.

Жили мы тогда с Евгением Петровичем в «Астории», в большом двухкомнатном номере, состоявшем из спальни и кабинета, который по прихоти устроителей гостиничного уюта был густо населен изваяниями и изображениями медведей всех мастей и размеров. Они резвились на письменном столе в виде пепельниц, чернильниц и бокалов для карандашей, бродили во всех направлениях в качестве безделушек и крупных скульптур — словом, вели себя вполне непринужденно и своенравно, как это свойственно диким животным, попадающим в родную стихию. Венцом же всего этого медвежьего неистовства было чучело очень милого медвежонка средних размеров, которому злые люди вбили в голову железный штырь, служивший опорой для электрической лампы с абажуром какого-то тоже совершенно медвежьего цвета.

В этой комнате и должен был происходить устроенный нами для Зошенко званый обед.

Наш гость пришел точно в назначенный час, по обыкновению задумчивый и любезный, внимательно оглядел комнату, в отличие от всех других наших посетителей ничего смешного о ней не сказал и уселся в уголке дивана в несколько принужденной, даже, пожалуй, застенчивой, позе.

Минут десять прошло в разговоре о том о сем, после чего Евгений Петрович позвонил в ресторан и распорядился, чтобы подавали еду. Глаза его засверкали, нижняя челюсть выдвинулась вперед. Ничего на свете он, кажется, так не любил, как потчевать хороших людей хорошей едой. Пожалуй, единственное, что можно было в этой области поставить ему в вину, была деспотичность, с какой он это свое пристрастие осуществлял. Садясь с ним за стол, нечего было думать даже об искре свободомыслия. Следовало безропотно есть и пить

только то, что считал вкусным сам Евгений Петрович, и делать это непременно в установленном им порядке. Разумеется, в своем тираническом гостеприимстве Петров руководствовался исключительно заботой о благе ближних, но, увы, не все это понимали и частенько, подчиняясь ему, за глаза поругивали за деспотизм.

Надо полагать, что Михаилу Михайловичу повадки Петрова были отлично известны, но повел он себя совершенно не так, как можно было ждать от такого мягкого и уступчивого человека.

С учтивой, но непоколебимой твердостью отказавшись от водки, к которой была подана тщательно выбранная закуска, он попросил пива, не глядя положил себе на тарелку несколько грибков и принялся разговаривать, не обращая никакого внимания на великолепие раскинутого перед ним пиршественного стола.

Петров судорожно, совершенно по-детски, вздохнул и занялся едой, не забывая, впрочем, заботиться обо мне и бдительно наблюдая за тем, чтобы бокалы и рюмки ни на мгновение не оставались пустыми. Подливая Михаилу Михайловичу пиво, он всякий раз принимал вид человека, вынужденного уступать грубой силе, и старался при этом не смотреть на строптивного гостя.

А гость между тем рассказывал о любопытнейших вещах.

Оказывается, вот уже несколько лет, после того как вышла «Возвращенная молодость», к нему обращаются за помощью и советом сотни людей, жаждущих узнать секрет, которым, как они полагают, владеет автор повести о профессоре Волосатове, вернувшем себе утраченную с возрастом бодрость. Причем в последнее время количество телефонных звонков и писем стало угрожающе увеличиваться, и Михаил Михайлович очень этим обеспокоен.

— Сами виноваты!— злорадно буркнул Петров, когда рассказ дошел до этого места.— Не надо было давать советы.

— Нет, почему же? Нет, Женя, это неправильно. Если человек что-то знает, он обязан поделиться с людьми.

— А что вы такое знаете?

Зошенко примирительно улыбнулся. Он упорно не желал замечать строптивного тона Евгения Петровича.

— Как вам сказать... Есть у меня кой-какие наблюдения... Но, может быть, об этом не стоило бы сейчас говорить...

— Почему же? Выпили мы немного, время у нас есть, как-нибудь разберемся. Валяйте, рассказывайте. Только допейте, пожалуйста, ваше пиво.

— Спасибо, я пью... — Зощенко пригубил из своего бокала. — Как бы вам объяснить... Ну вот, случалось ли вам замечать, что между людьми, скажем — между двумя собеседниками, возникает некая атмосфера взаимопонимания, непринужденности или, наоборот, какой-то скованности, замешательства, неловкости? Потом к двоим собеседникам присоединяется третий — и все меняется, возникает новое качество, новая атмосфера, новое настроение...

— Случалось. И что из этого следует?

— Просто мне подумалось, что это происходит, может быть, потому, что каждый человек окружен своей, только ему одному присущей, атмосферой, и те, кто общаются с ним, начинают ее ощущать еще прежде, чем он успеет вымолвить хотя бы слово.

— Я знал одного такого человечка. С ним без опасности для жизни можно было общаться не больше трех минут. После этого в комнате оставался один азот. Кислород он поглощал весь, без остатка.

— Это другое. Вы говорите про дураков или про людей со скверным характером. Я не то имею в виду. Мне, понимаете, пришло в голову, что каждый из нас представляет собой источник какого-то, ну, что ли, излучения... Когда-то это называли — флюидами. Вы понимаете?

— Не понимаю, а знаю! Вы говорите про митогенетические лучи. И это не вам пришло в голову, а одному ученому-биологу... по-моему, даже женщине... Возьмите-ка лучше рыбки.

— Спасибо, сейчас возьму. Я читал про митогенетические лучи. Но я не это имею в виду.

И Зощенко принялся толковать о чем-то очень возвышенном и туманном, проникновенном и вместе с тем наивно-фантастическом, про некую излучаемую людьми психологическую эманацию, похожую на то, что физики называют «полем», и про то, что эта самая эманация в гораздо большей степени, чем даже слова и поступки, определяет отношения между людьми и место каждого человека в обществе.

Он говорил взволнованно, по временам словно робея, но сейчас же снова обретая уверенность, старательно подбирая слова, чтобы выразить свою мысль как можно понятнее, и, видимо, очень огорчаясь оттого, что Петров не то чтобы не мог эту мысль уразуметь, а как-то сопротивлялся, не принимая ее, упрямо не желал ею заинтересоваться.

Мне же было видно и еще кое-что в поведении Евгения Петровича, и это смущало меня гораздо сильнее, чем строптивость, с какой он до того воспринимал рассуждения Зощенко. По некоторым признакам я почувствовал, что Петров вот уже несколько минут делает героические усилия над собой, чтобы не расхохотаться. Увы, очень скоро это заметил и Михаил Михайлович. Одушевление его померкло, он начал путаться, искать слова и наконец, не кончив очередную фразу, неожиданно замолчал, поглядывая на нас обоих с виноватой и смущенной улыбкой.

Даже сейчас, через много лет, вспоминая эту сцену, я не могу отделаться от чувства мучительной неловкости, какое испытал в ту минуту, когда Петров, так и не сумев совладать с собой, с лицом, налившимся кровью, повалился на диван, на котором сидел, и, дрыгая ногами, как капризный ребенок, залился грубоватым, заразительным смехом.

Зощенко молча пожал плечами и принялся за еду.

— Ой, не могу!— крихтел Петров, садясь и вытирая глаза.— Как вы сказали, Миша? Эманация? Как же, как же, я про это читал в журнале «Нива» в одна тысяча девятьсот тринадцатом году. Помните, там тогда на обложках рекламировались средства для рашения волос и предлагалось приобрести за три рубля девяносто пять копеек четырнадцать ценных предметов, и в том числе карманные часы и кольцо с бриллиантом?

— Помню,— коротко промолвил Зощенко.— Вы ужасный грубиян, Женя. Но, может быть, и такие люди нужны, чтобы фантазеры вроде меня были осмотрительнее и не заносились слишком высоко. Кстати сказать, ведь вы тоже не просто грубиян, а с примесью фантазерства...— Он потрогал салфеткой углы губ, повернулся ко мне и, указывая на Евгения Петровича, спросил:— Вы когда-нибудь слышали, как Ильф не позволял ему округлять числа?

Я не сразу понял, о чем идет речь, но Михаил Михайлович не стал ждать моего ответа.

— Жёне тоже нужен человек, который бы не позволял ему заноситься,— продолжал Зошенко.— И когда он рассказывал о чем-нибудь в присутствии Ильи Арнольдовича и при этом тарашил глаза и называл большие круглые числа, Ильф улыбался и замечал: «Женечка, вы округляете. Не тысяча пятьсот, а тысяча четыреста семьдесят...» И все становилось на свои места. Понимаете?

Теперь я понял. Эта сторона отношений между Петровым и Ильфом мне тоже была хорошо известна.

Уже давно замечено, что среди писателей-юмористов редко удастся встретить весельчаков. Как-то не способствует писание смешного авторскому оптимизму. И хотя в предисловии к своей «Голубой книге» Зошенко пишет, что «веселость его никогда не покидала», даже самая эта книга опровергает его утверждение.

Разумеется, можно встретить людей, профессия которых верой и правдой служит им в житейском обиходе: композиторов, всегда готовых поиграть для друзей; юристов, дающих советы попутчикам в поезде; актеров, «неподражаемо рассказывающих анекдоты»; врачей, хранящих в памяти рецепты ухода за кожей лица. Профессия Зошенко никогда не была для него подспорьем в практической жизни. Начать с того, что в этой самой практической жизни он был человеком печальным и неразговорчивым. Даже если ему и случалось рассказать что-нибудь смешное (а ведь это может случиться со всяким), он вовсе не старался рассмешить своих слушателей. Я заметил, что он в таких случаях с нетерпением ждет, пока слушатели отсмеются, чтобы продолжать свой рассказ. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы Михаил Михайлович посягал на роль души общества, но я не раз наблюдал, как он уклонялся от этой чести, если ему пытались ее навязать. Он неизменно предпочитал роль слушателя роли рассказчика и даже с чтением своих сочинений выступал до крайности редко, хотя многие из них он знал наизусть, как стихи. Помню, как удивила меня его фраза о том, что он не пишет, а записывает свои рассказы. Михаил Михайлович сказал тогда об одном из них: «Он уже весь придуман, осталось только записать». И в ответ на мой недоуменный вопрос сообщил, что работает над своими рассказами мысленно, и только когда вещь совершенно

готова и запечатлелась в памяти до последнего слова, записывает ее, почти ничего в ней при этом не изменяя. Можно ли придумать более странный способ работать над сочинениями, главная прелесть которых — в тончайшем словесном рисунке, раскрывающем авторский замысел и характеры действующих лиц более полно и точно, чем это можно сделать в пространнейших рассуждениях и характеристиках? Но ведь Зоценко и вообще-то был человеком странным, человеком, понять и оценить которого, пользуясь обычными мерками, нелегко.

Разве не удивительными для сатирического писателя были его мягкость, терпимость и доброта? А ведь знавшим его невозможно представить себе Михаила Михайловича рассерженным, язвительным, недоброжелательно отзывающимся о людях.

В предисловии к одному из сборников своих фельетонов он однажды писал:

«В этих фельетонах нет ни капли выдумки. Здесь все — голая правда. Письма рабкоров, официальные документы и газетные заметки послужили мне материалом. А живые люди, которых, быть может, я здесь пихнул локтем, — пушай простят меня.

Впрочем, в последний момент у меня дрогнула рука, и я, по доброте душевной, слегка изменил фамилии некоторых героев, чтобы позор не пал на ихние светлые головы».

Нетрудно понять, какими ракалиями были эти самые «живые люди», фамилии которых Зоценко «изменил в последний момент», найдя в себе силы отнестись к ним с истинным человеколюбием и извиниться перед ними даже за то, что под вымышленными именами выставил их на всенародное осмеяние.

Веселый, необходимый человеческому обществу, как воздух, писательский дар — видеть в людях нелепое и уродливое и смешно об этом писать — дан был Зоценко вместе с великой жадой помочь своим современникам стать умнее, честнее, добрее и благороднее. Поэтому ни один из его рассказов не выглядит зубокальством или, еще того хуже, олицетворением этакого «гусарского» пессимизма (судьба-индейка, жизнь-копейка), каким проникнуты творения некоторых, по преимуществу зарубежных, сатирических и не сатирических писателей, видящих свое назначение в том, чтобы, сидя в мягких креслах за роскошными письменными

столами и вооружившись золотыми перьями, убеждать читателей, что все в этом мире насквозь прогнило и идет к черту.

В отличие от литераторов этого рода Зощенко не переставал скорбеть о несовершенстве человеческой природы вообще и о неурядицах нашего житейского обихода, в частности — неурядицах, порой мешающих советским людям жить и работать разумно и дружно, как это им подобает. И всю силу своего писательского таланта он устремлял на то, чтобы пробудить в своих согражданах рядом с непримиримостью к глупости, злобе и пошлости уважение друг к другу и веру в то, что счастливое будущее человечества они держат в своих руках.

Все это до боли отчетливо видишь сейчас, перечитывая сочинения Зощенко и вспоминая, как искаженно воспринимались они теми критиками, которые умудрились увидеть в его рассказах злопыхательское стремление очернить всех без исключения советских людей, представив их скопищем дураков, мещан и прохвостов.

К величайшему нашему счастью, критикам никогда еще не удавалось надолго разлучить читателей с любимыми авторами. И судьба книг Зощенко как нельзя лучше это правило подтверждает.

В первые годы войны мы не встречались с Михаилом Михайловичем, и довольно долго я ничего не слышал о нем. Потом в журнале «Октябрь» появилась первая часть его повести «Перед восходом солнца», которая, как известно, вызвала целый взрыв резких критических нареканий. В результате вторая часть повести при жизни Зощенко так и не появилась в печати, а ему как-то журнальным редактором было рекомендовано попробовать свои силы в «серьезном» жанре.

И вот через некоторое время после всех этих происшествий Михаил Михайлович привез в редакцию «Крокодила» несколько рассказов о партизанах, рассказов, имевших целью продемонстрировать его готовность делом ответить на суровую критику.

Приехав в Москву, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону, и в тот же вечер я пришел к нему в гостиницу.

Он встретил меня со своей всегдашней любезной и чуть печальной улыбкой, мы уселись и некоторое вре-

мя беседовали о посторонних и не очень интересных предметах. Обоим нам казалось невозможным говорить о том, что произошло, и оба мы — он с некоторым даже блеском, а я не умея скрыть своего замешательства — делали вид, что не произошло решительно ничего, пока разговор наш не оборвался и в гостиничном номере, вознесенном высоко над Манежной площадью, не воцарилась напряженная и словно бы даже на ощупь осязаемая тишина.

И тогда Михаил Михайлович смущенно откашлялся и внезапно попросил у меня разрешения (не предложил, а именно попросил разрешения) прочесть несколько только что написанных им коротких рассказов. Он так упирал на то, что рассказы короткие, что было понятно — он в них не очень уверен. Мне же было все равно — какие они, потому что до того я ни разу не слышал чтения Зоценко и только с чужих слов знал, что он великий мастер этого дела.

Так оно и оказалось. Читал Михаил Михайлович великолепно — просто, почти без всякой акцентировки и вместе с тем придавая необыкновенную значительность каждому слову.

Рассказы же, как мне тогда показалось, были невыразительны, и талант их автора был в них почти совершенно неразличим. Не могло быть никакого сомнения, что идея покровительствующего Михаилу Михайловичу редактора, вздумавшего превратить его в военного летописца, не увенчалась успехом. Удивительнее же всего было то, что сам он, очевидно, придавал своим опытам в новом жанре большое значение, очень волновался, читая, все поглядывал на меня, пытаюсь определить, нравятся ли мне рассказы, и все спрашивал, перед тем как начать читать следующую вещь, не надоело ли мне слушать.

Каюсь, я не сказал ему тогда правды. Прежде всего потому, что, как мне почудилось, эта правда была ему не нужна, а главное — при всей моей тогдашней угловатой нелицеприятности я уразумел, что преподнести Михаилу Михайловичу в те трудные для него дни мои критические, пусть даже справедливые, недовольства было бы все равно что ударить ребенка.

Поэтому я пробормотал что-то о простоте, лаконичности и прозрачности прочитанного, попутно выяснив для себя, что уклончивые эти любезности говорить не

в пример легче, чем резать пресловутую «правду-матку».

Что же до Михаила Михайловича, то он удовлетворился сказанным, ни о чем больше меня не спрашивал, аккуратно сложив, спрятал рукопись в ящик стола и стал рассказывать о своих планах на ближайшее будущее. Планы были самые что ни на есть оптимистические.

Но прежде чем рассказать о том, что за этим последовало, я должен оговориться. Постановление Центрального Комитета о журналах «Звезда» и «Ленинград», с которого все началось, было событием, имевшим много аспектов. Общую его часть никому не приходило в голову оспаривать. Но в постановлении был раздел, посвященный суровому осуждению рассказа Зошенко «Приключения обезьяны», и, как это иногда в те годы бывало, некоторые не в меру ретивые литературные администраторы и критики истолковали эту часть постановления как сигнал к осуждению всего написанного Михаилом Михайловичем и пресечению всей его дальнейшей писательской деятельности. И вот это обстоятельство представлялось многим читателям Зошенко жестокостью, продиктованной, мягко говоря, «нехозяйским» отношением к нашему литературному достоянию.

Увы, остановить эту лавину уже было нельзя, и дальнейшие события развивались, в самом точном значении этого слова, стихийно.

Причем, следя за развитием событий, все мы не переставали дивиться несоответствию между поводом, то есть рассказом Зошенко про обезьяну, и критической лавиной, о которой только что говорилось. По словам друзей Михаила Михайловича, общавшихся с ним в это время, сам он тоже ничего во всем этом не мог понять и пытался убедить себя и окружающих, что в ближайшее время все разъяснится, окажется недоразумением и сразу же сгинет, как страшный сон.

Но время шло, а сон все длился и длился. В десятках статей, обзоров, рецензий, читательских писем, «творческих отчетов» и интервью Зошенко прорабатывали и поносили с такой монотонной яростью, какой мы не видывали со времен недоброй памяти РАППа.

Поэтому прошло не меньше года, прежде чем в Союзе писателей было решено попытаться что-либо сде-

лать, чтобы облегчить положение Зоценко, и он был вызван в Москву.

Приехав, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону и пришел ко мне, а придя, рассказал об удивительных обстоятельствах, сопровождавших его нынешний приезд, причем рассказ этот был, пожалуй, первым смешным рассказом, какой мне удалось за все время нашего знакомства услышать от Зоценко.

Все началось с того, что еще с вокзала он позвонил в Союз писателей, чтобы узнать, когда его смогут принять. Ему ответили, что час приема еще не назначен, а пока ему надлежит ехать в гостиницу «Метрополь», где для него забронировано место. Он отправился туда. Администратор выслушал его, полистал какие-то бумажки и сообщил, что место для него действительно имеется в четвертом этаже, комната номер такой-то. При этом администратор почему-то смущался и сетовал на трудные послевоенные времена.

Уже поднимаясь в лифте, Михаил Михайлович подивился внимательному взгляду и странному тону администратора, каким тот сообщил номер отведенной ему комнаты.

Дежурной по этажу не оказалось на месте, и Михаил Михайлович решил поискать ее в коридоре, но, проходя мимо чуть приоткрытой двери и увидев на ней цифру, названную администратором, толкнул ее и вошел. А войдя, остановился в остолбенении.

Комната оказалась апартаментами довольно внушительных размеров, сплошь уставленным кроватями, между которыми ветвились узкие, замысловато переkreшивающиеся проходы. Дело происходило утром, но почти на всех кроватях лежали люди. Одни, уже одетые, размышляли о чем-то, уставившись в потолок, или читали газеты, другие спали, свернувшись калачиком под тонкими, сиротскими одеялами.

Михаил Михайлович поздоровался, искал глазами свободную кровать и, стараясь не беспокоить спящих, добрался до нее, осторожно ступая на цыпочках. Здесь он поставил в ногах свой портфель, скинул пиджак и ботинки и прилег, а прилегли, незаметно для себя самого задремал.

Очнувшись он от резкого телефонного звонка и, оглядевшись, только сейчас заметил, что в центре комнаты стоит стол, а на столе — телефон.

Между тем звонки следовали один за другим, что, впрочем, не мешало людям, лежавшим вокруг, продолжать нежиться в своих постелях, видимо, в ожидании, пока кто-нибудь первым не выдержит характера и возьмет трубку.

Наконец один из соревнующихся, вне всякого сомнения наименее выносливый, яростно чертыхнулся, встал и подошел к телефону.

— Слушаю вас!— сказал слабохарактерный этот человек и некоторое время действительно слушал невидимого своего собеседника, не прерывая. Потом лицо его отразило крайнюю степень недоумения.— Кого, кого?— переспросил он и, убедившись, что на этот раз не ослышался, торжественно отчеканил:— Нет! Писатель Зошенко в настоящее время в гостинице «Метрополь» не проживает!— после чего, сочтя вопрос исчерпанным, приготовился бросить трубку.

Но тут Михаил Михайлович вскочил со своей кровати и принялся показывать знаками, что он и есть Зошенко, которого зовут к телефону.

Молчаливое это притязание привело человека, стоявшего у стола, в смятение. Он недоверчиво оглядел Михаила Михайловича с головы до ног, пожал плечами и только после этого протянул ему телефонную трубку.

Оказалось, что звонят из Союза писателей, чтобы сообщить, что секретарь примет Зошенко сегодня во второй половине дня. Выслушав эту добрую весть и поблагодарив, Михаил Михайлович снова улегся, но заснуть не пытался, понимая, что без объяснений с соседями по комнате теперь уж дело не обойдется. Так оно действительно и оказалось.

— Значит, вы тот самый Зошенко и есть?— адресовался к нему лежащий на соседней кровати плотный пожилой человек, глядя на него с интересом.

Михаил Михайлович подтвердил, что тот самый.

И сразу же к его кровати подошло несколько любопытных, а один даже присел у него в ногах.

По словам Михаила Михайловича, это было похоже на то, как если бы с ним приключился на улице обморок и вокруг столпились любопытствующие и недоумевающие прохожие. Однако очень скоро он понял, что недоумевающих здесь не так уж много. Выяснилось, что некоторые обитатели «Боярского зала» (так почему-то именовалась комната, в которой происходила вся эта

сцена) читали не только «Приключения обезьяны», но и многие другие его рассказы и вовсе не склонны считать Зошенко злопыхателем и клеветником. А один из собеседников Михаила Михайловича, тот самый, что устроился у него в ногах, вообще отказывался верить в то, что сыр-бор загорелся из-за одной «Обезьяны», и стал убеждать его порыться в памяти и вспомнить, нет ли у него еще каких-либо прегрешений.

Иначе, чем другие, повел себя только тот человек, который давеча подходил к телефону. Понаблюдав некоторое время за поведением роящихся вокруг Михаила Михайловича доброжелателей, он окинул их мрачным и пронзительным взглядом и проскрежестал:

— Любопытно! До чрезвычайности любопытно!— И, повернувшись к участнику разговора, сидевшему на кровати, потребовал:— Вот вы, например... потрудитесь сообщить... по-вашему, эту самую «Обезьяну» критиковали напрасно? По-вашему, нынче, когда все мы, а если взять конкретно, например, я, на своем, пусть незначительном предприятии,— я лично работаю на консервном заводе,— не щадя сил, восстанавливаем хозяйство, разрушенное войной, а товарищ писатель себе позволяет всякие, понимаешь, хихоньки да хахоньки, мы это будем терпеть?!

И он еще раз обвел глазами тех, что стояли вокруг, на этот раз как бы пунктиром, отметив каждого в отдельности.

Охотников спорить с суровым этим оратором не нашлось, кружок любопытных, столпившихся вокруг Михаила Михайловича, стал быстро редеть, и уже через минуту он остался в одиночестве.

Последним покинул его тот, что сидел у него в ногах. Испуганно поглядев на строгого своего оппонента, он сделал вид, будто вспомнил о неотложном каком-то деле, и кинулся к телефону.

И все же от всей этой сцены, которая в изображении Михаила Михайловича была исполнена какой-то иронической примиренности, у меня осталось непреложное убеждение: несправедно суровые критические оценки, при каких бы обстоятельствах они не выносились и какой бы аргументацией не сопровождались, ничего, кроме сочувствия к автору, подвергнутому такой критике, у сторонних и беспристрастных наблюдателей вызвать не могут.

Следующая наша встреча с Михаилом Михайловичем произошла уже в Ленинграде, у него на квартире, кстати сказать, новой, меньшей, чем предыдущая, в которую он переехал совсем недавно.

Комната, куда он проводил меня, открыв мне дверь, выглядела очень печально. Было похоже на то, что хозяин не только спит, ест и работает в ней, но даже, кажется, готовит здесь пищу.

Жаркий летний день был в разгаре, и сквозь пыльные, непромытые окна не по-северному яркое солнце освещало давно не метенный пол, книжные полки, покрытые густым слоем пыли, письменный стол и высокую конторку, за которой, как мне было известно, Михаил Михайлович имел обыкновение работать.

Усадив меня и расспросив о моих делах, а надо сказать, что он всегда делал это с непритворной заинтересованностью, Михаил Михайлович осведомился, слышал ли я что-нибудь о его встрече с английскими студентами. Я сказал, что об этой встрече ходят самые противоречивые слухи, но мне говорили, будто он с честью выдержал выпавшее ему на долю нелегкое испытание.

Михаил Михайлович покачал головой.

— Вам не все рассказали... Один из вопросов, который мне задали эти самые англичане, был о том, считаю ли я справедливыми упреки, которые были мне сделаны. Вероятно, чтобы с честью выдержать испытание, я должен был сказать, что согласен со всем, что обо мне говорилось. Но я не мог. Я офицер, дважды воевал, награжден, я добровольцем вступил в Красную Армию, а меня называли трусом, меня упрекали в том, что я будто бы убежал из осажденного Ленинграда... Ведь это неправда!.. Не говоря уже о ругани... С чем я должен был соглашаться?..

Михаил Михайлович помолчал, потом взял со стола маленький кожаный портсигар, вынул из него тоненькую папиросу из тех, что именуются «гвоздиками», и закурил.

— Если же вам говорили, что я не искал сочувствия у этих белоподкладочников, то чему здесь удивляться? Во-первых, я давно недолюбливаю субъектов этого сорта, а во-вторых, они ведь намерены были убедиться, что я «гонимый»... Так вот, я решил не дать им возможности насладиться этим зрелищем. Пускай смотрят другие достопримечательности Ленинграда... А я на-

рочно надел свой лучший костюм — коричневый, вы его знаете, сделал непромокаемое лицо и был, вероятно, так не похож на страдальца, что им, по-моему, стало жалко потраченного на меня времени. И отлично! Пусть не думают, что я нуждаюсь в их заморском барском сочувствии.

И Михаил Михайлович так гордо, я бы даже сказал — так высокомерно, усмехнулся, что мне вчуже стало неловко за бестактных и самоуверенных его интервьюеров.

А он помолчал и вдруг спросил:

— Помните наши с вами давние разговоры о литераторах, полагающих, что, заставив своего героя страдать, они представляют его читателям с самой что ни на есть выгодной для него стороны? Так вот, чем больше я живу на свете, тем непоколебимее убеждаюсь, что нет на свете, если не считать жестокости, ничего более отталкивающего, чем человек, щеголяющий своими душевными язвами... Была у меня однажды смешная встреча. Стою я в очереди за железнодорожным билетом на городской станции. Народу немного, ждать, судя по всему, предстоит не больше четверти часа. И вот подходит моя очередь, ныряю я с головой в окошечко кассы и вдруг чувствую: кто-то сверлит мне спину пальцем. Я, понимаете, боюсь что-нибудь напутать в разговоре с кассиршей, стараюсь быть деловитым, лаконичным, а он сверлит и сверлит... Наконец справился я со своей задачей, кассирша начала что-то там подсчитывать и стучать компостером, а я, улучив минуту, оборачиваюсь и вижу: стоит за моей спиной пожилая дама с неаккуратно выкрашенным злым ртом и голубоватыми сухими морщинками и смотрит на меня с ненавистью. «Что, говорю, с вами? Почему вы волнуетесь? Сказали бы прежде, что торопитесь, я бы вам уступил очередь...» А она отвечает: «Пострадали бы вы с мое, молодой человек, я бы посмотрела, как бы вы не волновались!» И такой мне показалась противной эта ее уверенность в каких-то своих правах, заработанных страданиями, сказать не могу... Мне ведь сейчас многие считают нужным выразить сочувствие, а для меня это сочувствие... <...>

У вас есть мой перевод финского писателя Майю Лассила?.. Не слышали о таком писателе? Я вам подарю эту книжку, вы ее прочтете и непременно его полюбите.

Михаил Михайлович взял с полки книгу, на переплете которой значилось: «М. Лассила. За спичками» (о том, что литературная обработка перевода сделана М. Зошенко, как я установил позднее, сообщалось мельчайшим, стыдливым шрифтом на обороте титульного листа), и удивительным своим почерком сделал на ней дарственную надпись. Потом подумал и приписал немного пониже еще две строчки:

Грехи людей мы отливаем в бронзу,
Их подвиги мы пишем на воде...

Пока он был занят этим делом, я принялся перебирать стоявшие на полке издания его книг. Их было очень много — разных форматов, толстых, тонких, на множестве языков. Одна из них мне приглянулась. Это был очень хорошо составленный сборник, изданный в сороковом году в Ленинграде. Увидев, что я особенно внимательно проглядываю его, Михаил Михайлович спросил:

- Подарить вам эту книжку?
- Но ведь у вас только один экземпляр.
- Ничего. Мне не жалко.

Мне почудилось в этой щедрости Михаила Михайловича настроение, которое один из моих друзей определил когда-то формулой «все все равно». Но формула эта была шуточной, здесь же было совсем другое. Сердце у меня сжалось. И даже подарок не утешил меня.

Были у меня после того и другие, по преимуществу мимолетные встречи с Михаилом Михайловичем, но отделаться от чувства тревоги за него мне так и не удалось. Очень уж он стал ко всему равнодушен, обращен внутрь, замкнут. И не то чтобы он совсем перестал улыбаться, шутить, интересоваться судьбами друзей, хорошими книгами... Но все это было в нем как-то расплывчато, не отчетливо и не ярко, словно он смотрел на все сквозь серую кисею.

Вероятно, именно поэтому, когда в газетах появилось сообщение о кончине Михаила Михайловича, для меня оно было неожиданным.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОКА¹

1

Даже если б мне и не посчастливилось и судьба не свела бы меня с Михаилом Михайловичем Зошенко — я был его современником.

А ведь мне и сейчас кажется, что у читателя, впервые узнающего произведение *живого* нынче автора, есть некое преимущество перед теми людьми, которые знакомятся с творчеством этого писателя после его смерти.

Вероятно, это спорно. Вероятно, легко возразить, что неподкупное, беспощадное время отбирает лучшие писательские имена и преподносит их нам уже безошибочно. Со вступительной статьей, комментариями и справочным аппаратом.

Всё так.

Однако если я сам среди моря книг нашел, открыл, отобрал для себя вещь, восхитившую меня, и если я знаю, что автор этой вещи жив, то этим как бы достигается «эффект присутствия». Даже одно ощущение, что я — современник моего любимого писателя, превращает меня словно бы в его собеседника. А это позволяет мне таить надежду, что он будет отвечать на мои немые вопросы — он поможет мне разобраться в не всегда ясном смысле моей жизни.

Михаила Михайловича Зошенко я услышал впервые в 1924 году. Именно не прочитал, а услышал.

В харьковской библиотеке им. Короленко, в Петровском переулке, был объявлен «Вечер юмористических рассказов М. Зошенко». Так гласила афиша.

Короленковская библиотека в Харькове была отличной, и зал представлялся мне тогда огромным. Думаю, что он и в действительности был немал.

¹ Воспоминания. С. 169—180.

Затолканный куда-то в последний ряд, в переполненном до отказа зале, я был поражен Зошенко тотчас, еще до того, как он сел за стол и начал читать. Худенький, прямой, небольшого роста — лица его я разглядеть издали не мог, — он был совершенно не похож на «сатириков-юмористов», которых мы уже в те времена насмотрелись и наслушались до отвала. Не похож он был какой-то своей строгой серьезностью — она мне даже показалась грустной отрешенностью от нас, от зала. И это не ощущалось, как намеренная манера поведения, это не было «приемом», уже и тогда хорошо известным по великолепной игре, скажем, прославленного комика Бестера Китона.

Строгое и грустное благородство Зошенко было настолько внутренне присуще ему, что, даже будучи пятнадцатилетним юношей, я, пусть еще и невнятно, пусть наивно, но ощутил его. Да и вряд ли только я: весь шумный зал как-то утих, присмирел.

Ровным, четким, порой даже резким, хотя и негромким голосом, совершенно не оттеняя, не «подавая» реплик персонажей, Зошенко читал свои рассказы. Он терпеливо переживал громовой хохот публики и продолжал читать всё так же, не меняя интонации, не улыбаясь.

Впоследствии я много раз слушал, как прекрасные артисты исполняли со сцены знаменитую «Аристократку» или «Баню». И мне всегда было чуточку неловко, меня всегда при этом легонечко шокировало, что артисты изображают персонажей, передают их натуральную интонацию. Это было слишком «жирно» для Зошенко, — даже при полнейшей деликатности артиста, — настолько жирно, что утрачивалась та волшебная естественность, та разящая правда жизни, которая была заключена и в рассказах писателя, и в том, как он сам их читал. Утрачивалось при этом и расстояние, критическое пространство между Зошенко и его героями.

Отчетливо помню еще: несмотря на то что хохотал я безудержно, все-таки этот новый писатель тотчас занял в моей душе совсем не тот угол, в котором помещались у меня даже отличные юмористы. И сатириком мне тоже не захотелось его числить. Он был сам по себе, особенный, ни на кого не похожий. Просто — замечательный писатель.

И с того памятного вечера, происходившего полвека назад, когда я впервые познакомился с его рассказами, а затем уже увлеченно выискивал все новые его произведения,— с того самого вечера возникла у меня стойкая привычка, характерная, думаю, для миллионов тогдашних читателей, никогда и не видавших этого писателя: стоило мне оказаться свидетелем неких ярких проявлений человеческой пошлости, торжествующего хамства, невежества, мещанства, как тотчас пронзала мысль: «Это — как у Зоценко, это для Зоценко!»

Я не знаю и не знал другого писателя, герои которого так просторно, так естественно сортировались бы и узнавались в повседневной жизни самыми широкими читательскими кругами.

«Зоценковский тип» — говорили даже те читатели, которые сами были зоценковскими типами. Они-то, правда, говорили это до поры до времени, до той поры, до того времени, когда досужие менторы растолковали им, что подобных типов и в помине нет и даже вроде и не было вовсе.

Общеизвестно, что неохотнее и труднее всего узнают себя в литературных героях их прототипы: им всегда кажется, что это изображены не они, а их сослуживцы или соседи по квартире.

Если уж говорить о типизированных зоценковских персонажах, то и в наши дни они еще не стали историческими. Изменились их лексика, быт, внешние стороны их существования — многие из них получили институтские дипломы и стали полуобразованными людьми, приобрели автомобили, дачи, должности, однако их сущность осталась все той же: пошлой, хамской, невежественной, мещанской, или, как теперь принято говорить, — бездуховной.

К сожалению, современный читатель не всегда улавливает эту «связь времен»: нынешний читатель с готовностью отмечает сходство некоторых личностей с героями произведений прошлого века, опуская то ценнейшее звено, которое было вковано в цепь времени Зоценко. Герои, открытые и изображенные им с молекулярной психологической точностью, были не менее типичными, нежели герои классической русской литературы, и при том они жили рядом, ходили по улицам, ездили в трамваях, работали бок о бок с нами.

В сущности, все это и нынче неподалеку — ну какой же это срок для подлинной литературы: каких-нибудь

сорок — пятьдесят лет! — однако, повторяю с горечью, множество нынешних читателей почему-то не пытаются уловить очевидность: зощенковский персонаж был предсказан писателем всерьез и надолго.

Настоящее мое знакомство с М. Зощенко началось в 1935 году. Оно было весьма относительно настоящим, это знакомство.

Так случилось, что я встречался с писателем в доме наших общих друзей, к литературе и искусству отношения не имевших. Это были славные люди — муж, бывший летчик, служил на аэродроме, жена воспитывала маленького сына. В их доме бывало немало приятелей, приходили «просто так», пили чай с нехитрыми бутербродами, разговаривали легко, весело, о чем попало. Вино и водка в те времена еще не были изобретены. Разговоры не носили исповедального характера, возможно, потому, что жажда исповеди еще не стала тотальной: невдомек было казнить себя, друзей, человечество.

Я-то вообще в этом доме в присутствии Зощенко помалкивал. Не могу сказать, что от робости. Этого чувства Зощенко никому не внушал. Он был настолько хорошо, я бы даже сказал — старомодно, воспитан, что совершенно не излучал превосходства. При некоторой даже чопорности, притом что дистанция между ним и собеседником ощущалась, это была дистанция все той же отличной воспитанности, деликатности. С хозяевами дома Зощенко был на «ты», но и это было какое-то очень вежливое, лишенное панибратства «ты». Оно выражало, пожалуй, лишь душевное дружелюбие, не более того.

Разговоров о литературе в этом доме не велось, а если речь изредка и заходила о ней, то Михаил Михайлович корректно уклонялся.

Удивительной была улыбка Зощенко: он улыбался сдержанно, одним краем рта, и то, что у другого человека могло быть названо иронической или даже кривой улыбкой, у Михаила Михайловича выглядело на редкость естественно. С годами эта улыбка стала еще и печальной: вроде бы и ничего в ней не переменялось, но, глядя, как Зощенко улыбается, улыбается несмотря ни на что, мне хотелось провалиться от боли и стыда сквозь землю!

В доме наших общих друзей я при нем помалкивал: мне нечего было ни сказать, ни рассказать. Работал

я тогда преподавателем математики в военном училище, и, хотя к тому времени у меня вышла первая книжка, это обстоятельство стесняло меня еще более — полагать при Зоценко, что я «тоже пишу», было неловко.

Сейчас я отлично понимаю, что ни гости этого дома, ни хозяева, конечно же, не представляли себе того неповторимого значения, того места, которое занимал Зоценко в русской литературе. Все они любили Михаила Михайловича, уважительно относились к нему, смеялись, читая сборники его рассказов, вероятно, даже гордились дружбой с ним, но именно близость к нему — как это зачастую бывает при близости к очень крупному таланту — не позволяла им разглядеть его подлинную величину.

А Зоценко вел себя так заурядно, так тихо и обыкновенно, что любой отменный остряк или рассказчик в этой среде успешней выглядел юмористом, нежели сам Михаил Михайлович.

Он чуть церемонно, учтиво ухаживал за женщинами, у него было даже какое-то особое, внимательно-ласковое выражение лица, когда он обращался к ним или слушал их. Если не опасаться рискованности сравнений, то подобное выражение лица я иногда видел у хороших врачей-невропатологов, разговаривающих со своими пациентами.

Умение вслушиваться в то, что говорят и как говорят, не перебивая, не отвоевывая того сладкого момента, когда можно вступить и начать вещать или развлекать (до чего обильно расплодилось именно подобные собеседники!), умение вслушиваться даже, казалось бы, в пустое щебетанье, в глупость и при том сохранять искреннюю заинтересованность — все это было присуще Зоценко органически.

Поначалу мне представлялось это странным: я привык читать в воспоминаниях о хороших писателях, что они тяготились так называемыми мелкотемными собеседниками. Да и сам я встречал немало значительных и мудрых деятелей искусства, совершенно неконтактных, если разговор при них оборачивался житейской обыденщиной. Они отключались порой даже оскорбительно для собеседника, и лица их заволакивались при этом пеленой презрительно-жреческой, браминской. Проще говоря, им становилось нестерпимо скучно, и они не давали себе труда скрывать это, хотя бы из вежливости.

Михаил Михайлович нисколько не скучал, когда при нем набалтывали житейские пустяки. Если бы ему при этом становилось скучно, то он не был бы писателем Зошенко.

Не буду лгать: я, конечно же, не тотчас понял это органическое свойство Зошенко. Однако когда года через три после знакомства с ним, я прочитал два новых прекрасных его рассказа, сюжетом для которых и частично лексикой послужила пустейшая трескотня двух женщин, наших общих знакомых,— вот тогда-то мне и стало ясно, почему Михаил Михайлович три года назад так деликатно вслушивался в то, что они наперебой рассказывали за чайным столом.

Все это было лишь одной из множества ипостасей Зошенко. Сложность его природы была поразительной, в подобных случаях принято говорить — противоречивой. Однако в том-то и штука, что натура его, характер его, при всей даже загадочности, поражали как раз не противоречивостью, а цельностью: в самых драматических условиях своей биографии Зошенко поступал именно так, как должен был поступить, в полном согласии со своей натурой и совестью. Говоря вульгарно, когда его встряхивало историей, в нем ничто не дребезжало — нестерпимо болело, оскорблялось, смертельно ранилось, но не уродовалось и не дребезжало.

Совершенно внезапно и унижительно для меня я увидел вдруг Михаила Михайловича совсем не таким, каким знал его до этого.

В 1939 году в журнале «Крокодил», в разделе маленьких фельетонов, была напечатана моя небольшая заметка — даже не фельетон, а заметка,— в которой я обругал повесть одной молодой ленинградской писательницы. Собственно, обрушился я не на повесть, а на какие-то два-три абзаца, уличая автора в дурном знании русского языка.

И вот, придя вскоре в Союз писателей, я встретил Зошенко. Он разговаривал с кем-то, я вежливо поздоровался с ним издали и увидел вдруг, как его лицо, и без того смуглое, потемнело от гнева. Шагнув ко мне — шагнул он тоже иначе, чем обычно: решительно и зло,— Зошенко сказал:

— Какое вы имели право напечатать эту свою заметку в «Крокодиле»? Как вам не стыдно!

Растерявшись, я начал лепетать, что ведь приведенные мной абзацы действительно грешат... Но Зошенко перебил меня:

— Это первая вещь молодой писательницы. А вы обидели ее. Публично обидели!

Быть может, если б все это сказал мне не Зошенко, я нашелся бы, начал спорить, но тут сила его даже не писательского, а человеческого авторитета была настолько покоряюща, что я мгновенно представил себе, как же отчаянно оскорблена моей разухабистой заметкой молодая женщина. (Замечу, кстати, что она стала впоследствии автором многих отличных книг.)

Не знаю, как назвать эту черту характера Зошенко. Вряд ли только добротой. Скорее — страстной его убежденностью, что достоинство человека не следует унижать ни при каких обстоятельствах.

Между прочим, эта его убежденность приносила порой немало хлопот Литфонду — организации, призванной заниматься бытовыми делами литераторов. Зошенко был одно время председателем Совета Литфонда в Ленинграде. И вот случалось, что на Совете подымался вопрос о каком-нибудь литераторе, упорно не возвращавшем денежную ссуду. Иногда Литфонд вынужден был направлять этому литератору суровое предупреждение, что в случае дальнейшего невозврата денег они будут взысканы судебным порядком. Зошенко решительно восставал против этой меры:

— Если человек не возвращает деньги, значит, у него их нет. И грозить ему судом оскорбительно!..

Будучи сам необычайно легко ранимым, Михаил Михайлович наделял этим свойством и других, наделял активно, то есть и в произведениях своих, и в жизни, всем талантом, всем сердцем оборонял людей от посягательства на их честь...

Время от времени и по сей день на собраниях в Союзе писателей с утомительным однообразием принято спорить о мелкотемье. Это похоже на морской прибор: изредка царит полный штиль, иногда поверхность рябит и накатывают мелкие волны, а порой возникает шторм — идут сплошь девятые валы.

На одном из подобных собраний, в середине пятидесятых годов, снова — в который уже раз на моей памяти! — вспух этот занудливый спор. По какому поводу он

начал нарывать, в точности не помню, да это и не имеет значения.

Сперва один оратор в качестве яркого примера мелкотемья привел рассказы Зошенко, затем второй, и оба они хоть и вежливо, однако настойчиво упрекали писателя за то, что в его рассказах нет таких-то и таких-то крупнейших тем.

Я сидел рядом с Михаилом Михайловичем и видел его нервные руки — длинные худые коричневые пальцы подрагивали на его коленях. Он молчал, лицо его было бесстрастно.

Однако когда и третий оратор с тем же тупым однообразием повторил, что писатель Зошенко в своих рассказах почему-то не подымает больших тем нашего времени, Михаил Михайлович резко встал, прошел к трибуне и, не взойдя на нее, а остановившись рядом, сказал:

— Я не подряжался на ялике перевозить рояль.

Это было неверно, он ошибался: на его ялике умещались и перевозились вещи покрупнее, погабаритнее, потяжелее рояля — размещалась и перевозилась эпоха.

В крайне редких и скупых выступлениях Зошенко была всегда такая обезоруживающая чистота и даже наивность, в них настолько отсутствовали «знакомые сочетания звуков» — так Михаил Михайлович сам определял стандартные, пошлые речи демагогов, — что обычно после его выступлений воцарялась какая-то виноватая тишина. Найдись тотчас, начать возражать ему никто не решался. На другой день, на третий, уже не видя перед собой хрупкого, щемяще-гордого и отважного, словно он первый поднялся в рост на приступ, — не видя его перед собой, кое-кто опоминался и в избытке расплачивался с Зошенко всеми необходимыми сочетаниями слов.

Мне казалось тогда, что само физическое присутствие Михаила Михайловича как бы создавало вокруг него бактерицидную среду — этим свойством обладают благородные металлы. Серебро, золото, платина.

Юрий Герман получал орден в Кремле в тот же день, что и Михаил Михайлович Зошенко.

Вернувшись из Москвы, Герман рассказывал мне, как происходила процедура награждения. Она была проста и недлинка: стоя у стола, М. И. Калинин вручал награжденному коробку с орденом, говорил: «Поздравляю вас, товарищ!» — и пожимал ему руку.

Все так и шло, покуда к столу не приблизился Зоценко. Протянув и ему коробку с орденом, Калинин обеими руками задержал руку Зоценко, поближе всмотрелся в его лицо и с ласковым каким-то удивлением сказал:

— Вот вы, оказывается, какой, Михаил Михайлович!

Цельность его природы, негибаемой при всей ее деликатности, была отчетливо заметна и в первые месяцы блокады Ленинграда.

Мы виделись в то нелегкое время часто: Зоценко приходил в Радиокомитет, а я там бывал ежедневно. Литературно-драматический отдел с первых дней войны выпускал семь раз в неделю свою «Радиохронику» — большую передачу, состоявшую из выступлений писателей, деятелей искусства, науки, репортажей с фронта, великолепных стихов Ольги Берггольц и антифашистских фельетонов.

Ежедневное сочинение этих фельетонов доводило меня до иступления. Я писал их тут же в Радиокомитете, читал своему редактору Г. П. Макогоненко, он выслушивал их скептически-хмуро и говорил:

— Не смешно. Сейчас я запру тебя в этой комнате, ты перепиши все заново и, когда получится смешно, постучи в дверь — я открою.

Таким образом, в общую трагичность ленинградской блокады вплеталась и моя крохотная драма — у меня не получалось смешно.

А Зоценко писал для «Радиохроники» мало: вместе с Евгением Шварцем он срочно сочинял в те дни сатирическую антифашистскую комедию «Под липами Берлина», она писалась для театра Н. П. Акимова.

Изумление перед тем, на что оказался способным фашизм, боль и гнев затрудняли комедийную работу авторов — пьеса тоже получилась не слишком смешной.

И запомнился мне Зоценко того горького времени не тем, что он поденно писал для радио: сценок, со-

чиненных им, было не так уж много, и вряд ли, читанные нынче, они поразили бы современного читателя.

Запомнился мне Михаил Михайлович опять-таки личностью своей, всем своим неизменным обликом. Ничто в нем не стронулось с места. Даже внешне. В те тяжкие дни многие окружавшие меня люди, да и сам я, хоть как-то переменялись. Зловещая печать блокады — голода, холода, пещерной тьмы — не могла остаться бесследной. Отражалось это в людях по-разному: изменялись одежда, обувь, походка, голос, выражение лица, глаз, очертания фигуры — я уж не говорю о поступках, о поведении. Изменения эти происходили в людях и в дрянную сторону — происходила кристаллизация человеческих характеров. А некоторые и попросту рассыпались в порошок.

Зоценко оставался таким, каким был всегда. Он не утеплялся кофтами, галошами, толстыми шарфами. Он оставался все таким же аккуратным, я бы даже сказал — «элегантным», если бы это дурацкое слово так вопиюще не подходило ни к блокаде, ни к самому Михаилу Михайловичу. Он не похудел и не почернел лицом: худеть ему было не из чего — он всегда был худ, а природной смуглости лица доставало ему и без военных лишений. Походка его не стала торопливой — он и до войны никогда никуда не опаздывал. Опаздывают ведь чаще всего люди, едущие в автомашинах, а Зоценко был пешеходом.

И голос его, тональность, что ли, остались нетронутыми; не появилось в них ни тревоги, ни какой-либо особой строгой собранности. Все мы, очевидно невольно, полагали, что надо покончить с кое-какими нашими глубоко штатскими, мирными замашками. Зоценко не потребовалось корректировать в себе ничего. Быть может, сказалось здесь, что еще в молодости, в первую мировую войну, он был отличным, отважным военным. Во всяком случае, определение храбрости, по Льву Толстому, складно ложилось на характер Зоценко. Храбрый человек — это тот, кто делает то, что следует, писал Толстой.

Мужество Зоценко было именно таким.

Из огромного социального опыта нам уже в досталь известно, что в определенных жизненных обстоятельствах мирного времени от человека порой требуется мужество под стать тому, что проявляется на полях сражений.

Было в Михаиле Михайловиче что-то от Гоголя — в характере, в том, что он писал, в судьбе. Страстная жажда нравственного проповедничества; душевное смятение от постоянных, раздирающих сердце поисков смысла жизни, идеалов; чувство непереносимой писательской ответственности перед глазами («очами», по Гоголю) народа. А ведь у великих писателей, наделенных сатирическим талантом, это проповедничество, и эти поиски, и эта не прощающая никакой лжи беспощадная ответственность — особенно, адово терзающи.

Мы знаем, в каких муках умер Гоголь, сжегший второй том «Мертвых душ».

За несколько дней до своей смерти Зошенко сказал: — Умирать надо вовремя. Я опоздал.

В сорок четвертом году в Ленинграде еще действовали ночные пропуска — без них после полуночи появляться на улице запрещалось.

А приключилось однажды так, что человек десять литераторов задержались в писательском клубе допоздна: когда хватились, оказалось — уже далеко за полночь. Ночных пропусков ни у кого из нас не было, в том числе и у Зошенко. Однако порешили мы коллективно так: авось проскочим, минуя военные патрули.

С тем и вышли с улицы Воинова на Литейный.

Идти пришлось недолго, метров триста, — задержали нас тут же, на Литейном.

Улица была погружена в военную темень, электрический фонарик патрульного офицера нашупал нас, сбил в кучу, два солдата встали рядом. Перспектива была ясна — сидеть нам до утра в комендатуре.

Офицер потребовал ночные пропуска. Михаил Михайлович протянул ему свой паспорт. Прежде чем спрятать его в планшет, офицер осветил фонариком первую страничку.

И внезапно лицо его утратило всю свою суровость и служебную подозрительность.

— Товарищ Зошенко! — сказал он с почтительным восхищением. По-видимому, ему хотелось сказать что-то еще, но он лишь добавил совершенно по-домашнему: — Здравствуйте, товарищ Зошенко... Эти граждане с вами?

— Со мной, — кивнул Михаил Михайлович.

И мы были пропущены всей гурьбой.

Признательность народного читателя к Зошенко была необыкновенно велика. И она особенно ценна тем,

что была совершенно произвольной, не побуждаемой и не возбуждаемой званиями автора, парадными статьями и юбилейными книгами о нем. Слава Михаила Михайловича зародилась и выросла в коммунальных квартирах, в трамваях, в жестких бесплацкартных вагонах — без телевидения, без кино, без современных мощных средств коммуникации.

Впрочем, разве есть на свете что-нибудь мощнее коммуникаций, создаваемых человеческими душами?..

2¹

К этому прекрасному и уютному залу ленинградского писательского клуба заскорузло в былые годы в моей душе настороженно-брезгливое чувство. Я входил сюда ошетинаясь, даже когда он бывал пуст. Густота воспоминаний мгновенно заполняла его враждебностью, необходимостью внутренне обороняться.

Мучительство начиналось с клубного порога: еще в раздевалке срабатывала мгновенная реакция — с кем-то не поздороваться, кому-то еле кивнуть. После каждого собрания их становилось все больше, они накапливались все проворнее, и в их угодливо толпящуюся среду порой впархивали даже друзья. Я запутывался и терял право на это старомодное чистоплюйство: кого могло озаботить, что ему не подадут руки, если речь шла о жизни и смерти? Так им тогда казалось, и они не всегда ошибались, ибо судьба многих писателей обрывалась в этом зале, на этой фанерной трибуне — в те годы она была для нас лобным местом.

Наши тогдашние собрания сколачивались, как серийные гробы на конвейере. В моей памяти они впечатаны единой моделью: узкий помост сцены без занавеса, длинный стол, покрытый красной скатертью, и дюжина стульев для президиума, он гуськом угрюмо появлялся из высокой дворцовой двери позади сцены. Кто входил в его состав, постепенно утрачивало значение: для коварной судьбы не было неприкосновенных, она надергивала свои жертвы и среди руководства. И чем сильнее леденил их страх, тем истовее они исполняли свою сторожевую роль.

¹ Вopr. лит. 1988. № 7. С. 228—233.

Не следует думать, что все это делалось лицемерно. Люди научились расчесывать себя до искусственной страсти. Терялось ощущение реальности происходящего, исчезала нормальная логика, она приобрела маниакальный характер — решительно все оказывалось возможным, и чем нелепее возводились обвинения, тем они чудились достовернее, уже не требующими решительно никаких доказательств. Да и какие могли понадобиться доказательства, когда обвиняемый тут же на онемевших ногах выкарабкивался из зала и, взойдя на еще не остывшую от жара трибуну, признавался в чем ни попадя!

Безумие становилось нормой. До такой степени оно становилось обыденным, что и дома, среди верных друзей эта норма не осуждалась, она казалась неизбежной, уклонение от нее могло бы принести больше бед, нежели покорство. Сознание было вывихнуто. Даже те, кто отлично понимал мерзость происходящего, убеждали себя и друг друга, что всякая попытка заступничества вызовет еще более крутую волну репрессий. Ну как же ты не понимаешь, что своим сопротивлением ты только подведешь всех нас!

И вот в этом удушливом, липком воздухе нравственного уродства, в смраде самоистязаний и самодонов внезапно произошло нечто неслыханное. Сейчас уже мало кто помнит о том писательском собрании — свидетели вымерли, а те, кто еще уцелел, вспоминают его со жгущим память стыдом.

В тот день нас собрали по чрезвычайному поводу. Настолько чрезвычайному, что в помощь нашему ленинградскому секретарю Всеволоду Кочетову приехал всесоюзный секретарь Константин Симонов:

И на этот раз нам было хоть и смутно, но загодя известно, по какой главной причине мы поголовно высвистаны в опостылевший от беспрерывных проработок зал.

Мы знали, что на днях состоялась в клубной гостиной встреча приезжих англичан-студентов с Анной Андреевной Ахматовой и Михаилом Михайловичем Зощенко. И на этой встрече Зощенко совершил чудовищную политическую ошибку, наговорив бог знает какую антисоветчину. Эти зловещие слухи доползли до нас, как всегда в те времена, изувеченные отсутствием нормальной человеческой информации: их передавали шепотом, округляя от ужаса глаза. И хотя все это проис-

ходило уже после смерти Сталина, однако пистолетная инерция страха продолжала торчать в спине между лопаток.

Но все-таки было одно обстоятельство, изначально разнящее это наше собрание от тоскливого сериала всех иных. Дело в том, что Михаила Михайловича Зощенко любили. Не было на моей долгой памяти ни одного писателя, к которому испытывали бы подобное редчайшее единодушие любви и уважения. Я говорю буквально о всей пестроте ленинградского писательства, где постоянно хватало — хватает и сейчас — всякой мути. Однако общность высокого, ничем и никем не замутненного мнения о личности Зощенко подымала его над извилистыми интригами групповой поножовщины.

Во всяком случае, мне казалось, что несправедная жестокость, обрушившаяся на Михаила Михайловича в августе сорок шестого года, ни в ком из ленинградских писателей не вызвала злорадства.

Я отлично помню то ощущение раздавленности и унижения, которое навалилось на нас в актовом зале Смольного во время развязного, площадно-грубого и литературоведчески полуграмотного доклада Жданова. Обычно писатели с быстротой звука при любой команде начальства проделывали солдатский экзерсис «На караул!», но тогда, в Смольном, ни один литератор не нашел в себе нравственных сил немедленно отомобилизоваться применительно к подлости: никто, ни один человек не ринулся после доклада к трибуне доколачивать Ахматову и Зощенко.

Естественно, впоследствии тотчас опомнились самые законопослушные — те, кто с хоругвями вышагивают по бокам любого правительственного постановления. Но даже и они — так мне тогда казалось — хотя и гнали Зощенко с гончей сноровкой на возможный выстрел хозяина, но делали это без особого псिनного азарта, а скорее по казенной служебной надобности. И в своем закадычном кругу они даже огорчались: ну зачем же такой замечательный писатель и человек сочинил этот гадкий пасквиль про обезьянку! И теперь не только ему, но и нам всем приходится это расхлебывать...

После смерти Сталина начались послабления — так издавна принято называть все, что облегчает жизнь народа. Светлая полоса должна была коснуться своим крылом и безнадежной судьбы Зощенко — она длилась уже десять лет. Писатели нетерпеливо дожидались, что

наконец-то с имени Михаила Михайловича будет снята анафема.

Но тут внезапно оказалось, что он сам угробил себя на этой дьявольской встрече с капиталистическими студентами! На кой ляд ему понадобилось дискредитировать историю своей Родины перед этими безусловно враждебными сопляками!

Так, или примерно так, сокрушалась подавляющая часть писательского собрания. Они были раздосадованы на Михаила Михайловича — ему от всей души желают добра, а он снова понуждает их вступать в рискованную ситуацию.

Начало нашего собрания несколько запоздало. Стало известно: Симонов, Кочетов и весь секретариат уговаривают Зошенко выступить сейчас и со всей полнотой и искренностью признать свою глубоко порочную ошибку. Его заверили, что товарищи по перу учтут чистосердечное раскаяние и вернут ему свое доверие. Уговаривали его настолько искренне, ласково и душевно, что им, пожалуй, чудилось — во всяком случае, хотелось думать, — вот покается Михаил Михайлович, пропесочат его немножко — и все обойдется. Вообще-то еще ни с кем никогда так не получалось, но сейчас горизонт прояснился. Может, Зошенко и проскочит.

Уговорили.

Он согласился выступить.

Тишина на собраниях бывает различная. Шумливно-невнимательная. Чинно-равнодушная. Одобрительная. Враждебная. Гнетущая...

Здесь же произошло нечто иное.

Речь Михаила Михайловича Зошенко, как только он произнес первые несколько фраз, зазвучала в обморочной тишине.

Отчеканивая слова, резким и безжалостным голосом он требовал, чтобы мы вместе с ним оскорбились низостью грязного поругания его чести. Быть может, «требовал» — это не совсем точно. Он хотел, чтобы мы поняли: брань, которой облил его Жданов, непереносима и для нас.

Мне казалось: он не сомневался, что мы пойдем. Его речь была заряжена силой необычайной мощи. Мощью непривычного тогда еще для нас человеческого достоинства, духовной и душевной прозрачности и одновременно такой детской незащищенности, что, слушая его, невозможно было удержаться от спазма в горле.

Я не видел лиц писателей, они сидели спиной, затылками ко мне,— я стоял в конце переполненного зала в центральном проходе, судорожно заглатывая слезы. Восхищение гордостью Михаила Михайловича, его бесстрашием, и безумная жалость к нему, к его одиночеству, и желание броситься к нему на помощь — все это сплавилось воедино пламенем его чистоты. И я нисколько не сомневался, что весь зал сейчас опален им.

Тем временем обморочная тишина в зале постепенно становилась иной. Я этого не ощутил. Единство со всеми переполняло меня, продолжало переполнять.

А Зошенко видел лица писателей. И прочитав на них то, что там было изображено, внезапно оборвал свою речь и произнес:

— Не надо мне вашего снисхождения, не надо мне вашего Дружина...

Махнув рукой, сошел с трибуны и двинулся к двери со сцены.

Почувствовав, что наступил миг, когда нам надо немедленно поддержать его, я зааплодировал, уверенный — сию же секунду мои аплодисменты будут подхвачены залом.

В полной, и теперь уже гнетущей, тишине жалко прозвучал мой одинокий хлопок.

На меня обернулись. Все скопом обернулись.

И тогда, уже поняв всю глубину моего идиотского заблуждения, я захлопал изо всех сил в каком-то восторге отчаяния...

Более тридцати лет не возникало у меня охоты рассказывать об этом писательском собрании. Не вспоминал о нем потому, что опасался выглядеть уж слишком нескромно-прозорливым: вот, дескать, один-единственный отважился — и угадал.

А ведь, по правде, ничуть не отважился. Вполне вероятно, что если бы мне загодя была известна сиротская единственность моего аплодисмента и все, что за ним для меня воспоследует, то никогда бы на него не расхрабрился.

В том-то и дело,— снова повторю!— что я был совершенно убежден: исповедь Зошенко растопит ржавое сердце нашего зала и, уж во всяком случае, Михаила Михайловича поддержит множество наших общих милейших, добрейших, совершенно порядочных друзей.

Фамилий называть не стану, почти никого из тех, на кого мог я тогда, пусть подсознательно, надеяться, уже давно нет в живых.

Собрание длилось долго. И на этот раз Зощенко был изничтожен окончательно.

Попутно, особо не задерживаясь, председательствующий Всеволод Кочетов произнес какую-то презрительно-осуждающую фразу о той личности, что посмела аплодировать.

Из клуба в этот вечер мы выходили втроем: два моих друга — замечательные, широко известные писатели, великолепные интеллигентные люди, преклонявшиеся перед талантом Зощенко, — и я.

Один из них — его произведение и тогда, и ныне восхищают меня — сказал мне, слишком широко улыбаясь:

— Ну для чего ты это сделал? Думаешь, помог Михаилу Михайловичу?

Я не знал, что ответить.

— Помимо того, что это совершенно бессмысленно, ты еще и разозлил всех подлецов. Тебе, наверное, кажется, что ты храбрец, а на самом деле все это глупо.

Тут вмешался второй писатель:

— погоди, — сказал он первому. — Не брани его. Он и сам поймет, что поступил, как кретин. Но сейчас надо подумать, как бы выручить его из предстоящих неприятностей. — Он взял меня за локоть. — Тебя вызовут к секретарю. И когда он начнет разговор с тобой, заяви ему сразу, что не имеешь никакого отношения к этим дурацким аплодисментам. Скажи, что хлопал не ты.

— Но ведь это же неправда. И он же видел!

— Ни черта он в точности не видел! Он же не назвал твоей фамилии. А у дверей, рядом с тобой, толпилась туча народа.

— Да ничего серьезного ему не грозит, — отмахнулся первый писатель. — Ну, в крайнем случае объясни, что сделал это по легкомыслию. Ты только, пожалуйста, не думай, что наши советы продиктованы страхом. Когда на тебя мчит курьерский поезд, то ты делаешь шаг в сторону из самого нормального благоразумия, твои окровавленные останки никого не научат... Если хочешь, я скажу тебе совершенно откровенно: для меня сейчас самое главное, чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать. В своей работе ни

в одной строчке я не сблужу. А все остальное — эти собрания, все эти массовые дружные поднятия рук, почтительные вставания, покорные приветствия, гневные письма, которые иногда, когда нет выхода, нет возможности уклониться, подписывают, — все это труха, и она забудется. Наши потомки отлично поймут, что мы делали искренне, а что — по внешнему принуждению. Встанут на наше место — и поймут. И судить будут о нас по тем рукописям, что мы оставим в столе...

Дней через пять после собрания меня вызвали к секретарю.

Я не воспользовался советами ни первого писателя, ни второго, хотя они продолжали оставаться моими ближайшими друзьями.

А то, что мне пришлось поплатиться за свой жалкий хлопок, уже не представляет никакого интереса.

«УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!»¹

Конечно, о Зощенко следовало бы писать только тем, кто давно и хорошо его знал, дружил с ним долгие годы, кому действительно есть что о нем рассказать. Уж слишком суесловили о нем люди, совершенно его не знавшие и не понимавшие. Нет, я имею в виду даже не самые трудные времена для Зощенко. Я сейчас говорю о вполне благополучных годах, когда популярность его была высока, выше, чем у многих его коллег.

Пожалуй, ни о ком другом не существовало таких разноречивых мнений и как о писателе, и как о человеке. Можно, скажем, легко понять, почему наивные души, не искушенные в тонкостях литературных оценок, считали его всего лишь развлекателем, смехачом, но ведь подчас чуть ли не такого же мнения придерживались профессиональные критики, люди большой культуры.

Меня когда-то до крайности удивило и огорчило то, что написал Луначарский в журнале «30 дней»: он прямо, без обиняков, отдал предпочтение тонкому, интеллигентному юмору Ильфа и Петрова перед «грубоватым» Зощенко. Откровенно говоря, меня огорчило не столько само это суждение (ошибиться может любой, самый умный и образованный критик), сколько то, что Ильф и Петров, эти превосходные и талантливейшие люди, преклонявшиеся, насколько я знаю, перед Михаилом Михайловичем, многим ему как писатели обязанные, могли промолчать, не оспорить это обидное и неверное сравнение. И вообще, к чему умалять достоинства одного, чтобы — пускай заслуженно — похвалить других?

¹ Воспоминания. С. 212—227.

Впрочем, Зошенко был настолько великодушен, что неловкая фраза Луначарского в предисловии к «Золотому теленку» ничуть не испортила его дружбы с авторами этого прекрасного романа. Другое дело, что он не мог не видеть, как несерьезно относятся к его книгам иные серьезные критики. Правда, первые его вещи сразу заметили и с легкой руки Горького высоко оценили. Сам Горький и дальше был внимателен к Зошенко, писал ему восхищенные письма, которые мы прочли много позже; в интересе же литературной критики к Зошенко наступил многолетний перерыв. Лишь после долгой раскачки нашлись исследователи его творчества, причем исследователи преимущественно молодые — Евгения Журбина, Цезарь Вольпе, Анна Бескина, — мастиные так и не снизошли. Недаром те же Ильф и Петров в фельетоне «Литературный трамвай» через каждые несколько строк повторяли грустную фразу: «А о Зошенко опять не пишут...».

О Зошенко-человеке в широкой публике гуляли ложные представления. Может быть, как раз потому, что его популярность у массового читателя была огромна, в том числе среди тех, кто и книги-то не брал в руки, а слышал его рассказы только с эстрады или в устном изложении случайного собеседника: в бане, в вагоне, в очереди к парикмахеру, — автор этих смешных историй скоро стал личностью, с одной стороны, почти нарицательной, с другой — почти легендарной. Его частной жизнью интересовались, рисовали себе его облик, характер, привычки и, по большей части, жестоко ошибались, представляя его себе таким, каким он и отдаленно не был.

Помню, он с кроткой улыбкой рассказал, как прислали ему на дом счет из ресторана «Северный», который помещался напротив Московского вокзала, называвшегося в то время Октябрьским. Счет на четыреста рублей. За что? За ужин... Разумеется, Михаил Михайлович ни сном ни духом не ведал об этом пиршестве: какая-то развеселая компания записала съеденное и выпитое на счет писателя Зошенко, а администрация ресторана поверила в это, разузнала адрес — и прислала ему этот счет. Не помню, чем кончилось дело (возможно, что Зошенко с его обязательностью и щепетильностью решил заплатить по чужому счету, записанному на его имя), зато хорошо представляю, как гоготали эти нахалы, придумав такой шикарный трюк:

«Пусть Зошенко платит!» По принципу: «А кто платить будет? Пушкин?..»

Вносило путаницу и то, что рассказы Зошенко неповских лет написаны от первого лица, от лица стоеросового мещанина, его-то нередко и отождествляли с автором. Повод к недоразумениям подавали и исполнители рассказов Зошенко с эстрады — пошловатые концерансье, дурные чтецы, плохие актеры. Опять же происходила подмена: Зошенко мысленно видели бойким эстрадником с ловко зачесанной плешью и развязными жестами. Всю жизнь Зошенко воевал с мещанством, а случилось так, что как раз мещанином, циничным, наглым, его и восприняли — этого деликатнейшего, скромнейшего человека с нежной душой, который при всей мягкости своей природы страстно и глубоко ненавидел подлость, коварство, хамство, алчность и прочие свойства воинствующего мещанства.

Да, мы не были близко знакомы, тем более дружны, и не только из-за значительной разницы в возрасте — дружил же я с Евгением Шварцем, ровесником Михаила Михайловича. Полагаю, что много значил здесь пietet перед редкостной силой талантом, поразившим меня еще в юности, этим непостижимым волшебным даром, позволявшим в рассказе на одну страничку творить литературное чудо. Глупо, но меня всегда брала оторопь, когда я видел в живом воплощении, одетым в обычную пиджачную пару, то самое диво, которым восхищался заочно. Так, до сих пор не могу себе простить, что до обидного редко встречался с Юрием Николаевичем Тыняновым, относившимся ко мне с постоянным благосклонным вниманием. Так, лишь в пятидесятые годы познакомился с Юрием Олешей, молодая «Зависть» которого за три десятилетия до того произвела на меня ослепительное впечатление. Мягкий пиджак, седая щетина на щеках и угрюмый, пронизывающий взгляд исподлобья — вот каким я увидел Олешу, автора солнечных пейзажей Одессы и летней Москвы.

Что касается Зошенко, то, когда мы уже познакомились, главным препятствием к более короткому знакомству был, пожалуй, характер Михаила Михайловича, об особенностях которого он с достаточной откровенностью написал в автобиографической повести «Перед восходом солнца». Этот замкнутый, сдержанный и меланхоличный характер необходимо держал на известной дистанции почти всех, с кем он общался, да-

же близких приятелей, даже друзей, даже «Серапионовых братьев».

Но бывали и исключения, в основном это относилось к женщинам. Не надо думать, что я посмею коснуться интимной сферы, я говорю о другом. Его неподдельный интерес к самым тонким душевным движениям собеседника, чаще же собеседницы, ибо женщины это особенно ценят, невольно располагал к откровенности, которую Михаил Михайлович никогда не употреблял во зло, иначе говоря, поведенные ему секреты сохранял в тайне. А если, как истый литератор, и использовал для своей работы тот или иной штрих, деталь, поворот сюжета, то так искусно и далеко уводил от «подлинника», что никто и не догадывался об «адресате». (Как известно, история литературы знает массу примеров обратного порядка.)

С годами он стал тончайшим психологом и моралистом, моралистом в том смысле, какой придаем мы склонности к нравоучительству, свойственной всем великим сатирикам прошлого — Свифту, Стерну, Диккенсу. У Зошенко на первых порах это обнаружилось не в рассказах и юмористических сценках, а в его ранних повестях, которые он потом сам назвал «сентиментальными», и полностью проявилось в «Голубой книге», в рассказах для детей, во всех поздних рассказах и фельетонах, и, наконец, в «Возвращенной молодости».

Итак, почему я решил писать о Зошенко? А что делать, отвечу я вопросом, если годы идут, люди уходят, все меньше и меньше на этом свете сверстников и ближайших его друзей? Поневоле приходится браться за перо тем, кто все же с ним часто встречался — и в Союзе писателей, и в редакциях, и в театрах, и на отдыхе, и происходило это на протяжении двадцати с лишним лет — срок немалый.

Тем более что во все эти годы я старался понять, что он за человек, столь отличающийся от других даже внешностью, даже манерами, приближающими его своим изяществом, я бы сказал — утонченностью и в то же время естественностью и простотой, скорее к людям прошлого века, и, пожалуй, не конца, а начала века, хотя он был наисовременнейшим, злободневнейшим по своим интересам и художественным средствам писателем, который полнее и точнее многих других вник в сегодняшний язык и в сегодняшний быт.

Я познакомился с Зощенко сравнительно поздно — в 1937 году в Коктебеле. Сентябрь стоял теплый, порой даже жаркий, купальный сезон был в разгаре, но Зощенко не купался: сухонький, легонький, в светлой в полоску пижамной куртке и в городских брюках из летней легкой материи, он неторопливо бродил по берегу, у самой кромки воды, высматривая и собирая разноцветные коктебельские камешки. Несмотря на то что он никогда не лежал на пляже, специально не загорал, цвет лица у него был постоянно оливковым, матово-смуглым даже зимой. Тогда я не знал, почему он не купается, и, конечно, не решился его об этом спросить. Лишь через шесть лет я прочел у него, что он с детства боялся воды, хотя много раз себя пересиливал, путешествовал морем, катался на лодке. Значит, надо всерьез оценить слова, сказанные им моей жене, заплывавшей в море далеко за буйки: «Смело плаваετε, Танечка!» Этим он не только не осудил, не пожурил за излишний риск (он вообще не любил кого-либо и за что-либо осуждать и порицать, если не считать хамов и хамства), наоборот, в его голосе прозвучали похвала, удивление, может быть, даже немного — зависть, зависть человека, по неясной ему самому причине лишеного такого большого удовольствия, как плавание, купание в море.

Но я лишь постепенно понял, что Михаил Михайлович избегает пустых комплиментов, не транжирит похвал. Вот когда весной 1946 года мы шли с ним по набережной Фонтанки из издательства и он неожиданно подарил мне сборник своих рассказов и фельетонов с лестной надписью, тогда я уже знал, что Зощенко никогда не делает и не говорит ничего такого, что бы он всерьез не обдумал. Например, я не раз слышал от Михаила Михайловича, что он считает себя новичком в драматургии, хотя он написал уже не одну большую пьесу, прошедшую на сцене с успехом (например, «Уважаемый товарищ» с Утесовым в главной роли, «Парусиновый портфель» в театре им. Комиссаржевской; сразу после войны этот театр называли «Блокадным»), и несколько одноактных пьес. Это опять же не притворная скромность и не кокетство: именно так Михаил Михайлович и думал, сколько я его ни разубеждал, ссылаясь на самого себя, у которого из трех написанных к тому времени пьес шла на сцене всего одна.

Но это было далеко впереди, а в 1937 году в Коктебеле я никак не мог заставить себя подойти к нему и заговорить, с изумлением видя, как с ним запросто разговаривают другие. Коктебель в те годы представлял собой довольно глухое, диковатое место, мало похожее на курорт, и это в нем было самое привлекательное. Трудно было назвать «набережной» пешеходную тропку по краю невысокого обрыва над пляжем, отделенную от него кустами. Вечером, сидя здесь на скамейке, Зощенко, мягко улыбаясь, поблескивая золотым зубом где-то сбоку во рту, вел неспешные вежливые беседы то с лодочным сторожем, морщинистым, загоревшим до черноты старым греком, то с местным аптекарем, днем то и дело тарахтевшим по деревне на редкой еще в те годы мотоциклетке, то с уборщицей или официанткой из соседнего дома отдыха, называвшегося «Коммуной».

Я ни капли не сомневался, что Зощенко интереснее разговаривать с ними, чем с молодым прозаиком из Ленинграда. Но вот однажды этот далекий и недоступный человек подошел ко мне и сказал, что ему понравилась моя... не знаю, как назвать,— статья не статья, скорее вопль души, оглашенный мной в это лето в журнале «Звезда», о своей работе в кино. Было это написано сгоряча, от обиды: я был кровно обижен на режиссеров и в особенности на критиков, на какое-то время забывших о литературной основе фильма «Депутат Балтики», и разразился «Дневником сумасшедшего», изобиловавшим преувеличениями начиная с первого же абзаца, насыщенного чуть не поприщинским надрывом, и кончая цитатами из восторженных газетных статей, которые я горестно комментировал: «Герой фильма профессор Полежаев встал в один ряд с Чапаевым и Максимом, артист Черкасов встал в один ряд с Бабочкиным и Чирковым, режиссеры Зархи и Хейфиц встали в один ряд с Козинцевым и Траубергом...»— писали в газете «Литературный Ленинград».

«Словом, все встали в ряд. А куда же прикажете встать сценаристу?»— в сердцах восклицал я.

Не исключено, что Михаил Михайлович, как и многие другие прозаики, пробовавшие писать для кино, тоже когда-то обиделся на кинематографистов и его подкупила горячность моих lamentаций. А возможно, что ему просто понравились какие-то частности в юмористическом духе. От неожиданности я не спросил. Тем

более что хотя я и был польщен его вниманием и оценкой, но втайне от самого себя подсадовал, что они обращены лишь на мои излияния по поводу своих огорчений. Стало быть, продолжал я казнить свое самолюбие (ох, забывают маститые, опытные, как уязвимо литературное самолюбие в молодости!), как писателя он меня и не знает. Возможно, оно так и было, и на это грех обижаться.

Так или иначе, внимание было проявлено, внимание участливое,— и контакт между нами установился. Через год с небольшим мы с Михаилом Михайловичем познакомились значительно ближе, неся обязанности членов секретариата Ленинградского отделения Союза писателей и еженедельно встречаясь на деловых заседаниях. В 1939 году мы снова вместе отдыхали в Крыму. Сентябрь был тревожный: Германия напала на Польшу. Количество курортников значительно поубавилось: встревоженные событиями, многие уехали раньше срока домой; в писательском доме остались лишь четверо: Зощенко, я с женой и молодой художник, фамилию которого я забыл. Тогда мы впервые говорили с Михаилом Михайловичем о литературе, точнее — о драматургии.

Я уже упоминал, как удивительно скромен был Михаил Михайлович в оценке своих драматургических опытов, именно *опытов*, как он всегда подчеркивал. Он ко всему относился серьезно, я бы сказал — научно, в том числе и к теории драмы. Меня поразили этот сугубо научный подход; помнится, я даже осмелился привести пушкинские, неодобрительные, как мне думалось, слова о Сальери, который музыку разъял, как труп, поверил алгеброй гармонию. В ответ на это Михаил Михайлович с увлечением принялся объяснять, что это высокая похвала и все занимающиеся каким-нибудь искусством непременно должны знать в совершенстве его законы. Мне показалось даже, что в глубине души он счел меня дикарем, темным, невежественным человеком, усомнившимся в пользе алгебры для гармонии.

Мы оставались в Коктебеле сверх срока, когда сезон в домах отдыха уже кончился. Октябрь был прохладный, но Михаил Михайлович, как и летом, ходил и ходил вдоль кромки прибоя, время от времени наклоняясь, чтобы поднять, рассмотреть и оценить качество найденного сердолика или «ферламникса», как здесь называли обточенный, отполированный морем агат

и халцедон. После первых осенних штормов попадались превосходные экземпляры. Как и многие почитатели этого восточнокрымского уголка, Зоценко не избежал «каменной болезни», и в 1935 году, в день сорокалетия, друзья подарили ему ларчик с двумя отделениями — для орденов и для камешков.

Наверно, существовали писатели, воспевавшие добро, будучи в то же время дурными и злыми людьми. Зоценко был прежде всего хорошим и добрым человеком. Мягкость, безошибочный такт, деликатность, скромность, казалось, были присущи ему всегда, а не являлись чем-то выработанным, а уж тем более показным. Он не был, что называется, широкой натурой, направо-налево расточавшей благодетельности, но он всегда был готов откликнуться на чужую беду, помочь, поспособствовать доброму делу, делая это тихо, со свойственной ему сдержанностью...

Вместе с тем Зоценко был настойчив и принципиален во всех деловых вопросах, какие во множестве приходилось решать на наших заседаниях и совещаниях. Порой проявлял темперамент, отстаивая свою точку зрения, говорил с горячностью, даже жестикулировал; в этих случаях у него иногда вырывалось излюбленное словцо его персонажей — «Пушай!» Причем без всякой иронии, так сказать — без кавычек, видно было, что он не стилизовался под своего героя, давно уже ставшего нарицательным типом, а просто считал это слово уместным в подобных случаях.

При всей внешней мягкости Михаил Михайлович был тверд в своих взглядах. Правда, он никогда не выступал с речами, докладами, декларациями, а если приходилось беседовать с читателями или литературной молодежью, то предпочитал отвечать на вопросы. Записи нескольких таких бесед сохранились и были в свое время опубликованы, но большинство встреч, разумеется, канули в Лету. Помню обсуждение «Возвращенной молодости» во «Всероскомдраме» на улице Росси, с участием медиков, в том числе профессора Останкова, известного психиатра. Любопытно, что сдержанный, учтивый Михаил Михайлович в своем ответном слове упорно настаивал на важности оттенения не литературной, художественной, а опять же научной — медицинской и философской — стороны книги и не принимал никаких скидок на «дилетантизм» — его обижало, если он чувствовал, что его считают «любителем». Мо-

жет быть, в этом сказывались, как и у многих крупных юмористов прошлого, тяга, желание писать по-настоящему серьезные вещи (как, скажем, комедийные актеры всю жизнь мечтают сыграть Отелло или Макбета).

Повторяю, Михаил Михайлович любил, уважал науку и ученых, ценил точный, четкий язык науки и, начиная примерно с «Голубой книги», разделы и главы которой напоминают исторические обзоры, сам старался им овладеть. Возможно, его документальные повести «Черный принц» (о работе подводников), «Бесславный конец» о бегстве Керенского, да и другие вещи, в частности партизанские рассказы, служили в каком-то смысле своеобразными упражнениями в деловой прозе. Недаром в предисловии к «Шестой повести Белкина» Зошенко признается, что здесь он пытался скопировать пушкинскую краткость и ясность. Между прочим, известность Зошенко, которая была баснословно велика в двадцатые годы, в конце тридцатых и начале сороковых годов заметно убавилась, когда он стал чаще писать серьезные вещи.

Вряд ли можно назвать Зошенко сентиментальным, чувствительным человеком — его обычная сдержанность это исключала. И если «Аполлон и Тамара», «Страшная ночь», «О чем пел соловей», «Сирень цветет» были названы «Сентиментальными повестями», то тут присутствовала явная ирония, хотя к героям их автор относился, как любят теперь говорить, по-доброму. Была тут и своего рода литературная перекличка: повесть Лоренса Стерна называется «Сентиментальное путешествие», а чувствительного в ней не так уж много — у Зошенко все-таки больше...

При этом Зошенко нежно, я бы сказал — растроганно, любил стихи. Все его автобиографические рассказы идут как бы под рефрен чудесных бернсовских строчек, чудесно переведенных Маршаком:

А старость, черт ее дери,
С котомкой и клюкой,
Стучится, черт ее дери,
Костлявою рукой...

Зошенко часто приводит в своей прозе те или иные стихотворные строчки, снижая их иронической фразой — «как сказал поэт». Иногда он действительно над ними смеется, как, например, в рассказе о поэтессе Мирре Лохвицкой, почтенной семьянинке, писавшей

пламенно-страстные, чувственные, поистине вакхические стихи. Но я хорошо помню, как Михаил Михайлович с удовольствием повторял вслух чем-то трогательные его строчки из блатной песни:

Оглянулась — позади мой шкет...

Или из Вертинского:

И целуя ей затылочек подстриженный,
Чтоб вину свою загладить и замять...

Он выговаривал эти строчки, как всегда, с мягкой улыбкой, но без тени насмешки — видно было, что они ему нравятся.

Разумеется, Михаил Михайлович отлично знал и ценил *большую* поэзию. Его статья «О стихах Н. Заболоцкого» (1937) заканчивается вещными словами: «Мне не хотелось бы ошибиться в Заболоцком. Он, по моему, большой поэт; и его влияние на нашу поэзию может быть сильным». Пафос этой статьи в лейтмотиве, повторяющемся на каждой ее странице: «Штампованное искусство — это не искусство», искусство «должно формировать то, что еще в хаосе...», «Одно обстоятельство не сдам без боя: наше поэтическое искусство должно нести новую форму и новый строй языка»...

Как известно, в раннем творчестве Заболоцкого явно различимы два этапа, два слоя, каждый из которых был по-своему интересен и близок Зощенко. Первый ярче всего проявился в «Столбцах» — это острое, гневное обличение мещанства; второй начался в поэме «Торжество земледелия» и с классической силой продолжен в цикле стихов, посвященных Северу и природе: «Седов», «Север», «Метаморфозы», «Все, что было в душе». Этот второй этап — натурфилософский, если можно его так назвать, — был особенно дорог Зощенко в предпоследнее десятилетие его собственного творчества. В «Возвращенной молодости», в «Повести о разуме» и других произведениях этих лет отчетливее и откровеннее, чем ранее, поставлены задачи научного исследования, психологического анализа, философского осмысления, художественную часть сопровождает чисто научный комментарий, где уже нет ни единой юмористической, пародийной нотки.

Как ни странно на первый взгляд, именно тогда у Зощенко появился интерес к астрологии и к влиянию планет на психическую жизнь людей. Не скрою, когда

он об этих вещах говорил, мне казалось это наивным и смешноватым, и я объяснял это просто чудачеством. Но потом я понял, что его привлекало как раз сочетание поэзии и науки, пускай квазинауки, псевдонауки, как привыкли мы трезво определять астрологию. Ведь когда-то в ней выражалось искреннее желание людей разгадать тайны природы, загадки бытия, чудеса мира. В этом непреодолимом стремлении Зошенко, несомненно, видел, чувствовал *поэтическую прелесть и смелость* — вот что, мне кажется, руководило им, а вовсе не склонность к мистике.

Кроме того, эта жадная, почти детская любознательность, может быть, больше всего роднила его с широким, массовым, что называлось в старину — народным читателем. Зошенко не мог и не хотел пренебречь простодушной читательской тягой к познанию, пусть далекой от уровня кандидата тех или иных наук, от души презирающего глупые суеверия. Он уважал своего «низового» читателя никак не меньше, чем гигантов мысли, и в этом нет никакого противоречия. Вчитайтесь в его предисловия к «Голубой книге», к «Возвращенной молодости», к другим книгам, где он ведет неспешные беседы с читателями, делится с ними своими раздумьями, прежде чем начать рассказ о житейском или историческом случае. Это желание прямого контакта сказывалось и в склонности Зошенко к научному популяризаторству, и в обилии стихотворных эпиграфов и цитат. Зошенко не только любит и уважает читателя, он страстно хочет его воспитать, сделать лучше, добрее, чище, разумнее, привить ему художественный вкус, — словом, как можно дальше увести от мещанства. Эта писательская позиция прямо противоположна так называемой башне из слоновой кости, в которую предпочитали удаляться иные мэтры, и это опять же сближает Зошенко с великими сатириками прошлого — они все были агитаторами и пропагандистами...

Что до небесных светил, то они в любом случае не предсказали Зошенко его судьбу. Помню, живя на Васильевском острове, я дважды встречался по делу с тогдашним секретарем Василеостровского райкома Г. М. Нестеровым, и оба раза он с любопытством меня спрашивал: «Ну, а Зошенко что нового написал?» В 1945 году я ему мог более или менее точно и конкретно ответить; в 1947 году сказал: «Не знаю. Думаю, что ничего». Но это было не совсем так: Зошенко не пере-

ставая трудился, и я знал примерно — над чем, об этом я дальше скажу, но тогда мне хотелось ответить именно так.

Сам Михаил Михайлович в эти тяжкие для него годы никогда не жаловался и никого не проклинал, по крайней мере я этого от него ни разу не слышал. Лишь однажды я видел его раздраженным и даже несправедливым. Это было в Книжной лавке писателей, когда ему показалось, что там нарочно не оставили нужную ему книгу. На куда бóльшие несправедливости и обиды он так нервно не реагировал, а было это уже за два года до смерти...

Не только близкие люди, но и те, кто впервые с ним встретился, почти непременно проникались к нему симпатией и уважением. Как же так? Разве не противоречит это тому, с чего я начал свой очерк? По-моему, нет. Под суесловившими о нем людьми я подразумевал тех, кто его совершенно не знал, никогда не видел и тем не менее мерзостно творил о нем легенду — либо по глупости, по невежеству, либо из любви к хамству. Зато у большинства встречавшихся с ним он сразу же вызывал самые лучшие чувства. Однажды, не то в 1956-м, не то в 1957 году, у меня допоздна засиделся Борис Николаевич Ливанов. Не помню точно, с чего и как повернулся наш разговор, но Ливанов вдруг попросил меня соединить его по телефону с Зоценко. Аппарат стоял на диване по правую руку от меня, а Ливанов сидел по левую, да к тому же был под хмельком, и, когда я позвонил, поздоровался, сказал Михаилу Михайловичу, кто хочет с ним говорить, и передал Ливанову трубку, тот стал тянуться через меня и держал трубку совсем близко от моего уха, вот почему я слышал, так сказать, обе беседующие высокие стороны...

Кроме шуток: Ливанов поразил меня и растрогал тем, с какой нежностью он говорил с Зоценко. В том, что он говорил ему «ты» и называл Мишенькой, еще не было ничего удивительного: Ливанов с большинством приятелей и знакомых был на «ты», в этом (и только в этом) он схож с одним из своих сценических образов, с Ноздревым. Но нет, во всем, что он говорил Зоценко, была настоящая человеческая нежность. Исчез хмель, исчезло все напускное и грубоватое, что было свойственно иногда этому умному, образованному и очень талантливому, но порой слишком уж самоуверенному и эгоцентричному человеку, осталось все лучшее, что

в нем было. Или же он так *сыграл*? Нет, не думаю. Думаю, что Ливанов действительно любил Зошенко. По ответам Михаила Михайловича я понял, что он тоже тронут и благодарен Ливанову за этот ночной звонок и ласку — в те годы это так ему было нужно. Скажу откровенно, что с этой минуты я стал решительно лучше относиться к Ливанову, которого любил и ценил до той минуты как даровитейшего артиста, умного, остроумного, высококультурного собеседника — увы, самовлюбленность и эгоцентризм которого порой мешали общению...

Разные, очень разные люди уважали, любили и высоко ценили Зошенко не только как писателя, но и как человека. Среди них хочу прежде всего назвать Николая Павловича Акимова, человека очень сдержанного в смысле дружеских отношений, антисентиментального, скорее даже сухого. Но, работая в акимовском театре почти два года, с осени 1946-го до весны 1948-го, я мог близко наблюдать, как упорно пытался Акимов помочь Михаилу Михайловичу в трудное для того время. Как, чем помочь? Акимов заказал ему пьесу, наверняка зная, что поставить ее не удастся, но зато Зошенко будет, что называется, при деле. Михаил Михайлович со свойственными ему добросовестностью и прилежанием писал все новые и новые варианты пьесы, будучи неудовлетворен тем, что написано, и Акимов, несмотря на свою крайнюю занятость и свой деловой, сверхделовой характер (он даже по телефону мог говорить лишь по делу и только предельно кратко), терпеливо слушал или читал эти бесконечные вариации. Когда я собирал пьесы М. Зошенко, одноактные и большие, чтобы издать их в «Искусстве», я обнаружил семь редакций этой комедии. Работа не была зряшной: она отвлекала Зошенко от тяжелых мыслей и чувств и в какой-то мере даже увлекала его как художника — ряд эпизодов и персонажей в пьесе был по-настоящему смешон, что, казалось бы, удивительно при создавшейся для писателя ситуации.

Вот уж семнадцать лет, как нет с нами Зошенко, а все видится он живым: неспешная, грациозная походка, оливкового цвета лицо, прелестная улыбка, сбоку во рту блестит золотой зубик (хочется почему-то сказать не зуб, а именно зубик); был он всегда худо-

щав, но в меру, а в конце жизни все подсыхал, подсыхал и все темнело и желтело лицо...

Когда летом 1958 года Зошенко хоронили на Сестрорецком кладбище, среди провожавших его в последний путь я увидел молодого писателя, только еще начинавшего печататься. Парень он был грубоватый, не склонный к чувствительности, но я заметил, что он собирает по обочинам дороги ромашки и лютики, а затем кладет их на свеженасыпанный могильный холм, под который лег на вечное поселение Зошенко. Должен сказать, что этот знак внимания было особенно приятно видеть: я хорошо помнил, что именно Зошенко, прочитавший когда-то ранние, во многом еще экспериментальные рассказы этого молодого писателя, не только оценил его талант, но и посоветовал ему писать рассказы для детей, тот послушался — и это принесло ему признание и известность. Бережно собранные и положенные на могилу полевые цветы являли собой самую искреннюю благодарность покойному.

Года два-три назад, в день рождения Зошенко, мы с женой снова побывали на этом кладбище, постояли у могилы, и как же мы были рады, когда вдруг увидели Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Прихрамывающий, больной, он пришел навестить покойного друга, как был в свое время и на похоронах. Когда мы задумывали собрать воедино воспоминания о Зошенко, издать их отдельной книгой, я написал об этом намерении Дмитрию Дмитриевичу и незамедлительно получил от него ответ. Шостакович ответил, что он любил и ценил Михаила Михайловича и непременно попытается о нем написать, хотя это и нелегко. «Во всяком случае, буду изо всех сил стараться...» И я снова порадовался, что настоящие друзья Зошенко помнят и любят его. А сегодня — уж не знаю, радоваться этому или досадовать (пожалуй, скорее все-таки радоваться), — многими литераторами и фельетонистами унаследована «зошенковская интонация». Сознательно или произвольно она проявляется то в инверсии, синтаксическом повороте, то в типично зошенковском сравнении, то еще в чем-нибудь. Подчас слишком по-зошенковски. Но, возможно, и это своего рода — память о нем.

«ЖИВОЙ С ЖИВЫМИ...»¹

I

Сначала он был для меня просто писателем Михаилом Зошенко, автором знаменитой «Аристократки» и других шедевров комической прозы.

Я любил его рассказы. И не выносил изделия его многочисленных подражателей, среди которых, впрочем, бывали большие искусники. О, как ловко они рязались в его словечки, с какой спекулятивной развязностью напяливали на свои туши его тонкую самобытную манеру письма! Жаргонная грубость, которая у Зошенко была естественной особенностью языка его героя-рассказчика, и, как правило, в лучших вещах не выпирала наружу, у них превращалась в самоцель. Зошенко пользовался жаргоном как средством обличения мещанского свинства и пошлости, они — на потребу тому же мещанству, сумевшему уцелеть во всех социальных бурях эпохи.

Потом он стал для меня Михаилом Михайловичем. Это произошло, когда мы познакомились в середине тридцатых годов. Знакомство состоялось в редакции «Крокодила», редактором которого стал Михаил Кольцов. В редакции начали появляться тогда интересные люди из «большой жизни» — знаменитые стахановцы, пограничники, партийные работники. Потянулись на кольцовский огонек и писатели. Заходили Демьян Бедный и Алексей Толстой — оба массивные, шумные, стали бывать сдержанный, суховато-печальный Илья Ильф и размашистый, веселый Евгений Петров. Частым гостем редакции был Виктор Финк — автор «Иностранного легиона», изредка приезжал из Ленинграда и Михаил Зошенко. В один из его приездов, в суতোлке очередного редакционного совещания (на крокодилъ-

¹ Воспоминания. С. 242—252.

ском языке это называлось «свистать всех наверх»), я, тогда еще только вылупившийся из скорлупы провинциальной застенчивости начинающий юморист, и был ему представлен. Какой он был? Первое мое впечатление: хрупкий, изящный, невысокий, ладненький, черноволосый, с болезненным цветом лица, но не бледным, а желтовато-смуглым, с красивыми глазами, карими, женственными — украинская кровь! — и под глазами густая, темная тень. Не то от усталости, не то от болезни сердца, которую он вынес из окопов первой мировой войны.

Понравилась мне его манера говорить, чуть растягивая гласные, понравился глуховатый тембр голоса.

Ко мне он отнесся ласково, и именно это доброе отношение Михаила Михайловича и позволило мне обратиться к нему в 1938 году с просьбой дать мне рекомендацию в Союз писателей. Одну рекомендацию уже дал мне Евгений Петров, но нужны были две. Михаил Михайлович откликнулся на мою просьбу письмом. Оно у меня сохранилось, и я приведу из него два отрывка.

«Дорогой тов. Ленч!

Я получил Ваше письмо. В ближайшее время я пошлю в Президиум Союза свои принципиальные соображения о жанре комического рассказа (и о Вас). Было бы нелепо не признавать этот жанр. Если же этот жанр будет «признан», то нет основания Вас не принимать в Союз. Постараюсь это сделать убедительно».

И дальше:

«Уверю Вас, что меня не признавали лет десять. И перечисляя писателей — не упоминали моего имени. Я на это реагировал тем, что ушел в тонкий журнал и там утвердил то, что казалось сомнительным.

Сейчас иные времена. И сейчас необходимо перед Союзом поставить вопрос о «признании» жанра юмористического рассказа. Тем более что юмористическая литература почти всегда массовая. И повторяю — глупо Союзу от нее отрешиваться.

Итак, на днях пошлю в Союз письмо.

Шлю привет.

М. Зоценко.

17. XII. 38 г.

Уверен, что все обойдется хорошо».

Все действительно «обошлось хорошо». В 1939 году я был принят в Союз писателей.

II

Мишей стал для меня Михаил Михайлович значительно позже. Дружескому нашему сближению способствовало то обстоятельство, что моя жена Лиля Борисовна Островская, ныне покойная, знала М. М. Зощенко еще по Ленинграду и они были большими друзьями. Приезжая в Москву, Михаил Михайлович часто бывал у нас, а когда мы с женой бывали в Ленинграде, то сразу же звонили ему из «Европейской» или из «Астории» и уславливались о свидании. Он приходил в точно назначенное время, все такой же изящный и молодой, но заметно поседевший, в неизменном темном костюме и ярко начищенных ботинках — это была его слабость: черные, хорошо начищенные ботинки, — садился и тотчас же вытаскивал коробку самых дешевых папирос — «гвоздиков».

Если встреча происходила в ресторане, нам хотелось угостить его как следует, но он брал карточку кушаний и вин и, безразлично пробежав ее глазами, всякий раз заказывал себе одно и то же: биточки в сметане!

— Да возьмите себе что-нибудь поинтересней, — говорил в этих случаях кто-нибудь из нас, но он улыбался и повторял:

— Нет, мне, если можно, биточки в сметане и бутылочку пива.

Он всегда отличался почти аскетической невзыскательностью в быту и в пору своих больших гонораров много помогал всем, кто в этом нуждался.

И нынче, когда я думаю о том, как этот хрупкий, болезненный, немолодой человек мог выдержать свалившиеся на его голову беды, я прихожу к заключению, что его спартанская закалка сыграла тут не последнюю роль. И еще — его несгибаемая принципиальность. Ведь он, как никто другой, был подлинно советским писателем, убежденным сторонником социальной революции, интеллигентом, вставшим под ее знамя в самые первые трудные исторические минуты. Из его биографии не выкинешь тот факт, что этот штабс-капитан, награжденный орденами, добровольно стал красным командиром, адъютантом командира полка имени Де-

ревенской Бедноты, сражавшегося против белой армии генерала Юденича.

Его духовную цельность не сломали тяжелые годы испытаний. Он не хныкал, не злобствовал, он лишь удивлялся, не понимая, за что и почему его критикуют. Пытался понять, но не мог!

И юмор, золотой зощенковский юмор никогда его не покидал. Только горечи прибавилось в нем, да и то немного, пожалуй.

Однажды сидели мы у меня в номере в «Астории» — Зошенко, ленинградский кинорежиссер Тимошенко, моя жена и я — и на все лады обсуждали очередную ленинградскую легенду: в городе объявился некий загадочный старичок, утверждавший, что ему сто шестьдесят пять лет, что он родился раньше Пушкина и своими глазами видел, как бунтовали декабристы на Сенатской площади 25 декабря 1825 года. Ему в тот роковой день тоже якобы попало: наскочил кавалергард и палашом отсек кусочек уха. В доказательство загадочный старичок предъявлял свое укороченное ухо и выписку из каких-то ведомостей 1825 года, отпечатанную, впрочем, на машинке. Из выписки следовало, что титулярный советник имярек действительно проходил по Сенатской площади 25 декабря 1825 года и пострадал от кавалергардского палаша. Титулярному была оказана медицинская помощь. Я заметил, что Зошенко очень хотелось поверить в это чудо долголетия. Утром он позвонил ко мне в гостиницу и сказал своим глуховатым голосом:

— Вы знаете, Ленечка, этот ваш старичок произвел на меня такое сильное впечатление, что я не спал всю ночь и под утро подумал, что я, при моей выносливости, могу прожить столько же. И мне стало так страшно, что я чуть не умер!

Чудо ленинградского долголетия оказалось, конечно, нахальным враньем: загадочный старичок, попутанный бесом странного тщеславия, приписал себе ровно сотню лет!

III

Я позволю себе привести здесь некоторые выдержки из писем М. М. Зошенко к Л. Б. Островской и ко мне. Они, как мне кажется, имеют не только узколитерату-

роведческий интерес. Ведь Зощенко — писатель мощного оригинального дарования и наряду с этим сложный, в чем-то даже загадочный человек неотделимы один от другого.

В большинстве своем эти письма в комментариях не нуждаются.

* * *

Из писем к Л. Б. Островской

«Лилечка!

Приехал домой и заболел. Провалился несколько дней с гриппом. И теперь, поправившись, едва брожу. Подозреваю, что наступила старость.

Решимости перебраться в Москву у меня пока нет. Как вы и подозревали — привычный уклад жизни засосет меня, и я снова останусь на берегах Невы.

Может быть, после болезни у меня вялые мысли и мало энергии. Но сейчас мне кажется, что переезд слишком сложен. И что мне искать в Москве, если у меня по-настоящему и нет стремления снова засиять на литературном небе!

Не браните меня за мою склонность к провинциальной жизни. Я ведь случайно прославился и не хотел бы снова этого. А жизнь в Москве — это все-таки поиски утраченного.

Вот поправлюсь совсем и тогда напишу Вам бодрое письмо.

Большое спасибо Вам за хорошее отношение ко мне. Это очень мне дорого!

Ваш *Мих. Зоц.*

21.IX.49».

«...Очень благодарен Вам за Вашу милую открытку. Отвечаю с запозданием, так как была срочная работа и я подходил к столу лишь с профессиональными мыслями. Делал один срочный перевод с финского. Ведь я теперь стал настоящим переводчиком. Уже выпускаю третью книгу. Причем одна из них весьма прошумела — сейчас ее издают массовым тиражом (в 75 000). Это книга финского писателя Лассила «За спичками» в моей обработке. Фамилию мою поставили в книге столь мелкой печатью, что не сразу можно отыскать. Но под старость я вовсе растерял остатки честолюбия...

В Москве, вероятно, побываю только весной. Сильно постарел и на женщин поглядываю меньше. Но характер изменился к лучшему — стал спокоен, «как пульс покойника»...

Ваш *Мих. Зощенко*.

20 ноября 50 г.».

IV

Своим переводом повести Лассила «За спичками» Михаил Михайлович очень гордился, и это была заслуженная гордость хорошо поработавшего мастерового человека. В Финляндии этот перевод высоко оценили, и в финских литературно-критических кругах поговаривали, что художественное значение творчества интересного и оригинального финского писателя Лассила стало для финских знатоков литературы особенно явственным и весомым, когда появился зощенковский перевод его повести.

Однажды я спросил у Михаила Михайловича:

— В чем «секрет успеха» вашего перевода? Можете вы мне его открыть?

Он ответил, как всегда, серьезно и обстоятельно, когда речь шла о его работе:

— Финского языка я не знаю, пришлось работать над подстрочником. Привезла его мне в Ленинград из Петрозаводска, из издательства, симпатичная девушка, свободно говорившая по-фински. Я попросил ее подчеркнуть те места в финской рукописи, которые она считает наиболее смешными. Она это сделала, и я получил нечто вроде нотной партитуры моего будущего русского перевода. Это мне очень помогло. Ну, может быть, я еще кое-что добавил. От себя!

И, после паузы, он прибавил с улыбкой:

— Совсем немножко! И очень осторожно...

* * *

Письмо к Л. Б. Островской

«Люсенька! Извините, что не тотчас отвечаю на Ваше милое письмецо. Был нездоров и в меланхолии.

...Работать с «Крокодилом» трудно на расстоянии. А с «Огоньком» и тем более. Не всякий раз редакции отвечают на письмо, да и чувствуется великое нежелание работать со мной. Поэтому не хочется навязывать свои труды.

Пьесу для Образцова Комитет не разрешил. И по нелепой мотивировке — *конфликт не типичен и не все комические положения исходят от характеров*. Ну и что? Я не обязан был писать типичные комедии. И театр от этого не пострадал бы. Напротив, был бы веселый спектакль для кукольного театра.

Тут сам черт ногу сломит, если возьмется за театральную работу!

...Сейчас работаю над большой книгой. Но, конечно, без уверенности, что напечатают, непостижимо трудно сейчас в литературе! Но, может, я постарел и перестал видеть мир, как это надлежит современному литератору?

Нехорошо долго жить на свете...

М. Зощенко.

13. III. 52».

V

Во многих воспоминаниях он выглядит человеком мрачным, необщительным, неразговорчивым. Когда хотят сказать, что юмористы не обязательно открытые весельчаки, а бывают среди них и мрачные ипохондрики, в качестве примера называют Михаила Зощенко.

Это не так. Точнее, не совсем так. Дело в том, что Михаил Михайлович не выносил развязных, самодовольных и самоуверенных людей, к какому бы рангу и кругу они не принадлежали. И, если в компании оказывался такой экземпляр, прятался в свою раковину отчужденности или незаметно куда-нибудь исчезал. Но в своей, дружеской среде он был живым, остроумным и ярким собеседником, никогда при этом не щеголял застольным остроумием и не претендовал на высокое звание «души общества». Он был из тех, кто готовно улыбается и смеется чужим остротам и шуткам, а сам больше помалкивает, но зато уж если скажет смешное, то уложит слушателей наповал.

Из письма к Л. Б. Островской

«Люсенька, извините, что не тотчас ответил на Ваши открытки. Эти два месяца зверски работал — для журнала «Октябрь» по их приглашению.

Работа большая — книга новелл, листов на 15. Однако сейчас я заканчиваю только первую часть — она самостоятельна по характеру и поэтому может быть напечатана отдельно от книги.

Как будто бы работа удалась. Недели через две-три посылаю в журнал. После чего (подождав ответа), вероятно, приеду в Москву.

Конечно, полной уверенности нет, что работа моя будет принята (целиком), но драмы и в этом случае не произойдет.

Сам возмущаюсь, что со мной стало — всё отскакивает, как горох от стены. Это бывает к старости!

Однако здоровье мое сносное и даже, пожалуй, лучше чем когда-либо прежде.

Целую Вас, Люсенька! И шлю нежный привет Лёне.

Мих. Зощенко.

31 мая 55 г.»

VI

Зощенко писал ежедневно, преодолевая физическую слабость, душевные тяготы, жизненные невзгоды.

В самое трудное для себя время он работал над рассказами о партизанах и солдатах времен Отечественной войны, рассказами, еще как следует не оцененными критикой. В то же время он обдумывал большой роман о русском офицере времен первой мировой войны, участником которой он был.

Когда Зощенко писал и работа у него спорилась — шелуха жизненных бытовых огорчений отлетала от него и он сохранял жизнерадостность в той мере, в какой она была ему отпущена природой.

Из письма к Л. Б. Островской

«...Сообщаю вам печальную весточку. Редакция журнала «Октябрь» отклонила мои рассказы.

У меня были все данные думать, что это мое сочинение из 10 рассказов написано весьма хорошо, но вот оказалось, что это не так. Одно из двух: либо меня не хотят печатать, либо я и в самом деле ошибся, постарел и потерял способность писать.

Склоняюсь ко второму. Вероятно, я не так, как надо, подхожу к жизни и к литературе. И поэтому так грубо ошибаюсь.

Буду просить Союз, чтобы дали какую-нибудь «низовую» работу. А то, может, и поеду куда-нибудь — в колхоз либо в рыбачью артель. Есть мысли об этом каком-нибудь путешествии к людям. А то, вероятно, я оторвался от жизни и людей и замкнулся в себе. Если все так дружно кричат на меня — стало быть, я не прав.

Однако, как ни странно, у меня нет сейчас растерянности или малодушия. Предстоящие (бытовые) трудности, конечно, страшат, но не настолько, чтоб паниковать. Да и осталось не так-то много жить, чтобы омрачать финальные годы. Как до удивления странно и нелепо складывается моя жизнь.

А главное, не чувствую себя виноватым. Плохой характер у меня — вот основная вина. Недаром говорят, что юморист — это прежде всего плохой характер.

Ваш Лёня в этом случае исключение!..

В общем, Люсенька, не печальтесь за меня. Я справлюсь с огорчениями и буду рассчитывать на удачу.

Целую Вас и Лёню.

Михаил.

27. V. 55».

Предварительно поговорив в редакции «Крокодила», я написал Зошенко, что он, если хочет, может передать свои рассказы, предназначавшиеся для «Октября», в «Крокодил». Если не все, то хотя бы два-три.

Я понимал, как важно было для него снова увидеть свою подпись под своим наконец-то напечатанным рассказом...

В ответ на это предложение Зощенко прислал мне письмо.

«Ленечка, задача оказалась не легкой — дать для «Крокодила» из тех 10 рассказов, которые я писал для «Октября».

Все эти рассказы по размеру не подойдут журналу. Разве что 1 или 2 можно будет урезать. А все остальное пришлось бы сильно ломать и переделывать. Да и эти два, пожалуй, порядочно пострадают от сокращения.

Уж и не знаю, как поступить. Попробую подрезать один рассказ. А насчет остальных посоветуюсь с Вами, когда будете в Питере.

В крайнем случае я смог бы написать и новенький рассказ — темы у меня имеются.

Сейчас дьявольски много работаю над переводом с норвежского и потому с такой медлительностью отправляюсь в литературное плавание...

В общем, еще подумаю пару дней, а потом, видимо, один рассказ подправлю для «Крокодила»...

Ваш Мих. Зощенко».

VII

С 1956 года жизнь Зощенко в литературе изменилась к лучшему. Барометр пошел на «ясно». Это видно из его последнего письма ко мне.

«Лёня, спасибо за книгу. Многие Ваши рассказы я ранее знал, но кое-что для меня — новое.

В общем, собрали книгу неплохо, успех обеспечен. Однако некоторые рассказы (2—3) я бы не включал — они ниже Ваших возможностей. Об этом поговорим при встрече. Ежели, конечно, Вам будет интересно мое суждение.

Что касается моих дел, то за прошлый месяц произошли значительные перемены.

Госиздат напечатает мой однотомник (избранные рассказы двадцатых и тридцатых годов). Книгу выпустят до декабря этого года.

Вторую книгу (старых и новых рассказов) издает «Советский писатель».

Кроме того, много всяких литературных предложений. Но я постарел и упираюсь. Несколько рассказов, впрочем, я недавно напечатал — в «Неве» и в «Ленингр. альманахе» — выходит в августе. Так что дела поправились и я сейчас, пожалуй, даже разбогател.

Все, в общем, хорошо. Но —

...старость, черт ее дери,
С котомкой и клюкой,
Стучится, черт ее дери,
Костлявою рукой.
Могильщик думает:
«Ну-ну,
И твой пришел черед».
Но я до сотни дотяну,
Скажу вам наперед.

К сатире получил отвращение. И теперь, вероятно, буду писать стихи.

Ну, будьте здоровы, дорогой. Желаю успеха и радостей.

Привет. *М. Зощенко.*

15. VII. 56».

VIII

Последний раз мы встретились с ним в Москве. Он приехал на юбилейный горьковский вечер. Но чувствовал себя настолько скверно, что К. И. Чуковский отсоветовал ему идти на торжественное собрание. И он не пошел, хотя ему очень хотелось там быть и даже выступить с воспоминаниями об Алексее Максимовиче.

Когда мы увидели Михаила Михайловича (он пришел к нам), мы поняли, что Корней Иванович был прав. Он очень похудел, глаза лихорадочно блестели, появилась какая-то зловещая смазанность речи: начинает фразу, чеканя каждый слог, и вдруг, к концу, слова сливаются в нечто неразборчивое. Пробыл он у нас недолго, за ужином ничего не ел. Когда Зощенко ушел — нас охватило предчувствие беды.

Через три месяца его не стало.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Неожиданно мы стали владельцами отдельной квартиры. В те далекие времена это было почти чудом. Получили мы ее, так сказать, на крови ближнего.

В старом трехэтажном доме, с громадными, гостиничного типа коридорами, Литфонд решил надстроить два этажа.

Будущие квартиры давно уже были строго распределены. Мы, молодые, даже и не помышляли быть среди этих счастливых.

Крошечная двадцатипятиметровая квартирка на последнем этаже предназначалась Юрию Инге. Но на одном из литературных собраний, я не помню по какому поводу, разразился скандал, страсти разгорелись, и вспыльчивый Инге набил морду писателю Брыкину. Все, кто знал суть дела, утверждали, что Юра поступил совершенно правильно, что это был акт Справедливости, но секретариат посмотрел на это несколько иначе: он не одобрил поведение Инге, и, в наказание за содеянное, было постановлено у Инге квартиру отобрать и передать ее Гитовичу.

Раздираемый противоречивыми чувствами, Саня ринулся к Инге, дабы вдвоем решать, как поступать в данном случае.

— Соглашайся не раздумывая, — сказал Инге, — мне они квартиру теперь все равно не дадут. Пусть хоть будет у тебя.

И так мы попали в этот список счастливых.

Еще лестница не была достроена и стояли леса, но мы на четвереньках влезали наверх, протискиваясь между досок, и с площадки заглядывали туда, где будет наша квартира. Пол еще не был настлан, дверей не

было, вместо окон светились аккуратные прямоугольные дырки.

Мы с нетерпением ждали момента, когда наконец все достроят и нам вручат наш собственный ключ и можно будет повернуть его в замке, открыть дверь и переступить порог собственной квартиры.

Но этот радостный момент затягивался, готовых квартир еще не было, и непонятно было, когда они будут. Все строительство приостановилось из-за отсутствия гвоздей. И вот тогда Секретариат выделил авторитетную комиссию из трех уважаемых писателей, куда вошли Зоценко, Слонимский и Стенич, и они, вооружившись всякими внушительными бумагами, отправились по хозяйственным организациям раздобывать гвозди.

В Главленстрое они пришли в кабинет завснаба. За очень большим письменным столом сидел, проваливаясь в кресле, очень маленький человек явно еврейского происхождения, который, выслушав товарищей, безапелляционно сказал:

— Гвоздей нет!

На это нечего было возразить, и делегация, потоптавшись, направилась к выходу. И вдруг уже в дверях Валентин Стенич обернулся и зычным голосом с отличной дикцией спросил: «Ну, а когда вы нашего Христа распинали, небось тогда у вас были гвозди?»

К счастью, хозяйственник, обладавший чувством юмора, расхохотался и гвозди дал. Так смогли закончить строительство нашего дома, и мы поселились в надстройке.

В этой же надстройке, но в другом флигеле, поселился Михаил Михайлович Зоценко.

Я еще в Смоленске, девочкой, читала его рассказы, любила их и, конечно, с нескрываемым интересом смотрела на Михаила Михайловича, когда он, не торопясь, шел домой по Перовской. Шутка ли, идет живой Зоценко.

Невысокого роста, очень смуглое лицо, приподнятые плечи, медленные, неуверенные движения.

В нашем дворе я иногда встречала манерную говорливую даму, одетую во что-то воздушное голубое с оборочками, в немыслимых шляпках. Мне сказали, что эта дама — жена Зоценко.

Я сижу на широком подоконнике в Доме книги и жду Саню. Скоро конец рабочего дня. Мимо проходят разные люди. Вот вразвалку идет Борис Корнилов, а за ним, чуть забегая вперед и заглядывая ему в лицо, семенит худенькая, стриженная, очень хорошенькая Люся. Увидя их, остряк Стенич когда-то сказал: «С своей волчицею голодной выходит на дорогу волк».

Вот по длинному коридору в расстегнутом пальто и темной кепке медленно идет Михаил Михайлович. В вывернутой руке, как ружейный приклад, он держит тугой колючий ананас, издали похожий на черепаху.

Тогда ананасы были в диковинку, и все встречные с интересом смотрели на Зощенко, на большой с прозеленью ананас и знали, что он его несет старшему техреду, роковой женщине — Лидочке Чаловой. Любопытные сослуживцы, как бы невзначай, проходя, открывали дверь и заглядывали в комнату техредов, и мне сквозь раскрытую дверь был виден заваленный бумагами стол, и на гранках, как бронзовый идол, стоял ананас, а над ним маячило розовое, хорошенькое личико Чаловой.

Напротив ее стола сидел Михаил Михайлович — подтянутый, изящный, вежливый, смотрел на нее печальными глазами и, улыбаясь, ей что-то говорил.

Потом я видела, как Лидочка надевает синюю поддевочку с серой мерлушкой и, сунув Михаилу Михайловичу свой портфель, в одну руку берет ананас, а другой цепляется за рукав Зощенко и, смеясь и что-то шепеча, уводит его коридором Госиздата.

Говорят, что жизнь украшают чудачки. Одним из таких окололитературных чудачков был Петр Ильич Сторицын.

Он был старый холостяк, образованный, умный, злой.

В прошлом он был очень богат. До революции отец его владел половиной мельниц Одессы.

Петр Ильич промотал отцовское наследство, помогая писателям. Говорят, он много помогал Бабелю, Олеше, Багрицкому.

Ежедневно Сторицына можно было встретить в ресторане «Европейской» гостиницы. Он садился

с газетой и заказывал самое дешевое — макароны с сыром и боржом. Он сидел, читая газету, и прихлебывал боржом, терпеливо дожидаясь, пока не появится кто-нибудь из писательской братии и не перетащит его за свой стол. Он тяготел к писателям, не мог дышать вне атмосферы литературных разговоров и остроумия.

Сам он был рассказчик замечательный — острый, меткий, злой, и когда бывал в ударе — был неповторим.

Михаил Михайлович очень любил Сторицына. Без конца давал ему деньги, поил, кормил, но это несколько не мешало Петру Ильичу, ради красного словца, платить Зошенко черной неблагодарностью.

«Послушайте, послушайте, — говорил он, по своему обыкновению захлебываясь и брызгая слюной, — знаете, чего не хватает Зошенко для полного счастья? Для полного счастья ему не хватает мании величия. Он обманул партию, он обманул правительство, он обманул читателей, он обманул писателей, но сам-то он знает, что он не Вольтер».

Михаилу Михайловичу, бывшему тогда в зените славы, было хорошо известно все то, что говорил о нем Петр Ильич, и тем не менее он все ему прощал и без конца возился со злым и неблагодарным старым чудаком.

Умер Петр Ильич с голоду в жестокие дни блокады, до самых последних дней утверждая, что немцам Ленинграда не видать.

* * *

Наступил страшный тридцать седьмой год. И каждую ночь у нас под окнами гудели машины, и мы не спали и тревожно прислушивались к шагам на лестнице. Утром дворники называли номера квартир, где ночью были обыски. Так взяли Берзина, Тагер, Олейникова, Куклина, Стенича и многих других. В отличие от правил, Заболоцкого взяли днем.

Перед арестом Николай Алексеевич жил в Доме творчества в Елизаветино. Секретарь парторганизации, Григорий Мирошниченко, вызвал его телеграммой, в которой говорилось, что Заболоцкий должен явиться 18 марта к 4 часам в партком.

Приехав утром, Николай Алексеевич зашел к нам, и мы договорились, что, как только он освободится, он сразу же приходит, остается у нас обедать и будет чи-

тать первую главу только что им переведенного «Слова о полку Игореве».

Обед уже давно был на столе, а Николай Алексеевич все не приходил. Я несколько раз звонила к ним, не понимая, чей это мужской голос отвечает мне, что Николая Алексеевича нету дома. Когда я наконец сказала, что мне непонятно, где он может быть, ведь он обещал у нас обедать, тот же мужской голос грубовато стал меня уговаривать не ждать Николая Алексеевича, а садиться за стол.

Но мы все ждали.

А в девятом часу пришла совершенно убитая Екатерина Васильевна и сказала, что у них был обыск и Николая Алексеевича арестовали. Нечего и говорить, какое это было горе для нас всех.

Екатерина Васильевна осталась одна с двумя маленькими детьми. Она мне рассказывала, что Зощенко, будучи очень плохо знаком с Заболоцким, а ее и совсем не зная, услышав об аресте Николая Алексеевича, пришел к ней и предложил ей деньги.

* * *

Я вспоминаю, как летним вечером мы сидим около дома на бульварчике. Несмотря на то, что вечер жаркий, на Михаиле Михайловиче одет темный костюм и безукоризненно отглаженная черная рубашка. Своей маленькой смуглой рукой он держит Санину палку и лениво чертит ею по земле.

Михаил Михайлович говорит, что его давно поражает то обстоятельство, как люди неправильно понимают наши поступки. И, печально усмехнувшись, он рассказывает следующую историю.

Однажды он был очень влюблен в замужнюю женщину. Их роман развивался вяло. Ему было неясно, любит она его или нет. Он мучился, ревновал, приходил в отчаянье и вновь на что-то надеялся.

Ему все же почти удалось уговорить ее поехать вдвоем на юг — туда, где у них нет ни одной знакомой души. Она и хотела, и колебалась. В конце концов они порешили на том, что он едет в Ялту, а она ему туда напишет. Он уезжал и совсем не был уверен, что получит от нее письмо и что все будет так, как они придумали вдвоем.

И вот, говорит Михаил Михайлович, он представил себе раскаленный ялтинский почтамт, очереди курортников и себя, потного, в который раз втискивающего голову в маленькое окошечко и спрашивающего у девушки, нет ли ему писем. И вечную стереотипную фразу:

— Вам писем нет.

И вот, чтобы не ходить безнадежно на почту и из какого-то дикарского суеверия, что, может быть, одно письмо притянет за собой другое, Михаил Михайлович перед своим отъездом взял конверт, написал на нем: «Ялта, до востребования, М. М. Зошенко», оторвал кусок «Известий», вложил в конверт, запечатал и бросил в почтовый ящик.

Приехав в Ялту и выждав положенный срок, в течение которого могло прийти письмо от любимой, он пошел на почту, получил — увы — собственное письмо, разорвал конверт, скомкал газету и, печальный, пошел своим путем.

Так из его романа ничего не получилось.

И вот прошло десять лет.

В один из его приездов в Москву к нему в гостиницу пришла энергичная напористая дама — администратор бюро выступлений, — и предложила ему выступить в ЦПКО в Зеленом театре. Так как Михаил Михайлович очень не любил публичных выступлений да и чувствовал себя неважно, он от выступления отказался.

— Ну пожалуйста, товарищ Зошенко, выступите, не подводите нас, ведь Зеленый театр — это десять тысяч зрителей, — упрашивала его она.

Михаил Михайлович вторично отказался. И тогда бойкая дама запальчиво сказала:

— Мне совершенно непонятно, товарищ Зошенко, как вы, человек, так любящий свою славу, отказываетесь выступить в Зеленом театре?

— Почему вы думаете, что я так уж люблю свою славу? — заинтересовался Михаил Михайлович.

— А почему вы сами себе писали письма? Мой муж служил в НКВД, и там долго думали, почему вы сами себе послали в Ялту письмо. Сперва тщательно исследовали клочок газеты и, не обнаружив ничего, в конце концов сообразили, что письмо это вы послали из тщеславия, чтобы знали, что писатель Зошенко сейчас находится в Ялте. Девушка на почте прочтет фамилию адресата, расскажет, что вы здесь, своей подруге, та —

другой, и так вся Ялта будет знать, что здесь отдыхает писатель Зошенко.

«И вот,— говорил Михаил Михайлович,— я, Сашенька, был несчастен и одинок, мне свет был не мил, а людьми все было понято совершенно иначе».

Мы долго в тот вечер сидели на бульварчике.

Михаил Михайлович говорил, что он убежден в том, что человек не должен менять давно сложившийся образ жизни. Резкое изменение образа жизни вышибает человека из седла. Он говорил, что и ранее замечал, что люди пьющие и сразу бросающие пить более двух лет не живут. Так же и курильщики, так же и люди, много и жадно работавшие, работавшие со страстью, вдруг выходя на пенсию или почему-либо другому лишившись своей работы, скоро скисают, и смерть приходит быстрее.

Он говорил, что много об этом думает и хочет об этом написать.

* * *

Мне вспоминается большой литературный вечер в Капелле, где среди других выступал и Михаил Михайлович. Он читал «Рогульку», и зал буквально валился от хохота, а он печально глядел на публику и с совершенно отсутствующим видом, без тени улыбки, читал свой рассказ.

Читал он мастерски.

На балконе юноша — точная копия Зошенко: такого же роста, худой, с блестящими волосами, со смуглым матовым лицом — сгибался в три погибели от хохота. Это был его сын, так поразительно похожий на него.

* * *

Как-то вечером ужинали у нас Михаил Михайлович и Чивилихин. Михаил Михайлович ел очень мало, а пил только пиво, которое любил. Шутили, смеялись. Кто-то вспомнил выдумку Байсенберга, что все науки делятся на мужские и женские — география, арифметика, геометрия и др.

Например, женская геометрия:

— Дорогая, почему ты сюда идешь? Лучше пойти нанскосок.

— Но так, как я иду, гораздо ближе.

— Голубчик, но геометрия нас учит, что по диагонали путь короче.

— Я не знаю твоей геометрии, я всегда так хожу, и тут гораздо ближе.

Женская арифметика:

— Дорогой, дай мне двести рублей.

— Миленькая, но у меня нету.

— Как нету? Ведь вчера ты получил две тысячи.

— Ну и что же? Мы послали маме, выкупили из ломбарда твою шубу, отдали долги. Ну возьми карандаш и посчитай.

— Не буду я заниматься твоими дурацкими подсчетами. Я знаю, что, если вчера было две тысячи, сегодня не может не быть двести рублей.

Михаил Михайлович беззвучно смеялся.

— А вот хотите,— сказал он,— я вам расскажу о женской лжи? Когда-то у меня была возлюбленная, имевшая мужа-ревнивца, который старался ее не отпустить никуда ни на шаг. Несмотря на это, она ухитрилась со мной встречаться, придумывая различные уловки. Так, однажды она сказала дома, что у нее уезжает подруга, которую она должна проводить на вокзал, а сама пришла ко мне.

И вот, сидя в рубашечке на краешке стола, она звонит мужу и сладким голосом говорит, что только что отошел поезд и она скоро будет дома. «Но поезд отходит в десять часов пять минут, а уже одиннадцать»,— резонно замечает муж. «Не знаю, как по твоим,— запальчиво говорит она,— но по вокзальным десять».

Саня вспомнил, что накануне мы читали «Историю моей болезни»— один из наших любимых рассказов. Чудная, умная и лукавая проза.

— А ведь «выдача трупов с трех до четырех»,— сказал Михаил Михайлович,— не мной придумано. Такое разве придумаешь.

Он сказал, что это объявление читал своими глазами в приемной Куйбышевской больницы.

* * *

Август 1946 года. Саня в Корею. Я работаю в секторе пропаганды Союза писателей.

В аппарате Союза и среди писателей страшное волнение — всех писателей и издательских работников вы-

зывают в Смольный, где будет делать доклад Андрей Александрович Жданов. Составляются списки, заготавливаются пропуска. Я иду к Сергееву и объясняю ему, что так как Саня в Корею, то я должна во что бы то ни стало тоже быть в Смольном, чтобы самой все видеть и слышать, дабы иметь возможность все ему рассказать.

После моих упорных просьб пропуск я получаю.

Серенький августовский день. Недавно прошел дождь, и широкая лестница Смольного еще не просохла. Вереницей идут писатели. Взволнованные, тревожные лица.

У входа милиционеры проверяют пропуска. В вестибюле — снова проверка. У лестницы — снова.

Вот открываются двери, и все входят в исторический зал Смольного. Входят чинно, без толкотни. Тихо садятся. Все места заняты.

На трибуне Андрей Александрович Жданов — представительный, полнеющий, с залысынами на висках, с холеными пухлыми руками. Он говорит гладко, не по бумажке, стихи цитирует наизусть. Все, что он говорит, ужасно. С каждой его фразой напряжение все более и более возрастает. В зале тревожная, щемящая тишина. Все боятся посмотреть друг на друга. Я вижу, как у Шварца ходуном ходят руки.

Ни Зощенко, ни Ахматовой в зале нет.

Вот Жданов кончает свой доклад, маленькими глотками пьет воду и садится, приглашая писателей высказываться.

Долго никто не решается выступить первым. Наконец на трибуне вырастает высокая, статная фигура Николая Федоровича Григорьева. Несмотря на мужественный вид, он, заикаясь, начинает что-то лепетать о детской литературе, все время поворачиваясь к залу спиной. С детской литературы он быстро перескакивает на другое и объясняет, как это нехорошо, что писателям у нас слишком много дано благ — у них и закрытые распределители, и лимиты, и квартиры. И все это зря. И все это надо в корне изменить.

После него на трибуну вползает толстенный Николай Никитин. Серый костюм на нем слегка тесноват и подчеркивает его полноту.

Сквозь стекла очков он беспомощно оглядывает зал, потом поворачивается, переводит глаза на Жданова и говорит, обращаясь уже не к сидящим в зале, а толь-

ко к одному Жданову. От волнения он путает его имя и отчество и дважды, обращаясь к нему, называет его Александром Андреевичем. Он говорит захлебываясь, путаясь, и вдруг, обрывая себя на полуслове, говорит, что ему трудно выступить с этой эстрады, и тяжело спускается в зал.

Бедняга — трибуну, с которой в былые дни выступал Владимир Ильич Ленин, он назвал эстрадой.

Это было страшное и жалкое зрелище.

Я все старалась запомнить, чтобы рассказать Сане.

* * *

И вот во всех газетах опубликовано постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Весь город только об этом и говорит.

В Союзе собрания за собраниями.

Газеты пестрят статьями.

Постановление изучают. Все должны его знать.

Вернувшись домой из детского садика, маленькая Анька Каминская вбежала в комнату Анны Андреевны и, лукаво улыбаясь, сказала:

— Акума, а я знаю один секрет! Я тебе его сейчас скажу.

Потом порывисто нагнула голову Анны Андреевны и в самое ухо прошептала:

— Секрет — это Зощенко и Ахматова.

Что она хотела сказать, что ее пятилетний ум думал по этому поводу, установить не удалось.

Рассказывают, что в бакалее стояла за чем-то большая очередь. Очередь гудела, толкалась и переругивалась. Всем было некогда, и все дружно ругали директора магазина, создающего очереди. Он и пьет, и ворует, и вообще его давно пора посадить в тюрьму.

— Но кого мне будет жаль, если его посадят, так это его жену,— сказала сердобольная старушка.— Жена-то в чем виновата?

— Да,— сказали в очереди.— Жены за все в ответе. Вот и сейчас, ведь все знают, что Зощенко подлец и мерзавец, а жену его Ахматову за что так ругают? Все за него же!

— Да, бедная она, бедная,— дружно жалела очередь.

И вот клубок покотился все стремительнее и стремительнее, беспощадно разрастаясь и увеличиваясь.

Без конца собрания и проработки. Во всех газетах разгромные статьи, высказывания, рецензии.

В Союзе писателей, в Красной гостиной какое-то очередное собрание. Народу немного. Среди других выступает писатель Н. Он бойко говорит, что не может понять, как, глядя на героев Зощенко, мы могли выиграть войну?

— Ну, а глядя на тов. Н,— сказал мрачно Михаил Михайлович,— разве можно понять, как мы смогли выиграть войну?

А клубок все катится дальше. Вот их исключают из Союза, лишают карточек, и петля затягивается все туже и туже. Денег нет, карточек нет. Хлеб надо покупать на рынке втридорога. Старые друзья их боятся. Михаил Михайлович рассказывал нам, как, идя домой, на мостике через канал, он нос к носу столкнулся со своим давнишним, многолетним другом, который виновато опустил глаза и дрожащим голосом сказал: «Миша, у меня семья...»

* * *

Он нам рассказывал, как в Ленинград приехал Валентин Катаев, позвонил ему и бодро закричал в телефонную трубку: «Миша, друг, я приехал, и у меня есть свободные семь тысяч, которые мы с тобой должны пропить. Как хочешь, сейчас я заеду за тобой».

Это было сказано в то время, когда неизвестно было, чем заплатить за квартиру и где раздобыть денег, чтобы на рынке купить хлеб.

Действительно, очень скоро катаевская машина появилась перед домом. В открытой машине, кроме него самого, сидели две веселые раскрашенные красочки в цветастых платьях, с яркими воздушными шариками в руках, трепыхающимися на ветру.

— Миша, друг,— возбужденно говорил Катаев,— не думай, я не боюсь. Ты меня не компрометируешь.

— Дурак,— сказал Михаил Михайлович,— это ты меня компрометируешь.

«Вот в этом-то и сказалась вся темная душа Вальки Катаева»,— грустно усмехнувшись, сказал Михаил Михайлович.

Еще Михаил Михайлович рассказывал, что в эти же времена пришла к нему одна московская поэтесса — дама средних лет, одетая несколько крикливо, похожая на заграничный вязальный крючок, и деловито сказала:

— Михаил Михайлович, так как вас теперь вообще не будут печатать, а я хочу славы, то вы напишите оперетту, песенки к ней я могу написать сама. Все это, конечно, пойдет под моим именем, а часть гонорара я дам вам.

При всем своем безденежье Михаил Михайлович эту даму прогнал.

Из Москвы в Ленинград приехал Сережа Антонов. Он стал в свое время нашим другом тоже при печальных обстоятельствах. После проработки космополитов и у нас молчал телефон, и к нам никто не приходил, и Саню никто не печатал, и денег не было никаких. Правда, это длилось не так уж долго, но все же это горькое время не минуло и нас.

И вдруг зазвонил телефон, и Сергей Антонов, с которым мы тогда и знакомы-то не были, как давнишний друг попросил разрешения к нам зайти.

Он пришел нагруженный кулками со всякими вкусностями, и мы устроили маленький пир, и сидели допоздна, и Сережа на долгие годы стал нашим другом.

И вот он приехал, пришел к нам и, узнав, что мы видимся с Зощенко, умолял познакомить его с Михаилом Михайловичем. Мы в тот же вечер позвонили Михаилу Михайловичу и попросили его прийти к нам.

Сережа, большой его поклонник, был очень рад.

Михаил Михайлович сильно похудел, под глазами темные круги. Стал молчаливее и печальнее. Темная рубашка была уже не так блестяще отглажена, как раньше.

Сели за стол. Смуглой рукой Михаил Михайлович подносил стакан с пивом к глазам, как бы внимательно рассматривая его на свет, потом опускал, немного отпивал и снова ставил. Ел он очень мало.

В тот вечер Михаил Михайлович был задумчив и говорил, что раньше ему и в голову не приходило класть деньги на книжку. Все, что зарабатывалось,—

все куда-то тратилось. Он считал, что, если нужно, он всегда сможет заработать. А тут приходилось продавать вещи. Вот продал диван красного дерева Ивану Кратту. Вдвоем с дворником Гришей Кратт вытаскивал этот диван. Суетился, весь красный от натуги, топтался, застревал в дверях, а принес к себе на четвертый этаж — у него сердечный приступ. Диван стоит, а он умер. Как все это глупо.

Вот квартиру переменял на меньшую, рассказывал Михаил Михайлович, теперь живу по той же лестнице на втором этаже. Платить дешевле.

— Михаил Михайлович, дорогой, чем вы теперь занимаетесь? Что делаете?— спросил Сережа.

— Вот кончаю пьесу писателя N,— грустно усмехнувшись, ответил Зошенко.

Сидели долго. Сережа сбегал еще за коньяком.

Уже под утро, подпирая голову рукой, Михаил Михайлович говорил с тоской в голосе, что, по-видимому, он был в чем-то не прав, наверное, у него была какая-то дворянская заносчивость. Может быть, он оторвался от масс?

— Как вы осмеливаетесь так говорить?— истошно кричал Саня.— Как вы смеете признавать несуществующие ошибки? У вас бабий характер. Берите пример с Ахматовой. Это кремень. Вот — мужской характер. А вы — баба, баба, баба.

— Да,— сказал Михаил Михайлович,— я как-то скис, а то все время с ней шли ноздря в ноздю.

* * *

Прошло время, и кто-то в верхах заинтересовался, как все-таки живут Зошенко и Ахматова.

И вдруг одного и другого вызывают в Смольный.

Анна Андреевна рассказывала нам, что, когда она, направляясь в Смольный, выходила из пятого троллейбуса, к ней подбежал Михаил Михайлович, возвращавшийся уже оттуда. Он сказал ей, что она может не волноваться, что он уже там был, что ничего страшного нет, просто там интересуются, как они живут, и предложил Анне Андреевне проводить ее.

И вот они идут. И если бы заснять это на кинолентку, то получились бы такие впечатляющие кадры:

1. Крупно. Развевающийся красный флаг.
2. Крупным планом Смольный.

3. Широкая аллея, и Зощенко под руку с Ахматовой медленно направляются к ступеням Смольного.

Молоденькая секретарша, ставившая печать на выход Анне Андреевне из Смольного, вскинула на нее глаза и быстро-быстро шепотом сказала ей:

— А я ваши стихи все равно люблю.

* * *

Ранней весной Михаил Михайлович встретил Саню и сказал, что его вызывают в Москву. Саня очень пожалел, что нам не придется ехать вместе, так как мы с ним тоже собирались в Москву. <...>

Михаил Михайлович вернулся из Москвы в несколько лучшем настроении. Он рассказывал московские новости, где был, с кем встречался. Он говорил, что все, кого он видел, очень изменились за все эти годы.

— Один вы не меняетесь,— сказал он Сане,— каким был, таким и остался.

— А знаете, Сашенька, каким я вас вижу в своем воображении?— сказал Михаил Михайлович.— Вот представьте себе, что весь этот ужас окончился. Все хорошо. Я сижу в саду, в летнем ресторанчике и потягиваю пиво, и вдруг вижу вдалеке клубится пыль, и вы на белом коне подъезжаете и кладете мне на стол отрубленную голову Плоткина.

* * *

Щурясь от солнца, Михаил Михайлович читал газету, вывешенную на стене. Он повернулся к Сане и сказал, что его приглашают в Союз писателей на встречу с английскими студентами.

— Видите, дорогой, меня опять начинают водить по паркету.

А когда на другой день я его встретила медленно идущего по Перовской, и он, повернувшись ко мне, глухо сказал: «Вот, Сильва, я опять проштрафился»,— у меня больно сжалось сердце. Я уже знала, что на встрече в Союзе англичане задали вопрос Зощенко и Ахматовой, согласны ли они с критикой в их адрес. Анна Андреевна, повернув свой гордый профиль, ответила, что она не обсуждает постановление своего правительства. Михаил Михайлович же взволнованно стал

объяснять, что он не может согласиться с тем, что он подонок, предатель и трус.

И когда я вспоминаю сейчас, как он шел, как старик, с трудом передвигая ноги, мне делается страшно.

* * *

Через несколько дней в Ленинград приехал Симонов, специально для того, чтобы уговорить Михаила Михайловича выступить на собрании и сказать несколько покаянных слов.

Зал был полон. Мы стояли в коридорчике недалеко от сцены, а Михаил Михайлович сидел там же на подоконнике и курил.

Он был не смуглый, как всегда, а какой-то желтый, с провалившимися глазами.

Симонов, в отличном серо-сиреневом костюме и в шерстяной рубашке темно-вишневого цвета, то и дело подходил к нему и что-то с жаром ему говорил, а Михаил Михайлович сидел с тоскливым, безучастным видом, держа в худой руке потухшую папиросу.

Я знаю, что он не хотел выступать. Но Симонов своего добился.

Сквозь раскрытую дверь в зал я вижу отчаянное лицо Михаила Михайловича. Он стоит на сцене, и я слышу, как, срываясь, с дрожью в голосе он почти кричит:

— Нет, я не подонок, нет, я не прохвост.

На возвышении, как на эшафоте, стоял такой беззащитный, такой ранимый писатель Михаил Зощенко и уверял других писателей, что он не подонок.

* * *

Так как постоянно мы жили в Комарово, мы стали реже видеть Михаила Михайловича.

При встречах он и раньше был немногословен, а теперь стал еще молчаливее. Меньше шутил. Глуше смеялся. Начал прихварывать.

Как-то мы были у него в другой маленькой квартире. Он плохо себя чувствовал. Болело сердце.

Он был один. Лежал, прикрывшись пальто. Рядом на стуле стояли пузырьки с лекарствами. В комнате было не прибрано. Везде, на столе и на книгах, лежала пыль.

Он был грустен и говорил:

— Я все думаю, Сашенька, что человеку надо вовремя умирать. Боже, как был прав Маяковский. Я, Сашенька, опоздал умереть. Умирать надо вовремя.

Мы сидели у него недолго. Боялись его утомить.

И ушли с саднящей болью в сердце.

В Комарово ходили слухи, что Михаил Михайлович болен.

Я встретила медсестру Литфонда, которая сказала:

— Еду к Зошенко, он очень плох. Ничего не ест.

Смерть его я скрыла от Сани. На похоронах мы не были. О похоронах Зошенко и обо всем, что там было, я знаю от друзей.

В ЭТОМ МНОГОСТРАДАЛЬНОМ ДОМЕ...

К тому времени, когда мы (наша семья) оказались соседями Зошенко, я был уже благодарным его читателем. В родительской библиотеке мне попался в руки журнал (кажется, 1924 года), в котором я прочитал несколько маленьких рождественских рассказов: про вора Ваську Хряща, напугавшего какую-то графиню и потом раскаявшегося, про нэпмана Егора Ньюшкина, «веселившегося вокруг елки, украшенной червонцами», про уборщицу Дуню и рабочего Егора, «говорившего мужественным в противовес аристократии голосом». Рассказы своим удивительным юмором привели меня в восторг. Было мне тогда восемь лет. С тех пор я с жадностью прочитывал все, что носило подпись М. Зошенко. Вскоре, в середине тридцатых годов, я неожиданно получил надежного руководителя по зошенковскому чтению в лице Цезаря Самойловича Вольпе, талантливого литературоведа и критика, интересно писавшего о Зошенко и еще более интересно толковавшего его за столом. В нашем доме Ц. С. был частым гостем.

И вот, к великой моей гордости, мы поселяемся в одном доме, в так называемой «писательской» надстройке над домом № 9 по каналу Грибоедова. Сам дом, солидный, некрасивый, казарменного вида, с огромным прямоугольным двором, принадлежал когда-то придворному конюшенному ведомству. Потом, кажется еще до революции, в нем охотно селились певчие и оркестранты, побуждаемые доступностью квартирной платы и близостью к месту службы (Малый оперный театр, а затем и филармония, капелла — в двух шагах). Вот этот-то дом и было решено над-

строить для ленинградских писателей. Для большинства переезжавших туда и живших крайне стесненно сооружение надстройки тянулось мучительно долго. Вечно чего-нибудь не хватало: то гвоздей, то досок, то еще чего-то. Но все же надстройку в конце концов закончили и заселили. Сооружение довольно нелепое: потолки низкие (в отличие от трех первых этажей, выстроенных когда-то для конюхов), окошки маленькие, но зато длиннющие унылые коридоры и какие-то бездарные закуты. Оттуда двери в квартиры. С Зошенко мы оказались не только в одном доме, но даже в одном подъезде (во дворе первый слева, сразу за глубокой аркой). Правда, на разных этажах: мы на пятом, Зошенко на четвертом. Его соседями оказались: Ольга Форш (та самая, в ту пору знаменитая, о которой В. А. Десницкий шутливо говаривал, что «ее сам Горький боялся»); Борис Корнилов, вскоре уничтоженный как «враг народа» и «шпион»; Валентин Стенич, также погибший в те зловещие годы; Я. Горев, сколько помню, замечательный тем, что в порядке освоения классического наследия измерял школьной деревянной линейкой величину реплик в пьесах Чехова, дабы держаться этой величины в своих собственных.

В этом многострадальном доме, историю которого следовало бы написать (сколько в нем проживало славных людей, сколько сгинуло в страшные тридцать седьмой — тридцать восьмой годы, сколько блокадных трагедий!), в этом подъезде Зошенко прожил до конца своих дней, то есть целую четверть века. Там я видел его несметное количество раз, не будучи ему представленным по малолетству. Впервые пожать руку «самому М. М.» я сподобился лишь где-то незадолго до финской войны в доме чудеснейших А. Б. Никритиной и А. Б. Мариенгофа, где я дневал и ночевал, приятельствуя с их сыном Кириллом, покончившим с собой еще школьником в марте 1940 года.

22 июня 1941 года началась еще более страшная война. Как-то незаметно молниеносно она придвинулась к самому городу. В августе начались воздушные налеты. Рытье окопов сразу за городом, укрытий в городе, дежурства на крыше. В подвале по нашему подъезду, где проживал известный всему огромному дому дворник Гриша, поставщик дров и заодно утренний вестник о ночных «опустошениях» тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, было устроено бомбоубежи-

ше. Никакого специального оборудования там не было, и походило оно на суетливый, крикливый и основательно грязный домовый клуб. Кроме постоянных жильцов дома появлялись там и гости, случайно забредшие, и добрые знакомые, иногда остававшиеся ночевать. Среди них — Анна Андреевна Ахматова. В этой пестрой, суматошной и не всегда сдерживающей эмоции толпе Зошенко неизменно выделялся своей внешней невозмутимостью, подтянутостью и благожелательностью даже к самым несносным. На природных паникеров — и на тех облик М. М. действовал умиротворяюще.

Вскоре, по решению городских властей, Зошенко был эвакуирован. Дом постепенно пустел. Кто успел уехать — уехал, кто погиб от голода.

Наша семья была вывезена на самолете в Москву в начале сорок второго года.

Там, в Москве, я снова увидел Михаила Михайловича. Зимой сорок третьего — сорок четвертого года. Я был уже вполне взрослым. Служил в армии и даже носил две лейтенантских звездочки. Встретились мы в Доме литераторов. М. М. пригласил меня в «Москву», где он остановился. Разговор был грустный. Собственно, даже не разговор, а монологические сетования на то, что произошло с повестью («Перед восходом солнца»), начатой печатанием в «Октябре». Рассказал он и о самом раннем замысле ее, о разговоре с Горьким (между прочим, рассказал о связке записей снов, которую показал ему Горький, полагавший, что все они не так уж случайны и что в них следовало бы научно вникнуть), о поддержке научной стороны повести со стороны профессоров Сперанского и Тимофеева, о лестных оценках художественных достоинств повести товарищами по перу. Больше всего М. М. расстраивало ренегатство этих последних. Как только на повесть была обрушена официальная брань — было велено провести «обсуждение». На обсуждении и выявилась истинная мера гражданской и профессиональной порядочности, выяснилось, что такое «друзья». Назывались разные имена, но особенно огорчил его В. Шкловский (а как бы расстроился М. М., когда бы смог предвидеть поступок Шкловского и других литераторов, поспешивших из Ялтинского писательского дома в редакцию местной газеты заявить свой «гневный протест» в связи с публикацией «клеветнического» «Доктора Живаго» за границей). Встреча была грустной. Но даже меня, тог-

да совсем не искушенного в литературных делах, поразила наивная уверенность М. М. в том, что в главном (декретированное осуждение повести) произошло какое-то досадное недоразумение.

Следующая встреча произошла при обстоятельствах уже совсем печальных. Летом сорок шестого года я демобилизовался и вернулся в Ленинград. Поступил на филологический факультет университета. С помещением было скверно, ютились вместе с востоковедами в красивом с фасада здании против Петра I, решительно непригодном для такого количества студентов. Учились фактически даже не в две, а в три смены. Последняя лекция кончалась поздно вечером. Время было тревожное, настороженное. Только что, как снег на голову, в конце августа — чудовищное по сути и непристойное по тону постановление о «Звезде» и «Ленинграде» с заборной бранью в адрес Зощенко и Ахматовой. Ну и, разумеется, соответствующие манифестации в учебных заведениях, Академии наук, многочисленных писательских организациях и прочих, преимущественно «культурных», заведениях. Домой, как правило, возвращался после полуночи (пешком по набережной Невы, через Дворцовый мост, по Невскому до Дома книги, а тут уж рукой подать). Подымаясь по лестнице (лифта тогда еще не существовало), на площадке между четвертым и пятым этажами на низком подоконнике выходящего во двор окна неизменно оказывался М. М. Рядом с ним — котомочка. В первую же такую нечаянную встречу, видимо, перехватив мой удивленный взгляд на котомочку, М. М. пояснил: «Не хочу, чтобы это произошло дома». Жутко подумать, сколько же таких мучительно бессонных ночей или полуночей провел этот благороднейший, совестью чистейший человек! Всякий раз я пытался хоть немного отвлечь или развлечь М. М. разговорами «ни о чем», какими-то университетскими сплетнями, новостями об общих знакомых. Заговаривать о чем-то серьезном мне почему-то казалось бестактным, тем более что М. М. охотно поддерживал этот разговор «ни о чем». Когда же нет-нет разговор все же соскальзывал на постановление, то М. М. уже не утверждал, что это «досадное недоразумение». Он недоумевал по поводу чудовищной нелепости обвинения, терялся в догадках, кому всерьез и по какой причине понадобилось это абсурдное действие. Возвращаясь в этой связи к теме «друзей» — а последовавшие за постанов-

лением времени с каждым днем давали все больше материала для развития этой «пушкинской» темы, — М. М. не без сарказма заключил, что единственно заинтересованные в постановлении — это сотоварищи по литературному цеху. Тут срабатывает инстинкт самосохранения. Разве, спрашивал М. М., даже наиболее честные из них не заинтересованы в нашем профессиональном или даже физическом небытии? Какого бы скромного мнения, продолжал свою мысль М. М., я бы ни был о своем месте в литературе, согласитесь, что на моем фоне имярек — беллетрист сомнительный... Или возьмите Михаила Афанасьевича Булгакова — кто же из них умеет так писать для театра?.. Конечно, я не хочу сказать, что они куда-то бегают и пишут на нас кляузы, нет. Но когда их спрашивают: «Что вы думаете о книгах такого-то?» — они пожимают плечами. Этого достаточно. Ага, хорош же этот тип, если собственные его друзья увиливают от ответа!

Со времени тех разговоров прошло более сорока лет. Я сознательно не заключаю слова М. М. в кавычки, как, впрочем, и не расшифровываю «имярек», ибо за ним стоят вполне почтенные литераторы, не обладавшие, однако, личным и профессиональным мужеством, но за смысловую точность передачи ручаюсь.

В последующие годы, до моего переезда в Москву в 1950 году, мы виделись с М. М. довольно часто и уже не на лестнице по ночам, а у нас дома, в квартире на пятом этаже. В те годы (после 1946-го) родители мои душевно сблизились с М. М. То, что мне запечатлелось в облике М. М., те его суждения, которые отложились в памяти во время этих встреч, мне хотелось бы соотносить с некоторыми им написанными страницами. Постараюсь осуществить это в недалеком будущем.

ТОТ САМЫЙ ЗОЩЕНКО

Недалеко от входа в Екатерининский сад стоял столик. За столиком на табуретке сидел безбровый старик. Это был графолог. И, как постоянно предупреждал он сам, в недалеком прошлом он носил пышную бороду и занимал очень высокий пост.

Каждому, кто подходил к нему и спрашивал, что значит слово «графолог», он отвечал очень пространно: «Графологи определяют прошлое и будущее, узнают характер человека. Я занимаюсь тем же самым за небольшую плату. Я расскажу вам о вашем характере, чем следует гордиться, о чем лучше помолчать. Так что платите рубль, и вы через десять минут узнаете о себе то, о чем вы никогда бы не узнали». Говорил он серьезно, но, боясь, что его не поймут, гордо повторял: «Я расскажу вам все с исчерпывающей полнотой».

Вот к нему и обратился Михаил Михайлович Зощенко, когда мы, прогуливаясь по Невскому проспекту, забрели в сад.

Я не помню весь текст, что написал графолог, но один абзац, последний, произвел на меня «сильное» впечатление. Было там почти дословно следующее: «В настоящее время вам не везет, но в недалеком будущем вам повезет очень сильно. В любви вы не очень удачливы. Избегайте бездетных вдов и женщин, играющих на различных инструментах. Ваша профессия связана с административной деятельностью, и от этого зависит вся ваша жизнь. Здесь вас ждет приятный сюрприз и увеличение зарплаты».

В тот момент, когда графолог писал эти слова, к столу подошла женщина преклонных лет. «Ты что де-

лаешь?— обратилась она к графологу.— Это же Зо-щенко!.. Простите, Михаил Михайлович!»

Услышав эти слова, графолог достал кошелек, куда он уже успел положить полученный «гонорар», и молча вернул деньги. «Простите, пожалуйста, Михаил Михайлович,— еще раз повторила женщина,— и не пишите о нас. Стыдно будет людям в глаза смотреть!»

Журнал «Бегемот»— сатирическое приложение к «Красной газете»— по-настоящему стал популярным лишь тогда, когда его фактическим редактором стал Михаил Михайлович Зощенко. И именно в редакции «Бегемота» познакомился я с Михаилом Михайловичем. Я сотрудничал в «Красной газете» и принес в «Бегемот» свой первый юмористический рассказ. Через неделю я получил записку на «бегемотском» бланке: секретарь редакции и ее постоянный сотрудник Николай Николаевич Черный сообщал, что рассказ вообще нравится, но его надо сократить. В конце следовала приписка: «Товарищ Михаил Левитин, мне поручено сократить Ваш рассказ, один я это сделать не решаюсь, но Вы не расстраивайтесь. Приходите в редакцию, где я бываю пять раз в неделю и жестоко расправляюсь со всеми поступающими рассказами». И подпись: «М. Зощенко».

На другой же день я, страшно волнуясь, рано утром пришел в редакцию. В кабинете редактора, кроме Н. Н. Черного, сидел молодой, но очень серьезный на вид человек. Обращали на себя внимание его удивительно печальные глаза.

Поздоровавшись с Николаем Николаевичем, я как-то нерешительно подошел к столу этого серьезного человека.

— Давайте знакомиться — Михаил Зощенко.— И он протянул мне руку. Я неуверенно назвал свою фамилию.— Я так и понял,— заметил он.— Ну так вот, хочу предупредить вас, разговор пойдет серьезный, деловой. Садитесь и слушайте, что я скажу. Мне рассказ нравится. Если мы выкинем из него все ненужное, то, видимо, в ближайшем номере вы уже сможете его прочесть. Я бы на вашем месте, прежде чем ошеломить своим творчеством читателя, сократил его хотя бы наполовину... Оставьте в покое свою кепку. Это же не носовой платок!

Говорил он негромко, несколько глуховатым голосом и в то же время как-то задушевно, что так не вязалось с его возрастом.

Несмотря на мягкое обращение, волнение мое усилилось и руки непроизвольно продолжали мучить кепку. Михаил Михайлович вздохнул и сочувственно посмотрел на меня.

— Вы читаете наш журнал?— обратился он ко мне.

К моему стыду, я был подписан на московский журнал «Крокодил», а «Бегемот» читал лишь время от времени, как попадет в руки. О чем я ему и сообщил.

— Вы не расстраивайтесь,— сказал он,— я ведь не редактор. Мне ваш рассказ дали на прочтение, он показался мне интересным. Но боюсь, что читатель не разделит моего мнения.

Я сидел бледный и не знал, что сказать.

— Может быть, вам воды дать?— спросил он.— Вы не думайте, ваше состояние мне знакомо. Я до сих пор, когда приношу редактору свой рассказ, сильно волнуюсь. А вам нравится мой рассказ насчет любви?

Речь шла о рассказе Зощенко «Аристократка», который незадолго до этого был опубликован в недавно «скончавшемся» «Красном вороне» и сразу же стал очень популярным.

Несколько оживившись, я с готовностью спросил:

— Хотите, я вам его прочту? Я его наизусть знаю.

— Ну что ж, прочтите,— ответил он,— но только имейте в виду, что все, кому он нравится, считают, что начало несколько грубовато. Но мне думается, что эта грубоватость просто необходима, особенно в начале. Такой уж этот человек, от лица которого ведется рассказ... Впрочем, не будем отвлекаться. Давайте лучше кромсать ваше произведение. Вы только, пожалуйста, перестаньте дрожать...

Глядя, как он перечеркнул две начальные страницы моего рассказа, я еще крепче вцепился в подлокотники кресла и окаменел уже окончательно.

— Это еще что,— сказал он.— Главный сократитель не я, а наш редактор Петр Иванович Чагин. Посмотрим, как он к вашему рассказу отнесется,— говорил, а сам продолжал время от времени перечеркивать куски и даже целые страницы моего первого детища.

Когда рассказ почти наполовину «похудел», он неожиданно сказал:

— Вы здесь посидите, а я сбегаю к главному редактору и покажу ваш рассказ.— И, обратившись к Н. Н. Черному, решительно сказал: — Ждать не будем. Я иду к редактору, а вы посторожите этого очень нервного автора, чтобы не убежал. С ними бывает и такое.— И вышел из комнаты.

Ждать его возвращения долго не пришлось. Минут через пятнадцать Михаил Михайлович возвратился со словами:

— Поздравляю! Ваш рассказ пойдет в ближайший номер... С вас полдюжины пива,— весело прибавил он,— лично я пью только бархатное.

Первое, что меня поразило в нем, это то, с каким вниманием и, я бы даже сказал, с какой отеческой симпатией отнесся он к начинающему юмористу.

С этих самых пор наши с ним отношения переросли в тесное знакомство и как-то незаметно вылились в крепкую дружбу, несмотря на разницу в годах.

И появлением своей первой книги «Советский американец» я обязан Михаилу Михайловичу. Однажды он спросил меня, почему, постоянно публикуясь в различных сатирических изданиях Ленинграда, я не издам отдельную книжку. Я ему честно признался, что не уверен, что мои произведения дают мне право на отдельный сборник. На что Михаил Михайлович ответил мне: «Ну, если ты, братец, не уверен, так тащи все, что у тебя есть опубликованного, я сам соберу тебе книжку».

Так появился на свет первый сборник моих рассказов. О самом факте издания моей первой книжки я узнал при нескольких необычных обстоятельствах... Однажды секретарь редакции «Красной газеты» А. Кудинович сказал мне, что Петр Иванович Чагин просит меня явиться к семи часам вечера в его кабинет. Когда я вошел, то, кроме редактора, увидел тут же находящихся Кудиновича, Черного, Волженина и Зощенко. Петр Иванович, как всегда улыбаясь, кивнул мне и сделал знак Михаилу Михайловичу: мол, говорите!.. И тут я понял, что подписана к печати моя первая книжка. Присутствовавшим предлагалось отметить рождение нового писателя-сатирика. Петр Иванович объявил, что по такому случаю в большом зале редакции будет накрыт стол и устроено чаепитие без подачи алкогольных напитков. Это «мероприятие» мне помнится до сих пор. Позже я узнал, что было оно организовано Михаилом Михайловичем...

Зощенко производил на людей впечатление тихого, даже несколько застенчивого человека. Но, когда надо было помочь кому-нибудь, он неизменно проявлял последовательность и твердость.

Много времени и энергии Михаил Михайлович тратил, отвечая на письма, которые приходили к нему от читателей и почитателей, где кроме восторгов и критики содержались конкретные просьбы о помощи в различных жизненных коллизиях.

И он помогал. И помощь эта была действенной, потому что авторитет и популярность его были необычайно велики.

Когда вышла из печати его книга «Уважаемые граждане», в редакцию стали приходиться люди, которые никогда прежде в своей жизни не переступали порог ни одного издательского учреждения. Приходили и просто заглядывали, чтобы увидеть «того самого» Зощенко.

А были и такие, которым «просто взглянуть» было недостаточно, они протягивали Михаилу Михайловичу свой блокнот и просили написать что-нибудь «своим подчерком». Михаил Михайлович, сдерживая улыбку, обычно спрашивал: «А что вам лучше написать?» Иные на этот вопрос отвечали пожатием плеч, но были и такие просьбы: «У нас на заводе, если я расскажу, что разговаривал с вами, никто не поверит и потребует какого-нибудь доказательства. Вот напишите, пожалуйста, свою фамилию и распишитесь два раза».

Один весьма пожилой посетитель сказал: «Мою фамилию не пишите, а обратитесь к моей жене, Ольге Петровне: „Дорогой Ольге Петровне Кукурекиной от самого веселого человека во всем мире и его окрестностях“».

А однажды какой-то высокорослый мужчина в пенсне и видавших виды перчатках попросил написать следующее, причем «желательно химическим карандашом»: «Дорогая Серафима Николаевна, без доверия нет человеческой жизни. Не сомневайтесь в серьезности чувств, высказываемых вашим знакомым Ильешей, когда он говорит, что в случае отказа, пребывающего в вашем сердце в ответном чувстве, он способен прекратить существование на ваших добрейших глазах».

Среди посетителей, желавших посмотреть на популярнейшего автора «Бегемота», были не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Как-то пришла девушка лет семнадцати, похожая на гимна-

зистку, и, краснея, спросила Михаила Михайловича: «Можно я вам оставлю рассказ, а дня через три приду за ответом?»

Она действительно пришла через три дня. «Скажите,— спросил Михаил Михайлович,— вы раньше сочиняли что-нибудь юмористическое?» «Сочиняла»,— ответила посетительница. «А много у вас насочинено?»— «Немного, штук сорок будет»,— последовал ответ. «И что же вы с ними делали?»—«Читала родным и знакомым».—«И что же они говорили?»—«По-разному. Один дядя посоветовал прекратить это пустое занятие, а другие советовали обратиться к врачу, желательно по нервным болезням».

— Словом,— резюмировал Михаил Михайлович,— я чуть было с ней не зарегистрировался, но вовремя вспомнил, что уже женат.

С первых дней войны я уехал на Северный флот, а Михаила Михайловича эвакуировали в Алма-Ату. После возвращения в Ленинград наши добрые отношения возобновились. Но после сталинско-ждановского постановления встречались реже. При встречах он ни на что не жаловался. О своих болезнях не говорил, к врачам не ходил, но было видно, как много сил и здоровья отняла у него радио-газетная брань.

Пожалуй, самым тяжелым во всей этой трагической «эпопее» явилось для Михаила Михайловича поведение его друзей. От него не только шарахались, случайно встретив на улице, но и отрекались публично. Потом, когда опала была снята, некоторые из вчера отрекшихся от него, каялись и просили прощения. Помню, Михаил Михайлович говорил, что из Москвы приезжал В. П. Катаев и убеждал, что он не виноват, что его вынудили, заставили, что самому ему в голову не пришло бы написать такое... Свой рассказ о его приезде добрейший Михаил Михайлович закончил так: «И я его простил. А что с него возьмешь?»

И горькая усмешка тронула его губы.

СЛАВА — ЭТО ВДОВА

Красивое смуглое лицо, темные глаза с поволокой... Невысокий и очень изящный человек.

Все в нем вызывало во мне чувство уважения и восхищения.

Он был всегда хорошо одет. В его одежде не было вызывающего шегольства, ничего не выглядело с иголочки, даже галстук, но все было очень хорошо сшито и прекрасно смотрелось.

Смуглое лицо могло быть таким от отравления ипритом в войне 1914 года, а может быть, это был цвет кожи, унаследованный от предков. Михаил Михайлович говорил мне, что фамилия Зощенко происходит от слова «зодчий». Кто-то из предков, то ли дед, а вернее — прадед, был архитектор-итальянец, работавший в России — на Украине. По обличью Михаила Михайловича вполне можно было это себе представить...

Познакомились мы, когда мне было восемнадцать лет. Я училась на графическом факультете Академии художеств, на отделении газеты, журнала и детской книги. На втором курсе меня направили на практику в редакцию «Бегемота». Был такой юмористический журнал в Ленинграде.

Редакция располагалась в двух маленьких комнатах, отделенных от витой каменной лестницы застекленной дверью. Находилось это в недрах Апраксина двора. Я не помню, кто был главным редактором, но художественную часть вел Николай Эрнестович Радлов, столетие со дня рождения которого 10 октября 1988 года отметил Ленинградский союз художников выставкой его работ и вечером памяти. В редакции я оказалась в талантливом, живом коллективе прекрасных художников и остроумных литераторов.

При всей непринужденности обстановки журнал делался с энтузиазмом и получался веселым, остроумным и талантливо иллюстрированным.

Единственной дамой в этом коллективе была секретарь Любовь Михайловна Козелова, она же представляла собой партийную часть — среди художников, во всяком случае. Все относились к ней с большим почтением и, по-моему, с искренней симпатией. Здороваясь, целовали ручку. Конфликтов по темам, при мне, во всяком случае, не возникало. Что говорить — это был слаженный коллектив образованных, хорошо воспитанных и культурных людей.

То, что я попала в «Бегемот» на практику, длившуюся всего месяц, я считаю большой для себя удачей. Меня пригласили на обсуждение очередного номера журнала, где решалось художественное оформление и подписи к рисункам. Из литераторов присутствовали А. Флит и Михаил Михайлович Зошенко. Зошенко сидел на одном из редакционных столов, положив ногу на ногу. Рядом лежала его кепочка. Кстати, я никогда не видела Зошенко в шляпе.

Сидел он молча, вероятно, обдумывая нужные к рисункам подписи и не включаясь в обсуждение, но не обратить на него внимания было невозможно — при всем разнообразии и интересности всех собравшихся он был особенный.

С этого собрания Михаил Михайлович пошел меня провожать, и так началась наша семилетняя дружба, прервавшаяся трагическим поворотом моей судьбы и никак не заслуженной бедой Зошенко.

С концом моей практики журнал «Бегемот» закрылся. Кто-то решил, что незачем Ленинграду иметь свой юмористический журнал.

Было это бесконечно огорчительно. Мы вышли все вместе на каменную витую лестницу, и Михаил Михайлович приклеил с внутренней стороны стеклянной двери тут же им сочиненное и написанное на бумажке четверостишие.

Никак не могу вспомнить двух первых строк, зато две вторые запомнились:

...Где прежний блеск былых побед
Увы! закрыто на абет.

(с такой орфографией).

Стали закрывать и другие журналы Ленинграда. Кто-то, начисто лишенный чувства юмора и уважения к нашему городу, разрушал его культуру, разъединял авторские коллективы.

Но дружба моя с Михаилом Михайловичем не кончилась.

Я думаю, ему было забавно и интересно знакомить меня, еще почти девочку, с недоступными и неизвестными мне ранее очень приятными сторонами жизни. Михаил Михайлович был первым мужчиной, пригласившим меня в «Асторию» поужинать.

Помню, мы угощались котлетками «минуты». Такого теперь не бывает. Это были котлеты из рябчиков, из каждой торчала рябчиковая ножка с коготками. Было ли вино, не помню. Два молодых негра в белых атласных костюмах с пестрыми поясами плясали между столиками в ярких лучах прожекторов. Очень был запоминающийся вечер. Как можно в восемнадцать лет не восхищаться такими радостями и тем, кто их доставляет? А доставлявший радости был на редкость добр и мягок в обращении — я не помню в его поведении ни одного «фо па»¹, ничего похожего на малейшую бестактность, ничего, в чем был бы хоть малый оттенок грубости. И тем не менее это был чисто мужской и мужественный характер. Никакой сладости в словах и действиях этого человека не было.

Меня пригласили в гости к Зошенко; я познакомилась с Верой Владимировной и с Валей (сыном Михаила Михайловича), еще школьником старших классов.

Это были годы расцвета, славы и популярности Михаила Михайловича.

Как хорошо, что был такой период большой и заслуженной удачи в этой жизни, хотя счастливым Михаил Михайлович, по-моему, никогда себя не чувствовал. В нем не было никакого высокомерия, никакой горделивости, хотя цену себе он, конечно, знал. Его переводили на многие языки, даже на японский. Уж не знаю, как по-японски можно перевести, например, «с гулькин нос». Но книжка выглядела очень почтенно и красиво, в твердом переплете, с черным рисунком на желтом фоне.

Меня всегда поражало, и я полагаю, это было одной из причин печали Михаила Михайловича, что боль-

¹ От фр. faux pas — оплошность, неловкость.

шинство читателей воспринимало его рассказы, благодаря, конечно, форме изложения (а что бы было без этой так удачно найденной формы?), — воспринимало его творчество как желание рассмешить, и только. На самом же деле это ведь не так. Какой ни возьми рассказ, он полон боли и огорчения за бедную, дикую жизнь, за бескультурье и темноту. «Можете скушать одно пирожное» («Аристократка»). А рассказ, где сторож парка, с поленом в руке, крича и ругаясь, гонится за велосипедистом, поехавшим не по той дорожке... и автор надеется, что наступит время, когда ему ласково скажут, где надо проехать, и поднесут при этом букет незабудок. Драка в коммунальной кухне, порошок для истребления блох, оставленный уехавшим иностранцем и принятый за косметику. Электричество, осветившее наконец квартиру жившего при керосиновых лампах: «Посмотрел я на свое канапе, ну и канапе!» Да что ни возьми...

Даже и в мои восемнадцать лет я прочитывала эти рассказы с тоской в душе и воспринимала как борьбу с мешанством и духовной нищетой.

Бывая в доме у Михаила Михайловича, я поражалась тому, как, при всем его материальном благополучии в то время, сам он жил очень скромно. Вход в его комнату был через отделявший ее от общей передней тамбур, который был изолятором от нежелательных шумов и внезапных вторжений. Он жил вместе с семьей и в то же время отдельно.

Обставленная без всяких претензий, кроме элементарных удобств, комната, светлая, в два окна. Никелированная обычная кровать, полки с книгами, неприглядное бюро. Конторка, за которой работают стоя. На бюро под стеклом маленькая фотография красивой молодой женщины в большой шляпе моды 1914—1915 годов. Михаил Михайлович сказал мне, показав этот портрет, что когда-то он очень любил эту даму и что живет она за границей.

Зато комната Веры Владимировны, показанная ею, поражала роскошью обстановки. Белая французская спальня, обюссон на весь пол и шкура белоснежного медведя у кровати, на геридонах большие группы саксонского фарфора.

Невероятная разница между вкусами супругов и их отношением к вещам поражала и свидетельствовала

о том, сколь непохожие друг на друга люди соединили свои судьбы под одной крышей. Михаил Михайлович был очень добрым и щедрым человеком и, думаю, никогда не препятствовал желанию Веры Владимировны обставлять свою жизнь так нарядно, когда появилась эта возможность.

Вера Владимировна увлеклась антиквариатом. Помню, в один из визитов я застала в столовой обнову — красивый старинный шкаф-бюро маркетри.

Наверное, в наступившее потом тяжкое время, когда Зошенко перестали печатать, все эти вещи были проданы и временно выручали семью, находившуюся в нужде.

В комнате же Михаила Михайловича ничего не менялось, не прибавлялось, не уменьшалось, и это, видимо, его вполне устраивало. Я не знаю, бывали ли где-нибудь супруги вместе. У меня сложилось впечатление, что Зошенко предпочитал или одиночество, или общество друзей-литераторов, или женщин, которые ему были интересны. Он дружил со своим соседом по площадке Валентином Осиповичем Стеничем, человеком прекрасно образованным, живым, хорошо знавшим поэзию, переводчиком Дос-Пассоса и Джойса.

Михаил Михайлович свято чтит долг главы семьи. Сына Валю он, конечно, избаловал деньгами, видимо щедро выдаваемыми на карманные расходы. Валю, совсем еще юного, встречали в компании сверстников в дорогих ресторанах, где он чувствовал себя как дома.

При всем равнодушии к вещам сам Михаил Михайлович хорошо разбирался в старине и любил делать своим друзьям милые, ни к чему не обязывающие подарки.

В то время я собирала кое-что из русского кустарного искусства. Зная это мое увлечение, он время от времени дарил мне то старинную лакутинскую табакерку под черепаху (это было редкостью), то персидские четки, то красивую шкатулочку (тоже русский лак) с «Демьяновой ухой» на крышке, то старинный вязаный кошелек XVIII века. Я очень дорожу этими вещицами, которые дарились так, между прочим; было видно, какое удовольствие он получает, доставляя радость.

В нем была какая-то нежная доброта. Помню, мы вечером гуляли, навстречу по пустынной улице шел, горько плача, маленький мальчик. Михаил Михайлович

стал его утешать и, вынув из кармана шоколадку в серебряной бумажке, вручил мальчику. Я тогда подумала: неужели для таких случаев он носит в карманах шоколадки? Наверное, носил.

Я уже писала, что вряд ли в этот, казалось бы, вполне счастливый отрезок жизни Зошенко чувствовал себя счастливым. Его терзала жестокая неврастения, и он пытался сам избавиться от этих страданий, иногда надолго обрекавших его на добровольное одиночество и бесконечное разматыванье клубка своих ощущений и переживаний, начиная с раннего детства, в надежде найти причину и источник своей болезни и наконец побороть ее.

Повесть «Перед восходом солнца», которую он хотел вначале назвать «Ключи счастья», была начата в тридцатых годах. Я помню, как Михаил Михайлович читал мне уже написанные ее фрагменты — о том, как в младенчестве, еще грудным ребенком, он был испуган ударом грома, о неудачном купанье в том же возрасте и навсегда поселившейся в нем неприязни к купаньям.

И «Возвращенная молодость», и «Перед восходом солнца» — результат бесконечных самоанализов, воспоминаний, сопоставлений и размышлений о работе мозга и нервной системы человека. Периоды депрессии, в которую время от времени впадал Зошенко, длились иногда подолгу, и казалось, выхода из них нет. Но вот наступали дни, когда вдруг хотелось пойти в театр посмотреть Утесова, или раздавался телефонный звонок, и меня приглашали днем в ресторан, где дают клубнику со взбитыми сливками. Мрачная занавеска раздвигалась, и вновь видно было, что солнечно и что есть какие-то радости в жизни.

У меня сохранилось несколько писем, написанных Михаилом Михайловичем в тяжкие периоды неврастении, когда ему никого не хотелось видеть и ни с кем общаться.

Привожу характерные цитаты.

Лето 1929 года:

«Нахожусь в некоторой меланхолии, а потому не позвонил, как собирался.

Не браните нас, дорогая душечка, — мы и сами не рады, что снова нас посетила хандра...

Просьба не забыть нас в нашей немощной старости».

Из другого письма, 1931 года:

«Я было согласился на свой вечер в Политехническом институте (Москва), но в последний момент струсил и отказался.

Не то чтобы струсил, но уж очень не люблю на публику выходить, смотреть будут, а я мрачноватый, и вообще нехорошо как-то».

12 января 1931 года:

«Я много работал это время и по этой причине очень похудел, пожелтел и подурнел».

Надо сказать, что, выбравшись из очередного нервного спада, Михаил Михайлович очень хотел выглядеть получше и свежее, запудривал усилившуюся на лице желтизну и чуть-чуть подкрашивал губы.

И вот еще — из письма от 1 января 1937 года:

«Я чертовски болел эту зиму. Теперь несколько лучше, но все еще не в себе».

Если кто-то Михаилу Михайловичу не нравился, он говорил: «Я не могу видеть вокруг себя этого человека». Но если кто-то был ему мил, он был всегда очень приветлив и, мне думается, боялся обидеть небрежением.

Как-то зашла речь о супружеской неверности. Мне было сказано, что, если такое случится и муж заподозрит, ни в коем случае не признаваться. Как сейчас помню, Михаил Михайлович сказал: «Ногти будут вырывать — молчите, ибо в отношениях образуется неистребимая трещина».

Тридцать седьмой год стал роковым в моей жизни.

В январе был арестован мой муж, исчезнувший — как и не было. А в первых числах сентября была арестована я. Пять лет лишения свободы как члена семьи изменника Родины. А потом война. До особого распоряжения выехать из Сибири было нельзя.

Я была вырвана из семьи, разлучена с близкими и друзьями, лишена любимой работы, хотя в 1942 году срок мой кончился, я работала уже вольнонаемной в районном центре в клубе. Писала только домой, потому что не была уверена, что моих писем кто-нибудь прочтет. Репрессированная.

В 1946 году я вернулась в Ленинград, прописали в Луге, но некоторые издательства помнили меня и работу мне давали.

В городе я бывала часто. Но мое положение не позволяло мне возобновлять прежние дружбы, чтобы ни-

кому не навредить. Тем не менее незапланированные встречи с Михаилом Михайловичем на Невском иногда происходили. Когда разразилась беда над Михаилом Михайловичем и А. А. Ахматовой, семье Зошенко приходилось очень тяжело. Об этом много написано. Сам он был бесконечно оскорблен. Его отменное мужество, с которым он отстаивал свои позиции, вызывало у меня восхищение и страх за него. Я знала его как человека храброго и отважного.

В те времена он был, пожалуй, один в поле воин. Мало кто решался поддерживать с ним отношения. Я боялась встретиться с ним преднамеренно. Боялась и за него, и за себя. Мы оба были люди скомпрометированные.

Как-то в одну из встреч на Невском он сказал мне: «Звонили из «Крокодила» (журнал «Крокодил» он в шутку называл «Наши достижения») и предложили в каждый номер давать фельетон на положительном материале». Этой возможности Михаил Михайлович не использовал.

Горько и обидно до слез, что по-настоящему поговорить больше не пришлось. Жизнь человеческая, увы, коротка. Насколько бы сейчас могла дополниться «Голубая книга»! «Слава — это вдова» — кто сказал, не помню, — и вот она снова вернулась к Зошенко.

Я была на его похоронах в Сестрорецке...

Все же хорошо сознавать, что и при жизни было у него счастливое время заслуженной славы, признания и благополучия.

Думаю, что сейчас круг читателей, понимающих его по-настоящему, конечно, расширился и он воспринимается не только как писатель — насмешник и развлекатель, но и как тяжело переживающий наши беды патриот и неутомимый борец со злом.

ЛОСКУТЫ ПАМЯТИ

Вероятно, это было в конце 1929 года. Мы с нашим другом, Валентином Стеничем, пошли на свадьбу моей школьной подруги, и почему-то с нами был Зощенко. Семья была близка только мне — из разбогатевших комиссионщиков. Зощенко держал себя свободно, говорил девицам банальные комплименты. Гости спрашивали меня шепотом: «Который Зощенко, который? Покажи». Он был очень знаменит в то время.

Обратно мы шли Марсовым полем с Петроградской стороны. Николай Корнеевич со Стеничем впереди, я с Зощенко — позади. Редкие снежинки медленно опускались. Ощущение нежности охватило не только меня. Зощенко очень любил Стенича, они называли друг друга «Амадеус» и «Теодор». «Валя — он же нежный, как женщина», — говорил мне Зощенко. И выражение лица его становилось нежным.

В те годы Зощенко катался на коньках и звал с собою Стенича на каток. «Ну как я на своих утлых интеллигентных ногах стану кататься на коньках?» — недоумевал Стенич.

* * *

Однажды у нас была шумная, убогая и для всех веселая вечеринка. Был и Стенич с Любой, женой нэпмана, ставшей впоследствии его женой, очень хорошенькой дамочкой.

— Марина, это вы сказали Вале, что я целовался с Любой? — подошел ко мне Зощенко.

Маленький, сухой, очень пропорционально сложен-

ный, блестя лаком черных волос, высоко подняв плечи. У него были тонкие запястья и небольшие, сухие, но крепкие, очень мужские руки.

Я ничего Стеничу не говорила и от неожиданной обиды заплакала. Он очень смутился, стал гладить меня по голове, утешать.

* * *

Я хорошо запомнила день 22 марта 1931 года. В ту зиму мы увлекались лыжами. Я осталась дома из-за болезни ребенка, Николай Корнеевич уехал. Солнечно, весна, развезло. Вдруг — звонок. Пришли будущая жена Стенича — Люба, ее кузина и Зошенко.

— Сегодня арестовали Валю. Я помчалась к Мише Зошенко. Он совершенно убит, расстроен: «Ну пойдите в тюрьму...»—«Зачем?»—«Попросим, чтобы ему передали хотя бы папиросы...»

Люба, понимая, что это бессмысленно, пошла все же. Подошли к часовому. «Вот что, голубчик,— сказал Зошенко,— тут у вас один мой друг, сегодня привезли. Так нельзя ли ему папиросы передать, ведь он без курева, а? Пожалуйста». Часовой посмотрел на него как на безумца. Зошенко был подавлен, огорчен таким нечеловечным отношением в пустяках, как ему казалось.

* * *

Кажется, это было в 1939—1940 году. Был какой-то вечер в Доме Маяковского. Я очень уверенно и возбужденно чувствовала себя в черном бархатном платье. И в перерыве вдруг поймала Зошенко и со странным увлечением стала говорить ему о том, как поэтичны, печальны, правдивы и человечны его повести и что это есть самое главное в его творчестве. Ему было очень приятно. Он слушал молча, чуть улыбаясь своей прекрасной улыбкой, открывавшей белые зубы, и что-то как будто дрогнуло в его вечно печальных глазах, обведенных коричневыми тенями. «Спасибо, спасибо... Да, вы правы...»— сдержанно отвечал он, а лицо все светлело и светлело.

Потом вспоминаю его после 46-го года. Он был у нас, приехав в Москву. Возможно, это было в начале 52-го года или в конце 51-го. Кажется, был вместе с Козаковым. Держался с огромным достоинством, очень был бледен и очень печален. Кажется, ему было приятно — он любил и Козаковых, и Николая Корнеевича. Уже был переведен Лассила, имел успех.

— Знаешь, Коля, ведь я встретил *** на улице, и он забормотал: «Ты понимаешь...» — и перебежал на другую сторону. — Он усмехнулся — глаза печальные и прекрасные. — А я нисколько не обижаюсь на него, напрасно он думает... — Улыбка сошла, глаза невыразимо печальны.

— Ш. когда-то мне сказала при встрече: «Миша, моя сберкнижка — ваша. Когда нужно...» И сунула мне в руки двести рублей¹. Знаешь, как докторам суют. — Он снова усмехнулся. — А зачем мне ее двести рублей? Я и сам могу дать ей...

Жил он у Л., с женой которого у него был роман в двадцатых годах.

— У них были гости, и она, чтобы хвастнуть перед гостями, стала рассказывать, как я брал ее с собой в театр. А сама забыла, как только что сказала, что родилась в 1912 году. Выходит, что ей было всего одиннадцать лет. Так зачем же я стал бы брать ее тогда в театр?

И широко улыбнулся — одним ртом, глаза по-прежнему печальны.

Одет был опрятно. Помню, обратила внимание на грубые шерстяные носки — зима. В руках вертел свои неизменные янтарные четки — против печени.

Не жаловался, ни о ком не говорил зло или дурно.

В 1956 году, на шестидесятилетнем юбилее Евгения Шварца, я сидела рядом с Зошенко. Я спросила его: «Миша, вы можете вспомнить, что когда-нибудь кому-то сделали зло?» Он задумался. «Нет. Я никогда никому сознательно ничего злого не делал». Тогда же он сказал: «Я ничего не могу больше. Мне предлагают то

¹ В то время — 20 рублей.

да се. А я не могу. Только бы прожить. Вот Коля (Николай Корнеевич) мне удивительно умно сказал: «Ты теперь не волен со своими книжками, они живут своей жизнью». Все так, но зачем мне такая судьба?»

* * *

В последний раз видела его 2 апреля 1958 года. Он был у нас. Приехал в Москву со Слонимским, вызвала семья Пешковых на горьковские торжества. Он остановился у В. Лифшица. Николай Корнеевич поехал за ним. Были Зоя Никитина и жена Каверина, Лидия Николаевна Тынянова. Может, оттого, что оказался в домашней обстановке, среди давно хорошо ему знакомых доброжелательных людей, — был мил, прост, умен, как прежде. Все обратили на это внимание. Много рассказывал.

Рассказал когда-то поразившую его историю. В 1937 году командующий Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Белов, понимая, что ожидает его и его семью, решил застрелить свою жену и детей. Это было на даче. Стал стрелять из нагана, жена с детьми, думая, вероятно, что он сошел с ума, спряталась в комнате за печкой, закрыв двери. Тогда, сообразив, он выскочил, залез на дерево и стал их обстреливать в окно. Окаменевшая охрана не смела шевельнуться. Не попал. Вскоре был арестован. Дочь его погибла в дурдоме. Сын выжил — заикается. Сын все это рассказал Зошенко. Впоследствии им многое вернули, но генерал Белов был уничтожен.

Рассказывал Зошенко скупое, просто, без всяких эмоций. Очень нежно, какой-то оттаявший, простился со всеми, сказал, что ему было очень хорошо у нас.

Через три с половиной месяца он умер.

ТАКОЙ ОН БЫЛ...

В 1929 году я окончила школу и хотела поступить в медицинский институт, но вынуждена была устраиваться на работу. В медвуз тогда принимали с восемнадцати лет, а мне было только шестнадцать. И вот я сидела в гонорарном отделе «Красной газеты» и выдавала квитанции на получение денег.

Сажу, выдаю. И как-то подходит к моему столу человек и, не называя себя, стоит, ждет. Я спрашиваю: «Как ваша фамилия?» А со всех сторон мне шипят: «Зош-щ-щенко, Зош-щ-щенко...» Но я никак не могу разобрать и опять спрашиваю... Словом, когда он получил квитанцию и вышел, чтобы занять очередь в кассу, я не удержалась и побежала за ним в коридор — еще раз на него посмотреть.

Через некоторое время меня перевели в редакцию журнала «Вестник знания». Редакционная работа мне очень понравилась, все было интересно: гранки, верстка, чистые листы... И я пошла учиться в редакционно-издательский техникум. Закончила, стала работать техническим редактором, а позднее — художественным редактором. Это уже было в Гослитиздате. Там, в коридорах Гослитиздата, в 1935 году я и познакомилась с Михаилом Михайловичем.

Мы стали иногда видеться — Михаил Михайлович и я с мужем. Ходили в Дом кино, в театр. В 1938 году мой муж (он был инженер, работал в оборонной промышленности) трагически погиб, испытывая какое-то взрывное устройство. Мне было очень плохо, и Михаил Михайлович, чтобы помочь мне прийти в себя, стал часто бывать у нас вечерами. В моей комнате был камин, Михаил Михайлович садился возле него в кресло

и занимал меня разговорами о повести, которую писал и которую называл «Ключи счастья». Он мог говорить о ней без конца. На протяжении всех предвоенных лет он только о ней и думал, только о ней и говорил. Это была постоянная тема его разговоров. Черновой вариант повести был закончен еще до войны. Тогда же она получила и окончательное название — «Перед восходом солнца».

Но, конечно, участие Михаила Михайловича в тогдашней моей жизни не ограничивалось только умными беседами у камина. В то время модно было ходить на футбол. И мы ходили. Иногда в компании с Д. Д. Шостаковичем и В. В. Лебедевым. Они были настоящие болельщики. Шостакович «болел» отчаянно, вел себя как мальчишка — вскакивал, кричал, размахивал руками. А Михаил Михайлович болельщиком не был. Он вообще не был азартным человеком. Хотя ходил не только на футбол, но и на бега. И в карты играл. Вот что он действительно любил, так это карты — любил раскладывать пасьянсы, гадать. Мне казалось, что он всерьез верит в гадание на картах. Он как-то рассказывал, что когда в 1917 году оказался в Архангельске (а там в это время высадился английский экспедиционный корпус), один англичанин, раскинув карты, угадал его будущее. Нет, этот англичанин не сказал, что Михаил Михайлович станет писателем, но что он будет знаменитым — сказал. И не только у себя на родине, но и за границей. И вот это гадание Михаил Михайлович запомнил. И сам научился гадать. Как, у кого — не знаю. Но гадал он, если так можно сказать, очень хорошо, профессионально, что ли... После смерти моего мужа, чтобы побыть со мной, приехала из Москвы моя приятельница. И вот в один из вечеров Михаил Михайлович разложил перед ней карты, а когда ушел, она накинулась на меня: «Зачем ты рассказала о моих любовных делах?!»

Жили мы недалеко друг от друга — Михаил Михайлович на канале Грибоедова, я — на улице Жуковского, и, естественно, переписки между нами не было. Первое его письмо я получила 19 сентября 1941 года, когда в Смольном настояли, чтобы он покинул Ленинград. Михаил Михайлович писал:

«...Сегодня утром должен был лететь, но произошла заминка. Едва подъехали к аэродрому — началась бомбежка. Полежал в канаве со своими спутниками —

престарелыми академиками. Потом часа два ждали; пока придет все в порядок. После чего академики отказались лететь.

Я был в сомнении. Но увидел во всем этом некоторое дурное предзнаменование и тоже присоединился к академикам. Полетел один Мигай¹.

В общем, не знаю, как будет обстоять дальше. Возможно, что сегодня позвонят и прикажут лететь...»

Вылетел он из Ленинграда 21 сентября. Из того, что обычно берут люди, отправляясь в дальний путь и на долгое время, он не взял ничего. Думал, что едет — в худшем случае — на несколько месяцев. Был в легком пальто и — чемоданчик в руках. В чемоданчике — только материалы для своей «главной книги» и ее черновая рукопись. Из Москвы, а затем с дороги посылал открытки и телеграммы. Писал, что ему предложили на выбор Ташкент или Алма-Ату. Он выбрал Алма-Ату, «так как там будет возможность работать на кинофабрике „Мосфильма“». 28 октября он прибыл на место и написал, что Алма-Ата «очень красивый город», что ему там понравилось. Через месяц сообщил, что работает «в «Мосфильме» на зарплате».

Из письма от 20 мая 1942 года:

«...Вот 1/2 года, как я в Алма-Ате. Работаю на кинофабрике. Скучаю по своей основной работе. Но заниматься моим делом пока затруднительно.

Условия жизни средние, но, в общем, прожить можно. Здоровье тоже среднее, немного сложно для моего сердца (здесь высота 1000 метров). Так что были так называемые «высотные» болезни — слабость и утомление чрезвычайные. Сейчас освоился — лучше...»

Писал 29 мая:

«...Сейчас я живу далеко не весело. Много работаю. Написал хороший сценарий для Александрова, но он неожиданно тяжело заболел. Некоторый рок продолжает висеть над моими драматургическими опытами...»

Писал 12 июня:

«...Было решил ехать в Ленинград — можно было добиться командировки, но немного устрасился пути — очень уж долго ехать, а сердце у меня сейчас что-то не особенно хорошее — побоялся заболеть в дороге. К тому же страшно жарко, а ехать через пустыню 5—6 дней. Тут вопрос с жарой немаловажный. Черт меня дернул

¹ С. И. Мигай — оперный певец.

куда заехать! Надоело мне тут изрядно. И работа в кино не очень удовлетворила. Буду пробовать снова для театра — тут у нас театр Завадского — так что пишу для него...»

Несмотря на трудную жизнь в блокированном Ленинграде, я не думала уезжать. Но в апреле 1942 года моя сестра родила девочку, и — хочешь не хочешь — надо было перебираться на «большую землю». Иначе ребенка не сохранить. Я написала Михаилу Михайловичу. Вызов было сделать совсем непросто, особенно такому человеку, как он, который не умел ходить по инстанциям и что-то такое там объяснять и просить. С кем и как вел он там переговоры — не знаю, но только в конце июля я, мама и сестра с дочкой уже плыли по Ладоге, а в сентябре Михаил Михайлович встречал нас на алма-атинском вокзале.

Жил Михаил Михайлович на частной квартире. Но только последнее время. До этого — в предоставленной эвакуированным кинематографистам гостинице «Дом Советов». Заселили ее люди, которые еще до войны вместе работали, хорошо знали друг друга. И естественно — шум, гам, поздние посиделки, бесцеремонные хождения из номера в номер. Не привыкший к подобному образу жизни, Михаил Михайлович чувствовал себя в гостинице нехорошо. Нервничал, раздражался — работать не мог. И тогда, не видя иного выхода, сделал несвойственный ему шаг: пошел за помощью в Союз писателей. И так совпало, что как раз в эти дни туда поступило заявление от преподавателя философии Алма-Атинского университета У. М. Балкашева, предлагавшего кому-нибудь из эвакуированных писателей занять его кабинет. Он уезжал в Москву, на работу в Казахское постпредство, и вот решил сделать это доброе дело.

Комнатка была небольшая, но очень уютная: письменный стол, стул, тахта, библиотека. Что еще надо для работы и отдыха? В квартире оставалась жена Балкашева и трое детей. Вели они себя предупредительно тихо и ненавязчиво. И Михаил Михайлович был доволен таким, как говорится сейчас, улучшением своих жилищных условий... А Балкашева перед его отъездом я видела. Очень приятный, милый человек. Когда — уже в 1943 году — Михаил Михайлович перебрался в Москву, Умудбай Миндикенович не раз навещал своего бывшего квартиранта...

На алма-атинском вокзале, когда я впервые взглянула на Михаила Михайловича, то глазам своим не поверила. Я видела дистрофиков в Ленинграде, сама была почти что дистрофик, но чтобы здесь, в глубоком тылу, так ужасно мог выглядеть человек — нет, это было невыносимое зрелище! Я спросила, как ему удалось довести себя до такого состояния? Он сказал, что получает четыреста граммов хлеба, половину съедает, а половину обменивает на пол-литра молока и луковицу. Таков, мол, его дневной рацион. Я спросила: «И у вас на студии все так живут?» Он ответил: «Кое-кто, конечно же, чего-то там достает, но, ты же знаешь, я этого делать не умею».

На другой день я пошла на студию. Михаил Михайлович работал в сценарном отделе. Вместе с ним работали Михаил Блейман, Юзеф Юзовский, Леонид Жежеленко, а заведующим был Николай Коварский. Я спросила Коварского: «Вы ведь, наверное, получаете какие-нибудь лимиты?» Он подтвердил: «Конечно». «А почему же Михаил Михайлович не получает?» Николай Аркадьевич опешил: «Как не получает?!» Оказалось, ни ему, ни кому другому из сотрудников отдела в голову не приходило, что Михаил Михайлович чуть ли уже не год живет, отоваривая лишь хлебную карточку.

Я вызвала врача. Он определил: дистрофия. Написал справку. С помощью этой бумажки сценарный отдел выхлопотал Михаилу Михайловичу месячное питание из больницы Совнаркома. Такое обильное, что хватало на двоих. Но месяц прошел, нужно было оформлять право на получение питания по лимиту, а Михаил Михайлович вдруг заупрямился. Нужно было идти в торговдел, а он не хотел просить, не хотел писать. Говорил, что это неудобно — во время войны. Я сказала: «А удобно умирать во время войны в Алма-Ате от дистрофии?» И все-таки заставила написать в торговдел. Взяла записку и вот прихожу. Мне говорят: «Как? Зощенко в Алма-Ате уже год? А мы ничего не знаем. Вот о Маршаке знаем. Он каждый месяц приходит за дополнительными талонами на масло... Неужели Зощенко не знал о лимитах? Как странно...»

Если бы Михаил Михайлович позаботился раньше, то его отоваривали бы, как и других эвакуированных писателей, на пятьсот или двести пятьдесят, а теперь только на сто двадцать пять рублей. Впрочем, он рад был и этому. А тут вдобавок на «Мосфильме» открыли

столовую — можно было брать на дом обеда. Казалось, с питанием наконец все уладилось. Но неожиданно пришли новые волнения. Произошел печальнейший случай. Одна из подавальщиц в этой столовой оказалась носителем бактерий брюшного тифа. И некоторые из тех, кого она обслуживала, заболели. А ленинградского артиста Бориса Блинова, известного по фильмам «Чапаев» (он играл комиссара) и «Жди меня», врачам спасти так и не удалось. Не удалось спасти и актрису Магарилл — жену Козинцева. Всех, конечно, взволновало случившееся. Жалко артистов, но и за себя страшновато. Работники кинофабрики переживали тревожные дни. И Михаил Михайлович не был тут исключением.

Когда я приехала, Михаил Михайлович писал киносценарий «Трофим Бомба» (позже он был напечатан под названием «Солдатское счастье») и одновременно работал над своей «главной книгой» — «Перед восходом солнца». Он очень много над ней сидел, дорожил каждой свободной минутой. Просто изнурял себя. Потом я не раз слышала от самых разных людей: Зошенко, мол, сам виноват, что попал под разгром; с чего это он вдруг во время войны занялся «самокопанием»?

Слышать подобное для меня всегда было невыносимо. Какое там самокопание! Своей книгой он хотел помочь людям. Научить их, сообразуясь с собственным опытом, регулировать свою жизнь. Он понимал, что книга его — не ко времени. Но что ему было делать? Он говорил, что у него плохое сердце и он страшно боится умереть, не закончив книгу. А сердце у него действительно было очень больное. Как-то у него началось воспаление среднего уха. Пришла врач, захотела его прослушать, а он не дает, не разрешает даже прикоснуться к груди. Видимо, боялся услышать что-то такое, чего не хотел знать. Все же она его уговорила, а потом шепнула мне, уходя, что с таким сердцем его надо держать под стеклянным колпаком.

Какая же это была мука — видеть, что у него начинается приступ, и быть бессильной помочь! Сколько же это раз было: идем по улице, вдруг он становится бледным, в глазах испуг, и говорит еле слышно: «Мне надо постоять. Повернись, как будто ты шла мне навстречу, и вот мы с тобой встретились, разговариваем...» Он не хотел, чтобы люди увидели его в этом состоянии.

В центре города всегда топталась масса знакомых, и он стеснялся предстать перед ними больным и слабым.

Видимо, не только по свойству характера, но и из опасения, что может неожиданно-негаданно схватить сердце и его застанут в неподобающе жалком виде, Михаил Михайлович почти всегда отказывался от приглашений, которые наперебой получал от писателей, режиссеров, артистов. Правда, помню, что бывал у Юзовского. С ним Михаил Михайлович был, пожалуй, наиболее близок и доверителен. Однажды ходили к Борису Чиркову, который играл на гитаре и пел популярные тогда песни. Послушали и вскоре ушли. Как-то пригласил Сергей Эйзенштейн. Михаил Михайлович долго отговаривался, ссылаясь на нездоровье. Но Эйзенштейн очень настаивал. Тогда Михаил Михайлович «выдвинул» новый аргумент: он-де сейчас в таком состоянии, при котором ему тяжело находиться среди людей. Он был уверен, что у Сергея Михайловича соберутся гости. Эйзенштейн сказал: «Никого не будет. Просто я очень хочу видеть вас у себя». Пришлось пойти.

Михаил Михайлович часто расспрашивал меня о Ленинграде, об общих знакомых. И вот однажды я рассказала ему о встрече с Николаем Леопольдовичем Брауном (как сейчас помню, это было у Дома книги), который рассказал о том, чему был свидетелем, когда наши войска покидали Таллинн: бомба попала в пароход, люди очутились в воде, и кто-то, не умеющий плавать, схватился за торчащую из воды какую-то «рогульку», которая оказалась... миной. Михаил Михайлович особого интереса к моему рассказу не проявил,— так, поулыбался слегка. Но вот через несколько дней я услышала в комнате за стеной (а жила я на хозяйской половине, вместе с Балкашевыми) смех. Можно даже сказать, хохот. Михаил Михайлович просто давился от хохота. А когда вышел, сказал, что сегодня был третий случай, когда он смеялся, сочиняя рассказ. И прочитал «Рогульку».

Слушая «Рогульку», я не могла не думать о недавно покинутом мной Ленинграде, о страшной жизни под ежедневным обстрелом, и мне, честно говоря, было совсем не до смеха. И я сказала, что, может быть, не надо было писать эту «Рогульку». Что сама по себе история, конечно, забавная, но уместно ли обращать в шутку,

в общем-то, горькое, трагическое происшествие? Ведь рассказ будут читать наши бойцы. Что они скажут?

Он очень рассердился. Сказал, что я ничего не понимаю. Он сам воевал и хорошо знает, как смех, веселая шутка необходимы на фронте. Смех скрашивает тяжелый окопный быт, отвлекает от грустных мыслей, поднимает боевой дух и так далее. Короче говоря, я прослушала целую лекцию о смехе на войне.

Вообще, когда он сердился, он вдруг начинал говорить очень четко, размеренно, как бы чеканя каждое слово. Как бы вдалбливая в тебя свое несогласие. Однажды я завела разговор о том, что сейчас нет тех людей, о которых он писал в двадцатые годы, что люди сильно изменились. И только он стал «чеканить» слова, как неожиданно погас свет. Я вызвала электротехника. Пришла женщина лет, примерно, тридцати. Смотрит в заявку: «Зощенко?.. Это какой Зощенко? Я думала, писатель Зощенко умер. Вы предок писателя Зощенко?» Михаил Михайлович аж заикаться стал: «Какой это... предок? Я и есть... писатель Зощенко». А она так недоверчиво на него смотрит. Так и читаешь в ее глазах: дескать, как это может быть? Пушкин умер, Гоголь умер, а почему же Зощенко жив? Разве бывают живые писатели?.. Словом, Михаил Михайлович страшно разнервничался и ушел к себе в комнату. А когда эта женщина ушла, сказал, как и до ее прихода, четко выговаривая слова: «Вот видишь? Ты говорила, что не осталось людей с тех двадцатых годов. А ведь она — техник. И, наверное, со средним образованием. А уровень?..»

И еще вспоминаю подобный случай. Позвонил военный. Он только что выписался из госпиталя и захотел встретиться с Зощенко. Сказал, что он давний его поклонник, что он снова отправляется на фронт и перед отъездом мечтает увидеть своего любимого писателя. И вот приходит молодой человек, старший лейтенант. Очень смущается. И, по-видимому, от волнения у него вспотели ладони. И вот перед тем, как протянуть для пожатия руку, он вынимает флакончик одеколона и протирает ладони. И затем протягивает флакон Михаилу Михайловичу — предлагает ему сделать то же самое... Я только глянула на Михаила Михайловича — и тут же выскочила из комнаты. Видеть его глаза было выше моих сил: такая в них стояла боль и растерянность!.. «И это — офицер, цвет армии... И такое воспи-

тание!— сказал он с тоской после ухода старшего лейтенанта. И не забыл мне припомнить:— А ты говоришь — изменились...»

Весной 1943 года Михаила Михайловича вызвали в Москву. Перед отъездом мы долго беседовали о его «главной книге». Его мучили сомнения: отдавать ее в печать или не стоит? Повторял снова и снова, что боится ее не закончить.

8 июня 1943 года я получила большое письмо:

«...Ты хотела получить от меня большое письмецо. Вот, изволь. Напишу обо всем по порядку. Жизнь тут весьма сложная, и чтобы не сбиться (написал было — спиться), буду писать по параграфам.

1. *Еда*. Первый месяц я тут ни черта не получал. Нужна была прописка (постоянная). Без этого карточек не давали. Дали только хлебную (командировочную) и обед в Союзе. Обед приличный, весьма обильный. Так что при моем аппетите мне хватало его на целый день. Баночка масла, что я вез из Алма-Аты, мне хватила на месяц. Так что с питанием было удовлетворительно. Еще шлялся по гостям (тут в гостинице почти весь Ленинград). В гостях тоже кормили. Сейчас дали два пайка, кроме обеда. Получил всякую муру — фасоль, масло, печенье, консервы и т. д. Дали без прописки. Следующий месяц как-то, вестимо, придется прописаться. Гостиница нас прописывает временно.

2. *Комната*. Через месяц стали из гостиницы выгонять. Выгоняют всех, кто живет больше 1—1½ мес. А так как я приехал не по доброй воле, я вызван (и я упирался), то кто-то кому-то сообщил, и мне разрешили находиться в гостинице сколько вздумается. Честь невелика. Но здесь удобно. Свет и даже горячая вода. И одеяло. И белье. При моем нищенском хозяйстве — это необходимо. Что будет дальше, неизвестно. Кинокомитет грозил, что даст квартиру. И в ЦК тоже об этом говорили...

3. *Положение*. Ввели в редколлегию «Крокодила». Вызвали и предложили быть ответственным редактором. Я еле смог отказаться. Вот уж была бы для меня беда. Просили улучшить журнал. Стараюсь и трачу много времени на это. Но будет ли толк, не уверен. Беда не в нас, а в цензуре и войне, с которой смех мало вяжется.

Тут в Москве начальство меня весьма «ласкает». Нет, кажется, журнала, который бы меня не тянул к се-

бе. Не хватает мужества всем отказывать. И это очень дурно. Начну писать пустяки. Физически невозможно писать много и почти все об одном и том же. От множества предложений болит голова, потерял память — забываю, что кому обещал. Платят же, кстати, ерунду.

Будущее покрыто мраком. Долго невозможно выдержать такую суету, которая вокруг происходит.

4. *Работа.* По этой причине работа идет не так, как хотелось бы. Перескакиваю с одной темы на другую. Ох, превращусь в газетного репортера. От этого страдает и моя большая работа. Приходится писать урывками. А то и ночами.

Большую книгу я ведь еще не закончил. В поезде я написал две главы — V «Черная вода» и VI «Перед восходом солнца». Здесь в Москве только отдал эти главы. И написал еще новую часть VII.

Еще порядочно осталось. И как я управлюсь — не представляю. Отказаться от журнального фельетона нельзя. Все — начальство. И некоторые почти приказывают.

5. *Книга.* С книгой моей обстоит дело пока что не только хорошо, но даже великолепно. Я не видел такого волнения, которое я увидел у тех, кто ее читал. Я услышал наивысшие комплименты. И от редакции, и от литераторов. Меня тут упросили читать. Читал писателям (в небольшом кругу). Два дня. Такой реакции мне еще не приходилось видеть.

Кстати, скажу. Редакция «Октября» дала книгу на проверку Сперанскому. Тот дал наивысший отзыв. Сказал, что с точки зрения науки это точно. Не сделал никаких поправок. Звонил мне и сказал, что это поразительная книга. Однако выразил сомнение в том, что я смогу в полной мере доказать тему (то есть об условиях рефлексов, о практическом применении системы Павлова). Тут он ошибается. Все будет доказано математически точно.

В общем, книга произвела большой шум. Сейчас ее читают в ЦК. После чего она пойдет в VI № «Октября». Если, конечно, цензура не наложит руку. Редакция уверена, что ничего не случится. Я не очень. Но почему-то я даже не слишком огорчусь. Мне было важно написать, а не напечатать...»

Из письма от 26 июня 1943 года:

«...Работаю по 20 часов в день — обещал до 1 августа сдать всю книгу. В VI и VII книгах «Октября»

идут первые 7 глав. Так что июнь и июль у меня самые тягостные месяцы. Сегодня закончил VIII и IX главы. Осталось листа 3. После чего начну регулярно жить... Никаких посылок мне не посылай — у меня все есть...»

Из письма от 6 августа 1943 года:

«...Этот месяц я весьма заработался — стал плохо спать, расстроились нервы. Сейчас лучше, думаю вскоре снова вернуться к работе. Недели на 2—3 выключился, чтоб передохнуть.

Дела мои идут хорошо — дали отличный паек (лимит на 500 р.)! Так что сыт по горло. Но брать продукты некому — зеваю выдачу и всякого рода земные блага. От этих дел у меня болит голова, тем более что надо следить за карточками, выдачами.

С работой тоже хорошо получилось. «Октябрь» № 6 видел только сигнальный. Пока не получил. В № 7 идет 2-я часть. Третья готова и сдана. Финал (листа 2—3) не написал, только в набросках. Но финал я вовсе не уверен, что напечатают, и оттого не тороплюсь.

Работать пришлось много, но с деньгами весьма туго. ГИХЛ вовсе не платит уже два месяца (нет книг, и, значит, нет денег). Приходится подхалтуривать на эстраде. «Крокодил» платит за рассказ 300 рублей. Черт бы их драл, как это глупо, если актер, который прочтет мой рассказ, получает столько же...»

Из письма от 10 сентября 1943 года:

«...Пришлось купить костюм — здесь «шикарная» жизнь, и мне в моем тряпье неудобно было ходить и тем более выступать перед чистенькой публикой. Поэтому задолжался.

Если ты не обойдешься с деньгами, то займи (отдадим!), либо ликвидируй все мое барахло — пиджак, штаны, халат и т. д. Все это мне теперь не нужно, так как на мне отличный костюм и второй отремонтирован. В общем, сообрази, как сделать...

Журнал «Октябрь» вышел. Не посылаю тебе, потому что случилось необыкновенное — *мне с трудом дали 2 номера* и я дал почитать знакомым и до сих пор не получил. Номера пошли по рукам. И просто исчезли. Завтра мне даст редакция еще один номер, который я сохраняю для тебя. Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было — журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра. Я помню,

нечто подобное было с «Возвращенной молодостью». В общем, шум исключительный. Можно представить, что будет после второй части, когда начнется толкование снов.

Ты знаешь, Лидуша, я тут было хотел вообще не печатать книгу. Получается столь интимно и откровенно, что стало мне не по себе. Верней, я хотел прекратить печатание после I-й части. Все-таки — живой автор. А тут будут люди копаться в моих любовных и прочих делах. Стоит ли это?

Решил положиться на судьбу — втайне надеюсь, что всю книгу не напечатают. Где-то она запнется. Скорее всего, III и IV части цензура не пропустит. Кроме утешения от этого ничего не получу. Говорю об этом, не позируя, — действительно не хотел бы, чтоб книга вышла сейчас. Одно дело писать, а другое дело представить себе читателя за этой книгой. Да еще с улыбочкой на морде.

В общем, две части ЦК пропустил, хотя во второй части — анализ и толкование снов имеется.

Извини, что столь обстоятельно говорю об этих вещах — душа не спокойна. Хотел «облагодетельствовать» человечество. Да нужно для этого железный характер. Ведь одинакового мнения не будет. Предвижу брань и даже скандал. Редакция хотела устроить диспут до напечатания, но Сперанский не посоветовал, сказав, что диспут устроим, опубликовав всю книгу.

Сперанский, кстати, взял III часть, чтоб своим методом доказать мои положения. Однако если он нарушит или исказит мой принцип — я откажусь от его поправок. И редакция на моей стороне, чем весьма удивлен.

В общем, хочется легкой и спокойной жизни. Черт бы побрал мою экскурсию в науку.

Лидуша! В Гослитиздате все знакомые лица — тут и Чагин, и Горский, и Владыкин. Надеюсь, тебе интересно будет зайти в это богоугодное заведение...»

Во второй половине сентября я приехала в Москву и стала работать как раз в этом самом «богоугодном заведении» — заведующей технической редакцией.

Михаил Михайлович жил в гостинице «Москва», на десятом этаже, в одноместном номере. Утром он отправлялся в «Крокодил», а под вечер, вернувшись, са-

дился за повесть. И так каждый день. Уставал очень, но писал, писал — из последних сил. А когда наконец дописал заключительные страницы, стало известно, что дальнейшая публикация повести распоряжением сверху запрещена.

Это тяжелое для Михаила Михайловича время показало, кто чего стоил из тогдашнего его окружения. Не оставил его в беде артист Борис Бабочкин. Как ни в чем не бывало продолжал с ним встречаться Аркадий Райкин, живший в той же «Москве» на пятом этаже. На одном этаже с Михаилом Михайловичем занимал номер Борис Горбатов — я их не раз видела вместе. Приходили в гостиницу Анатолий Мариенгоф и временно проживавший тогда в Москве Михаил Леонидович Слонимский. Как-то пришел Крученых — странный на вид, очень плохо одетый; в руках у него был огромный альбом с автографами разных знаменитостей, в который Михаил Михайлович сделал запись. Чаше всех навещал его Шостакович. Они были на «вы», но говорили друг другу — «Миша», «Митя». Однажды я застала Дмитрия Дмитриевича в крайнем возбуждении. Он вообще был очень нервный, но таким я его до сих пор не видела. Он бегал по комнате, что-то резко, отрывисто выкрикивая. Я только успела понять, будто в тот день его кто-то предупредил, что ему должен звонить Сталин, и — вышла из номера. Я вообще, чтобы не мешать, всегда уходила, когда Михаил Михайлович встречался с кем-нибудь из своих знакомых.

В гостинице «Москва» жил в то время Николай Семенович Тихонов. Я знала, что в молодости они с Михаилом Михайловичем были достаточно тесно связаны — входили в одну и ту же литературную группу «Серапионовы братья». Да и потом, в тридцатые годы, они были близки. Правда, теперь Тихонов ходил в больших литературных чинах, но мне казалось, что это не должно влиять на их отношения. Более того. Я была убеждена, что силой своего авторитета у высокого начальства Тихонов, как никто другой из писателей, мог бы помочь оказавшемуся в беде старому товарищу. И я, ничего не сказав Михаилу Михайловичу, отправилась на свой страх и риск в его номер. Стыдно сказать: Николай Семенович насмерть перепугался моей просьбе вступить за Зошенко. За все время совместного пребывания в гостинице он так ни разу и не поднялся к Михаилу Михайловичу.

В одном доме я как-то оказалась за одним столом с Константином Симоновым. Зашел разговор о литературе, о том, кто что в последние месяцы написал. И вот тут Симонов очень плохо сказал о Михаиле Михайловиче — не только о его повести, но и о нем самом. О том, что он «получил по заслугам». Слушая его, я поняла, что природа, наградив его поэтическим даром, обделила тем, что называется чувством юмора. Да и с такими качествами, как доброта, милосердие, у него обстоит не очень-то благополучно... Я вспомнила о Симонове, о том, что он говорил о Зощенко в ту военную зиму, потому что уже в мирное время (для Симонова, но не для Зощенко!) я окончательно убедилась в правоте давнего своего мнения. Когда в 1947 году главный редактор «Нового мира» К. М. Симонов прислал Михаилу Михайловичу телеграмму с вызовом в Москву (решено было печатать часть «Партизанских рассказов»), я посоветовала ему самому отобрать то, что он считает наиболее удавшимся, не доверять это серьезное дело Симонову. Он удивился: почему? Я не могла сказать, что Симонов не любит писателя Зощенко, что он не понимает, не чувствует его творчества. И я сказала, что наверняка не Симонову пришло в голову его напечатать, что скорее всего ему приказали и он не может этого приказа не выполнить, поэтому надо дать рассказы самые сильные. А Михаил Михайлович так удивленно и недоверчиво на меня посмотрел: «Мне важен сам факт напечатания...» Он был неисправимо доверчивый человек. И на этой своей доверчивости обжигался не раз. Обжегся и здесь: Симонов напечатал десять самых слабых из тридцати двух «Партизанских рассказов».

Но вернусь в 1943 год. В последний его день, 31 декабря, Михаила Михайловича вызвали в «Крокодил». Накануне или днем раньше приходил Катаев. Как позже выяснилось, он знал, что Зощенко будут выводить из редколлегии. Но не предупредил. Просто пугал — вообще. Когда я уже одной ногой была в коридоре (как обычно, я спешила уйти, чтобы не мешать), услышала: «Ну, Миша, ты рухнул!» В тоне, каким это было произнесено, мне послышалось что-то похожее на злорадство.

Помню слова Михаила Михайловича перед тем, как он пошел в «Крокодил»: «Если не позвоню в семь часов, то дело плохо». Он опасался, что его заберут прямо из редакции. Он все время ждал, что его могут арестовать.

Но вот он вернулся, сказал, что его исключили из редколлегии, но это не страшно, если, конечно, решено ограничиться для него только этой мерой наказания. Словом, он был не так уж расстроен. Наверное, потому, что ожидал худшего.

А потом был звонок из гостиницы «Гранд-отель». Один из художников-«крокодильцев» (к сожалению, не помню его фамилию) приглашал к себе — встречать Новый год. Михаил Михайлович с удовольствием согласился, мы начали собираться, но тут снова звонок. Приглашал известный своими снимками членов правительства фотокорреспондент Самарий Гурарий. Михаил Михайлович сказал, поблагодарив, что уже обещал быть в другом месте. Тогда Гурарий попросил перед выходом позвонить и спуститься на несколько этажей ниже, подойти к его номеру. Когда мы спустились, навстречу вышла большая компания, и среди всех — недавно вернувшийся из эмиграции Александр Вертинский. Высокий Вертинский выступил вперед и почтительно поклонился небольшому Михаилу Михайловичу. И наговорил массу хороших слов. Он, конечно, знал, в какую беду попал Зошенко. Это было видно уже по тому, как сочувственно и нежно заглядывал Вертинский в его глаза. Михаил Михайлович очень любил песни Вертинского, и ему было приятно узнать (это была их первая встреча), что Вертинский, по-видимому, тоже ценит его работу. Через несколько дней они увиделись вновь: на сей раз в занимаемом семьей Александра Николаевича двухкомнатном номере гостиницы «Метрополь».

Вскоре после Нового года в Москву съехались делегаты на очередную сессию Верховного Совета, и Михаила Михайловича, в числе прочих «наименее ценных» постояльцев, выселили из гостиницы. Началась кочевая жизнь. Сначала — маленькая холодная комнатуха в коммунальной квартире на улице Горького (уступил знакомый с «Мосфильма»), которую вскоре посетил по доносу соседей управдом: кто такой? И, узнав, что Зошенко, извинился и милостиво разрешил проживать далее. Затем — роскошная четырехкомнатная квартира на Ярославском шоссе (теперь — проспект Мира, 124) Александра Адольфовича Гольдмана, театрального деятеля, нашего алма-атинского знакомого, который и раньше был очень внимателен к Михаилу Михайловичу, всячески старался облегчить его быт. Помню,

когда мы переезжали из гостиницы, Михаил Михайлович (у него снова было неважно с сердцем) сказал: «Я пойду немножечко сбоку, чтобы людям не бросалось в глаза, что женщина в тяге идет (молодая, здоровая, я тащила два чемодана), а мужчина рядом — с пустыми руками». Помню еще: когда мы перешагнули порог прекрасной, по тем временам, квартиры Гольдмана, Михаил Михайлович тихо проговорил: «Но ведь здесь нельзя жить. Здесь можно только гостей принимать...»

Видимо, кто-то хлопотал все-таки за Михаила Михайловича. Потому что вскоре он опять занял свой (тот же самый, 1028-й) номер в гостинице «Москва». Но ненадолго. И теперь уже выселили без объяснения причины. Он стал жить у Коварских, а последние недели перед выездом из Москвы снимал комнату где-то на Мещанской. Он говорил: «Я — как вещь: куда хотят, туда и переставляют».

В середине марта по командировке Гослитиздата я поехала в Ленинград. Занималась делами издательства и одновременно, по просьбе Михаила Михайловича, ходила по разным инстанциям, добиваясь ускорить его перевод в Ленинград. Только что вышла разгромная статья в «Большевике», в которой было сказано, что Зошенко «написал галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины», и многие ленинградские деятели отказывались что-либо предпринимать для возвращения Михаила Михайловича в родной город. В 1946 году В. М. Саянов, напечатав в «Звезде» рассказ «Приключения обезьяны», невольно сыграл неблагоприятную роль в судьбе Михаила Михайловича, но в 1944 году именно он пошел в Смольный и настоял на вызове Зошенко. Получил документ. С этим документом, разрешающим переезд Михаила Михайловича в Ленинград, я и возвратилась в Москву. 2 апреля 1944 года он наконец был дома.

Из письма от 8 июля 1944 года:

«...Живу, в общем, средне. Дома мне не очень хорошо. Тоскливо весьма. И отвык совершенно. Так что спасаюсь работой. Устроил небольшой огород (на Марсовом поле). Вскопал две грядки, посадил редиску и картофель».

Знакомых мало. Друзей и вовсе нет. Любовных дел — никаких. Раза два был в театре. В общем, как видишь, ничего особенного. И ничего привлекательного

нет в моей горестной жизни. Хожу с постной мордой по набережной. Но, впрочем, не тоскую, и хандры нет.

Очень уж хорош город. Не перестаю радоваться, что снова здесь...»

Из письма от 28 июля 1944 года:

«...Почти четыре месяца я провел тут весьма одиноко и, пожалуй, уныло. Работал много, но, как я тебе доложил по телефону, без особо ярких результатов. Так что ты была права — надо было жить в Москве. Для работы это было бы правильно. Но уж очень я намаялся, таскаясь по чужим домам и квартирам.

Но, в общем, полагаю, все тут утрясется. Работаю много, и большой печали у меня нет на душе. Здоровье, впрочем, посредственное. И постарел изрядно...

Я теперь вроде начинающего. Мне-то это безразлично, даже легко. Но тебе, вероятно, будет досадно за меня, будешь огорчаться. А по мне, все равно, чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно — это уж не такой значительный вопрос. Несомненно, театром займусь. Опереттой. Эстрадой. Мало ли дела.

Отдаю себе полный отчет, что все это не на 2—3 дня. Тут процесс длительный, так как дело не только во мне, а в новом требовании к искусству... В общем, надежд у меня много. Однако трудности будут дьявольские...»

Из письма от 15 августа 1944 года:

«...Этот месяц я тяжело болел. Не сердись, что почти не писал. Помимо того — я ждал твоего приезда. Ты писала, что будешь в августе.

В конце июля я заболел гриппом (это четвертый раз в этом году!). Грипп дал какие-то каверзные осложнения. Почти перестал спать. С трудом засыпал, приняв снотворное. Сейчас несколько лучше, но еще не совсем. И вообще нервы чертовски ухудшились. Поглупел и отупел. Все это приписываю гриппу. И надеюсь, что все это пройдет.

Ты уж не считайся со мной письмами. Мне иной раз очень нелегко и непросто сесть за письмо...

Болезнь весьма выбила меня из намеченного пути. Сейчас я не очень-то пригоден для работы. До сих пор чувствую, что болен. Как, помнишь, в Алма-Ате после воспаления уха? Хотя тогда я был здоровяк и счастлив. А нынче я чуть не подох. И теперь в силу ноги передвигаю. Сегодня первый день вышел на улицу.

Но рассчитываю на свои знахарские способности — поправлюсь к 1 сентября...»

В Ленинград я вернулась только перед самым концом войны. К этому времени Михаил Михайлович почти оправился от потрясения 1943 года. Его снова стали печатать. Одна за другой вышли три книги. Были поставлены две комедии — «Парусиновый портфель» и «Очень приятно». Много и с удовольствием он работал еще над одной — «Пусть неудачник плачет».

22 июля 1946 года, отдыхая под Ригой, я получила от него письмо. Михаил Михайлович писал:

«...Мои дела, в общем, хорошие. Комедию закончил 15-го. И третий акт сделал даже с блеском. Однако Акимову на отъезд (он поехал куда-то под Ригу) всю комедию дать не успел. И дал без финала.

Работа, в общем, закончена. Первые дни после того чувствовал себя отлично, но сейчас что-то не по себе — утомлен и в силу волочу ноги. Сегодня поеду в Сестрорецк. Отлежусь, надо полагать. Рассчитываю пробыть в Сестрорецке 2 недели. Имею намерение за эти 2 недели вернуть мое здоровье и быть таким, как до войны. Теоретически это возможно. Но у меня, когда закончена работа, всегда беда — столько свободного времени, что ужасает.

Письмецо пишу тебе не без труда — вид письменного стола и бумаги уже вызывает профессиональное недомогание...»

Он очень верил, что все его несчастья позади. Что ничего подобного происшедшему с повестью «Перед восходом солнца» не повторится. И вдруг... приезд в Ленинград Жданова и его доклад перед писателями. Михаила Михайловича на это писательское собрание не пригласили, и о том, что там говорилось, он узнал от В. М. Саянова (их квартиры были на одной площадке) а потом поспешил к М. Л. Слонимскому, где собрались близкие ему люди и где вместе с ними, как написал в своих воспоминаниях Михаил Леонидович, он провел «поистине страшную ночь». На следующий день он выехал в Сестрорецк. Он, безусловно, догадывался, что газеты вот-вот начнут на все лады склонять его имя, и решил хотя бы отсрочить для своих домашних предстоящий удар. Каждое утро он первым шел к почтовому ящику, проверял — не началось ли, и когда наконец появилось постановление ЦК, забрал все газеты и, ничего не сказав Вере Владимировне, уехал в Ленинград.

Понятно, что подобные действия Михаила Михайловича кому-то покажутся лишенными смысла. Рано или поздно домашние все равно ведь узнали бы о нависших над их головами новых тучах. Конечно! Но уж такой он был — никогда не умевший отвести от себя беду, добрейший и трогательно-наивный Михаил Михайлович. Он весь в этом поступке...

Все первые дни после публикации постановления ЦК начинались для меня так. Прихожу на работу и тут же слышу: «Зощенко застрелился!» Сломая голову бегу на канал Грибоедова. Он сам открывает дверь... Слава богу!.. На следующее утро: «Сегодня ночью забрали Михаила Михайловича!» Снова бегу... Нет, к счастью, опять ложная тревога. Но он говорит, что вообще-то ждет ареста не сегодня, так завтра...

Возвратившись в Ленинград, я жила у родителей, и Михаил Михайлович почти каждое воскресенье приходил к нам обедать. Ждали мы его и 25 августа (то был первый воскресный день после напечатанного в «Правде» постановления), а он все не шел и не шел. Тогда отец попросил меня позвонить ему и сказать, что без него мы за стол не сядем. Я позвонила, Михаил Михайлович вскоре пришел, и с того дня мне ни разу уже не потребовалось делать ему «дополнительное приглашение». Он знал, когда мы садимся за стол, и всегда появлялся точно ко времени.

В марте 1949 года я вышла замуж. Михаил Михайлович был на свадьбе и потом часто заходил к нам в гости. Жизнь в эту пору продолжала окружать его множеством неприятностей, и даже вышедшая в его переводе с финского книга Майю Лассила «За спичками» не прибавила ему радости. «Это первая книга, Лидуша, после моего трехлетнего отсутствия в литературе». Такую далеко не веселую надпись сделал он на подаренном мне экземпляре.

В июле 1958 года, уезжая в Сестрорецк, Михаил Михайлович позвонил и сказал, что только что вышла уже не переводная, а его собственная большая книга, и он мне ее подарит, как только вернется.

Но он уже не вернулся...

А. Амстердам

УЛЫБКА

В каждом деле должна быть ясность, и потому начну с того, что следующие ниже строки вряд ли можно назвать громким словом «воспоминания». Это скорее скромный рассказ об одном будничном факте делового общения с Михаилом Михайловичем Зоценко, факте, однако, примечательном, ибо он помогает понять душу писателя, проникнуть в ее сокровенную жизнь.

События относятся к 1934 году, когда я работал редактором современной художественной литературы в Ленинградском отделении Гослитиздата. Кто в Ленинграде не знает расположенное в самом центре, на Невском, великолепное здание оригинальной архитектуры, крышу которого венчает модель земного шара, как бы вознесенная в небо и парящая над окружающими домами! Здесь когда-то давно, как иногда еще вспоминают городские старожилы, правил богатейший фабрикант Зингер, торговавший швейными машинами, а в советские годы прочно обосновались многочисленные книжные издательства, а также усердно посещаемый горожанами книжный магазин. Проходя теперь мимо Дома книги (а это случается все реже и реже), я каждый раз останавливаюсь у входа, хотя бы на несколько минут, чтобы окинуть взглядом витрины и ряды больших красивых окон — там, на четвертом этаже, помещалась когда-то моя редакция. Комната была небольшая, тесно уставленная письменными столами и не располагающая из-за суеты и шума к сосредоточенной работе над авторской рукописью или очередной корректурой. И все же здесь выпадали часы и минуты полной отдачи, когда рождалось у нас счастливое чувство настоящего приобщения к литературным делам, к пи-

сательским заботам и радостям. Писатели приходили к нам самые разные: и «тузы» (или «небожители» — по тогдашней нашей терминологии), и «младенцы», и «средняки»; приходили и в приемные и в неприемные часы, по делам и без дела — просто потолкаться среди своей братии, узнать новости, напомнить о себе. «Тузы», — скажем, Алексей Толстой, Ольга Форш, Алексей Чапыгин, Борис Лавренев, — жаловали к нам не часто и, не задерживаясь особенно, продолжали свой путь обычно в сторону директорского кабинета. Появление знаменитости мы легко опознавали по шуму голосов, приветствий, восклицаний, которые, возникнув еще на лестнице и в коридорах, сопровождали почетного гостя до самой нашей двери. Но бывали случаи и другого рода. Запомнились, например, длительные посещения Вячеслава Шишкова, упорно работавшего тогда над новой редакцией своего большого романа «Угрюм-река». Он приходил всегда в шляпе, тщательно одетый в добротный костюм, иногда с палкой в руке; вынув старые часы из жилетного кармана, отмечал время, когда мы садились за стол, начинали работу. А работа над новым текстом романа шла трудно, было много вариантов, были споры, разногласия...

Приход Зошенко (которого мы тоже относили к «небожителям», хотя и молодым) был связан с одним интересным начинанием, предпринятым издательством в 1934 году. Было решено начать выпуск «Библиотеки начинающего читателя», а открыть серию — сборником рассказов Зошенко, редактирование которого было поручено мне. Как и полагается в таких случаях, я пригласил Михаила Михайловича зайти, чтобы познакомиться его с издательской инициативой и узнать, что он думает по этому поводу. Но Зошенко почему-то не заходил, и я в конце концов принялся действовать самостоятельно. Мне тогда показалось, что автор попросту не проявляет должного интереса к «Библиотеке» и к факту своего участия в ней. И в самом деле, что могло добавить к репутации писателя появление в свет этого более чем скромного, незатейливого издания? Имя автора в те годы крупной звездой уже сияло на небосклоне литературы: нарасхват читались его сборники «Аристократка», «Веселая жизнь», «Собачий нюх», «Обезьяний язык» и другие... Да что там сборники! Издательство «Прибой» уже успело выпустить солидное Собрание сочинений Зошенко, а литературоведы при-

нялись всерьез исследовать его сочинения... Однако выводы, сделанные мною из факта неявки писателя, были неверными, поспешными.

Оказалось, знаменитый мастер явно заинтересован своим участием в «Библиотеке». Он стал справляться о намеченных сроках прохождения книги, дате выпуска, характере оформления и даже заходил для этого в издательство. Правда, посещения эти казались нам необычными по своему сугубо деловому стилю. Не в пример большинству других посетителей, Михаил Михайлович не «задерживался» за столом, а, оставаясь стоять, глуховатым голосом задавал свои вопросы и, получив ответ, сразу вежливо прощался и не торопясь покидал комнату. Лицо его при этом казалось замкнутым, хмурым.

И вот наступил тот момент, которого с нетерпением ждут и авторы, и редакторы: на стол ложится «сигнальный экземпляр» — аккуратно сброшюрованная, одетая в обложку, только что поступившая из типографии, «горяченькая» книга. Пришел Зошенко. Присев поближе, взял ее со стола. В его смуглых руках тонкий сборничек рассказов показался мне еще более тонким и скромным, чем был на самом деле. Нахмурившись, Михаил Михайлович потрогал мягкую серую обложку сборника, на которой у ее верхнего края четко стояло: «Библиотека начинающего читателя», скользнул взглядом по портрету (рисунку в профиль известного ленинградского художника Н. Радлова) и заглянул в «Содержание», как бы проверяя, все ли шестнадцать включенных в сборник рассказов на месте. После этого он принялся внимательно читать небольшое предисловие, но вдруг оторвался от чтения и каким-то странным невидящим взглядом посмотрел на меня. Лицо его меня поразило: «хмурый» Зошенко улыбался.

— Кто сочинил это предисловие?

Вопрос бросил меня в жар... Я сказал, что вступительная заметка написана по инициативе издательства, считающего, что она поможет неопытному читателю разобраться в нелегком для понимания творчестве автора. «Неужели Зошенко недоволен предисловием?» — мелькнула тревожная мысль.

— Михаил Михайлович, вы чем-то недовольны?

— Нет, что вы! Совсем наоборот. Вы хорошо написали, правильно написали. «Помочь неопытному читателю...»

Он по-настоящему был взволнован. С лица его не сходила улыбка.

— Говорят, что я мрачен, не вижу вокруг ничего светлого, положительного. Чушь это! А вы правильно заметили...

Я не сразу сообразил, что конкретно, какие слова в предисловии имел он в виду, и сидел молча, смущенный...

В заметке было сказано о зощенковских героях, что они «еще не освободились от мещанских взглядов, чувств, мелкобуржуазных стремлений». А после этого шел такой текст: «Но наряду с этими рассказами имеются здесь и такие, которые не построены только на обличении, а показывают и положительного героя («Испытание героев») или просто повествуют о занимательном, смешном случае («Удивительная профессия», «Приятная встреча»).

Такое деление рассказов в книге не случайное, а характеризует рассказы Зощенко вообще...»

Конечно, «классификацию» рассказов, намеченную в этих строчках, вряд ли можно назвать строго научной, но именно они, эти строчки, так обрадовали, взволновали писателя. Он почувствовал в них признание гуманизма, человечности его творчества, правдивости изображения жизни. Зощенко страстно хотел, чтобы его правильно понимали, воспринимали по «большому счету» литературы, не опошляли. И особенно заботился о том, чтобы его понимали читатели — все читатели, в том числе и «начинающие»! Перечитывая после ухода писателя предисловие к книге, я воспринимал его по-новому, как бы от имени самого художника: я слышал еще его живой голос, видел улыбку...

На этом, пожалуй, можно закончить. Других встреч с Михаилом Михайловичем Зощенко в стенах Гослитиздата у меня не было. Но эта, единственная, как бы подаренная всеильным Случаем, запомнилась навсегда.

ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ...

Общаясь и беседуя с Михаилом Михайловичем Зошенко, нельзя было не удивляться контрасту между тем, каким представлялся писатель по его произведениям и каким он был на самом деле.

Натура его была своеобразна и даже загадочна.

Читателю Михаил Зошенко рисовался человеком экспрессивным, быстрым в движениях, неистовым и остроумным, до невозможности многословным.

В жизни он был деликатным, медлительным, осторожным, даже несколько меланхоличным. Ходил он в простой кепочке, в пиджачной паре обычного покроя, ничем не отличаясь от толпы; в холодную погоду надевал узкое пальто, прикрываясь от ветра стоячим воротником; оно не скрадывало, а подчеркивало его тонкую, изящную фигуру. Он был сосредоточен, задумчив, в большом обществе терялся и как бы даже тяготился своим присутствием.

Контраст, о котором мы говорим, имел под собой некоторые основания. Если глубоко вчитаться в произведения Зошенко, можно увидеть в них не только бойкого, хлопотливого, грубоватого и самонадеянного рассказчика, каким он часто выглядит в своих веселых миниатюрах, но и серьезно озабоченного человека, обладающего чувствительным характером и легко ранимой душой.

Познакомились мы в 1932—1933 годах, когда на четной стороне Невского проспекта в помещении нынешнего ресторана «Универсаль» существовало превосходно поставленное питательное заведение, принадлежавшее Ленкублиту — Комиссии по улучшению быта литераторов (предшественнице теперешнего Литфон-

да). По вечерам, когда кончались обеды, столовая эта превращалась в писательский клуб (которого в Ленинграде тогда не было) — там часто проходили обсуждения вышедших книг, встречи с москвичами, импровизированные дискуссии. Михаила Зощенко я впервые увидел на вечере А. С. Новикова-Прибоя; бывший баталер броненосца «Орел» рассказывал о своей «Цусиме», мы — писатели и критики — ее обсуждали.

С Михаилом Михайловичем меня никто не знал; я, очевидно, примелькался ему на этих вечерах, и когда впервые заговорил с ним (потребовалось кое-что уточнить в составе его шеститомного собрания сочинений, завершавшегося печатанием в те годы), мы просто знали друг друга. За этим последовали многие встречи в открывшемся на улице Воинова Доме писателя имени Маяковского, а когда Зощенко поселился в «писательской надстройке» на канале Грибоедова, его почти ежедневно можно было видеть на улице Софьи Перовской, на набережной канала и в прилегающих переулках. После войны в этом доме поселился и я, так что мы встречались с ним по-соседски. Я несколько раз писал о нем (в газетах и журналах), он дарил мне свои книги — это и скрепило наше знакомство. Притом мы никогда не встречались домами — либо виделись случайно и затевали разные разговоры, либо созванивались и выходили вместе на прогулку.

Михаил Михайлович не принадлежал к числу людей, злоупотреблявших словесами. Он отличался удивительной скупостью в собственной речи, а когда чем-нибудь возбуждался, говорил более живо, но всегда лаконично и определенно. Моменты такого оживления наблюдал я у него в разговорах о его взаимоотношениях с читателями, а также в беседах о Маяковском. Само собой так получилось, что первые наши длительные беседы коснулись его читательской почты.

— Пишут мне из самых разных мест, но больше всего почему-то из южных городов — Херсона, Очакова, Владикавказа, Мариуполя, Пятигорска... Бушует южный темперамент, что ли? Описывают разные истории, любопытные случаи, предлагают свои сюжеты. Как правило, я эти сюжеты не беру, потому что на поверку оказывается — они уже были в каком-то виде у Лескова, Аверченко, даже у Марка Твена. Упаси бог винить читателя в плагиате или в тайном намерении поймать на крючок сочинителя, подсунув ему залежалый сюжет.

Такого у моих корреспондентов и в мыслях нет. Просто приглянулась кому-нибудь фабула, прошедшая уже десятки рук (или ушей?), пришла от бывалых людей, от любителей анекдотов. Ему понравилось, и он решил мне «подарить». Но вот словечки, которые попадают в его собственном изложении,— это я охотно беру.

Однажды Михаил Михайлович поведал мне драматическую историю, случившуюся с ним лет десять назад. Человеческие коллизии, обрушившиеся на него из сотен писем, легли тяжким грузом на душу. Он не мог справиться с этим потоком людских откровений.

— Я не сразу,— сказал Зощенко,— решил, что с ними делать. Письма эти так будоражили душу, так терзали меня, что я стал их бояться. Иной, может, и не поверит, но я болел ими и только потом догадался, что это мучили меня симптомы моего давнишнего нервного заболевания, которые как-то причудливо переплелись с тем, что было спрятано в конвертах. И тогда я решил их уничтожить, все до одного: слишком тяжело, невыносимо было носить в себе страдания людей. Такую экзекуцию я позволил себе только раз в жизни. Мои болезни вам неинтересны, они и сейчас дают себя знать, но вот что я заметил: настало, видимо, какое-то ощущение профессионализма, которое служит мне защитной доской — она отделяет бушующие вокруг человеческие страсти от меня самого, от моего слишком уязвимого тела. Вам, критикам, это признание совсем не в жилу: вы считаете, что писатель впитывает в себя окружающую жизнь. Может быть, в конечном счете, впитываю и я, но сперва мне нужно было освободить в своей душе место для всех этих восприятий.

— А теперь?— спросил я, чтобы продолжить разговор.

— Не знаю, что теперь...

Моему собеседнику явно не хотелось читать лекцию по вопросам психологии творчества, и он только добавил:

— Потом я стал приглядываться к письмам, попробовал отвечать на них, даже собирать. Сделал из них книжечку «Письма к писателю». Стало легче...

Книжечку эту, в серой бумажной обложке, с авторским факсимиле наискосок, я знал. Ее выпустило в 1929 году небольшим тиражом кооперативное издательство литераторов, которое так и называлось: «Издательство писателей в Ленинграде». Нельзя было

пройти в этой книжке мимо заметки в одну страницу с ироническим заглавием: «Я — веселый человек». Она представляет собой запись трех телефонных разговоров. Один такой:

— Как вы сумели,— заговорил неизвестный человек, порадовавшись только что прочитанному рассказу,— сохранить свою веселость, жизнерадостность... Что вы для этого делаете?

— Но кто вам сказал?..— ответил писатель.— Я скучный и мрачный человек...

Еще раз — взаимное непонимание сторон. Сколько таких случаев было у Зошенко? И сколько раз читатели «поправляли» художника, предлагая ему более приглаженный, менее угловатый, далекий от обывательского жаргона язык. В беседе со мной Зошенко выразил это недоразумение такими словами:

— Я стараюсь приблизить свой язык к живой речи, с которой сталкиваюсь в быту. Не проходит вечера, чтобы я не занес в записную книжку какое-нибудь словцо, обрывок фразы, уличный выкрик, осколок будущего сюжета. Потом в рукописи я заделываю швы, стараюсь, чтобы речь была естественной, плавной. Но чем лучше я это делаю, тем больше даю читателю повод сближать изображаемого мною человека со мной самим.

* * *

Все свои суждения о творчестве Зошенко, о проявившихся в нем новых тенденциях я попытался сформулировать в статье «Воспитание чувств», которую предложил журналу «Звезда»; там ее напечатали в мартовском номере за 1938 год. Это была моя первая большая работа о Зошенко; она опиралась на его рассказы последних лет, а также на повести документально-исторического характера («Черный принц», «Бесславный конец», «Возмездие»), появившиеся в те же годы. Мне, разумеется, было очень важно знать мнение писателя об этой статье. Но случая поговорить не представлялось, а напрашиваться я не стал. Минуло немало дней, пока мы встретились; произошло это в Большом зале филармонии.

Зошенко был на концерте один, я — с женой. Мы увиделись в перерыве, проговорили весь антракт о музыке, о разных вещах, потом взялись проводить его до

мой. После концерта у нас для беседы оставалось шесть-семь минут: Зошенко жил очень близко от филармонии, надо было только пройти кусочек улицы Ракова и перемахнуть через узенький пешеходный мостик. Михаил Михайлович учтиво поблагодарил меня за статью — он прочел ее сразу по получении журнала — и с мягкой укоризной сказал:

— Вы там пишете о каком-то новом этапе в моей работе. Можно сказать, гоните меня по этапу... Ну, это ваша профессиональная терминология, не в том дело. Вы сопоставляете «Голубую книгу» с повестью о Керенском («Бесславный конец»), с «Черным принцем». Ведь это вещи разных измерений: одно дело — цепь рассказов, поучительных и разных иных, собранных в «Голубой книге», другое — историческая хроника. И когда вы замечаете, что хроники написаны правильным, естественным языком, — что вы хотите этим сказать? Что в «Голубой книге» язык «неправильный», «неестественный»? Тут, извините, что-то не то. И не кажется ли вам, — спросил он, вдруг остановившись, — что на периоды и этапы принято делить только классиков?

Насчет сопоставлений он был совершенно прав. В остальном же я не стал повторять своих аргументов, поскольку содержание статьи в целом у него возражений не вызывало. Я сказал в ответ несколько слов, и мы распрощались.

По дороге домой я недоумевал: почему можно делить только классиков, разве нельзя устанавливать какие-то периоды в творчестве тех, чьи литературные биографии исчисляются десятью — пятнадцатью годами?

Одно только не пришло мне (да, вероятно, и ему) в голову: что полчаса тому назад я разговаривал с классиком.

* * *

Наши беседы о Маяковском относятся ко второй половине 1939-го, когда очень широко — и впервые — готовились отмечать годовщину смерти поэта. К этой дате (к апрелю 1940 года) я готовил две книги о Маяковском, писал кандидатскую диссертацию. Я знал, что Маяковский неоднократно высоко отзывался о Зошенко, ценил его популярность и талант. Отношение самого Зошенко к Маяковскому мне тогда еще не было извест-

но. Поскольку я занимался изучением сатиры Маяковского и его плакатной работы, я пытался наводить своего собеседника на разговор о фельетонных приемах поэта, о его знаменитых гиперболах, саркастических эскападах. Из этих попыток ничего не выходило. Михаил Михайлович съеживался, замыкался, и мне казалось, что я задеваю в его душе не ту струну. Я продолжал настаивать на своем, и тогда он во время одной из прогулок задержался и с упреком сказал:

— Вы, молодой человек, не все прочли в Маяковском, может быть, даже не совсем поняли его. Он не был пересмешником и каламбурил он не от комикования, а от досады. Маяковский был *болеющим* поэтом (Зошенко голосом подчеркнул это слово), и сатира во все не главное в нем. Он болел, страдал собственной душой, испытывал боль других... Хотите знать, что мне особенно дорого в нем? Извольте: «Тринадцатый апостол», «Скрипка и немножко нервно», «Флейта-позвончик», «Баллада Редингской тюрьмы» (глава из поэмы «Про это». — И. Э.) и вот это, посмертное, — «Ты посмотри, какая в мире тишь...».

— Занимайтесь сатирой, — сказал в заключение Зошенко, — но не упускайте ни горькой иронии, ни душевных страданий поэта...

На досуге я пытался разобраться в этой странности: прославленный юморист, заставляющий своих читателей сотрясаться от смеха, с такой суровостью говорит об авторе «Схемы смеха», творце знаменитых сарказмов, создателе «Маяковской галереи», одном из признанных сатириков нашего века...

Если глубже всмотреться в личность писателя, понять сокровенные мотивы его творчества, ничего странного мы не найдем. Зошенко болел душой за несовершенство окружающего мира и окружающих людей с не меньшей силой, чем великий поэт. С грустным, пронизывающим сердце лиризмом писал он о неуважении к людям, о недостатке душевности, благородства.

Ему, вероятно, казалось, что громовой обличительный смех поэта-трибуна заглушает в нашем восприятии лирическую тональность его «болеющей» души, потому он и становился с такой решимостью на ее защиту, готовый как бы даже умалить значение памфлетного, фельетонного слова поэта. На самом деле я имел случай убедиться, что и сатиру Маяковского Зошенко

очень ценил; более того, усматривал в ней переключки с мотивами и образами собственного творчества.

Михаил Михайлович рассказал, что однажды на улице Лассалья (так называлась в те годы улица Бродского) он заметил афишу выступления Маяковского, и были на этой афише то ли названия тем, то ли заглавия стихов, которые удивительно напоминали ему словечки, выражения и афоризмы его собственных героев.

— Глядя на афишу, — признался Зошенко, — я подумал: уж не мои ли рассказы собирается читать на публике Маяковский?

Я попросил Михаила Михайловича уточнить название вечера (у Маяковского вечера имели свои названия) и хотя бы приблизительно указать время, когда он состоялся. Зошенко отказался мне помочь, а за давностью лет скорее всего и не мог.

— Вы — копатель разного материала, — сказал он, — вот и раскопайте где-нибудь эту афишу.

Так я и поступил. В хранилищах эстампов я обнаружил семь афиш с обозначением ленинградских вечеров поэта. В каждой из них содержались тезисы выступлений. Я переписал тексты на машинке и предъявил их Зошенко. Усевшись на скамейке в Михайловском саду, он внимательно и не без видимого удовольствия прочел все семь. Закончив чтение, промолвил:

— Вот эта. Вспоминаю теперь каждое слово.

Зошенко указал на афишу «Даешь изящную жизнь!», в которой была дана программа доклада, читанного Маяковским 29 ноября 1927 года и трижды повторенного в последующие дни. Программа гласила:

«Черемухи и луны со всех сторон. Нездешний гость с гармошкой. Страусы в клетках. Первый жирок. Эпоха фрака. Брюки дудочкой. Упраздненные пуговицы. Петушки-гребешки, теремочки. Пролетарий сам знает, что ему изящно и что ему красиво».

Как явствует из этих слов, Маяковский использовал ходовые аксессуары мещанского быта для разоблачения рутинных представлений о «нормах жизни», о бытовом уюте. Он подвергал осуждению и насмешке увлечение буржуазным шиком во внешности и предметах одежды и псевдонародное стилизаторство в быту. Что же касается первого тезиса («Черемухи и луны со всех сторон»), то здесь я напомнил Михаилу Михайловичу, что Маяковский имел в виду нашумевшие в те годы по-

вести Пантелеймона Романова «Без черемухи» и Сергея Малашкина «Луна с правой стороны», которые возводили в норму быта молодежи самую вульгарную пошлость.

Надо ли удивляться, что Зошенко оказались по душе эти мысли Маяковского, этот неистребимый пафос его ненависти ко всем подсахаренным и эстетизированным формам мещанского быта. Я сообщил Зошенко и список стихотворений, которые Маяковский прочел на упомянутых вечерах в подтверждение основных тезисов своего доклада. Это — «Стабилизация быта», «За что боролись?», «Пиво и социализм», «Маруся отравилась», «Чудеса» и другие. Вот, следовательно, в каких произведениях Маяковского писателю-юмористу слышалось нечто родственное его собственным повестям и рассказам.

Сатиры поэта мы снова касались в разговорах о комедии Маяковского «Баня». Поскольку Зошенко слышал пьесу в авторском чтении, мне захотелось узнать, что именно запало ему в память из числа блистательных реплик, реприз, афоризмов, рассеянных в этом произведении. Я немножко провоцировал своего собеседника, подкидывая ему взятые из пьесы колоритные словесные обороты («Эчеленца, прикажите...» и т. п.). Зошенко не поддержал предложенной игры. Он сказал:

— Это все не то. Если уж мне запомнились какие-то выражения, то не смешные, а серьезные. Например: «Я люблю говорить до конца, кто сволочь». Или: «Если у автора что-нибудь не получается, надо убрать, если получается — надо увеличить в десять раз».

Вечером я принялся перечитывать «Баню», чтобы найти и проверить эти слова. Не скрою — они понравились и мне, но раньше я их в пьесе что-то не замечал. Велико было мое огорчение, когда в тексте «Бани» я этих слов не нашел. Тотчас же я позвонил Зошенко. Он рассердился и сказал, что у него хорошая слуховая память и что он отлично помнит: эти слова была произнесены Маяковским в его пьесе. Возражать я не смел, и мне осталось лишь прийти к заключению, что произошел текстологический казус: дескать, искомые слова были в рукописном тексте пьесы, который читал Маяковский, а потом, в печатном тексте, их не стало. Непонятно было только, почему автор от них отказался.

Прошло какое-то время. Когда, занимаясь сатирой Маяковского, я дошел до его пьес, в комплекте газеты

«Советское искусство» за 1935 год, в номере от 11 декабря, мне попала публикация А. Февральского «Маяковский и „Баня“». В ней приведена стенограмма выступлений Маяковского на заседании художественного совета Театра им. Мейерхольда при чтке и обсуждении «Бани». В той части стенограммы, где поэт отвечает на реплику одного из участников обсуждения, можно прочесть:

«Для меня было бы единственной критикой, если бы мне сказали, что это не подходит для нас, для Советского Союза,— но это надо проверить. Если не доходит — нужно убрать. Если доходит — в десять раз увеличить».

В той же стенограмме, в заключительной речи автора, есть следующие слова:

«Что касается прямого указания, кто преступник, а кто нет,— у меня такой агитационный уклон, я не люблю, чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, кто сволочь. Но я постараюсь это развернуть».

Примечательно, что Зошенко, стилистической манере которого были не свойственны ни гиперболы («в десять раз увеличить»), ни лобовые приемы («сказать до конца, кто сволочь»), с полным сочувствием отнесся к этим приемам в творчестве Маяковского. Запоминание в данном случае явилось признаком одобрения. Зошенко поддерживал преувеличения и словесные обнажения как закономерные приемы сатиры.

О смерти Маяковского, обстоятельствах ее и причинах, я никогда не заговаривал с Михаилом Михайловичем, полагая, что в этом вопросе информирован лучше его. Но однажды он, почти невзначай, обронил, что если постичь во всей глубине историю души поэта, характер его страданий и состраданий, то можно лучше понять и его личную драму, и его ранний конец.

* * *

Михаила Зошенко, как мы знаем, всегда преследовал нелепый парадокс. Его то и дело принимали не за того, кем он на самом деле являлся. Автора путали с героем-рассказчиком, ему приписывали слова и поступки его незадачливых литературных персонажей. Недоразумение это оборачивалось в одних случаях странными происшествиями в жизни автора, анекдотическими письмами читателей. В других случаях оно

приводило к травле художника, к его многолетней опале. Парадокс выливался в торжество административного тупоумия, в систему надругательств и запретов.

После постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и последовавшим за его выходом шельмованием на собраниях и в печати М. Зощенко был исключен из Союза писателей.

Удрученный всеми этими событиями, Зощенко, потемневший и худой, совершенно замкнулся в себе. Его редко можно было встретить на улице, он не всегда кланялся знакомым — не хотел их «скомпрометировать»; с досадой замечал, что некоторые из них избегали его. Он чувствовал себя виноватым перед друзьями — причинил им много хлопот, послужил поводом для закрытия журнала. При встречах он, впрочем, ни о чем таком не говорил, если собеседник не заговаривал первым. Не упоминал он и о том, что находится в тяжелом материальном положении — с ним расторгли все издательские договоры, его перестали печатать, и он сразу стал крупным денежным должником: нужно было покрыть все порядком уже израсходованные авансы.

Обо всем этом я узнал от его жены, которая (Зощенко вернул издательствам долги) стала распродавать домашние вещи. Писателю пришли на помощь друзья, предоставлявшие ему бессрочные займы. Я предложил однажды такой заем Вере Владимировне, но она отказалась: по-видимому, не считала меня достаточно близким себе человеком.

* * *

После встречи в 1954 году с английскими студентами, где простодушный и доверчивый Михаил Михайлович попытался изложить свою непосредственную реакцию на оскорбления, прозвучавшие в докладе А. А. Жданова, волна травли пошла по второму кругу. Было созвано общее собрание ленинградских писателей, на котором обязали выступить Зощенко.

Михаила Михайловича я увидел минут за двадцать до начала собрания. Мы оказались друг за другом у буфетной стойки в проходной комнате ресторана Дома писателей. Подойдя к буфетнице, Зощенко опрокинул стопку водки, ничем не закусив. Я понял: он храбрится перед трудным испытанием. Вообще, он выпивал лишь в самые горькие дни своей давнишней закорене-

лой болезни, которую сам называл ипохондрией. Наступивший день поистине не обещал стать для него легким днем.

Отойдя от стойки, мы разговорились.

— Не понимаю, чего от меня хотят,— сказал Михаил Михайлович.— Ходят ко мне, уговаривают. Им надо, чтобы я выступил правильно. Я не знаю, как это делается, и не хочу этого делать. Я не могу принять на себя клеймо, которое на меня налепили. Я умею говорить только так, как чувствую и понимаю.

— Постарайтесь не дразнить гусей,— неумело посоветовал я.

...Как известно, «гусей» он таки раздражил. Новая опала окончательно подорвала здоровье писателя. Он болел, терзался неотвязными мыслями о случившемся, казавшемся ему непоправимым, впал в глубокую хандру. Ничто вокруг не радовало писателя — ни публикация отдельных произведений, ни образовавшееся вокруг него затишье... Выход из печати в 1956 году — после десятилетнего перерыва — сборника юмористической прозы ненадолго принес писателю облегчение: 22 июля 1958 года Зощенко скончался.

ВСТРЕЧА НА НЕВСКОМ

Михаила Михайловича Зошенко я знаю с пятнадцати лет. Знакомством это не решусь назвать — я встречала его у моего дяди, Александра Александровича Юнгера. Михаил Михайлович довольно часто бывал у него и почтительно ухаживал за дядиной женой, молодой хорошенькой Ксюничкой. Я восторженно относилась к настоящему, знаменитому писателю. Тайно и жадно наблюдала за ним, сидя среди взрослых за чайным столом у дяди Шуры. Особенно мне нравилось, что он возит Ксюничку на Острова да еще на лихаче — совсем как у Блока. Осмелиться заговорить с ним — я тогда и думать об этом не смела.

Как-то, спустя много лет, Зошенко зашел к нам на Посадскую. Николай Павлович¹ представил нас друг другу.

— А мы очень давно знакомы, Елена Владимировна, — сказал Михаил Михайлович. — Еще когда вам было пятнадцать лет. Я за вашей тетушкой ухаживал, и мы с вами часто пили чай в красивой столовой у Александра Александровича.

Боже мой, сам Зошенко запомнил меня и узнал! Я была потрясена.

Встречались мы от случая к случаю в общественных местах, в гостях, у нас дома, всегда очень дружески, интересно беседовали. Известно, что Михаил Михайлович при ослепительном своем юморе смеялся очень редко, да и улыбался не так-то часто. Улыбка у него была удивительная — больше глазами, чем губами, — и совершенно преображала его почти всегда печальное лицо. Говорил он негромко, без интонаций.

© Е. Юнгер, 1990.

¹ Н. П. Акимов.

В начале войны вместе с Евгением Львовичем Шварцем он писал для нашего театра сатирическое обозрение «Под липами Берлина». И вот этим своим ровным голосом, оставаясь абсолютно серьезным, говорил: «А здесь непременно будет комичная сценка». Или: «Эта комичная сценка вас устраивает?» Николаю Павловичу очень нравилось это, и он, рассказывая что-нибудь смешное, любил прибавлять: «А вот тут получилась комичная сценка, как сказал бы Михаил Михайлович Зощенко».

В Москве во время войны мы часто общались, и я смогла в полную меру оценить отзывчивость, доброту и несравненное благородство этого красивого и внешне, и внутренне человека.

В сорок шестом году, после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», как-то я встретила его на Невском и кинулась к нему. Скользя безучастным взглядом, не обратив на меня ни малейшего внимания, он прошел мимо. Смуглое лицо его еще больше потемнело, показалось мне совсем черным. Он шел своей спокойной, довольно быстрой, размеренной походкой, как обычно очень прямой, слегка откинув назад голову. Я побежала за ним, схватила его под руку.

— Михаил Михайлович, вы меня не узнаете?

Мягким неторопливым движением он освободился от моей руки. Не поворачиваясь ко мне, глядя прямо перед собой, сказал:

— Разве вы не знаете, Леночка, что нельзя ко мне подходить? Почему вы, увидев меня, не перешли на другую сторону?

Я еле удержалась, чтобы не зареветь. Снова крепко схватила его под руку и выпалила, словно боясь, что он сейчас исчезнет, что провожу его, куда бы он ни шел. На этот раз он не отнял своей руки и, как обычно, без всяких модуляций, на одной ноте произнес:

— У вас могут быть большие неприятности.

Я вцепилась в его локоть и зашагала рядом. Мы прошли по Невскому, свернули на улицу Желябова, вошли в переулок возле ДЛТ, бывший Волынский. Шли молча. Я думала только о том, чтобы не реветь. У какого-то подъезда Михаил Михайлович остановился, пожал мне руку, сказал своим четким голосом, на той же ноте: «Очень вам благодарен», — и вошел в парадную.

Взволнованная этой встречей, я стояла и тупо смотрела на дом. И вдруг сообразила, что бывала в этом

доме в раннем детстве. Здесь жили бабушка и дедушка, папины родители. Любительница сильных ощущений, я обожала страшные сказки. Дядя Коля, младший брат отца, для таинственности гасил свет и рассказывал всегда одну и ту же историю про вурдалаков и мертвецов. По мере приближения к концу — все повествование я знала наизусть — по моей спине начинали бегать мурашки. Вдруг он вскрикивал жутким басом: «Отдай мою золотую ногу!» С воплем я неслась в освещенный коридор. Тогда мне казалось, что ничего страшнее этого не может быть на свете...

О ЗОЩЕНКО И ЕГО ДРУЗЬЯХ¹

Когда мне случается проходить мимо дома № 9 на канале Грибоедова, я непременно задержу шаг, чтобы взглянуть на окна квартиры четвертого этажа, где жил когда-то Михаил Михайлович Зощенко. И в памяти тут же всплывает его трогательный облик, его грустноватая улыбка, взгляд темных пронизательных глаз, неторопливая речь... Уже с начала двадцатых годов имя его было известно всему Ленинграду. Еще мальчишкой я только и слышал: Зощенко, Зощенко... И, бывало, бегал от газетчика к газетчику, пытаюсь поймать синюю книжечку «Библиотеки „Бегемота“» с портретом автора на обложке.

Популярность Зощенко росла необыкновенно. Его рассказы и фельетоны становились добычей ловких эстрадников. Они читали Зощенко в дивертисментах после каждого киносеанса и, как сговорившись, обязательно искажали и опошляли («чтобы было посмешнее») великолепный авторский текст. Помню, даже талантливый Хенкин, исполняя «Аристократку», уснащал рассказ грубой отсебятиной.

Мне привелось увидеть Михаила Михайловича году в двадцать восьмом. И трудно было поверить, что это и есть тот самый чудесный писатель Зощенко. Да к тому же еще и «Гаврилыч» (под таким псевдонимом печатались его фельетоны в газете «Пушка»). Когда вы читали назидательные высказывания Гаврилыча, то сам он представлялся вашему воображению эдаким бывалым питерским рабочим в замасленной прозодежде, добродушным, но язвительным, не дававшим спуску головотяпам и пьяницам. А тут... порог редакции «Бегемота» переступил молодой человек, скромно, но ще-

¹ Нева. 1984. № 8. С. 126—134.

петильно одетый, гладкие черные волосы разделены косым пробором, красивое точеное лицо покрывал южный (как у нашего тогдашнего кумира Капабланки) загар.

— Вот это и есть Зошенко-Гаврилыч, — сказал мне секретарь редакции Б. В. Жиркович, — он же — Ив. Прутков.

Я сразу заметил, с какой радостной нежностью относятся все к Михаилу Михайловичу: братья-писатели, художники, технические работники. Все оторвались от своих дел, оживились, а карикатурист Борис Иванович Антоновский — солидный, авантажный мужчина — приветствовал вошедшего маршем «Выход гладиатора» (он прекрасно мог имитировать музыку целого духового оркестра).

Известно, что Зошенко был удивительно скромн, избегал публичности, многолюдья, шумных сборищ и малознакомых людей. Но в тот поздний час в редакции были только свои (я — неприметный ученик художника Н. Э. Радлова — не в счет), и потому Михаил Михайлович чувствовал себя как дома. Он шутил с машинисткой, играл с пинчером художника Б. Шемякота, а потом, сочинив несколько подписей к карикатурам и ответив на десяток писем корреспондентов Гаврилыча, принялся рассказывать всевозможные истории и случаи, выхваченные из окружающей жизни. И тут я узнал, что он еще и прекрасный рассказчик.

Забегая вперед, скажу, что за долгую жизнь мне много приходилось встречать среди знакомых писателей и артистов интереснейших рассказчиков. И. С. Соколов-Микитов, Виталий Бианки, К. Г. Паустовский, актер А. М. Ходурский, гитарист С. А. Сорокин... Но с Зошенко я бы никого не сравнил. Сколько же он хранил в памяти удивительных сюжетов, многие из которых, к сожалению, так и не были им записаны, не превратились в рассказы и повести... Кстати, прелестная его повесть «Талисман», написанная в духе пушкинского «Выстрела», долгое время существовала лишь в «воздухе» как устный рассказ для дружеского круга.

В те давние времена я частенько встречал Михаила Михайловича у Н. Э. Радлова. Я приходил к своему мэтру с папкой под мышкой, дверь отворяла Лидочка — большеглазая девочка с бантом на макушке — дочь художника.

— А у нас Зошенко, — тихо говорила она, и глаза ее сияли от восторга.

В то время Радлов и Зоценко были заняты кипучей работой — сочиняли серию невероятных «изобретений», вскоре выпущенных отдельной книжкой под названием «Веселые проекты». Среди этих «проектов» был, например, «механический ограничитель» — громоздкий аппарат с системой рычагов и хронометром; этот механизм предназначался для того, чтобы в нужный момент прервать заговорившегося оратора уколом вилки в чувствительное место. Или такой «проект»: «безопасный денежный сейф», который чуть что хватал в железные объятия даже самого осторожного «медвежатника». Эти очень смешные картинки сопровождались «поучительными комментариями» Михаила Михайловича.

Заканчивался очередной мой урок рисования, и я спешил удалиться — «по-английски», незаметно. Но, бывало, в этот момент из-за портьеры доносился голос Радлова: «Нет, нет, сегодня вы не улизнете. Пошли пить чай с шоколадным тортом». И как это он угадывал то, чего и самому мне хотелось? После робких отговорок я оставался. Конечно, не ради чая с тортом... Тянуло побыть среди замечательно интересных людей, которые живут искусством, творят его. Кроме самих Зоценко и Радлова и добродушной хозяйки дома, жены Николая Эрнестовича — художницы Н. К. Шведе-Радловой, в этой светлой гостиной часто бывали брат художника Сергей Радлов, выглядевший не таким неприступным, как в своем Молодом театре, его жена, величественная и строгая переводчица Шекспира — Анна Радлова, писательница-комедиограф Елена Тарвид... Разговоры о книгах, о кинофильмах, о театральной жизни.

Однажды завязался спор. Е. Тарвид в пух и прах критикует «Двенадцатую ночь», поставленную режиссером Н. В. Петровым, показывает, как развязно вели себя на сцене актеры.

Зоценко с печальной задумчивостью сидит как раз напротив меня, покуривая длинную папиросу. Он берет под защиту действительно смелую до буйного озорства постановку, говорит, что сам Шекспир был бы счастлив, — ведь так дружно хохочет зал; хвалит работу молодого художника Н. Акимова, оформившего спектакль...

В этот запомнившийся мне вечер разошлись около полуночи. Я провожал Михаила Михайловича через пустынное Марсово поле, говорил ему о своем влечении к литературе, о давней тяге к театру, особенно к шекс-

пировскому. И поразительная вещь: я вдруг почувствовал контакт, ощутил, что Михаил Михайлович внимательно слушает. Каким счастьем было осознать это!

Где-то возле Инженерного замка он остановился и промолвил с загадочным видом: «А вы знаете?.. Только, чур, секрет,— знаете, как радловские актеры прозвали величественную Анну Дмитриевну? Ну, не по злобе, а так, по закулисной привычке давать прозвища». Я, конечно, не знал. «А вот как — метко и просто: Батюшка. Помните: «У попа-то, рукава-то...» Признаюсь, когда я сегодня слушал ее, вдруг вспомнил: Батюшка!.. И чуть не прыснул от смеха, как школьник».

И это сказал Зоценко, рассмешить которого, как утверждали многие, было безнадежным делом. Сам же он высказывался (я это слышал не раз) о своей невозмутимости примерно так:

— Часто говорят о том, что на лице моем выражена какая-то гоголевская грусть, придумали, что я «рыцарь печального образа». А если бы знали, как иной раз, прогуливаясь по улице, я вдруг запримечу что-нибудь смешное, или в голову мне придет неожиданный комический поворот сюжета,— что со мной делается в этот момент!.. С каким трудом удерживаюсь, кусаю губы, стараясь преодолеть приступ хохота. А ведь если ни с того ни с сего расхохочешься на людях, бог знает что подумают — ну рехнулся человек или, видать, здорово под мухой...

И еще приходилось слышать от Михаила Михайловича, что его грусть — это естественная жажда радости, неутолимая потребность общаться с веселыми и счастливыми людьми.

— Ведь не один я такой,— говорил он.— Возьмите, например, Хармса — такого серьезного, вечно углубленного в свои думы. Кто видел его веселящимся, раскатисто хохочущим? Но ведь беседовать с ним, читать искрящиеся смехом его стихи — всегда так весело, кувыряться хочется! Да ведь что мы? Самого Антона Павловича в пессимисты записали, припечатали ему «мировую скорбь».

Замечу, что при встрече с милыми сердцу людьми Зоценко всегда приветливо улыбался, выражая чувство симпатии и доверия, которым он не баловал прочих других. Он очень любил общаться с поэтами, стихи которых выбрал его вкус, его слух. С Александром Гитовичем он встречался до самой смерти, называл его Са-

ня, но говорил ему не «ты», а «вы»... Помню, как я недоумевал по поводу стихотворных строк, вкрапленных Зошенко в его повести «О чем пел соловей?» и «Мишель Синягин». Вкус Михаила Михайловича я считал безупречным — и вдруг такая бездарщина. Как он мог?.. «Да ведь это же не стихи, — успокоил меня Гитович, — а откровенная пародия на стихи-уроды, что рождаются у графоманов. Это подделка под «салонную поэзию». Тут все — сердце, девиз, любовь, образ, изящное лицо — букет махровой пошлости!..»

Гитович обладал феноменальной памятью. Трудно представить, сколько он помнил стихов — от Пушкина до Олейникова. И читал — чеканно, как читают только одни поэты. Зошенко слушал его всегда отрешенно, уйдя в себя, а иной раз просил повторить прочитанное. Очень нравилось ему, как Гитович читает лермонтовского «Валерика». Однажды летним утром я зашел к Гитовичам и застал там, кроме хозяев, Зошенко и его жену Веру Владимировну. Они жили по соседству и пришли сюда не просто позавтракать, а «на Заболоцкого». Николай Алексеевич сидел в кресле у окна и пребывал в самом мажорном расположении духа. Он выглядел свежо, молодо: белая рубашка «апаш», золотые запонки, круглые сияющие очки. Читал он, кроме новых стихов, по просьбе Зошенко одно из своих загадочных стихотворений, прямо-таки колдовское — «Змеи»:

Лес качается прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты...

Прослушав, Михаил Михайлович говорил о загадке Времени, о тайне сновидений, рассказывал о невероятных случаях летаргии... Разошлись к полуночи, благодаря и обнимая раздурмянившегося Николая Алексеевича.

А вскоре, этим же летом, я снова встретился с Михаилом Михайловичем. Я поселился со своим этюдником на чердаке литфондовской дачи в Суйде, а подо мной, в самой даче, обосновались сразу три поэта — молоденький Глеб Семенов, Сергей Дмитриевич Спасский и старый мой приятель Володя Лифшиц. И вот однажды к даче подкатил громоздкий автомобиль, из которого вышли улыбающийся Зошенко в светло-сером костюме и за ним двое незнакомцев, как позже выясни-

лось, члены какой-то комиссии Литфонда. Как раз в эту пору Михаил Михайлович был избран в правление Союза писателей и активно занимался жилищными проблемами.

После обеда, к вечеру, все отправились на прогулку, перебрались через полотно железной дороги, туда, где среди высоких деревьев стояло несколько деревянных строений своеобразной архитектуры — все, что осталось от родового имения Ганнибалов. Невдалеке, за пределами усадьбы, сохранилось старое неухоженное кладбище с черными чугунными крестами и гранитными надгробиями, совершенно как бы из «Станционного смотрителя». Здесь долго бродили, читая эпитафии. Самые интересные Михаил Михайлович записывал в блокнот. Вернувшись, разлеглись на пахучем сене, пекли на костре картошку, читали стихи, а когда стемнело, уговорили Зоценко переночевать на широком и древнем, вполне возможно, ганнибаловском диване...

В начале тридцать восьмого года я стал заведующим художественной частью детского журнала «Чиж». Этот славный журнал был создан большим коллективом прославленных авторов: С. Маршак, В. Лебедев, Н. Тырса, В. Бианки, Д. Хармс, А. Пахомов, Евг. Чарушин, Ю. Васнецов... Радостно было общаться с этими людьми. И вот время от времени в «Чиж» стал приходить Зоценко и стали появляться его короткие рассказы. И как-то сразу же мне пришлось прибегнуть к помощи Михаила Михайловича. Я придумал сюжет рассказа в картинках: одному немецкому мальчику поручили доставить на пароход революционные книжки, и ему удалось уйти от преследования полицейской собаки вот таким хитрым способом — он переобулся на ходу, на улице, в чужие башмаки, после чего ищейка пошла по ложному следу.

Редактор журнала Р. И. Жуковская сказала, что для этой довольно сложной истории требуется дать очень простой, ясный текст. Я побежал к Зоценко. Он стал внимательно разглядывать рисунки А. А. Успенского, а я — его рабочую келью. Ни соринки, ни клочка бумаги, идеальный порядок на его изящном бюро с ящичками, за которым привык работать. Железная кровать застелена ворсистым серым одеялом («Как у Чехова», — подумал я), а над изголовьем — прелестная акварель К. Рудакова.

Приходилось слышать, что Михаил Михайлович не любил художников-иллюстраторов. Это неверно. Он опасался банальности, фотографизма — это так, но к мастерам иллюстраторам относился с большим уважением. Выделял острого насмешника Бронислава Малаховского, Н. Муратова, Ю. Васнецова, преклонялся перед Н. А. Тырсой, В. М. Конашевичем. За годы знакомства с Зошенко я заметил, что он никогда не делал замечаний своим иллюстраторам, соблюдая редкую деликатность. Помню, как он любовался чудесными рисунками Ю. Н. Петрова к своим рассказам в «Чиже»... Пришлись ему по душе и рисунки А. Успенского к «Приключениям мальчика Генриха» (так предложил назвать Михаил Михайлович нашу историю в картинках). Текст он написал быстро и хорошо. До сих пор помню его концовку. На рисунке изображен толстопузый шуцман, ударом сапога поддавший ищейке, которая упустила умницу Генриха. И подпись: «Эй, толстый фашист, не бей собаку, она не виновата!» Эта наивная реплика (как бы от лица негодующего маленького читателя) ставила прекрасную точку — в ней было столько правды!

Чаще всего Зошенко появлялся в «Чиже» без всякого предупреждения: гулял, мол, в садике у Русского музея и решил заглянуть... Да, кстати, детский рассказик написал. Он устраивался поудобнее на нашем диване, иногда рядом с Хармсом, и говорил: «Нет-нет, читать я не буду, пусть прочтает кто-нибудь из вас, а я, может, примечу какие-нибудь огрехи...»

Писательский труд Михаил Михайлович всегда считал важным, ответственным и далеко не легким делом. Как-то один литератор расхвастался ему при встрече:

— А все-таки вдохновение — великая штука! Вчера я сел и накатал за один вечер рассказ. И, знаете, вполне приличный рассказец получился!

Было видно, как это покорило Михаила Михайловича.

— К сожалению, не могу вас понять, — сказал он сквозь зубы. — Приличным может быть топор, пиджак... Но рассказ приличный — это нелепость. К тому же приличие — двоюродная сестра посредственности и скуки. Это еще древние греки знали...

Все мы в годы войны не раз вспоминали Зошенко, перечитывали его рассказы, дошел до нас и успех его

«Рогульки». А в сорок третьем году, таком тяжком для Михаила Михайловича, мой друг, фронтовой поэт Михаил Дудин, посвятил ему свой только что созданный цикл стихотворений «Сентябрь». Там были строки:

...Я снова все переиначу,
Как думаю и как хочу,
Перестрадаю, переплачу
И дань тоске переплачу.

Уже в ту пору между Зошенко и Дудиным сложились сердечные, искренние отношения, и Дудин стал для Михаила Михайловича просто Мишей. В сорок четвертом Зошенко вернулся в Ленинград. Он написал для нашей фронтовой газеты рассказ, мы стали встречаться и однажды затащили его в гостеприимный дом редкостной умницы, нашей блокадной подруги Наташи Владимирцово́й, сестры известного композитора. Едва переступили порог, как она воскликнула, увидев Зошенко:

— Бог ты мой, да это ж Миша пришел!

Оказалось, они были знакомы с детских лет... А потом топилась старинная белая печь, мы сидели за скромным ужином, и Дудин читал стихи, а Зошенко, прислонившись спиной к кафельной стенке, рассказывал о странностях человеческих судеб, перебирая крупные янтарные зерна четок...

В пятидесятые годы частенько наведывался из Москвы поэт Володя Лифшиц. Он увлекался тогда киносъёмкой — запечатлевал своей маленькой камерой портреты старых друзей и однополчан. Среди многих других у него были на редкость удачные кадры с Михаилом Михайловичем. Хочется верить, что ж и в о й Зошенко и сейчас находится в доме у художницы Ирины Кичановой, жены поэта.

Крупным планом, во весь формат экрана прямо вам в глаза смотрел Михаил Михайлович. Он что-то рассказывает, мягко улыбаясь, можно разглядеть его милое лицо, морщинки на лбу, седоватые виски, матовый блеск его глаз. Вот он затягивается папиросой, круглое облачко дыма вылетает из его губ, оно постепенно разрастается, обволакивает и затуманивает лицо. Черты светлеют, размываются и наконец исчезают совсем...

Эти воспоминания о М. М. Зощенко были напечатаны в августе 1984 года в журнале «Нева». И, надо сказать, к большому неудовольствию высокого начальства: «Опять у вас в журнале этот Зощенко!»

Да, само упоминание его имени было чуть ли не криминальным. А о годах тяжелой опалы и подавно слова нельзя было сказать. Я и не пытался. Знал: если скажу — весь материал зарубят.

А ведь были встречи в ту мрачную пору... Помню, например: в сырой осенний день шагаем вдвоем с Дудиным по Невскому. Навстречу нам — хрупкая фигура Михаила Михайловича. Худенький, прямая спина, одет в серое потертое пальто, старая кепка. Мы с Дудиным, только что получив гонорар, направляемся из Дома книги в ресторанчик под «Европейской» гостиницей. И вот — такая радостная встреча! А говорили, что он болеет, не выходит из дома...

Издали мы уже начинаем кланяться, ликуем, наконец, жмем его руки, умоляем разделить с нами трапезу. Ведь на антресолях «Восточного» ресторана имеются уютные кабины с диванчиками вокруг стола, там можно задернуть темно-зеленые шторы и спокойно обедать, ведя беседу...

— Милые мои, дорогие, — говорит вполголоса и торопясь Михаил Михайлович. — Никуда я с вами пойти не могу и умоляю — не приближайтесь ко мне, ведь нас кто-то видит, это факт. Поберегите себя.

Ему было плохо. И он не хотел, чтобы было плохо другим.

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЭПИЗОД

Впервые я увидела Михаила Михайловича во время войны, когда он в 1944 году вернулся в Ленинград. Знакомы мы не были. Писателей тогда в Ленинграде было немного. При встрече в столовой Дома писателей, ставшей в те дни центром общения, и на немногочисленных вечерах здоровались все, даже не будучи предварительно друг другу представленными.

Меня сразу поразили облик Зошенко, до странности непохожий на героев его рассказов. Он был красив, обаятелен, на редкость мягок и грустен. Темно-карие глаза, задумчивые, ласковые, вопросительно вглядывающиеся в лица окружающих его людей, сдержанная деликатная улыбка, какая-то органическая соразмерность движений, манер, тихого, доброго голоса — внешность, казалось, присущая автору лирических новелл, а не создателю пронизательно подслушанного характерного красочного языка полуграмотных людей, недавно коснувшихся культуры, не переваривших ее, употребляющих «интеллигентные» слова, не понимая их подлинного значения, некстати вставляющих их в искаженные, косноязычные и в то же время цветисто-высокопарные фразы с неподражаемым комическим эффектом. Непредвиденность этого словоупотребления — не просто изобретательная, остроумная пародия, а подлинное и многостороннее открытие нового типа горожанина — обывателя, некритически хлебнувшего так и не освоенного им образования. И в этом кривом зеркале исковерканного языка широко отразились быт, психология, взаимоотношения людей двадцатых и начала тридцатых годов, которые можно было наблюдать в коммунальных квартирах, очередях, трамваях. Но

сквозь убогость и жалкость этого быта пробивается человеческая доброта, снисходительность и сочувствие автора к своим духовно неполноценным героям.

Между Зошенко-писателем, любимым всеми слоями общества — от изощренных филологов до простых, мало читающих людей, — и этим скромным, печальным, на редкость притягательным и молчаливым человеком для меня была пропасть.

В мае 1945 года кончилась война, и в Союзе писателей был грандиозный праздничный вечер. Я шла на него, раздираемая противоречивыми чувствами. С одной стороны — неумная радость: наконец-то больше не будут убивать, восторжествовала неоспоримая ценность человеческой жизни. А с другой — очевидная и необратимая боль утраты, уже не смягченной и тенью надежды. Родители погибли в 1942-м в разгар блокады, а муж, ушедший с войсками народного ополчения в сентябре 1941 года, так и не вернулся, и все мои письма пришли обратно. Неумолимо ясно стало: вся прежняя, дорогая мне жизнь оборвалась навсегда. С этими противоречивыми чувствами радости и отчаяния, преследовавшими меня весь этот праздничный вечер, я металась по Дому писателей, то танцуя и пируя, то убегая, чтобы в общем хаосе разгорающегося веселья побыть одной и разобраться в себе.

В одну из таких минут меня вдруг остановил Зошенко, с которым до того я не обменялась ни одним словом, и начал с места в карьер:

— Я думаю о вас уже восемь лет и никак не могу разгадать. Я не раз видел вас еще до войны в Доме писателя, такую молодую, оживленную, улыбающуюся, и не мог понять, почему женщина в расцвете лет, явно благополучная и счастливая, пишет? Я знал, что вы пишете и много печатаетесь, и это казалось мне несомненным с вашей, видимо, радостной и легкой жизнью... Сужу по себе: даже в молодости я был бесконечно и необъяснимо несчастен. Я участвовал в двух войнах, потом перепробовал множество профессий. Внешне жизнь моя как будто не была обездоленной, а я не находил себе места. Отчаянная тоска и непонятные страхи угнетали меня. Я не мог ни есть, ни пить, ни спать. Я боялся выходить на улицу и задыхался в комнате с закрытыми дверьми. Мне тягостно было встречаться с людьми. Я непрерывно недомогал, хотя никакой определенной болезни у меня не было, и попытки лечения не

помогали. Мне не хотелось жить. И тогда неожиданно для себя я стал писать. И это был единственный выход из состояния, казалось бы, безнадежного. Я не сразу избавился от тоски, но уже через некоторое время, когда литература стала основным делом моей жизни, это мучительное состояние прошло.

Я вспомнила, что Тынянов тоже говорил: «Искусство рождается неблагополучием».

Он еще раз спросил меня, что же заставляет меня писать. И я не смогла тогда ему на это ответить. Его исповедь меня поразила. В то время я не читала еще недавно написанную им повесть «Перед восходом солнца», не до конца напечатанную в 1943 году в журнале «Октябрь», и ни от кого не слышала об этих его припадках безотчетного ужаса и отчаяния. В тот вечер я совершенно растерялась. Праздничная обстановка не располагала к исповеди и серьезным разговорам, и вскоре он тоже, на полуслове прервав себя, перешел на шуточный, игровой, задорный тон. Встревоженная, удивленная и в то же время польщенная, я от него убежала и пошла домой.

Прошло несколько дней. Праздничные волнения улеглись. Все вернулись к повседневной озабоченной трудовой жизни. Я сидела в читальном зале библиотеки Дома писателей и что-то спешно записывала. Вдруг услышала за спиной тихий голос: «Простите...» Оглянулась. Это был Михаил Михайлович.

— Простите,— повторил он.— Несколько дней тому назад на вечере я что-то такое вам говорил и совершенно все забыл. Не можете ли вы мне напомнить, что я тогда говорил?

И я, не задумываясь, произвольно ответила:

— Если вы забыли, Михаил Михайлович, значит, так и надо. И не вспоминайте. Забудьте совсем. Чего не скажешь в такой праздник!

Попрошались и ушла.

Потом я долго не встречала его, чуть ли не больше полугода.

В Союзе праздновали шестидесятилетний юбилей Михаила Лозинского. После торжественной части все перешли в ресторан. Сидели за отдельными столиками. Мой стол стоял в стороне от стола юбиляра. Рядом со мной сидели скромные переводчики, не слишком мне знакомые. Оживление после произнесенных тостов стало понемногу угасать. И было скучновато.

Вскоре в комнату вошел Зоценко, сел за стол к Лозинскому и А. Смирнову. Через некоторое время Зоценко, оглядывая комнату, увидел меня, улыбнулся, пересел за мой стол, заказал шампанское и снова продолжил тот азартный с подтекстом разговор, который оборвался на вечере в честь победы. Я сказала:

— Вы похожи на миллионера из «Огней большого города» Чаплина, который трезвый забывает, а пьяный вспоминает.

Это его позабавило. Потом я узнала, что «Огни большого города» — его любимый фильм. Точно этими словами называется один из его рассказов, ни по материалу, ни по теме и сюжету ничего общего не имеющий с картиной Чаплина. В тот вечер юбилея Лозинского он в разговоре со мной весело обыгрывал ситуацию с миллионером Чаплина.

А вскоре раздался телефонный звонок.

— Говорит миллионер. Когда я могу вас увидеть?

Я назначила день, с трудом соорудила гостевой стол — ведь карточки в то время еще не отменили и с продуктами было нелегко — и настроилась на праздничный лад.

Он пришел точно в назначенный час, держал себя мило, просто, корректно, но ни к чему не притронулся, о себе ничего не говорил, все больше расспрашивал о том, что я делаю и о ком пишу.

— Так вы действительно любите свое дело! — воскликнул он удивленно, а я, удивляясь его удивлению, сказала:

— Конечно, а иначе я бы им не занималась.

Говорили о многом, но не о литературе. Все больше о том, сколько горя, лишений и тяжелых утрат принесла людям война.

— Никогда я не видел на улицах города и скамейках его садов столько одиноких старых женщин, — сказал он с глубокой болью.

Во всем, что он говорил, чувствовался человек отзывчивый, неравнодушный, инстинктивно разделяющий чужие страдания и готовый активно помочь. Он в этом непринужденном общении открылся мне с совсем иной стороны. Какое-то органическое благородство и великодушные сквозили в каждом его слове и жесте.

Прощаясь, он поцеловал мне руку и сказал:

— Я думал, вы авантюристка, а вы просто хорошая женщина.

Весь этот эпизод, сложившийся из нескольких встреч, загадочный и незавершенный, стал мне ясен значительно позже, когда я, уже после его смерти, в наши дни прочла целиком повесть «Перед восходом солнца». Я поняла, что в последние годы своей жизни Михаил Михайлович писал не просто литературные произведения, а упорно, напряженно и страстно искал реальных путей, как жить полноценно, как избавиться от неоправданной тоски, необъяснимых страхов. Ведь в действительности на войне и в любых жизненных обстоятельствах он отличался безоглядной храбростью. Так где же истоки того безотчетного отчаяния, а подчас и непреодолимого отвращения к жизни, которое порой охватывало его, и как от этого излечиться? Он не просто подробно описывает мучительные свои состояния, он старается понять связь нарушенного душевного равновесия с причинами его возникновения. С почти наивной верой вникает он в закономерности психической и физиологической жизни. Он обращается к науке, к теориям Павлова и его исследованиям. Не принимая учение Фрейда о только сексуальных корнях нашей подсознательной жизни, он более многомерно и широко исследует собственные сны и в них находит источник событий своего еще досознательного младенческого существования, которое потом выльется в болезненные и, казалось бы, необъяснимые душевные искажения действительности. Эти исследования походят на искусный психологический детектив, в котором распутываются сложные узлы переживания. Он как бы проясняет для себя свою загадочную угнетенность. Безоговорочное доверие к закономерности научных исследований делает несколько примитивной и рецептурной решение сложной поставленной им перед собой задачи. Но ему становится легче от этого наглядного подхода к загадкам своей душевной жизни, и это распутывание узлов своих безотчетных переживаний превращается в сюжет, тему, проблему и главный смысл его повести «Перед восходом солнца».

Но так как создание повести, научные исследования и глубокое проникновение в истоки собственной жизни слились у него в одну неразрывную целеустремленную деятельность, повесть эта не завершилась с последней точкой. Проблема противоречий, сложностей и странностей человеческой жизни продолжала его волновать и тревожить. Найдя выход для себя, он хотел передать

этот опыт людям, найти разрешение и для других сложных и странных судеб и ситуаций. Он стал проверять найденные им закономерности на других людях. Быть может, эти свои исследовательские детективно-психологические новеллы о жизни он бы продолжил, и каждый человек, не укладывающийся в однозначное понимание, становился бы для него объектом исследования.

Таким объектом на короткое время стала и я, но, найдя для себя ответ и разгадку, он вежливо и благодарно отошел.

А тема необъяснимых душевных состояний и противоречий, видимо, в годы и после окончания повести «Перед восходом солнца» все еще им владела. И только грубое вмешательство в его творческую жизнь лишило нас многих интереснейших историй в этом плане.

Этим эпизодом и ограничивается мое личное знакомство с Зошенко, но его трагическая жизнь протекала на моих глазах.

В августе 1946 года я жила в Доме творчества «Комарово». В день печально известного доклада Жданова за нами в Комарово приехал автобус и отвез всех живущих в Доме творчества в Таврический дворец. Члены партии более или менее были в курсе. Остальные не знали ничего.

Речь Жданова своей грубостью, нелепостью обвинений поразила всех. Люди растерялись. Всем было странно и страшно. Все боялись взглянуть друг на друга. Бывший «серапионов брат» Николай Никитин пытался что-то сказать, путал слова, вместо «трибуны» он пролепетал «с этой высокой эстрады», заикался и за что-то просил прощения. И только крупная, плотная, широкоплечая женщина Наталья Леонидовна Дилакторская, похожая на статую Александра III, выступила в защиту Зошенко. Все вышли с этого несмылаемого оскорбительного для человеческого достоинства заседания, не смея выразить свое негодование и протест.

Крадучись, я опустила в почтовый ящик на двери квартиры Зошенко письмо, полное уважения, восхищения и сочувствия, но так и не знаю, получил ли он его.

Страшно было подумать, как он все это пережил. А когда несколько месяцев спустя я встретила его в Доме писателя, меня поразило светлое, спокойное достоинство, с каким он держался. Упомянуть о происшедшем не решались. Он говорил о том, что пишет рас-

сказы про партизан, и еще о чем-то сугубо нейтральном. Ни напряженности, ни нервозности не было в его словах и движениях. Его спокойствие восхищало мужеством и чистотой.

И наконец последнее неслыханное истязание произошло в зале Дома писателей в 1954 году, когда его клеймили за ответ английским студентам — за то, что он посмел не согласиться с грубой бранью Жданова, обозвавшего его хулиганом и трусом. Я была на этом позорном заседании. Не буду говорить о том, что там происходило, — об этом уже достаточно хорошо известно. Преступное надругательство над Зошенко непростительно и незабываемо.

После заключительных слов Зошенко: «Пусть Друзины правят литературой, а я уйду» — только Меттер сочувственно и одобрительно заплодировал да несколько литературных юнцов, спрятав головы в колени, чтобы не было видно лиц, робко похлопали. Потом Зошенко, с болезненно потемневшим лицом, сломленный, один стоял в коридоре. С какой-то сестринской ласковостью Елена Катерли взяла его под руку и сказала: «Пойдем, Миша, пиво пить...»

Чувство неискупимой вины охватило многих. Ведь был уже 1954 год. Никто не мог ждать ареста, разорения, смерти. Но рабский страх, воспитанный десятилетиями, сковал людей, и, с тупой покорностью опустив головы, все промолчали, не взорвались естественным возмущением, не приостановили подлую инсценировку публичной казни над Зошенко — человеком неподкупной рыцарской чести, душевного мужества, доверчивой чистоты и врожденного благородства. До сих пор мучительный стыд за себя и всех промолчавших терзает меня.

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РАЗНЫХ ЛЕТ

В ту далекую пору я уехала из привычной Москвы. В новом городе, в громадном доме на Загородном проспекте у Пяти углов, я чувствовала себя одиноко и заброшенно. И случилось как-то — зашел к нам один милый человек, Борис Зисерман, и стал увлеченно рассказывать о Зошенко. Я давно была восторженной поклонницей этого писателя и слушала с жадным вниманием: «Это не такой человек, какими бывают люди. Ему достаточно взглянуть раз, и он будет все о вас знать. Вы погодите, я покажу его вам».

И действительно, как-то вечером Борис заехал за мной, и мы поехали в Дом кино, где в вестибюле толпился народ. Фильм кончился. Мы подошли к яркой молодой женщине, рядом с которой стоял очень стройный, легкий в своей стройности и худобе Зошенко. Темные сухие руки перебирали четки. Он курил, был спокоен, грустен. Все в нем было гармонично; мне с первых минут знакомства показалось, будто я знала его давным-давно.

И получилось так, что Борис с женой, Михал Михайлыч и я вышли из Дома кино и поехали на улицу Плеханова в чей-то дом, чтобы играть в карты, в «девятку». Я трусила, в карты играть не умела и не любила, стала отказываться от игры, объясняя, что все равно мне не понять. Однако М. М. спокойно объяснил мне правила игры, и вот уже я, не веря себе, играю и неожиданно всех обыгрываю. Встав из-за стола, я тут же забыла, как играют в эту игру.

Я вдруг узнала, что М. М., несмотря на свою славу, очень прост и доступен, что он придет ко мне и станет отвечать на мои вопросы, что он расскажет о своей тео-

рии флюидов и объяснит ее мне. «Бывают дни с хорошим флюидом, бывают со средними, бывают с плохими и очень плохими флюидами». На мой вопрос, как нужно вести себя в дни плохих флюидов, М. М. говорил, что не нужно ничего предпринимать, стараться меньше общаться, читать. Я рассказала ему о своем страхе перед жизнью. Мне казалось, что жить можно, только зная, что можешь уйти из жизни в любой момент, когда станет невмоготу. На это он возразил очень горячо и убежденно: «Глупая, вы же таким образом лишите себя самого интересного — перехода в неведомое...» После войны в Москве встретились М. М. Зощенко с Ю. К. Олешей. Они сели за стол, и Ю. К. спросил: «Миша, скажи, Бог есть?»—«Да, есть». М. М. ответил не сразу, но так, что это прозвучало убедительно.

...Почему он приходил ко мне? Я многие годы не спрашивала себя об этом, а сегодня спрашиваю. И отвечаю: он видел меня — одинокую, растерянную, измучившую себя вопросом: зачем я здесь, в этом мире? за что? Он хотел помочь мне жить дальше.

От него я узнала волшебную сказку о зеленой калитке. Рассказывая ее, он, конечно, говорил о себе, о том, как он вошел случайно в эту калитку и попал в волшебное царство знания, любви и добра, где его окружили чудесные, добрые, сильные звери, и как потом, уйдя, он всю жизнь мечтал туда вернуться, но множество причин всегда мешали этому, и как он продолжал надеяться вновь туда попасть, но дела и обстоятельства, и снова дела...

Я с жаром стала доказывать, что уж ежели бы мне удалось найти ту калитку, то я бы непременно выкроила время в нее вернуться. А сегодня вспоминаю и думаю: нет, не нашла бы я зеленой калитки...

Я восхищалась М. М. и верила, что он может все. Иногда он брал карты и гадал мне. Во всем его облике был отпечаток спокойной грусти. Он приходил ко мне на Загородный, человек, который не только выслушивал меня, но и сам с охотой рассказывал о себе.

Когда я впервые пришла к Зощенко домой, меня поразила его необыкновенно простая и опрятная комната. В ней не было ничего лишнего. Железная кровать, два стула, только в углу стояло старинное маленькое бюро красного дерева, за которым он работал. Все опрятно, почти как в больнице. Книг мало. М. М. считал, что

иметь много книг не следует, надо иметь только самые любимые: Пушкина, Гоголя.

Я (да и не только я) никогда не видела М. М. с женой. Он нигде с ней не появлялся. Когда я уходила из его скромной комнаты, мне бросились в глаза белые розы на роскошной французской кровати в соседней комнате. Это было так не похоже на М. М... Там царила Вера Владимировна, женщина таинственная, о которой он предпочитал вообще не говорить...

Какие женщины нравились М. М.? Я часто задавала себе этот вопрос, глядя на Зошенко и окружающих его дам. Мне кажется, такие, как описаны у Бунина в «Грамматике любви». Не красавицы с обложек, не кинозвезды.

Так вот, М. М. нравились женщины, с моей тогдашней точки зрения, не заслуживающие этого. Его представление о прекрасном было неподвластно общепринятым стандартам — ну, скажем, если перенестись в недавнее прошлое и представить себе Миллера и Мэрилин Монро. Или Уланову и Берсенева... Толпа любит сочетать своих кумиров.

М. М. это было чуждо. Его не влекла любовь-тщеславие. Мне почему-то кажется, что он никогда ни одну из своих возлюбленных не обидел.

Про искусство говорят, что оно женственно. А ведь верно говорят. Женственным был и М. М. Да, офицер, имеющий награды, сильный, решительный — и женственный в своей чудесной нежности к слабому полу, который он так не щадил в своих рассказах и повестях.

М. М. общался с людьми разными, порой и с теми, кто не соответствовал ни его интеллекту, ни его духовному складу. Часто он просиживал в пивной на Невском с кружкой пива. Там были его герои. Были они и в литературных кругах. Он успевал всюду, и при этом в нем не было ни тени торопливости. В памяти остался его остро отрезвляющий жест: сидя в любой компании и ведя интересный разговор, он вдруг доставал из кармана часы на цепочке и мельком глядел на них. Это значило — сейчас он встанет и попрощается. И не было такой силы, которая могла бы его удержать хотя бы на минуту, если время его звало.

Люди, дружившие с М. М., могли быть между собой заклятыми врагами. Он не входил в чужие распри, но судьбы знакомых его интересовали. Он охотно выслушивал их рассказы, но в его заинтересованности была

и отрешенность художника. Погружаясь в людские рассказы, он как бы и отводил их от себя. А людей он действительно знал. Правда, как потом выяснилось, нередко и ошибался. Когда он сталкивался с трусостью и предательством — удивлялся и не мог поверить в это. Когда один из его близких друзей (это было после августа 1946 года) перестал с ним здороваться, он на его прямой вопрос, в чем причина, односложно ответил: «Миша, у меня дети...»

У М. М. была бесконечная вереница знакомых, но друг у него, как мне кажется, был один. И привязанность их друг к другу была обоюдной. Бесстрастный, спокойный М. М. не мог скрыть своего восхищения им, и, когда он задал мне вопрос: «Признайтесь, Ирина, такого вы никогда и нигде не встречали?» — я ответила: «Да, действительно не встречала». Это был Юрий Карлович Олеша.

Мне выпало счастье оказаться рядом с людьми, ненавидящими мещанство и насилие, так непохожими на всех, с кем сталкивала жизнь. Я вошла в круг чистой воды, в круг их бесед, их интересов, их дружбы и взаимной преданности.

Я часто бывала в «Европейской», где останавливался Олеша и куда к другу спешил М. М. Юрий Карлович ждал, поглядывая в окно. Так мы стояли с ним, когда, увидев друга на улице, Олеша повернулся в мою сторону и сказал: «А вот идет Зощенко на своих кроватных ножках». Потом внезапно изменился в лице и прошептал, с ужасом глядя на меня: «Вы ему этого не скажете, правда?»

Обычно мы шли в кафе при «Европейской» и там завтракали. Однажды при мне Юрий Карлович рассказал М. М.:

— Ты знаешь, Миша, я тут попал в парикмахерскую, сел в кресло, погрузился в отдых, ждал, чтобы меня подстригли и побрили, а мастер нагло стал хамить, и я вскочил с места, сдернул салфетку и стал топтать ее!

— Зачем? — поморщился М. М.

— А затем, что если я сел в кресло к парикмахеру, то это для меня — праздник! Отдых! — горячился Юрий Карлович.

— Не надо было... Не нужно было этого делать, Юра...

М. М. не любил шума, не мог обидеть кого-нибудь зазря, и, когда отходил от рабочего стола, он жаждал тишины как праздника.

Как-то М. М. пришел на Загородный вечером и застал меня в растрепанном состоянии. Муж, с которым я только что рассорилась, умчался неизвестно куда, и я начала сбивчиво жаловаться на него и на судьбу. М. М. обиделся и сказал довольно раздраженно, что он не утешитель и что я неправильно себя веду.

— А что я такого сделала?

— Вы? Вы вот что сделали — вы испортили мне вечер.

— А чем я его испортила?

— Ну, вы просто меня не знаете. Я обычно вечером в некотором роде отвлекаюсь... пью... слегка пью...

И как только он сказал эти слова «я пью», мне стала понятна его нежная и детская душа. Нет, он не убедил меня, что пьет и напивается, как не убедил в том, что равнодушен к чужим бедам...

Как-то, уже после войны, я пошла в театр на премьеру «Парусиногового портфеля». В дверях я столкнулась с Зошенко. Он сказал:

— Ну что? Все хандрите? Пойдем посмотрим. Они (он имел в виду актеров), кажется, там что-то сделали...

Дальше, скорее из междометий и жестов, я поняла, что М. М. ими доволен.

И вот поднялся занавес, и неожиданно заговорили и зажили настоящей жизнью современные герои. Актерам действительно было что играть... В зале смеялись и аплодировали. И я тоже была захвачена этой чудесной комедией. Но самым удивительным был ее автор. М. М. сидел, как всегда, спокойный и бесстрастный, безучастный настолько, что я не знала, куда мне смотреть — на него или на сцену. То, как он себя вел, как смотрел свою пьесу, тоже был театр, и это была не поза, а нечто совершенно естественное для него...

Август сорок шестого. Как снег на голову — постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я делала в журнале «Ленинград» иллюстрации к одной пьесе. Постановление запугало и без того сломанных людей. В тот же день я бросилась к телефону и позвонила М. М. Что я ему сказала, я точно уже не помню, что-то вроде того, что вот, мол, я всегда есть и буду его другом, что буду всегда и во всем помогать

ему... Смешно, наверное, звучит. Я буду помогать. Кому? Михаилу Михайловичу Зошенко. Но М. М. не смеялся. Он, как всегда, говорил со мной серьезно. Позднее я убедилась, как нужен был ему мой звонок. Все вокруг были в таком страхе, лучшие друзья и соседи перестали с ним раскланиваться. Все было пропитано недоверием и страхом.

Мы встречались с Зошенко часто. Особенно частым гостем он стал у нас, когда я вышла замуж за Владимира Лифшица. Теперь только одна стена разделяла наши квартиры. Мы стали соседями. С Володей они дружески сошлись и пытались даже вместе работать — для заработка.

Комната М. М., в которой он работал, выходила окнами в каменный мешок двора. Квартира была меньше прежней, но зато это дало ему возможность получить от Кетлинской, с которой он поменялся, какие-то деньги за лишнюю площадь.

В этой его новой квартире я видела Зошенко в самые трудные для него времена. В этой квартире стоял стеллаж с любимыми книгами. М. М. любил Вольтера. Он даже подарил мне его книгу. Над изголовьем его железной кровати висел образок. Меня резануло, когда я увидела на подоконнике стакан с суррогатным кофе, прикрытый газетой. В этом доме поселился откровенный голод. Голод и спокойное отношение к нему.

Стояло в этой комнате старинное бюро. М. М. стал рыться в его ящиках и показывать мне старые фотографии. Неожиданно среди них я увидела один мой старинный рисунок, сделанный еще на Загородном и подаренный ему. Я пыталась изобразить нагую нимфу в воде. Я оторопела от смущения — это был, конечно, наивный и плохой рисунок. «Отдайте его мне, я разорву его». — «Нет, — сказал М. М., — он мне нравится», — и поскорее спрятал. Потом он стал прислушиваться и торопливо пошел к двери. «Это... — Видимо, ему не хотелось объяснять, кто это, да я и не любопытствовала. Шаги исчезли. — Теперь ничего», — сказал Зошенко.

Я вспоминаю, как М. М. с В. Лифшицем решили написать комедию. Помню, как мучительно искали они бесконфликтный сюжет, как старались, как я им сочувствовала. Она существует, эта комедия, — «Петр и Анюта». Написана она в стихах, создана по всем правилам и канонам того времени, 1948 года. Это была не-

удачная попытка найти способ для заработка. Пьесу забраковал драматург Файко. Недавно она попала мне в руки. До чего же мучили, до чего же унижали ее авторов. А Зошенко подвергался унижению беспрерывно.

Улица Воинова, восемнадцать. Дом писателей им. Маяковского. Большой зал с лепными потолками, амурчиками и розочками. В президиуме В. Кочетов и другие члены правления, а также вызванный на подмогу К. Симонов. Докладчик — профессиональный литубийца В. Друзин. Он клеймит Зошенко — как он посмел не согласиться с постановлением ЦК! М. М. выходит на трибуну, маленький, сухонький, прямой, изжелта-бледный. «Чего вы хотите от меня? Чтобы я признался в том, что я пройдоха, мошенник и трус?.. Я дважды воевал на фронте, я русский офицер, имею пять боевых орденов!.. Моя литературная жизнь закончена. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею! Дайте мне спокойно умереть». Сошел с трибуны, направился к выходу. В двух концах зала раздались аплодисменты... Встал Симонов: «Тут товарищ Зошенко бьет на жалость...»

Да разве могли они — Друзин, Кочетов, Симонов, Первенцев — понять, что сама смерть давно, с начала травли, превратилась для Зошенко в единственное верное убежище и что он сам стал к ней не просто равнодушен — он ждал ее!..

Хочется разобраться во многих, оставшихся непонятными вещах, в людях, в их взаимоотношениях.

Так, для меня навсегда останется загадкой, почему сбросивший с себя все условности Ю. К. Олеша был почти до робости предан Катаеву. Я Катаева почти не видела, не была с ним знакома, но мне он казался злым. А М. М. очень огорчало то обстоятельство, что Катаев отвернулся от Олешы, и он хотел их примирить. Катаев обижал, был резок с Олешей.

М. М. рассказал нам с Володей, как он шел с Олешей по улице и встретил Катаева. Он взял Олешу за руку и не дал ему сразу уйти. Но примирение не состоялось — Катаев резко свернул в сторону и пошел прочь...

В М. М. чудесно сочетались хрупкость, изящество, легкость — и уверенность, сила, ум, ирония. В его присутствии люди чувствовали себя хорошо, свободно. Но это вовсе не означало, что он принимал всех.

Он мечтал об уединении. Иметь свой угол. Жить одному. Он не раз говорил об этом. Ему был необходим покой для работы. И он так никогда этого и не получил. Говорил, что уйдет в монастырь. Говорил об этом как о чем-то решенном.

Походка у Зощенко была парящая, легкая. Руки схимника, темные, красивые, тоже легкие. Смех сухой — иногда смеялись одни глаза. Говорил он, как бы мысля вслух. Было видно, как он размышляет...

Как-то мы с Володей, живя уже в Москве, приехали летом в Ленинград, остановились в «Европейской» и в первый же день были обворованы: в номере со стола исчезли деньги и часы. Мы остались без гроша. Рассказывали об этом знакомым, все смеялись — все, кроме М. М. Это был единственный человек, сразу предложивший нам деньги. Володя сказал: «Обрати внимание, ведь только он один не нашел ничего смешного в этом происшествии, и только он сразу предложил нам помощь». Он, у кого денег в ту пору было гораздо меньше, чем у всех остальных наших знакомых...

В ноябре 1953 года Володе должно было исполниться сорок лет. Решено было специально приехать в Ленинград, чтобы отпраздновать день рождения с Михал Михалычем, все в той же «Европейской». В номер принесли ужин и шампанское. Когда бокалы были наполнены, встал М. М. и торжественно своим скрипучим голосом произнес тост: «Сорок лет, Володя, не прибавляют мужчине ни ума, ни красоты». Зощенко никогда не ставил себе цели острить, быть остроумным. Юмор был его органической способностью...

Вспоминается одна притча Зощенко. Как-то М. М. стал рассказывать о брошенных грудных детях, отданных на попечение детдомов: «Если этих детей не ласкают, они умирают...» Он говорил об этом с изумлением, с каким-то очень личным интересом — я поняла, что ему самому, такому знаменитому, такому удивительному, не хватало ласки. Но, может быть, ему и не нужно было это? Писатель — одинокий странник, и никто ему не помощник.

Нет, конечно, ему были нужны и забота, и ласка, только незаметные, я бы сказала, тайные, ненавязчивые. Панибратства он не выносил, и как ему трудно было в быту, с вечной необходимостью заполнять какие-то анкеты, писать доверенности. Эта сторона жизни со-

вершенно была чужда Зоценко. Об этом свидетельствуют его письма к Володе.

«Дорогой Володя!

Получил Ваше письмецо. Спасибо. Извините, что отвечаю с таким запозданием — эти дни имел некоторое отвращение к письменным занятиям и поэтому не подходил к столу.

Порадовался, что дела Ваши все же несколько лучше, чем в Ленинграде. Конечно, правильно, что переехали. Здесь весьма трудно с работой. И я особенно это ощущаю. В Москве же, я уверен, дела Ваши хорошо заплетутся. Но в отношении Вашей комедии — уверенности нет, так как сценическая ситуация несколько устарела — сейчас надо бы добавить сатирических мелодий. И тогда все встало бы на место.

Впрочем, комедия все же неплохая, и, может быть, удача будет ее сопровождать. Посмотрим.

Лично мои дела идут не ахти как. Почти всю зиму прихварываю. Сам не знаю, что со мной. Впрочем, подзреваю, что это уже старость. Сейчас несколько лучше мне, но бодрости мало. Надо бы ехать в Москву, но как-то неохота приступать к запутанным делам.

Книгу <большую> я пока отложил. Начал ее не так, как надо бы. Начал с публицистики, а следовало бы с сатиры. Ну, тут всего не угадать было. Да и здоровье не позволяло быть на высоте.

Как-то Алехина спросили — почему он проиграл матч, а он ответил газетчикам: «Этот месяц у меня был неправильный режим питания». Так вот, эти годы у меня был неправильный режим питания и вообще не совсем-то правильный режим. По этой причине не рассчитываю сейчас на крупные лит. удачи. Кое-какие рассказы, впрочем, делаю, но без большой уверенности. Рассчитываю летом передохнуть и тогда возьмусь за книгу.

Передайте мой нежный привет Ирине. Уж ей-то в Москве, вероятно, весьма привлекательно.

Если будет удача с комедией, то сообщите. И вообще не забывайте старых друзей.

Мих. Зоценко.

27/III—53».

«30/III-54

Дорогой Володя!

У меня к Вам небольшое дело. И я буду рассчитывать, что Вы сделаете это маленькое одолжение.

Издательство «Молодая гвардия» обещало мне заплатить гонорар за мой перевод (двух рассказов украинск. писателя А. Гаврилюка). Мне обещали выслать гонорар переводом 25 февраля.

Но вот больше месяца издательство не посылает мне денег. Я очень прошу Вас, Володя, позвонить по телефону в издательство и выяснить, почему такая задержка и когда они собираются послать деньги.

Надеюсь, Володенька, что Вас не затруднит этот звонок. Из Ленинграда же звонить все же сложновато и слишком значительно для столь небольшого дела — весь-то гонорар около тысячи.

Звонить нужно по телефону Д—1—15—00, добавочный — 60. Вызвать сотрудницу издат. Григорьеву.

После чего я попрошу ответить мне кратким письмом.

Извините, Володя, что я даю Вам это поручение. Я знаю, что Вы сердечно ко мне относитесь, и полагаю, что Вас не затруднит это дело.

Иришеньке привет. *Ваш М. Зоценко.*
Ленингр., к. Грибоедова, 9, кв. 124».

* * *

«Володя, оказывается, я Вам послал письмо не 1 окт., а 29 сент. Почему же Вы не получили? Ни на конверте, ни в письме не фигурировала моя фамилия — стало быть, любопытство не имело места.

Жаль, что не получили моего послания.

Вкратце повторю: 2 недели болел — тяжким гриппом, теперь поправился. Однако еще не работаю, а потому и не подготовил для Райкина.

Но вчерне у меня (для него) набросано 2 скетча (и 1 миниатюра), которые я, полагаю, доделаю дней через 10. Условимся так: когда Вы вернетесь из Гагр, то сообщите мне, и я подошлю — куда скажете.

Пока прощайте. Желаю хорошего путешествия.

Ваш Зоценко.

Ирише сердечный привет. (А в том письме в финале я написал, что целую Вас и Иришу своими гриппозными губами. Стало быть, юмор не дошел.) М.

4 окт. 55».

* * *

«Дорогой Володя!

Посылаю на Ваше имя доверенность, написанную по всей законной форме.

Однако нотариус не хотел было удостоверить ее, так как я не знал, где именно произойдет это финансовое событие — получение гонорара за мой скетч «Доброе утро».

Пришлось мне написать в доверенности первое, что мне пришло на ум — управление. Надеюсь, что это не явится помехой для получения. А если явится, то я срочно пришлю новую доверенность. Но при этом надо будет знать название учреждения, где платят деньги.

Я очень теряюсь от таких дел, и будь я богат — отказался бы от гонорара, чтобы снова не идти в нотариальную контору, где заставляют писать в стиле 18 столетия — посмотрите доверенность, она весьма комично составлена!

2 марта 56.

Ваш М. Зощенко.

Ленингр., к. Грибоедова, 9, кв. 119».

Когда раздался звонок в дверь в то апрельское утро 1958 года, первыми были раздраженные слова Зощенко: «Я прочел в газете про ваше метро, что пассажирам не надо совсем идти по лестнице, всюду его примчит эскалатор. Ну зачем снова врут? Зачем всегда врут?..» И я вспомнила, что, когда совершился обмен его светлой большой квартиры на меньшую, мы как-то вместе с ним поднимались по лестнице, и я стала задыхаться.

— Вы неправильно идете, — сказал мне тогда М. М. — Надо вот так: приставлять по очереди ногу к ноге. Тогда сердце успевает отдыхать.

Как же утомилось его сердце! Как же он устал!

Он уедет, оставив надпись на книге: «Дорогим моим друзьям — Володе и Ирише Лифшиц на память о Москве в апреле 1958 г. Сердечно любящий Вас Мих. Зощенко. 7 апреля 58 г. Москва».

Через три с половиной месяца он уйдет навсегда.

В Чехословакии был сделан знаменитый фильм «Рука». Там герой прячется от руки. Рука — символ власти — не может ни соблазнить его, ни силой заставить служить себе, а когда герой гибнет, рука укладывает его в гроб и начинает украшать орденами.

И сейчас, когда я думаю о Зоценко, я все яснее вижу эту руку над его могилой.

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСКИ НА ПЕСКЕ»¹

...Начиная с сорок четвертого года, после возвращения в Ленинград из эвакуации и до моего поступления в пятьдесят втором году в школу-студию МХАТ, моя жизнь проходила на канале Грибоедова в «писательской» надстройке. Она называлась так потому, что старое петербургское здание на бывшем Екатерининском канале было надстроено двумя этажами и там поселили писателей. На этом доме и сейчас висят две мемориальные доски, возвещающие, что здесь жили и работали прозаик Шишков и поэт Саянов...

А вот мемориальных досок с именами Михаила Михайловича Зощенко, Бориса Викторовича Томашевского, Евгения Львовича Шварца, Бориса Михайловича Эйхенбаума там нет. Будут ли?

В доме была коридорная система, и близкие друзья ходили друг к другу на огонек иногда даже без предварительных телефонных звонков. Харч у всех был скудный, но с этим не церемонились, прихватывали свой. Насколько я помню, больше всего общались Эйхи (так Эйхенбаумов называли друзья), мои родители и почти ежедневно приходившие со своей улицы Бородинки Мариенгоф со своей женой Анной Борисовной Никритиной, когда-то актрисой Московского камерного театра, а в Ленинграде работавшей в БДТ. Борис Михайлович с семьей жил в соседней квартире, поэтому являлись друг к другу в пижамах, как тогда было принято. Лизка, внучка деда Эйха, и я постоянно крутились под ногами, а если я мешал взрослым разговаривать, дядя Толя Мариенгоф тоном, не терпящим возражений, говорил: «Мишка! Сыпь отсюда!» Это всегда меня обижало, но делать было нечего, и я «сыпал». А иной раз

¹ Козаков М. Записки на песке. М. 1988.

они забывались, и тогда моя мама говорила по-французски: «Диван лез анфан», что означало: «Здесь дети». Этот «диван» я возненавидел на всю жизнь.

У нас в длинном коридоре надстройки по ночам все чаще раздавался громкий топот сапог, к которому прислушивались родители, игравшие по маленькой в преферанс с Эйхами и Мариенгофами. Мне кажется, они старались держаться сообща из чувства самосохранения: им казалось, что если они проводят вечера вместе, засиживаясь за преферансом или «ап-энд-дауном» — карточной игрой, которую так любил дядя Боря, если играют в слова, вычленяемые из одного длинного слова, то их не заберут. Вот, дескать, сидим мы тут все вместе, друзья-писатели, беседуем о литературе, мирно перекидываемся в картишки, и что же, вот так, ни с того ни с сего, вдруг увидим «верх шапки голубой и бледного от страха управдома»? Увидели все-таки, и не однажды. Писатель И. М. Меттер был в нашей квартире, когда пришли за мамой и начался обыск. Что называется, попал! До сих пор об этом вспоминает и рассказывает мне.

Да и как забыть это время и этих людей? Б. М. Эйхенбаум написал книгу об А. А. Ахматовой в начале двадцатых годов, уже тогда признав в ней большой талант. Мне посчастливилось сразу после войны видеть Анну Андреевну в квартире дяди Бори и слышать, как она читала многое из того, что уже теперь стало классикой русской поэзии...

...А. А. Ахматова, М. М. Зощенко — я часто слышал эти фамилии, называемые родителями с любовью и уважением.

И вдруг... Лето 1946 года. Мы живем в Комарове, я допущен играть со взрослыми в волейбол, как вдруг все писатели неожиданно и срочно собираются в город, где будет какое-то важное заседание. Уезжает Г. Макогоненко из моей волейбольной команды и с ним его жена Ольга Берггольц, родители уезжают. Дом творчества пустеет. А наутро за завтраком вижу мрачные лица. Все о чем-то перешептываются и ходят группками по аллеям Дома творчества. Доносятся отдельные слова и фамилии: постановление, Жданов, журнал «Звезда», «Ленинград», Анна Андреевна, Зощенко, Ахматова, Миша Зощенко, «Обезьянка»...

Потом узнаю уже про все. Не вполне пойму, сколь это страшно. Вот разве что на бульваре улицы Софьи

Перовской, которая рядом с каналом Грибоедова, буду часто видеть одиноко сидящего М. М. Зошенко и с удивлением замечу, что некоторые писатели из нашего дома переходят на другую сторону улицы, едва заметив его.

А через несколько дней отец пригласит Зошенко к нам в гости, и они выпьют на брудершафт. Отцу из-за диабета пить было нельзя, да он и не злоупотреблял, но в тот вечер они все крепко выпили у нас в столовой, и тут я даже узнал историю своего появления на свет. Мама забыла сказать пресловутое «диван...», и я услышал, что «придумали» меня в Коктебеле, когда у моих стариков начался роман...

— Миша, вы помните? Тьфу, Миша, ты помнишь Коктебель в тридцать четвертом году?— Это отец обращается к Зошенко.

— А как же, Миша, помню, как ты с Зоей ходил гулять на Карадаг...

Мама вспоминает дурацкую песенку, которую тогда напевал папаша: «Зачем идти на Карадаг, пойдемте лучше все в бардак!»

— Зоя, ты что, про «диван» забыла?

— Зоя, а вы помните, в тридцать четвертом году на первом съезде выступал Карл Радек. Вы уже были на сносях, к вам подошел Валя Стенич и сказал: «Во время выступления в зале раздался крик новорожденного, мальчика назвали Карлушей...»

— Я вообще девочку хотела, сыновья у меня уже были. И вдруг мальчик! Мне Женя Шварц в больницу записку прислал: «Огонь, пылающий в твоей крови, лишь пламенных мужей производить способен!» Откуда это, кстати? Так вот, стали думать, как назвать этого молодого человека. Я предложила Мишей. А Миша-старший смеется: «Это у нас в бильярдном клубе писателей маркер Михаил Михайлович». А я говорю: «А Михаил Михайлович Зошенко?!» Так, Миша, ты стал Мишкой. А ждали дочку Машку.

Пришел Мариенгоф и сказал:

— А ну, Мишка, сыпь отсюда!

Потом мне часто доводилось видеть М. М. Зошенко и у нас, и у Эйхенбаумов. Невысокий, очень складный. Лицо шафранового цвета (результат отравления газом во время первой мировой войны, которую Зошенко прошел боевым офицером и где был награжден пятью орденами). Черные с проседью, аккуратно причесанные

волосы. Грустные глаза. Сидел, заложив ногу за ногу два раза — спиралью. Попыхивал сигаретой в мундштуке. Читал свои рассказы особенно, ничего не раскрашивая и не разыгрывая. Кругом хохотали, а он оставался невозмутимым. Зошенко очень нравился женщинам, хотя ничего для этого не делал.

Трудно было ему в те годы, настолько трудно и одиноко, что, когда я бежал из школы домой по бульвару на улице Софьи Перовской, Михаил Михайлович часто окликал меня и предлагал посидеть с ним на лавочке. О чем он мне говорил, не помню. Мал я был, да и дурак порядочный: другое гуляло в голове.

Теперь часто думаю: вернуть бы все вспять, и мне — теперешнему — поговорить с ними всеми, послушать их, запомнить поподробней...

«Уходят, уходят, уходят друзья, одни в никуда...»

В «никуда» ушли А. А. Ахматова, Б. М. Эйхенбаум, и мой отец, и дядя Женя Шварц, и А. Б. Мариенгоф, и М. М. Зошенко, к которому перед концом жизни все-таки вернулась его болезнь. Когда-то он с ней справился и даже написал об этом в повести «Перед восходом солнца». Зошенко не хотел, не мог принимать пищу. Вот почему, когда читаешь ахматовские строки, посвященные его памяти, поражаешься точности этого короткого, но замечательного стихотворения:

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.

Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят.

Похоронили М. М. Зошенко на Сестрорецком кладбище, неподалеку от залива, чем сильно облегчили надсмотрщикам процесс похоронного обряда. Табель о рангах, как мне кажется, соблюдается у писателей особенно тщательно. Где произойдет прощание с покойным, какой некролог, кем подписан — все это считается чрезвычайно важным и существенным. Помню, особенно отвратительной казалась моему отцу подпись под некрологом Зошенко: «Группа товарищей».

ПРИНЯЛ НА СЕБЯ

Нас у отца с матерью было трое: мальчик и две девочки. Летом 1929 года я заболела скарлатиной. Чтобы брат и сестра не заразились, родители решили нас разъединить. Было время отпусков, и меня мать повезла в Анапу — долечивать, а отец поехал с Володей в Гудауты. Там, в Гудаутах, играя с детьми, брат подружился с другим ленинградцем — Валеркой Зошенко, приехавшим на юг со своей мамой. Познакомились дети — познакомились их родители: мой отец с Верой Владимировной. А уже в Ленинграде — через какое-то время — всей семьей мы отправились в гости к Зошенкам.

Помню, играли мы в комнате Валерия, и вот отворяется дверь, входит человек небольшого роста и смотрит на нас добрыми глазами. Подходит к каждому и подает руку, спрашивает, как зовут. Недолго наблюдает, как мы играем, а затем так же тихо, как появился, уходит.

Тогда я в первый раз увидела Михаила Михайловича.

* * *

Мой отец был секретарь Петроградского райкома партии. Хоть была и мала, я замечала интерес к нему Михаила Михайловича. И уважение. Видимо, отец был из тех партийцев, с которыми он связывал надежды на будущую лучшую жизнь. И вот в 1936 году нашу семью постигло несчастье: отца арестовали. Брат и я с сестренкой были в полной растерянности, мать в отчаянии.

Михаил Михайлович пригласил маму к себе, говорил, что это ошибка, недоразумение, что вскоре все должно разъясниться и отец вернется домой. В общем, всячески ее ободрял. Мама вспоминала потом, что он очень волновался, не знал, как успокоить. Принес из своего кабинета банку с вареньем, поставил перед ней чашку чая. Сказал, что чай с вареньем хорошо влияет на нервные перегрузки...

* * *

В августе 1937 года арестовали мать. Наша жизнь окончательно перевернулась. Меня и сестренку как несовершеннолетних детей «врагов народа» отправили в детский дом, притом не в один — разлучили: меня в Судогду, ее в Вычугу. Володя (ему было шестнадцать лет) остался один. И тогда Михаил Михайлович и Вера Владимировна взяли его к себе, в свою семью. И это был не просто, как говорят сегодня, акт милосердия. По тем временам это был мужественный поступок. Хоть Сталин и говорил, что сын за отца не отвечает, но то была ложь. Сыновья отвечали, да еще как! Дети «врагов народа» — они тоже были «враги». И вот семья Зощенко не побоялась «пригреть» врага. А нам, его сестрам, посылались посылки, деньги, не проходило месяца, чтобы мы не получали от Веры Владимировны письма.

* * *

В августе 1939 года я наконец отбыла свой срок в детском доме и вернулась в Ленинград. Мне было пятнадцать лет. Надо было думать, что делать, где и как жить. И опять эти добрые люди не остались в стороне. Ими только что была куплена в Сестрорецке дача, и они пригласили меня там жить. Дача была совсем новой. Вход на второй этаж, где находился кабинет Михаила Михайловича и маленькая комнатка Веры Владимировны, был в то время еще снаружи. С маленького балкона открывался неповторимо прекрасный вид на залив. Голубое небо сливалось с морем, а внизу, за калиткой, бежала тропинка между молодыми, только что посаженными деревьями... Как будто я все это видела только вчера — так ясно остались в памяти первые минуты на сестрорецкой даче.

Каждый день я получала на завтрак пять рублей и шла по своим делам, а к обеду садилась за общий стол. Михаила Михайловича я запомнила как человека тихого, незаметного для окружающих. А дом был, надо сказать, шумный. На половине Веры Владимировны — частые гости, чаепития, громкие разговоры, игры. Наверное, Михаилу Михайловичу все это мешало, но я не помню, чтобы он открыто выражал по этому поводу свое неудовольствие.

Помню, на масленицу Вера Владимировна пригласила родственников, друзей и знакомых. Много было народу. Все знали, что Михаил Михайлович здесь, на даче, и ждали его к столу. Сели, но за еду не принимались. И вот он появился в столовой. Быстро прошел к своему месту, улыбаясь, поздоровался со всеми.

Гости следили буквально за каждым его движением, смотрели в рот, заранее приготовившись смеяться, услышав от него какую-нибудь шутку или остроту. А он, ни на кого не глядя, как-то смущенно, застенчиво чуть-чуть покопался в еде, потом вдруг быстро положил на тарелку кое-что из закуски и торопливо вышел. Весь его вид говорил, что он не хочет мешать людям, приготовившимся к шумному веселью.

* * *

Летом 1942 года меня призвали в армию. Моя часть находилась под Ленинградом, и время от времени мне удавалось на короткие часы попадать в город — то ли командировка, то ли увольнение. Михаил Михайлович был эвакуирован в Алма-Ату, Валерий, как и я, находился в армии, в квартире на канале Грибоедова оставалась одна Вера Владимировна. Кроме как к ней, идти мне было, в общем-то, некуда. Она разрешала мне ночевать в кабинете Михаила Михайловича.

Помню, перед входом в кабинет был небольшой тамбур. Там стоял умывальник (Вера Владимировна рассказывала, что Михаил Михайлович стирал тут свои носовые платки, носки, прочую мелочь), по стенкам до самого потолка — книжные полки. Сам кабинет был обставлен очень скромно. Справа от окна — большой письменный стол красного дерева, с полочками и ящичками на нем. Посередине стола — кожаный бювар, чуть в стороне — металлический стаканчик с карандашами. Вплотную к столу придвинуто жесткое кресло со стега-

ной подстилкой на нем, а за его спинкой — чуть поодаль — одностворчатый платяной шкаф с зеркалом. И тут же кровать — железная, покрытая клетчатым шерстяным пледом. На этой кровати я и спала в те короткие ночи, когда выдавались побывки.

С благоговением входила я в кабинет, где все было пропитано дыханием Михаила Михайловича. Сиделась за стол и осторожно перебирала карандаши, которыми писала его рука...

* * *

Однажды, в конце войны, я приехала в Ленинград и, как всегда, сразу отправилась на канал Грибоедова. И тут я узнала, что Михаил Михайлович вернулся. Вскоре он вышел из своей комнаты. Похудел, лицо было болезненно-серым. Увидев меня, он улыбнулся, подал свою маленькую крепкую руку, потом, раскрыв коробку «Северной Пальмиры», предложил закурить и стал расспрашивать, как мне служится и вообще — как там на фронте дела...

* * *

В следующий свой приезд я застала в доме переполох. Пришла телеграмма: «Поздравляем Валу с сыном, Михаила Михайловича с внуком Мишей». Это было как гром среди ясного неба. Вера Владимировна и Валерий кричали, ссорились, не знали, как поступить и что сделать, чтобы опровергнуть, не признать случившийся «факт».

Вышел из своего кабинета Михаил Михайлович. Стал ходить взад-вперед, нервно потирая руки. Гневное лицо, черные глаза так и режут — то Валерия, то Веру Владимировну. Наконец заговорил. Негромко, чуть хрипловатым голосом, четко произнося каждое слово. Сказал, что не позволит затевать какие-либо судебные интриги, не позволит позорить свое имя. И просит прекратить все разговоры на эту тему. Что эти его слова они должны понять как окончательное и неоспоримое решение.

Сказал, чтобы матери и ребенку был сделан в Ленинград вызов. Что деньги на это он даст.

В один из осенних дней 1945 года дверь в квартиру открыл мне сам Михаил Михайлович. Я очень смутилась. Война закончилась, а на мне все еще красовалась шинель. Я уже демобилизовалась — погоны спорола, ремень сняла, а вот с шинелью расстаться не удалось. Нет, я не стыдилась своей шинели. Но вы ж понимаете: молодая девушка, хочется выглядеть красивой и привлекательно одетой, а тут... Словом, не успела я войти в комнату Веры Владимировны, как на пороге появился Михаил Михайлович, держа в руках темно-бежевого цвета коверкотовое пальто:

— Примите, Нинель. Я думаю, что оно будет вам в самый раз.

Я ничего сказать не успела — его уже не было в комнате.

Я часто думаю о Михаиле Михайловиче. Что же он был за человек? Что было в нем главным, отличающим его от других людей — пусть даже добрых, не проходящих мимо чужих бед и несчастий?

И, думаю, вот что: видимо, он был человеком, который, когда-то испытал большую обиду, принял на себя невинную вину за все те несправедливости, что рассеяны по земле. Своим состраданием, участливым отношением к людям он как бы просил прощения за эти несправедливости, за то, что мир устроен не так, как того заслуживает человек.

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЬЕСА

В 1949 году случилось так, что я оказался соавтором, вернее, помощником Михаила Михайловича Зошенко: мы вместе работали над пьесой «Шутки в сторону».

Для него это было очень тяжелое время. После постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» исключенный из Союза писателей, он был фактически отстранен от всякой литературной работы и лишен продовольственных карточек. Впрочем, ряду писателей, которые втайне сочувствовали Зошенко, удалось добиться того, что он был принят в группком драматургов, а это давало возможность считаться «трудящимся» и, следовательно, получать рабочую плюс литерную карточку группы «Б». Больше года я видел Михаила Михайловича на собраниях группкома, но ни разу не слышал ни одного его слова. Он всегда сидел в задних рядах и молчал.

Предыстория нашего знакомства такова. В октябре 1946 года я видел в музыкальном театре города Цвикау оперетту композитора Раймонда «Маска в голубом». Вернувшись после демобилизации в Ленинград, я как-то увидел в руках артиста музкомедии В. И. Мусатова клавишную партитуру этой оперетты. Мы с Мусатовым решили перевести пьесу, предварительно проиграв клавишную партитуру главному режиссеру театра Суханову. Музыка понравилась, и мы принялись за перевод. Но, начав работать, вскорости поняли, что сюжет требует корректировки. У нас появились многочисленные разногласия, и тогда мы решили привлечь в качестве арбитра третьего соавтора. Мусатов предложил обратиться к Зошенко.

Познакомившись с содержанием пьесы, Михаил Михайлович сразу же согласился возглавить наш маленький коллектив: никакой другой работы у него в ту пору не было. Наши встречи в его кабинете и сейчас у меня перед глазами... Небольшая узкая комната с окном в торцовой стене напротив двери. Слева — диван прежних времен, над ним — небольшое католическое распятие. Справа — ближе к окну — небольшой столик. Михаил Михайлович с карандашом в одной руке и с рукописью в другой сидит на стуле около дивана и спокойно, не торопясь, читает нами написанное. Он прислушивается к нашим доводам, ничего не отвергая сразу и не особенно возражая. Помню его слова: «Когда возникают затруднения по дальнейшему развитию сюжета, надо думать о главном герое. Неважно, касается ли это его личных действий или же действий других лиц по отношению к нему. Нужно перебрать все возможные варианты — и тогда, безусловно, найдется правильный ход в движении сюжета».

Разрабатывать сюжет — это было его «обязанностью». Диалоги сочинял тоже он. На мою же долю выпало писать стихотворный текст для музыкальных номеров, который он внимательно просматривал, иногда делая замечания и внося поправки, но чаще оставляя нетронутым. От названия «Маска в голубом» он посоветовал отказаться уже на первом нашем «заседании» и предложил новое — «Шутки в сторону». Эти слова то и дело произносили действующие лица пьесы.

Когда черновой вариант был готов, мы написали заявку, и Михаил Михайлович ее зачитал на худсовете Ленинградского театра музкомедии. Актерам заявка понравилась. Руководители театра покритиковали ее, но, в общем, довольно мягко. Нам показалось, что дела складываются для пьесы вполне благополучно. Тем более что почти все роли писались с расчетом на исполнение их определенными актерами.

Весной 1949 года пьеса была закончена, и мы договорились о ее читке. Шли в театр вполне уверенные в положительном результате. В пьесе было много выдумки, комических положений, роли получились яркими, нестандартными. Художественный совет театра собрался в зрительном зале около дверей кабинета директора. Послушать пьесу пришло много актеров. Нас посадили за небольшой стол. Я приготовился записы-

вать замечания, а Михаил Михайлович приступил к чтению...

Обычно при любом обсуждении руководители театра выступают последними. Но тут вдруг первым выступил директор, который сразу же обрушился на пьесу, назвав ее порочной, бездарной и никому не нужной. Еще не услышав мнения присутствующих, он заявил, что никто из актеров не захочет участвовать в разыгрывании «подобной чепухи». Обращаясь к артисту Евгению Михайлову, которого мы «планировали» на главную роль, директор сказал: «Вы, конечно, не захотите играть в этой пьесе?» Но Михайлов не оправдал его «доверия». «Наоборот! — сказал он. — Пьеса мне очень нравится. И я с удовольствием спою ведущую партию!» Тогда один за другим стали подыматься директоры «приближенные». Не утруждая себя разговором по существу, они наперебой обзывали пьесу слабой, пустой, никчемной и, как один, заключали свои выступления словами о том, что «Шутки в сторону» никак нельзя включить в репертуар театра. Им пробовали возражать актеры Королькевич, Пельцер, многие другие, но было ясно, что с их мнением администрация театра считаться не намерена. Мы поняли, что судьба пьесы была решена еще до ее читки. Что дело не в том, удачна она или нет, а в том, что у одного из ее соавторов «неудачная» фамилия — Зошенко. Что чиновники от искусства, исходя из первейшего для них принципа — «как бы чего не вышло», не допустят появления на афише этой одиозной фамилии.

Неудачу с пьесой «Шутки в сторону» Михаил Михайлович переживал очень тяжело. Он еще раз убедился, что высокий уровень его профессионализма — пустой звук для начальства. Что его не печатают и не ставят не потому, что он пишет что-то не то и не так, а потому, что он — хоть об этом впрямую и не объявлено — з а п р е щ е н!

Как-то раз я высказал ему свои соображения о причинах постигших его несчастий. Теперь я, конечно, понимаю, что они были наивными, но тогда... После окончания войны я некоторое время служил в Управлении пропаганды советской военной администрации в Германии. По условиям работы приходилось читать немецкие газеты, выходившие во всех четырех секторах Берлина. И вот я заметил, что некоторые газеты с особым удовольствием помещают на своих страницах ранние

рассказы Зощенко, сопровождая их «примечаниями» подобного типа: «Вот что пишет о сегодняшней (!) советской действительности величайший знаток жизни Советской России». Мне казалось, что постановление ЦК ВКП(б) 1946 года и соответствующий доклад А. А. Жданова были вызваны именно этими «происками» наших недоброжелателей.

Когда я сказал об этом Михаилу Михайловичу, он пришел в ужас: «Какая подлость использовать таким образом мое имя! Я русский человек, патриот России. И больше того — хоть это и странно сегодня звучит — я русский дворянин! И я даже в мыслях никогда не имел — принести вред моей Родине...»

После того, что произошло в музкомедии, надо было, конечно, забыть о пьесе. Но мы еще на что-то надеялись. Попробовали зашифровать авторство. Придумали псевдоним — Эмзе (первые буквы имени и фамилии Михаила Михайловича). С этим псевдонимом на титульном листе пьесы мы (теперь уже только вдвоем с Мусатовым) отправились к композитору Д. Прицкеру. Он одобрил «Шутки в сторону» и разрешил при разговорах с театрами называть его имя как будущего автора музыки. Летом в Ленинград приезжал главный режиссер Московского театра оперетты. Мы встретились с ним в его номере гостиницы и прочли ему пьесу. Выслушав, он сказал: «Хорошая пьеса. Я ее беру». Но прошел месяц, и я получил из Москвы конверт, а в нем «Шутки в сторону» без какого-либо объяснения о причине возврата.

После этого Михаил Михайлович окончательно потерял надежду на благополучный исход нашего «предприятия»: «Ни в одно свое произведение последних лет я не верил так, как в это. Но теперь всё! К этой пьесе я больше не притронусь...» Когда я выразил желание еще поработать, он сказал: «Делайте с пьесой все, что хотите. Это ваше личное дело и личное право как одного из авторов. Для меня она больше не существует».

...Несколько лет назад я сдал экземпляр пьесы «Шутки в сторону» — с пометками Михаила Михайловича — в Рукописный отдел Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Я считал, что последняя, почти никому не известная пьеса М. М. Зощенко не должна исчезнуть бесследно. Сдал в расчете на то, что, может быть, когда будет издаваться Полное собрание сочинений, найдется в нем место и для нее. И вдруг, ка-

кое-то время спустя, обнаружился еще один «след», казалось бы, неизвестной пьесы. Вернее, след-то как раз не обнаружен — известным стал конечный пункт ее пребывания: сборник пьес М. Зощенко, вышедший за рубежом. Когда мне об этом сказали, я не поверил. Но вскоре поверить пришлось: приехавший из Парижа человек легко назвал действующих лиц пьесы и довольно подробно пересказал содержание. Тут уж действительно — шутки в сторону... Как же все-таки не умеем беречь мы свое добро!

Завершая рассказ о своем недолгом общении с Михаилом Михайловичем Зощенко, не могу не вспомнить об одном августовском вечере 1949 года, когда я его пригласил в гости — на один из семейных праздников. Он хорошо поддерживал любой разговор, но сам никакой новый разговор не начинал. Я не слышал от него ни одного анекдота, ни одной так называемой хохмы. Он ни словом не обмолвился о своем незавидном положении, о своих обидах на бывших друзей-писателей и вообще не касался литературных тем. Оказалось, что он, мой отец и я сам окончили (в разное время, конечно) одну и ту же 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Вокруг этого и шел в основном разговор. Мы вспоминали порядки в гимназии, любимых и нелюбимых своих учителей.

Я смотрел на Михаила Михайловича, слушал его и думал: у нас за столом сидит один из крупнейших писателей современности, но по его скромному виду, по тому, как просто себя он ведет, разве скажешь, что это так? Ни за что на свете! Это и есть — культура, отличное воспитание, этот человек — быть может один из последних представителей коренной русской интеллигенции...

В тот вечер была последняя моя встреча с М. М. Зощенко.

М. М. ЗОЩЕНКО И «ТРИ МУШКЕТЕРА»

О М. М. Зощенко обычно пишут и говорят как о мрачном, редко улыбающемся, необщительном человеке. Возможно, оно так и было. Но моя встреча с Михаилом Михайловичем оставила образ другой — человека смешливого, приветливого, улыбчивого. Не исключено, что знакомство с Зощенко, происшедшее еще в середине 30-х годов, оставило след в моей памяти не очень точный — ведь было мне тогда всего... двенадцать лет.

Пришел к нам Михаил Михайлович на Бородинскую улицу, в дом моих родителей в пору, когда мой отец, А. Н. Феона, приступал к постановке оперетты «Три мушкетера». Автором либретто был М. М. Зощенко. С романом Александра Дюма тут не было ничего общего, разве что были заимствованы имена мушкетеров: Атос, Портос, д'Артаньян.

Сюжет оперетты незамысловат. Портос и д'Артаньян влюблены в дочь и племянницу знатного вельможи. Девушки учатся в пансионе при аббатстве урсулинок, куда вход лицам не духовного звания строго-настрого запрещен. Зная, что родитель и опекун Марии и Луизы не даст согласия на брак с бедными солдатами его величества короля, Портос и д'Артаньян, переодевшись в пилигримов, проникают в монастырь и похищают своих возлюбленных.

Итак... Не успела я вернуться из школы домой, как раздался телефонный звонок. Звонил отец. Он попросил меня «принять» Михаила Михайловича, так как мама была в Москве, а сам он задерживался на художественном совете в театре и мог не поспеть к назначенному Зощенко времени. Ответственная роль «хозяйки дома»

была поручена мне. Я была преисполнена гордости — надела понарядней платье, вплела в косу яркий бант и уселась в столовой в ожидании знаменитого писателя. О том, что он знаменит, не раз слышала от родителей, и это еще больше создавало атмосферу значимости его визита. Вспомнив, что неплохо было бы для «пущей важности» держать в руках книгу рассказов Зошенко, вынула ее из книжного шкафа и, усевшись повальяжней в кресло, замерла в ожидании. Скоро раздался звонок, и я побежала в переднюю приветствовать гостя.

— Входите, пожалуйста,— сказала я тоном взрослой дамы.— Папа задерживается, у него сегодня художественный совет.

— Хорошо, я подожду,— сказал Михаил Михайлович и, сняв пальто, вошел в комнату.

Был он невысок, темноволос. Глаза продолговатые, темные — под цвет волос. Михаил Михайлович показался мне очень бледным, как будто перенес тяжелую болезнь. Забавно выглядела небольшая бородавка посредине подбородка. Меня удивил его скромный костюм, каких-то серовато-черных тонов. В моем детском представлении знаменитый писатель должен обязательно носить светлый коверкотовый пиджак, ну а уж брюки могли быть потемнее.

Войдя в комнату, Михаил Михайлович спросил:

— Как вас зовут?

— Ирина. Ирина Феона,— почему-то добавила я. Наверное, от смущения. Ведь меня впервые в жизни называли на «вы».

— Фамилию я вашу знаю,— улыбнулся Зошенко.

Помолчали немного. Я снова взяла книгу и начала ее перелистывать.

— Что это у вас за книга?

— Ваши рассказы. Вы прекрасно пишете,— продолжала я «играть» во взрослую.

— Много прочли?

— Довольно много,— густо покраснела я, так как не читала ни одного его рассказа.

— Какой же рассказ вам понравился больше других?— спросил Михаил Михайлович, как мне показалось, насмешливо поглядывая на меня.

Я замаялась, пробормотала что-то невнятное и замолчала. Глаза наполнились слезами.

— Ну что это мы все про меня да про меня? Расскажите-ка лучше о школьных делах,— сжалился надомной Зошенко и неожиданно весело рассмеялся.

«Ему смешно, а мне не до смеха»,— подумала я, считая себя навек опозоренной.

Но рассказывать о школьных делах не пришлось, так как вскоре появился отец.

— Извините, ради бога, за опоздание,— еще из передней крикнул папа.

— Не беспокойтесь, Алексей Николаевич, мы тут с Ириной прекрасно провели время.

«Что он нашел прекрасного? Просто хочет меня утешить».

Я прошла в свою комнату. Папа и Михаил Михайлович устроились в столовой, за большим круглым столом красного дерева, обычно не покрывавшимся скатертью, когда не ждали многочисленных гостей. Частенько стол этот нес службу не только обеденного, но и рабочего. Помню, художники, приглашенные для оформления очередного спектакля, раскладывали на нем эскизы к декорациям, ожидая решающего слова отца.

Моя комната была смежной со столовой, дверь я прикрыла неплотно, чтобы услышать, что за оперетту написал Зошенко, которая называлась так же, как знаменитый роман Дюма.

Михаил Михайлович читал отдельные куски, а прочитав, спрашивал:

— Ну как, Алексей Николаевич, подойдет?

— Прекрасно! Я уже прикинул в уме мизансцену. Думается, что будет очень смешно. В роли Марии вижу Бриль, д'Артаньян — конечно же, Дашковский, Луиза — Лопухова...

Зошенко прочел еще две картины.

— Жду ваших замечаний, Алексей Николаевич. Только, пожалуйста, будьте ко мне построже, не щадите меня.

— У меня пока нет ни единого замечания, Михаил Михайлович.

— Вы добрый человек и не хотите меня огорчить. Ведь я так мало знаком с жанром оперетты.

— А вам не надо его знать, вы его чувствуете, да еще как блестяще! В данном случае интуиция вас не подводит.

Из этого разговора я поняла, что мне непременно надо сейчас же приниматься за чтение рассказов Зошченко.

Премьера «Трех мушкетеров» состоялась через месяц, в театре на улице Рубинштейна, где временно работал Ленинградский театр музыкальной комедии. Брата и меня папа провел через служебный вход, так как дети на вечерние представления не допускались.

Остался в памяти радостный, забавный спектакль, часто во время действия прерывавшийся аплодисментами. Была невероятно смешная по тексту и виртуозно по-актерски выполненная сцена, когда Дашковский — д'Артаньян и Маршаль — Портос, переодетые в поношенные, рваные одеяния пилигримов, дурачат мадам Паку — классную даму пансиона урсулинок.

Брат, сидевший в ложе рядом со мной, всякий раз дергал меня за косу, когда я слишком громко смеялась. Я покорно замолкала, а через минуту заливалась смехом пуще прежнего.

Конец спектакля. Публика не расходится. По традиции, после премьеры на сцене собираются все участники спектакля. На вызовы и аплодисменты публики выходят: постановщик, художник и дирижер спектакля. Слышатся возгласы: «Автора! Автора! Зошченко!» Но автор исчез. Отец оглядывается по сторонам: Михаила Михайловича нигде не видно. Сняв пенсне, папа выходит на авансцену, ищет Зошченко в зрительном зале. Может, он затесался где-то среди публики? Но и там автора нет. Пройдя за кулисы, через несколько минут отец вытаскивает всерьез, не показно сопротивляющегося Михаила Михайловича. Зошченко наконец на сцене. Но и там он старается укрыться за спиной не то художника, не то дирижера.

Уже дома, вернувшись после премьеры, мама не переставала удивляться необычайной скромности писателя.

— Он не только скромн, но и чрезвычайно раднм,— вздохнул отец.— Михаил Михайлович рассказл мне, что, сядя в зрительном зале, слышал, как какой-то мужчина громогласно заявил: «Зошченко-то хорош! Все стянул у Дюма, даже имена мушкетерам не мог придумать другие». Такое глупейшее и необоснованное высказывание могло только рассмешить, а его

обидело. Эх, Михаил Михайлович, цены вы себе не знаете!

Михаила Михайловича мне довелось увидеть еще раз. Было это в Доме писателя, на улице Воинова, примерно через год после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Шла я на какой-то литературный вечер. Поднимаясь по лестнице, увидела Зошенко. Внешне трагические события его жизни на нем, казалось бы, не отразились. Он, как всегда, был подтянут, строен. Вот только глаза были какими-то отрешенными — словно смотрел он не на окружающий мир, а внутрь, в себя. Легкой походкой он спустился по лестнице. А я все стояла, не в силах сдвинуться с места, и смотрела ему вслед...

АПЛОДИСМЕНТЫ

С чего начать мне непростую эту историю, соединившую два литературных имени, две драматичные судьбы — турецкого поэта Назыма Хикмета и русского писателя Михаила Михайловича Зощенко? Несколько раз я принималась ее записывать, но безуспешно. Бросала после первых фраз. То ли не могла найти нужных слов, чтобы вместить в емкую форму рассказ со столь крутыми поворотами, то ли мешала говорить неопишущая жалость к героям моего повествования, то ли сама история представлялась мне запретной по нашим старым временам.

Сейчас все можно сказать про минувшее. Но прошло тридцать лет. Сумею ли?

Назым Хикмет, начиная с 1955 года, часто приходил к нам на киностудию «Союзмультфильм», где по его сценариям ставились два фильма и где я работала редактором. В то время (думаю, так происходит и сегодня) мультфильмы создавали веселые, до озорства насмешливые, чистые люди. Наш сценарный отдел — пристройка к бывшей церкви, узкий, длинный, как пенал, — был любимым перекрестком всех студийных дорог. Сюда забегали отвести душу, сообщить или узнать интересную новость, проверить на юмор трюк, реплику или послушать, о чем нынче говорят обожаемые наши авторы: Н. Р. Эрдман, М. Д. Вольпин, М. А. Светлов, Назым Хикмет, В. В. Сутеев, А. А. Галич и им подобные хорошие люди.

Назым Хикмет был превосходным рассказчиком и с восхищением отмечал талантливую шутку, меткое слово, хороший анекдот и вообще тяготел к людям,

умеющим смеяться, и в самых горьких ситуациях тоже. Он любил приходить в наш сценарный пенал, частенько озадачивал нас своими непредсказуемыми вопросами, и увлеченно, охотно, с неповторимым юмором рассказывал множество своих историй. А мы любили его слушать, и нам всем казалось, что в этой атмосфере, исключающей всякую пошлость и хамство, он, человек так много переживший, отдыхает.

Скомпрометированное постановлением имя Михаила Михайловича Зощенко возникло в равноправном списке любимых классиков Назыма, произнесенное им вслед за Мольером и Гоголем, прямо скажу, для всех нас внезапно. Мы его читали, знали, но великим его даже в нашей творческой среде никто не считал. А произошло это так.

В тяжеловесные пятидесятые годы, когда ржавые замки с дверей нашей жизни сняли, а решетки на окнах еще продолжали висеть, общественное мнение людей выражалось в бесчисленных анекдотах. Процесс этот набирал темп пропорционально государственному истреблению сатирического жанра. Анекдотами люди отзывались на любые проявления лжи, глупости, демагогии, социальной несправедливости и административного головотяпства. Их рассказывали везде и всюду, и никто почему-то не задумывался, откуда они берутся.

Однажды к нам пришел Назым и с улыбкой сообщил, что на днях он встречался на Украине с товарищами колхозниками и от них услышал очень злой анекдот про коммунизм. «Смысл его заключается в том,— говорил он,— что коммунизм наступит при условии, если в каждом колхозе появится вертолет, чтобы крестьяне в любой момент могли слетать в Москву за пшеном. Я спросил их,— продолжал он,— а знают ли они, кто в Советском Союзе сочиняет анекдоты? Они очень серьезно отвечали: «Политические — Илья Эренбург, а про пшено — это все Зощенко!» Я их не стал разубеждать. Я очень за товарища Зощенко обрадовался. Какой замечательный у него народный авторитет, несмотря на весь позор, который здесь сделали! И я очень хочу, чтобы товарищ Зощенко знал об этой прекрасной любви советских людей».

В этот летний день, ставший впоследствии памятным днем 22 июля 1958 года, Назым приехал на студию усталый и застал у нас в отделе нетрадиционное сбори-

ще: один известный преуспевающий композитор — большой мастер жестоких розыгрышей — самозабвенно живописал изумленным слушателям о своих проделках над любимым публикой комическим артистом Хенкиным.

Назым попал на историю, когда удачливый композитор, посверкивая бриллиантовыми пуговками своей белоснежной рубашки, рассказывал очередной сюжет про то, как однажды изрядно выпивший Хенкин не без труда добрался поздним вечером к себе домой под невидимой охраной своих ресторанных собутыльников. Хорошо зная привычку актера мгновенно засыпать, приятели вскоре вошли в подъезд его дома, где, как они знали, шел капитальный ремонт. Они прихватили ведро с половой краской, цвета жидкого шоколада, стремянку и, отперев хенкинскую дверь имеющимся у одного из них ключом, тихонько вошли к безмятежно спящему артисту. Потом, как и было задумано, они макнули подошвы его башмаков в половую краску и, сообразно ритму хенкинского шага, пустили цепочку его следов от кровати по полу к светлой стене, затем, тем же манером, прошли масляными подошвами по стене наверх к потолку; обтоптав и его, спустили следы по противоположной стене, довели до кровати и, замкнув круг, поставили ботинки рядышком. А потом, забрав ведро со стремянкой, тихо скрылись.

Дальше шел замечательный хичкоковский финал — пробуждение артиста, «случайные» звонки приятелей — жадный контроль за нарастающим помешательством несчастной жертвы и наконец веселое признание шалунов с фужером коньяка за моральные издержки.

Вслед за этой новеллой, каскадом, в нескольких обкатанных репризах, композитор без передышки рассказал другую. Опять все про того же доверчивого и одинокого артиста Хенкина, которому все та же милая компания устроила заимствованный на Лубянке трюк.

И на этот раз любимец публики, артист Хенкин, только что с триумфом отыгравший спектакль, кажется в театре Сатиры, и, по обыкновению, пропустивший рюмочку-другую перед сном, с трудом взошел на свой этаж. А дело происходило в конце сороковых годов, когда вновь кругом шли аресты.

И тут бедняга с ужасом увидел, что дверь его квар-

тиры опечатана сургучом с красовавшейся на нем гербовой печатью, а для ясности квартиросъемщика по белому, примазанному к двери листу бумаги крупно чиркнуто красным карандашом роковое слово «опечатано».

Ну где тут потрясенному человеку заметить, что сургуч бутылочный; а печать поставлена медной монетой. Он всему поверил. А спрятавшиеся под лестницей весельчаки за животы хватались, наблюдая за насмерть перепуганным Хенкиным. Им было очень смешно лицезреть, как бедняга умолял в подъезде по телефону всех своих друзей и подруг приютить его на ночь, а те, обманно предупрежденные честной компанией, что бывшего лицедея Владимира Хенкина пускать не надо — по его преступному следу Лубянка спешит, — естественно, отказывали человеку, поставленному приятелями на самый край жизни.

Композитор был очень доволен произведенным эффектом и даже не заметил, что никто не смеялся. И вдруг Назым с огорчением, брезгливо спросил его в упор: «Разве можно так с человеком обращаться? И с таким милым беззащитным человеком?! Вы же его медленно убивали. Жалко. Значит, даже великая литература не дает никаких уроков... Черт побери! Бедный Гоголь! Бедный Зоценко!»

И тут непрошибаемый композитор чисто механически реализовался еще раз — не сдержавшись от каламбура, вскричал: «Зоценко уж действительно бедный. Он сегодня умер».

— Х-х-ха! — невольно выдохнул Назым.

А потом мы допоздна сидели с Назымом в каком-то старом московском дворе. Кучки детей играли в песке у наших ног. Под их милое чириканье и вопли слушала я, замерев и запоминая молодой головой каждое слово рассказа Назыма о его свидании с Зоценко.

Но прежде я узнала, что первую книжку рассказов сразу покоровшего его писателя, молодой Назым получил, едва научившись читать по-русски, в начале двадцатых в Кунцеве от своего старшего друга и московского переводчика поэта Эдуарда Багрицкого, которому во многом обязан безупречным литературным вкусом. Эта книжка оставила след на всю жизнь, и когда

в 1937 году Хикмета посадили в Турции на огромный срок в тюрьму, он вспомнил именно о рассказах Зошенко, вспомнил о писателе, который в этот момент поможет ему улыбнуться, а это значит — сохранить стойкость.

Друзья раздобыли ему русский сборник рассказов Зошенко, и Назым с усердием заключенного много лет вчитывался в его удивительные сюжеты. Вся тюрьма чуть не наизусть знала большинство этих русских историй и по-доброму смеялась над их не очень-то удачными героями. И вот тут Назым и понял, что через рассказы Зошенко даже самый темный турецкий крестьянин легко воспринимает то, чего ну никак не мог осознать раньше, что эти советские русские такие же, как и он, люди. Да, люди, а не красные монстры, запугавшие весь мир своим чудовищным коммунистическим бытом.

Назым считал, что книги Зошенко — самая лучшая пропаганда жизни советских людей, что его юмор в прямом смысле обезоруживает и роднит. С большим волнением он переводил в тюрьме этот сборник, наряду с двумя томами «Войны и мира», и был рад, что в его успехе не ошибся.

Когда Назым вновь приехал в сталинскую Москву 1951 года уже зрелым человеком и его спросили, с кем он хочет увидеться — одним из первых имен после Мейерхольда он назвал Зошенко. Но в свидании было отказано под предлогом того, что Зошенко опасно болен, живет в Ленинграде и врачи к нему никого не пускают.

Только спустя три года Назым узнал от Николая Павловича Акимова всю правду о трагедии писателя, и тут уже встретиться с Зошенко ему никто не мог помешать.

Случай не замедлил представиться. В ноябре 1954 года Назым совершенно неожиданно для себя получил телеграмму из Ленинграда, в которой главный режиссер Драматического театра, позже получившего имя Коммиссаржевской, Владислав Станиславович Андриюшкевич приглашал драматурга срочно приехать на премьеру хикметовской пьесы «Первый день праздника». Назым ответил согласием, позвал с собой близкого друга и переводчика Акпера Бабаева и таким образом в одно прекрасное утро он оказался в Ленинграде.

В тот период Назым Хикмет еще не написал своей главной остросатирической пьесы «А был ли Иван Иванович?», направленной против бюрократии и культа партийной власти, ею же незамедлительно и запрещенной, и продолжал быть в большой чести у госаппаратчиков. Его торжественно встретили, поселили в «Европейскую». А как только чужие ушли, он попросил Акпера позвонить Зошенко и пригласить его вечером на премьеру. Сам он позвонить не решился, просто боясь напугать Михаила Михайловича.

К телефону подошел сам Зошенко, но когда узнал, что его приглашает в театр Назым Хикмет, страшно разволновался и стал всеми силами отказываться, конечно, решив, что знаменитый турок постановления ЦК по его поводу не читал и не ориентируется в его страшной ситуации литературного изгоя. Пойдя на премьеру, он его просто-напросто подведет.

Тогда Назым взял трубку и сказал: «Товарищ Зошенко, я все знаю. Вы не думайте. Но вы один из моих самых любимых писателей. Я приехал ради встречи с вами. И я прошу вас пойти сегодня со мной в театр. Это очень для меня важно».

И Зошенко согласился. Писатели договорились, что по дороге в театр заедут за Михаилом Михайловичем, а он в назначенное время будет ждать их у подъезда своего дома.

Сделали все, как условились. Встретились, обнялись и так вошли в театр, где Назыма в дверях поджидало с букетами партийное начальство города Ленина.

Назым горько смеялся, вспоминая разыгравшуюся сцену в служебных дверях Драматического театра, сильно напомнившую ему финал гоголевского «Ревизора». Он смешно показывал, как опрокинулись лица культпартработников, как все встречающие разом вспотели от напряжения и испуга, и великий жар повалил от них, он помнил их злые глаза, прожигающие ненавистью писателя и то, как, овладев собой, они попытались оторвать Михаила Михайловича от Назыма Хикмета и куда-то увести... Но старый подпольщик крепко держал друга за плечо. Так после третьего звонка они прошли по опустевшему фойе к дверям переполненного зала. Назым распахнул перед своим гостем дверь и подтолкнул Зошенко вперед к зрителям, а сам задержал шаг и остался стоять за порогом. Он

увидел, как премьерная ленинградская публика вдруг напряженно замерла, оставшись как бы наедине со своим замечательным писателем, а потом взорвалась искренними восторженными аплодисментами, решив по извечной наивности, что классик прощен и легализован. Зошенко стоял перед ними тихий, сосредоточенный, несуетный... Потом вошел Назым Хикмет, и овация повторилась. Но это была рядовая овация, говорил он, а аплодисменты Зошенко — это совсем другое, это были одни из самых дорогих и очень счастливых мгновений его жизни, о которых он любил вспоминать.

Назым с радостью рассказывал, как все на редкость хорошо складывалось в тот вечер. Спектакль удался, пьеса понравилась зрителям, артисты замечательно играли, зал часто им аплодировал, и, главное, Зошенко (Назым почему-то произносил его фамилию, всегда сильно напирая на оба «о») был здесь, с ним рядом. Правда, в антракте, когда они прохаживались, обнявшись, среди публики и Назым рассказывал Михаилу Михайловичу, как он помог своими рассказами выжить ему в тюрьме, потому что улыбающийся в лицо своим врагам узник — это самый непобедимый узник, он вдруг услышал за спиной мужской голос. С нарочитой издевкой, отвратительно громко, в затылок, как удар кастетом, были произнесены слова: «А это что за маленький черненький носатый прицепился к Назыму Хикмету?!»

Закрыв глаза от волнения, Назым сбивчиво говорил, как ему хотелось крикнуть на весь театр: «Сволочи!» и бить, бить этих хамов, когда он обернулся и увидел двух молодых мужиков с комсомольскими значками, явно подосланных. Но он, с присущей ему выдержкой, своим митинговым, хорошо поставленным голосом поэта дал провокаторам ответ: «Это мой большой друг товарищ Зошенко. Русский писатель, которого уважает и любит весь цивилизованный мир!»

Здесь бы мне и поставить точку, остановиться на мажорной ноте да на вещих для сегодняшнего Зошенко словах... Но не могу. Скажу, что было дальше.

Когда спектакль счастливо завершился и премьерный ритуал с речами, подношением букетов и целова-

нием актрисам рук был исполнен, Назым физически ощутил, что не готов, не в состоянии вот так взять и расстаться с Зошенко. Он видел, как тот от волнений и усталости еле держится на ногах, и все-таки решился: «Товарищ Зошенко, я завтра вечером возвращаюсь в Москву. Давайте едем сейчас ко мне в гостиницу. Если бы вы могли читать ваши новые рассказы, я был бы самым счастливым человеком!»

Зошенко без всякого согласился. Попросил только по дороге в «Европейскую» на несколько минут завернуть к его дому за рукописью.

В номере Назыма Хикмета было людно. Приехали режиссер В. С. Андриюшкевич с женой, актеры, переводчики, была здесь и журналистка из Москвы Л. Батагова. Сюда же был подан ужин. Позже все эти люди помогут мне восстановить подробности той редкой по хужоженственной насыщенности ночи.

Назым был очень нетерпеливым человеком. Если его душа к чему-то рвалась, он энергично брался за дело. Так и в ту ночь — он торопил всех с едой: «Товарищи, умоляю, ешьте скорей! У нас дело есть!» Наконец посуда была вынесена, Михаила Михайловича посадили в центре в кресло, он поднял у ног стоявший старый портфель и вынул из него рукопись.

— Здесь неопубликованная книга. Я назову ее «Сто рассказов». Все написано после приговора (он так и сказал: «после приговора»). Я хочу одного — пусть мой читатель знает: я не прекращал работать. Другое дело, что обстоятельства для писателя моего профиля сложились неподходящие. Ну, так не мы их, они нас выбрали...

И он начал премьеру никому еще не ведомой книги «Сто рассказов», книги, которая в задуманном виде никогда не осуществится. И тут Назым впервые толком рассмотрел Михаила Михайловича. Поразили глаза, худоба, прозрачность, подавляемая нервность рук, явный предел физических сил... Он говорил, какую боль испытал за этого гордого человека, про которого ему Акпер Бабаев только что сказал, что он доведен преследователями от литературы до такой нищеты, что недавно ходил наниматься на работу лаборантом мыть пробирки в какой-то научный институт.

Поначалу Зошенко после каждого прочитанного рассказа порывался уйти, ссылаясь на ночь. Потом за-

был о времени, скинул напряжение, читал артистично, вдохновенно, на глазах становился красивым, привлекательным человеком.

Назым вспоминал, как он то хохотал до слез, то сочувствие к героям овладевало им, усиливая ощущение объемности исследуемой жизни. Все, о чем он слышал,— было правдой, рассказываемой художником уникального таланта. Магический дар Зоценко он ощущал во всем: в высочайшей литературной культуре замысла каждого рассказа, в лаконизме изложения любого художественно осмысленного факта и в особой грани, которую Назым очень ценил, когда узнаваемая реальность доводится тончайшим пером Мастера до гротеска. Когда былинка становится бревном и об нее невозможно не споткнуться душе.

Зоценко читал много, щедро, всю ночь. В тонких пальцах хрустальный бокал, рубиновый от вина. Время от времени он подносил бокал к лицу, вдыхал запах хорошего вина, так и не отхлебнув. Он был очень серьезен. Из этой читки Назым запомнил несколько сюжетов, любил их пересказывать, меняя детали. Чаще других он вспоминал историю о старом скорняке, которого стали одолевать болезни, но поликлиники со всем их арсеналом врачей ему не приносили облегчения и грустные мысли о свалке жизни стали посещать изболевшегося трудягу. Кто-то надумил его обратиться к одному древнему профессору. Старик пошел. «Умираю совсем, говорит. Меня и к врачам таскали, и на курорт — пустое дело. А тот поглядел на него и сразу заключил:

— Все ваше горе в плоскостопии.

— Да вы же меня вовсе не смотрели!

А профессор смеется: видел, отвечает, как вы шли, и спрашивает пациента: «Вы кем работаете?»—«Скорняком».—«Ну, и как часто ошибаетесь в качестве кожи?»—«Никогда».—«Вот и я так же. Поживите с мое, куманек, тогда не только через пиджак, но и через стену будете видеть».

Это был трогательный рассказ о человеческом сочувствии, когда профессионал не только помог человеку избавиться от недуга и страха перед старостью, но и вселил в него уважение к его делу, его профессии, его бесценному опыту, возродил желание жить да еще взял полцены. И ничего, что в рассказе, позднее изданном

Зощенко («Похвала старости»), герой не скорняк, а закройщик и некоторые детали расходятся, саму суть оптимистической истории Назым запомнил на всю жизнь. С не меньшим удовольствием вспоминал он и фельетон «Душевный конфликт» о добродушном веселом мастере мебельной фабрики Сергее Сергеевиче, примерном семьянине, пристрастившемся к водке, и его соседу — профессоре ботаники, вызвавшемся отучить бедолагу от пьянства. Пропали оба. Как выяснилось, спиртное подавали везде и всюду: от буфета до театра...

В полном восхищении от прочитанного, Назым вскричал: «Товарищ Зощенко, брат! Дайте мне вашу книгу, я ее сейчас же напечатаю!»

И взял рукопись.

Зощенко помолчал, а потом тихо спросил:

— А каким образом вы, Назым, собираетесь это сделать?

— О, не беспокойтесь, брат, у меня есть друг, который сейчас же это напечатает.

— Кто он? — так же негромко спросил Зощенко.

— Симонов! У него журнал, вы знаете...

— Симонов? Ну уж нет, — твердо сказал Зощенко и взял у Назыма рукопись. И, видя недоумение Назыма, Михаил Михайлович пояснил:

— А вы знаете, что ваш друг приезжал сюда стыдить меня за мою литературу?! А вскоре встретил меня в окружении молодых столичных литераторов и как ни в чем не бывало: «О, Михал Михалыч! Что вы тут? Идемте ко мне!» И руку мне на спину. Я руку стряхнул. Тяжелой оказалась его рука. — И без паузы попросил Назыма почитать стихи на турецком языке.

Назым прочитал два стихотворения и вдруг совершенно внезапно попросил Зощенко выслушать одну историю, которую он сейчас обдумывает.

Для начала Назым уточнил, что действие происходит в маленьком провинциальном городишке, где жил один простой хороший человек. Его все знали с пеленок, уважали все старушки, всем им он помогал, дрова, воду подносил — и вдруг его выдвинули на повышение. И вот однажды к нему в кабинет вошел на прием человек и сказал, что он в его учреждении работает завхозом и пора, мол, здесь сменить обстановку. Молодой начальник не возразил. Но после перемены мебели уди-

вился: «Хорошо ты сделал, друг. Но зачем такие шикарные вещи мне поставил? Мне они вовсе ни к чему». А тот ему уж бронзовый письменный прибор с царскими гербами тащит и так далее. А вскоре говорит, что ему над столом необходимо повесить его собственный портрет. «Нет, этого не хочу!»— отбрыкивается бывший рабочий. А уж портрет нарисован и на стене. Потом завхоз говорит: «Слушай, невозможно! Твоя жена в очереди стоит со всеми и покупает то, что берут все. Теперь тебе это не годится, это работает против твоего авторитета. Надо сделать отдельный вход в магазин». И как-то само собой получилось, что жена бывшего рабочего привыкла ходить с другого хода за покупками и жить эти люди стали не как все в городе. А завхоз все не унимается: нехорошо, говорит, ты здороваешься со всеми подряд. С дворником вот за руку поздоровался. Зачем? Это неуважение к себе.

Так у героя пляж отдельный появился, чтобы народ его голым не видел. И постепенно это все ему начинает нравиться. Он привыкает к исключительности. Уже на машине с ветерком ездит. Уже доступ к нему закрыт...

И в конце концов, когда он понял однажды, куда его занесло, он спросил себя: как он дошел до жизни такой? Да и был ли этот чертов завхоз на самом деле? Был ли Иван Иванович?..

Так здесь впервые, по утверждению Акпера Бабаева, под влиянием услышанных рассказов Зошенко был откристаллизован и рассказан замысел будущей знаменитой пьесы-сатиры «А был ли Иван Иванович?» (я его привела в записи Л. Батаговой).

Вот уж поистине щедрые музы летали в ту ночь поверх голов двух породнившихся писателей!

Назым и Зошенко расстались под утро. Прощаясь, Назым шепнул Михаилу Михайловичу, что хотел бы с ним встретиться днем наедине. Условились в два часа отобедать здесь же, в ресторане «Европейской». Так и сделали.

«Сначала я, насколько мог, конечно,— рассказывал Назым,— говорил о его рассказах. Я всегда ценил историю, которую можно рассказать в двух словах. У Зошенко это всегда так. Его ситуации заставляют не только смеяться, но и задумываться. Каждый его персонаж окрашен во множество полутонов и все его рассказы ставят честный диагноз современной дра-

матической жизни советских людей. А потом я его спросил:

— Брат Зощенко, вы для меня один из самых любимых писателей, то есть самый большой гуманист, как Гоголь, например, или Достоевский. Зачем вы участвовали в этой страшной книге? У нее даже корки напоминают мне сталь от наручников. Я говорю о книге «Канал имени Сталина».

— Как?— сильно удивился он.— Меня о сотрудничестве попросил сам Алексей Максимович! А Горькому я добром обязан. И писал я рассказ искренно, честно. А вы полагаете, что «История одной перековки» не вышла?

Назым считал, что рассказ, опубликованный в позорной лживой книге, и не мог выйти. Зощенко не согласился. Назым удивился, что он до сих пор всю эту эпопею с Беломорканалом не проклял. А Михаил Михайлович ему пытался объяснить, какое доверие было ко всякой энергичной идее сверху, ко всякому стремлению перековать старую жизнь, какой сладкой была та вера...

Он рассказал, как Горький, вернувшийся с Соловков, отобрал четыре десятка наиболее известных в то время писателей для коллективной поездки на строительство Беломорканала. Каждый должен был написать очерк или рассказ о пользе принудительного трудового перевоспитания, и всё вместе составит книгу под его редакцией. Под эту идею правительство снарядило огромный пароход, который должен был уйти в путешествие из Ленинграда. Зощенко рассказал, как в назначенное утро все писатели приехали поездами в Ленинград, где им была отдана вот эта самая «Европейская», а в этом самом ресторане ломились столы от дармовых закусок, обедов и питья, и все собравшиеся пировали с большим размахом.

Он рассказал Назыму, как ему было невыносимо тяжело плыть на пароходе, потому что, куда бы он не подруливал, всюду на лесистых берегах их ждали сотни, тысячи подконвойных зеков в новеньких спецовках и все они страшно, раскатисто кричали: «Зощенко! Зощенко! Зощенко!», словно звали его туда, под конвой... Известность обернулась наказанием. Он говорил, как боялся этих одинаково воспаленных глаз, но еще больше в эти моменты боялся взглядов своих братьев-писателей...

— Товарищ Зощенко,— спросил Назым,— вы так любите Горького, я тоже его уважаю, скажите мне, бывшему заключенному турецкой тюрьмы, как могло получиться, что такой мудрый писатель приехал на Соловки в одну из самых страшных каменных тюрем и ничего не понял, стал восхвалять советский тюремный рай?

— Да все он понял! Все знал и, уверен, ужаснулся,— сказал Зощенко.— Я прежде тоже верил, что его надули, а несколько недель назад встретил бывшего узника Соловков, он и при Горьком там находился. Вот он много чего помнит, и одна история с участием Горького очень тяжелая...

На Соловках наряду со взрослыми находились дети, дети каэров (контрреволюционеров). Для них была организована специальная колония. Однажды нескольких заключенных с острова послали на соловецком карбасе в близлежащий город Кемь за мукой. Среди взрослых был и один паренек. Послали голыми, чтобы не сбежали. В Кемь, где они должны были грузить на судно муку, им выдали по пустому мучному мешку с тремя дырками для рук и головы, и они грузили. Вот тут из разговоров охраны мальчишка понял, что на их посудине на Соловки поплывет Максим Горький. Самый лучший пролетарский писатель! Значит, все теперь изменится к лучшему, ведь если он узнает... Потом их загнали в трюм и предупредили: если кто пикнет, головой в воду, а там, они знали, больше трех минут не продержаться.

На острове Горького окружили два-три десятка интеллигентных стукачей, других научили, что говорить, и пошла грубая показуха с цветочками на столах... В связи с отъездом Горького соловецкая власть устроила торжественные проводы. Горький тоже сказал речь, сказал, что живут они здесь хорошо. Тогда мальчик, тот самый мальчик, что сидел в трюме голый, прорвался к классику и крикнул: «Алексей Максимович! Не верьте! Вам все врут!»

Горький потребовал комнату и попросил его оставить вдвоем с мальчишкой. За два часа мальчишка рассказал ему об изощреннейших соловецких пытках, о двадцатичасовом рабочем дне, о работе людей в ледяной воде голышом... Горький плакал, ужасался и, взяв обещание с соловецкого начальства мальчишка не трогать, весь в слезах уехал.

Недалеко отплыл старый карбас с пролетарским писателем, когда мальчишку расстреляли перед строем. Горький узнал об этом, но сделать ничего не мог.

— Он уже был сломлен,— подытожил Зошенко.

На сем и закончился обед Назыма Хикмета и Михаила Михайловича Зошенко. Ужаснулись и они, заглянув осенью 1954 года в еще очень узкую щель пропасти-прорвы, края которой впредь будут постоянно увеличиваться...

Спустя много лет, в начале 60-х, пили мы с Назымом чай в барском доме у вдовы А. Толстого — Людмилы Ильиничны. Из приглашенных, кроме нас, была единственная Екатерина Павловна Пешкова, жена Алексея Максимовича. Она была тихая, сдержанная, в разговоре особого участия не принимала, да разговора-то не выходило. Ситуация становилась критической. Напор светских фраз Людмилы Ильиничны только усугублял пустоту. И вдруг Назым ни с того ни с сего, словно в продолжение давно идущего в нем спора, с возмущением выдвинул Екатерине Павловне упрек:

— А почему ваш муж тогда бросил этого ребенка?!

— Какой муж? Какого ребенка? — опешила старая женщина.

Назым, волнуясь и путая русские слова, рассказал услышанную от Зошенко историю о расстрелянном мальчишке, происшедшую, как он считал, по вине Горького.

Екатерина Павловна долго не отвечала. А потом глухо так сказала:

— Не судите, да не судимы будете. Уже все было нельзя.

И после паузы:

— Нашего сына мы потеряли на той же дороге...

И вдруг, вся собравшись в пружину,— Назыму в упор:

— А вам не приходилось видеть глаза Алексея Максимовича на последних фотографиях? А вы посмотрите! Лучше — хроникальный фильм, где он провозжает на вокзале в Москве Ромена Роллана... Нет, он ничего не мог изменить...

Несколько нарушив временной порядок моего рассказа, я хочу вновь вернуться в тот запомнившийся день 22 июля 1958 года, когда не стало М. М. Зошенко. Вечером, едва я пришла домой после длинного разговора с Назымом Хикметом, он позвонил и без всякой подготовки попросил послушать несколько фраз. Он читал медленно, как завещание: «Я хочу жить в такой стране, где двери не будут закрываться на замки и где будут позабыты печальные слова: грабеж, вор, убийство». Я ничего не поняла. «Ну как же,— стал нервничать Назым,— этими принципиальными словами закончил свой рассказ «История одной перековки» Зошенко! Как я мог их пропустить? А ОНИ заметили. И долго помнили! До самого сорок шестого года. Помнят и сейчас...»

МИМОЛЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ ¹

Я застал его тогда, когда с ним почти не общались. Он жил в Ленинграде, изредка бывал в Доме писателя, то есть заходил, но как-то украдкой, избегая людей; с ним здоровались и с озабоченным видом спешили мимо. Словно чувствовали себя виноватыми. Некоторые сторонились, на всякий случай. У каждого имелись свои опасения. Я тоже испытывал чувство вины. Потом, когда мы познакомились, он, с присущей ему деликатностью, старался снять это чувство. Но оно все равно оставалось. До сих пор оно пребывает у меня среди прочих грехов и угрызений, что накопились за годы нашей путаной жизни.

Может, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зошенко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Это запомнить невозможно, так же невозможно было ничего запомнить из доклада В. Друзина. Хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения, и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зошенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы Константин Симонов и Аркадий Первенцев. До этого в газетах заклеили поведение Зошенко перед иностранными, разумеется буржуазными,

¹ Гранин Д. О наболевшем. Л. 1988. С. 25—42.

сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали пребывать сотни тысяч, а может, и больше отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. Никто не знал, что История готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как, только что опубликовали эренбурговскую «Оттепель», но сразу же на нее накинута стража вечной мерзлоты.

Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию — журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так отстоял до конца у стенки.

Докладчик бубнил про то, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли, лишь когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины: прежде всего по «Оттепели» — полагалось ритуально, затем шли местные нарушители — предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года.

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут... Но уж больно круто ругали, злобились не по резону: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... как будто в самую последнюю минуту заменили на

«блудница». Принял бы и это, если бы не Жданов. Со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его в нашей армии не видали.

Винили в той газете и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа, за то, что они раздували авторитет Зошенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зошенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь-то я несогласно переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучили, мордовали, так нет, зачем-то опять влез в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел секретарем ЦК Н. С. Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зошенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять зажмут, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать, это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом, в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили втык от начальства — что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте...

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае, на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зошенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зошенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Так и сказал. Это ахнуло, как взрыв: не согласен — всполошило, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин,

поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

То, что Зощенко не согласен, и на меня произвело впечатление ошарашивающее — как так, сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина если и запомнился, то исключительно оттого, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то — запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил ни доклада, ни самого Друзина на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами — никто не мог назвать. Я в те годы не понимал — почему же командовать журналом «Звезда» поставили такого человека, почему он поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Собрание двигалось слаженно, согласованно, предусмотрено... Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит

в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с холодной жестокостью.

Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В. А. Кочетов. Он посоветовался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зошенко.

Зошенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зошенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающий настрой был задан.

Зошенко оглядел ряды, лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении, — голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно: что бы он ни сказал, все будет не так, — «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» — обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность — это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думает,— этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

— ...Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— ...В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель.— И опять повторил четко:— Не могу согласиться!

— Зачем подчеркивать несогласие?— прошептал кто-то рядом.— Напрасно он...

— ...Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние, и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления,— о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— ...Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что имело продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему рассказу, как вам из-

вестно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература.

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— ...Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных, и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в двадцать третьем году, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, — это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я сумел бы ответить шуткой. Но про доклад, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми, — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно у всех перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и отдельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— ...Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в двадцатых — тридцатых годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мещанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие. Прямо-таки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю Советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. ...А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?!

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... «На ее месте я бы так же ответил». (Много позже понял я, что означала эта фраза. Сын Анны Андреевны находился еще в лагере, она была опутана по рукам и ногам, она чувствовала себя заложницей.) Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зошенко остался один, на него одного наставлены все прицелы, все мушки.

— ...Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо встал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Для некоторых все было ясно: соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зошенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зошенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адовы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, заранее продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решили, что Зошенко хочет увильнуть и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить, чтоб не вывернулся, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Надеялся как-то перешагнуть через все условности этой гражданской жизни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

На этом месте стенограммы я вспомнил свое чувство досады за него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, он только усугублял — может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, наседающих на него.

— ...Существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, что нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио,— достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжкий груз времени.

— ...Да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом?— ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза, что Панова, что Друц и Неручев.

— ...Я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения»... Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, я знаю надменные взгляды редакторов,— здесь Зошенко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи фразы повторяли, цитировали. В самые темные времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зошенко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так чтобы обидно, потому что автор, в общем-то, сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зошенко, как никто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это он годами был источником смеха, и все здесь сидящие, и тот же Друзин

и Друз, всех их он смешил, все они обязаны ему многими часами радости.

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— ...Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение — и те, кто были против, и те, кто не знали, как вести себя, и те, кто втайне страдал за него.

— ...Вот уже семь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он по пунктам зачитал опровержение на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично о т в е т и т ь. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили всякого рода поклепы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— ...Я никогда не в т и р а л с я в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал л е з т ь в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегию «Звезды».

Про рассказ «Обезьянка», из-за которого якобы разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, — во всяком случае, для нас, молодых, это было совершенное открытие:

— ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольни-

ков написано, и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он о ко п а л с я в войну в Алма-Ате, что он т р у с, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зошенко командовал взводом в первую мировую войну, был награжден двумя Георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

— ...Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в Радиокomiteе, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе — сентябре сорок первого года. Весь город был оклеен тогда афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда, много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября 1941 года, провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зошенко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады

замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила всюю.

— ...Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зощенко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против Кочетовых и Друзиных, которые были не сами по себе, а представляли Власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покаялся. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться — ни сил, ни духа.

— ...Этого требуете вы? Вы? — крик его повис и сошелся.

Взгляд толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжелая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгушалось чувством позора. И общего позора, и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зощенко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через столько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые ку-

пидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем,— ровно и холодно произнес он.— Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения,— он посмотрел на президиум,— ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнуто, но сквозь захлопнутые ставни пробивался непонятный свет.

Спускался, словно уходил от нас в небытие. Не раздавленный, он сказал то, что хотел, и ясно было, что отныне это будет существовать.

Все эти годы проработок, анафем, отлучения, оказалось, ничего с ним сделать не смогли, и, как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению!

Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, свободный, все привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожали ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Председательствующий Кочетов поднялся, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе, осуждающе покачал головой. Потом перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зошенко. Друзин сидел, изображая горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зошенко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле,

и это все поняли, для Зощенко он был всего лишь символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя.

Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных, неизвестными путями пробиравось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой крамолы, именно всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно. Год спустя после того собрания с Зощенко случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзиным. Саянов, человек компанейский, прихватил с собой выпивку, раздобыл кой-какую закуску и после нескольких чоков стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его гнусавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого, они читали Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус, Надсона, Белого — поэтов отвергнутых, запретных в ту пору, вовсе мне не ведомых. Читали упоенно, без устали, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. П. Друзин выступал и уныло крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу — «не надо мне вашего Друзина» — запомнили крепко. Спустя десятилетия я принялся опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М. М. Зощенко было невозможно. Но что любопытно — все повторяли: «Не надо мне вашего Друзина!» Запомнили дословно эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться. Тонкие его губы пренебрежительно кривились.

— Мы не будем преувеличивать значения того выступления, которое вы выслушали от товарища Зошенко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И «паперть», и «кликушество» было грубо, и все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, вздыхали, двигались, шептались.

— Это была изворотливая речь...— настаивал Кочетов.— Почти весь Союз писателей возмутился после того, как произошло высказывание Зошенко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой — пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искреннее убеждение. «Почему вы все придаете такое значение выступлению Зошенко и самому Зошенко? Кто такой Зошенко, чего мы носимся с ним?..»— таков был смысл его слов. Но и они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зошенко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зошенко — это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что у нас, мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись, только когда объявили Константина Симонова.

Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступления Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили дружины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат фронтовик. Я смотрел на него с надеждой и гордостью. С Кочетовым все было ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зощенко, досталась ему, но объединяла их талантливость, — я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно: что же вы тут, бедолаги ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

— ...Советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше-то, дальше он выйдет на справедливость, которая теперь прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю, — как бы поддержал он Кочетова, и тут же поднял палец: — Но! — Барственно грассируя: — Противно! Не-хорошо! Непорядочно!

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звез-

ды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет, и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зоценко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

— Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зоценко и напечатали. Что же изображать из себя жертву Советской власти? Как вам не стыдно.

Боже ты мой, да куда ж это его повело... Помню боль и чувство отчаянья, смотреть на него было неловко, как будто с ним случилось на сцене что-то неприличное.

Придя домой, я записал: «...как мог К. С., он не имел права топтать человека за то, что тот не позволил оплевать себя. З. поддержал честь офицера, а С. уронил».

Симонов воплощал для меня достоинство русского офицерства, что-то из галереи 1812 года, из «Дней Турбиных», он казался мне из той же породы, что мой комбат, мой комполка. Не хотелось верить, что он говорит по своей воле, может, так обязали его? А зачем он согласился, да и слова его были не казенные, и произносил он их проникновенно; зачем, зачем участвовал он в этой расправе? Неужто не понимал он, что пятно неотмываемо останется на его имени.

Так я недоумевал и горевал и втайне утешал себя — что мы, если самого Симонова заставили. Не иначе как вынудили его. Вынужденность, ее можно было различить, недаром тонкие бескровные губы Кочетова иронично кривились.

— Как не стыдно! — повторил Симонов.

Рядом со мною кто-то выкрикнул:

— Кому стыдно?

Симонов услышал, сбился и, уже без позы, резко принялся честить Зоценко за то, что тот в войну писал «Перед восходом солнца». Тут он был на коне, война была его козырем. Что это за повесть? Гробокопательская!

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне:

— То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зошенко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор «Нового мира», я буду печатать Зошенко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался — и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом, встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрямое вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал, — домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали... В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды, при мне, к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать. «Врать не хочу, — запинаясь сказал он, — а говорить, что думаю, — не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклонение, за связь с «ленинградским делом»... Однако то собрание с Зошенко потрясло и бывалых, все видавших ленинградских писателей.

На сцене стоял большой портрет М. М. Зошенко, под портретом — корзины цветов. Я открывал торжест-

венное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. И мне хотелось отыскать там, слева, у стены, себя молодого. Или хотя бы моих соседей. Впрочем, кое-кто из сидящих в зале должны были вспомнить, я высмотрел некоторых, они громко хлопали, смеялись, милые горячие почитатели выдающегося советского сатирика. Один из них сидел в третьем ряду, солидный, в перерыве подошел ко мне:

— Прекрасный вечер. Я бы тоже хотел выступить и поделиться.

— О чем?

— Ну, как же, ведь уже немного осталось нас, тех, кто близко знал Михаила Михайловича.

— А вы помните, как тут его прорабатывали?

Он наморщил лоб, потом обрадованно закивал:

— Как же, еще бы.

— Тогда вы его не поддержали, не аплодировали ему.

Он изумленно посмотрел на меня, улыбнулся снисходительно:

— Что вы, тогда это нельзя было.

— А теперь можно?

— Можно и нужно,— назидательно сказал он,— справедливость восторжествовала, и мы должны...

— Вы об этом хотите сказать?

— Нет, зачем, я лучше расскажу, как мы дружили, я ведь ему шкаф одолжил.

— На следующем юбилее,— сказал я.— У нас уже все полно.

— Что значит полно?— оскорбленно подхватил он и весь изготовился к бою.

— Видите ли,— тихо сообщил я,— список выступающих согласован.

Это он понял, тут он возражать не посмел, и мы разошлись.

На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Ведь был тот же зал ленинградского Дома писателя. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амурчики, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Как и тогда, зал был битком набит, толпились в дверях, стояли вдоль стен.

Никого из тех, что проводили то собрание, не было

уже в живых. Почему так бывает, думал я, что, когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого...

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зощенко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Когда, кем — неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни справлялся у писателей, как водится, никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое, и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожала плечами: вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Через месяца два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, она, ничего не объясняя, протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться. Я пытался представить неизвестную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком, работала, не имея возможности отвлекаться, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происходящее. И, однако, лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все эти годы...

О ЗОЩЕНКО¹

Мои воспоминания о Михаиле Михайловиче Зошенко крайне скудны, но ведь говорил же Пушкин, что любая подробность из жизни великого человека драгоценна.

Я видел Зошенко трижды: мальчиком на вечере в Политехническом музее, зрелым человеком — в его ленинградской квартире на канале Грибоедова; в последний раз я видел не Зошенко, а его маленькое тело в большом, тяжелом гробу, когда пришел проститься с ним на улицу Воинова, в ленинградский Дом писателей. Каждая из встреч была по-своему значительной. И один раз я говорил с ним по телефону, это тоже было значительно и очень грустно.

Вечер в Политехническом музее состоялся где-то в середине тридцатых. К этому времени уже открылось, что Михаил Зошенко не смешной, а страшный писатель. Уходящая вверх аудитория была битком набита, а на крошечной сцене, где еще недавно разыгрывал свои блистательные спектакли театр «Семперанте», сидели избранные: писатели, режиссеры, актеры — гости Михаила Михайловича, среди них — молодые, красивые, очень элегантные Илья Ильф и Евгений Петров и тоже молодой Игорь Ильинский в больших роговых очках.

Читал М. Зошенко три рассказа, меня особенно поразили тот, которого я никогда не встречал в его книгах. Это был рассказ об ответственном работнике, захотевшем проверить преданность своих подчиненных советской власти. Его томила мысль, что они не так уж сильно ее любят, больше притворяются. Моей памяти хватает лишь для импровизации на тему рассказа. Кажется, он повесил в учреждении портрет государя императора и монархические лозунги, во всяком случае, по-

¹ Книж. обозр. 1989. № 26. С. 8—9.

вернул дело так, будто произошла реставрация. К его горю, удивлению и гневу, служащие, наиболее хорошо устроившиеся при советской власти, первыми поддались на провокацию, за ними последовали все остальные, кроме жалкого, плохо оплачиваемого счетовода (или кассира). Тот один остался без позы верен «алому стягу своих республик», хотя ничего хорошего от жизни не видел. Растроганный начальник взял его за белые руки, повел в кабинет... дальше в памяти пустота. Кажется, в конце рассказа говорится, что начальнику крепко досталось за его социальный эксперимент.

Читал Михаил Михайлович изумительно. Ильф хотел тихо, но до изнеможения, до слез. Петров грохотал, булькал и чуть не упал со стула. А фокус был в том, что Зошенко вроде бы никак не читал, просто добросовестно и внятно произносил текст. Но контраст между невероятно смешным текстом и серьезным, чуть печальным смугловатым лицом производил гомерический эффект.

Его чтение было полной противоположностью манере Владимира Хенкина, который в те годы почти монополизировал Зошенко. Хенкин играл, в особенно смешных местах подмигивал публике, нес отсебятину, ломался, говорил на разные голоса и тратил столько артистического темперамента, что хватило бы на пять Гамлетов. Хенкин был талантливейшим комиком, но, при всем уважении к его памяти, это чтение было примером того, как не следует читать Зошенко.

Михаилу Михайловичу был задан вопрос, кто, по его мнению, лучше всех читает его рассказы. «Вне всякого сомнения, Игорь Владимирович Ильинский», — сказал Зошенко и поклонился сидящему на сцене актеру. Тот приподнялся, вытер очки и, непривычно мешковатый от смущения, низко поклонился в ответ. Зошенко знал, что эти слова будут известны Хенкину, но не считал нужным щадить его.

Потом появился еще один большой артист, который тоже будет превосходно читать Зошенко, быть может, лучше Ильинского, — Владимир Яхонтов. У Ильинского в манере преобладало «синевроховское» простодушие. Яхонтов был куда жестче, шел в ту глубину, где веселые рассказы становились страшными. И все же ни тот, ни другой не могли сравниться с самим Михаилом Михайловичем.

Встретился я с Зощенко через целую жизнь, незадолго перед его кончиной. Многие люди любят знакомиться со знаменитостями, я всегда этого избегал, не отдавая себе отчета почему. Ведь с ними бывает так интересно! Самые благостные часы моей жизни окрашены близким видением (как-то совестно произнести слово «общение») Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Юхана Боргена, Роберта Фалька, Акиры Куросавы, но всякий раз то был подарок судьбы, а подарков не выпрашивают, не домогаются. Упало с неба — и спасибо. Недавно я прочел, что нечто подобное испытывал К. Паустовский, меня это удивило, ведь он и сам был знаменитостью.

Зощенко услышал от нашего общего знакомого Поляновского, что я пишу о финском писателе Майю Лассила, которого он переводил в самую тяжелую пору своей жизни, и захотел меня увидеть.

Красивый, милый, совсем еще молодой тогда человек, Дима Поляновский любил «сдруживать» людей. Его давно уже нет. Он был редактором милицейского литературного альманаха в Ленинграде, и, когда он умер, гуд и треск сопровождавших похоронную машину мотоциклов поглотил все остальные шумы города — обыватели думали, что хоронят важного генерала.

— Я вспоминаю, какой вы были красавец! — со странным выражением печали сказал Зощенко Поляновскому, едва мы перешли в гостиную из полутемного вестибюля.

Оказывается, последние годы они общались только по телефону.

— Вы хотите сказать, что я сильно подурнел? — улыбнулся тот своим прекрасно очерченным ртом. — Это неприятно, но я не дама, как-нибудь переживу.

— Нет, вы все еще красивы, — совершенно серьезно, без тени улыбки, с той же непонятной печалью продолжал Зощенко. — Но вы были чудо как хороши! Вы были похожи на юношу Возрождения.

— Старее, — опять улыбнулся Поляновский, являя завидное самообладание, и я понял, почему он преуспел в мужественном деле милицейской литературы.

— Пьете? — сочувственно-брезгливо спросил Зощенко.

— Что вы, Михаил Михайлович! Я никогда не служил Лиэю, как выражался Аполлон Григорьев, а сей-

час мне и вовсе нельзя. Сердце, легкие — я очень часто болею.

— Вы должны с этим справиться, — тепло и серьезно сказал Зощенко. — Вы же совсем молодой человек... И такой красивый... — Он посмотрел на бутылку коньяка, которую я поставил на стол. — Мы должны это пить?

— Конечно, — сказал Поляновский. — Даже я вас поддерживаю.

— Не помню, когда я в последний раз пил коньяк... Правда, водочки, коньячки, закусточки никогда не были по моей части... Найдутся ли подходящие рюмки?.. — Зощенко беспомощно огляделся.

Квартира с мебелью в белых полотняных чехлах, наглухо закрытых буфетом красного дерева, зашторенными окнами, вся какая-то «нераспакованная», казалась нежилой. Можно было подумать, что ее только что получили со всей обстановкой и не успели населить собственным уютом. Конечно, дело было в другом: стоял июль, и семья Михаила Михайловича уехала на дачу, а он остался в городе, среди зачехленной, копящей пыль в складках белых балахонов мебели и всего враждебного его малой житейской приспособленности тяжеловесного быта, в который он так и не сумел вписаться.

Подергав дверцы буфета и, к своему удивлению, открыв их, Михаил Михайлович достал три разнокалиберных бокальчика, долго задумчиво их разглядывал, потом вернул на место, погрузил руку в темное нутро, нашел три маленькие рюмки и поставил на стол.

Постепенно Зощенко обретал смелость в обращении с материальным миром. Он довольно уверенно извлек из буфета половинку засохшего лимона, сахарницу, маленькую серебряную ложечку и такой же ножичек. Немного подумав, нашарил в ящике старый ржавый штопор с деревянной ручкой, похожий на столярный инструмент. Поляновский изящно — не по навыку, а по хватистой ловкости пальцев первоклассного бильярдиста — ввинтил штопор в гнилую пробку и с чмоком извлек ее, не дав раскрошиться. Опасливо и отчужденно следивший за его действиями Михаил Михайлович успокоился: бутылка не взорвалась, не разлетелась на тысячи осколков, золотистый напиток потек в рюмки, затем — после молчаливого, взглядом, тоста — приятно ожег пищевод.

С приметным облегчением поставив рюмку на стол, Зошенко вернулся к теме здоровья, которая всегда занимала его. Он говорил, что человек может в очень широких пределах управлять своим здоровьем, если будет относиться к нему сознательно и ответственно. Для этого мало не причинять ему зла пьянством, курением, обжорством и прочими излишествами, надо уметь анализировать свое состояние — физическое и душевное, что, кстати, неправомочно разделять. Человек должен отчетливо, без самообмана знать, что в нем происходит, тогда он сможет управлять своим здоровьем. В сущности говоря, он развивал свои давнишние излюбленные мысли, известные еще по «Возвращенной молодости» и первой части «Перед восходом солнца», повторяя то, что годы и годы внушал самому себе. Он прошел трудную школу самовоспитания и научился смотреть правде в глаза, как бы жестока она ни была.

— Это все не пустые слова,— говорил он.— Я тот человек, который растянул свою жизнь. Она должна была кончиться куда раньше.

— Ну что вы, Михаил Михайлович!— взметнулся Поляновский.— Вы едва шагнули за шестьдесят.

— Это не мало. А для меня — так и очень много. Я живу сейчас чужую жизнь. Ведь я вроде той пробки, которую вы каким-то чудом извлекли. У меня большие легкие, ни к черту не годное сердце и сосуды. В мировую войну я был отравлен газами, в гражданскую — навсегда испортил пищеварение. Я тяжелый невропат. У меня была нелегкая жизнь. Я никогда не думал, что доживу до старости, хотя очень хотел дожить. Мне казалось интересным побывать во всех возрастах. Я поставил себе такую цель и добился ее. Старость очень интересная пора, я испытал ее и могу спокойно уходить. Поверьте, это не рисовка. Вот сидит старик, пьет коньяк, как гусар, в компании молодых людей, и старик этот я. Разве можно было вообразить такое четверть века назад? Я был полутрупом. Но я взялся за ум, сознательным и твердым усилием продлил свою жизнь. Теперь я спокоен.

— «Как на душе мне легко и спокойно!..»— очень музыкально пропел Поляновский.

Зошенко прислушался.

— Чье это?

— Шуберта.

— До чего хорошо... и до чего понятно...— Тонкой смуглой рукой Зощенко сам разлил коньяк по рюмкам.— В разное время разное может помочь человеку выжить.— Он говорил тихо, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри него, к слабой работе изнемогающего организма.— Но всему есть предел.

— А правда, что смех такая здоровая штука?— Поляновскому явно хотелось изменить настрой встречи.

— Понятия не имею,— пожал плечами Зощенко.

— Я был однажды на вашем авторском вечере в Политехническом музее.— Две рюмки коньяка вернули мне дар речи.— Евгений Петров так смеялся, что падал со стула. И я подумал тогда, что он очень здоровый и счастливый человек.

— Я помню этот вечер,— сказал Зощенко.— Ильф тоже хорошо смеялся, просто у него был другой смех — в себя. К сожалению, это не прибавило ему здоровья.

— А сами вы ни разу не улыбнулись. Удивительно, как вам это удается.

— А я отсмеиваюсь, когда пишу. Хохочу буквально до упаду, до слез. И потом мне уже не смешно. У меня где-то есть об этом.

— Да,— вспомнил я и вдруг перестал верить искренности его признания.

Уж слишком серьезным, до печали серьезным было его лицо, оно не годилось для смеха. Ну, для улыбки — куда ни шло, морщинки в углах тонкогубого рта были следами улыбок его шестидесятилетней жизни, но представить себе его хохочущим невозможно.

— Вы как-то сказали мне по телефону, что Майю Лассила помог вам уцелеть,— вспомнил Поляновский.— Это ваши буквальные слова. Я думал, что вы имели в виду его юмор.

— Нет, свою переводческую работу...

— В первом издании не было указано фамилии переводчика.

— Какое это имеет значение?— пожал плечами Зощенко.— В тех жизненных обстоятельствах важно было что-то делать, зарабатывать на жизнь. Я взялся бы за что попало, но мне достались вещи на редкость талантливые, особенно «За спичками». Радостно талантливые и бодрые... Нет, конечно, Лассила помог мне больше, чем я сейчас говорю. Странное животное человек: у меня недавно вышел однотомник, я сразу стал неблагодарным.

— А ведь все догадались, что это ваш перевод,— заметил я.— Там было клеймо мастера: портной Кеннонен, мотающийся по избе в одних подштанниках. Это типичный Зощенко.

— А я уже не помню.— Намек на улыбку тронул уголки губ.

Я сказал Михаилу Михайловичу, что иные его рассказы знаю наизусть, как стихи. Он принял мое признание не то чтобы холодно, но равнодушно, как любезное и ненужное преувеличение. Затем, переварив то, что представлялось ему неуклюжим комплиментом, сказал чуть неуверенно:

— Но сами-то вы пишете по-другому?— И тут же, что-то вспомнив, твердо добавил:— Вы многословны.

Покорно, со вздохом я подтвердил его правоту.

— Зачем вам это надо?— поморщился Зощенко.— Ведь есть пушкинская проза. Ничего лишнего, каждое слово на месте. Это ли не образец?

Я сказал, что читал его опыт в пушкинском роде. Там была зловещая шутка про старого патриота времен первой Отечественной войны, придумавшего страшную месть Бонапарту. Злодея надлежало изловить, посадить в клетку и лишить пищи — от голода он постепенно съест самого себя. Стилистически то был чистейший Пушкин «Капитанской дочки».

— Вот и пишите так... Если вам действительно знаком этот рассказ.

— Мне бы хотелось вернуться к Лассила,— вмешался Поляновский, которому показалось, что разговор становится для меня опасен.

— А что Лассила?— откликнулся Михаил Михайлович.— Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет. Я сужу, правда, лишь по двум романам, которые переводил, остальное мне неизвестно. Он обожает путаницу, неразбериху, я — тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в «Воскресшем из мертвых» или «За спичками». Был у меня, правда, рассказ про парусиновый портфель, да бог с ним... В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора. Интересно, чему это соответствовало в нем самом? Случайным такое не бывает. Суворов любил вздор, это заметил Тынянов, но там все понятно, а вот Лассила... Я не в силах читать предисловий, но, на-

сколько мне известно, в жизни он был человеком серьезным, трудным, ищущим, с радикальными политическими взглядами, за что поплатился жизнью. Если не ошибаюсь, его расстреляли в тюрьме на Свеаборге. Как-то не подходит юмористу?— Уголки губ чуть дрогнули усмешкой.— А может, наоборот, подходит? Мне хотелось больше узнать о Лассила, но не перешагнуть пропасти, именуемой финским языком.

Мы еще поговорили о Лассила, и у меня создалось впечатление, что у Михаила Михайловича просто не хватило душевных сил углубиться в сложную судьбу писателя, сыгравшего значительную роль в его собственной жизни. Слишком сильно ощущая драматизм своего положения и творя то высокое спокойствие, с каким он хотел встретить кончину, в близости которой не сомневался, видя себя насквозь, он не мог обратиться для постижения чужой сути. Так, во всяком случае, мне казалось. То не было старческим эгоцентризмом в обычном смысле слова, но, умевший так органично сочетать глубокую погруженность в себя с живым любопытством к внешнему миру, редкой приметливостью к подробностям окружающего, Зоценко сейчас был целиком обращен внутрь.

И все же Лассила его не отпускал.

— Почему вы заинтересовались им?— спросил он.

— Наверное, это как-то связано с вами...

Я не договорил. Опять на лице его возникло то холодное, отчужденное выражение, которое уже раз мелькнуло, когда я сказал, что помню наизусть его рассказы. Только сейчас оно было отчетливей. Он не ждал доброго от людей, его слишком много предавали. Он был расположен к Поляновскому, верил ему и распространил на меня свое прохладное доброжелательство, но, столько раз ожегшись, не хотел «погорячее». Мне вспомнилось давнее.

Мой отчим писатель Як. Рыкачев был на том позорном сборище, когда Зоценко уничтожали в первый раз за незаконченную удивительную повесть «Перед восходом солнца». Особенно поразило отчима, что в числе хулителей Зоценко оказался Виктор Шкловский. Друг Маяковского, Мандельштама, Тынянова и всех «серапионов» представлялся отчиму, как и многим другим, человеком без стадного чувства, не участвующим в неопрятных играх своих коллег по дому на Воровского. Кстати, это ошибочное представление сохранилось до

сих пор. А ведь, кроме публичного участия в разгроме Зощенко, за ним числится и такой пассаж. Когда «разоблачали» Б. Пастернака, Шкловский находился в ялтинском Доме творчества. Вместо того чтобы обрадоваться этому подарку судьбы и остаться в стороне от позорища, он вместе с другим трусом Ильей Сельвинским помчался на телеграф и отбил осуждающую автора «клеветнического» романа телеграмму. Сельвинский не поленился и поносные стишки тиснуть в курортной газете.

Потрясенный Зощенко сказал: «Витя, что с тобой? Ведь ты совсем другое говорил мне в Средней Азии. Опомнись, Витя!» На что Шкловский ответил без всякого смущения, лыбясь своей бабьей улыбкой: «Я не попугай, чтобы повторять одно и то же». В конце разносного собрания, которое, как оказалось позже, было прикидкой куда худшего судилища, Зощенко сказал, глядя в бесстыдное лицо аудитории: «Какие вы злые и нехорошие люди».

Поздно вечером я зашел к Асмусам по их просьбе и рассказал об этом собрании. У них в то время обитал Борис Леонидович Пастернак, их самый большой друг. Мы еще пережевывали подробности рассказа, когда из коридора, где находился телефон, послышался трубный голос Пастернака. Он кого-то честил с несвойственной ему резкостью за то, что его «осмелились пригласить на этот гнусный вечер». И неужели думали, что он примет участие в изничтожении замечательного писателя? И дальше в том же духе.

Красный и тяжело дышащий Пастернак вернулся в гостиную.

— Боречка, на кого вы так кричали?— спросила Ирина Сергеевна Асмус.

— На Еголина.— Пастернак улыбнулся плотоядно.

Надо знать, кем был тогда Еголин, чтобы оценить по достоинству жест Пастернака. Он ведал литературой на «высшем» уровне.

И вот много лет спустя я рассказал Зощенко об этом звонке.

— Милый Борис Леонидович,— произнес он тихо.— Милый Борис Леонидович.

Мы еще не знали, да и знать не могли, какие муки предстоят самому Пастернаку...

По ходу разговора я выразил удивление, почему для разгрома Михаила Михайловича выбирали самые

безобидные вещи, особенно «Приключение обезьяны» — милый детский рассказ.

— А никаких «опасных» вещей не было, — сказал Зошенко. — Сталин ненавидел меня и ждал случая, чтобы разделаться. «Обезьяна» печаталась и раньше, никто на нее внимания не обратил, но тут пришел мой час. Могла быть и не «Обезьяна», а «В лесу родилась елочка» — никакой роли не играло. Топор повис надо мной с довоенной поры, когда я опубликовал рассказ «Часовой и Ленин». Но Сталина отвлекла война, а когда он немного освободился, за меня взялись.

— А что там крамольного?

— Вы же говорили, что помните наизусть мои рассказы.

— Это не тот рассказ.

— Возможно. Но вы помните хотя бы человека с усами?

— Который орет на часового, что тот не пропускает Ленина без пропуска в Смольный? — отбарабанил я.

Зошенко кивнул.

— Я совершил непростительную для профессионала ошибку. У меня раньше был человек с бородкой. Но по всему раскладу получалось, что это Дзержинский. Мне не нужен был точный адрес, и я сделал человека с усами. Кто не носил усов в ту пору? Но усы стали неотъемлемым признаком Сталина. «Усатый батька» и тому подобное. Как вы помните, мой усач — бестактен, груб и нетерпяч. Ленин отчитывает его, как мальчишку. Сталин узнал себя — или его надоумили — и не простил мне этого.

— Почему же с вами не разделались обычным способом?

— Это одна из сталинских загадок. Он ненавидел Платонова, а ведь не посадил его. Всю жизнь Платонов расплачивался за «Усомнившегося Макара» и «Впрок», но на свободе. Даже с Мандельштамом играли в кошки-мышки. Посадили, выпустили, опять посадили. А ведь Мандельштам, в отличие от всех, действительно сказал Сталину правду в лицо. Мучить жертву было куда интереснее, чем расправиться с ней.

— А вы написали бы просто: «какой-то человек», — подал я полезный, но несколько запоздалый совет.

— Это никуда не годится. Каждый человек чем-то отмечен, ну и отделите его от толпы. Плохие литераторы непременно выбирают увечье, ущерб: хромой, однору-

кий, кособокий, кривой, заика, карлик. Это дурно. Зачем оскорблять человека, которого вовсе не знаешь? Может, он и кривой, а душевно лучше вас.

Несколько лет назад Твардовский почти дословно говорил мне то же самое. Замечательна ответственность больших писателей за каждое слово и замечательна их вера в жизненную реальность создаваемых ими образов. Зачем плодить уродов без крайней художественной надобности? Следует сказать, что в посмертном двухтомнике М. Зощенко усатый грубиян превратился-таки в «какого-то человека». Редактор трогательно защитил Сталина от «клеветнических инсинуаций». Милые соотечественники, что с вами творится? Почему так упорно не желаете развеять гниlostный туман?..

Когда мы уходили, Михаил Михайлович сказал:

— А вы хотите дочитать «Перед восходом солнца»?

— Еще бы!

— У меня нет сейчас рукописи. Но в следующий ваш приезд она будет.

Он, кажется, поверил, что я знаю наизусть его рассказы...

Я едва дождался нового вызова в Ленинград. Конечно, ничего не стоило приехать просто так, ради свидания с Михаилом Михайловичем, но почему-то мне казалось это неделикатным. Трудно объяснить причину этого чувства. Если б киношники (я по этой части ездил в Ленинград) вызвали меня на следующий день после возвращения в Москву (в кино такое случается сплошь да рядом), я бы с чистой совестью позвонил Зощенко: видите, как мне повезло, не успел уехать и снова здесь... Но явиться даже через месяц просто так, придравшись к любезному обещанию, казалось мне бестактным. Сейчас я сам не понимаю этой моральной казуистики, но так было...

Лишь через три месяца я снова оказался в Ленинграде. И вот один в пустом номере, с трудом удалив моих многочисленных приятелей, я звоню Михаилу Михайловичу. Конечно, его не окажется дома, он уехал в Дом творчества или в Москву по делам, ведь его вновь издают, или заболел, или просто не подходит к телефону. Знакомый тихий голос произнес в самое ухо:

— Слушаю.

Молниеносно в душе проигрывается вариант удачи: он приглашает меня к себе; промельк короткого пути от «Европейской» до канала Грибоедова, знакомый дом, кошачий подъезд, медленный лифт, звонок, дверь открывается: маленькая фигура в байковой куртке, темные глаза с лиловыми подглазьями, узкая улыбка.

— Михаил Михайлович, здравствуйте, это Нагибин... Да, сегодня. Опять по киношным делам... Михаил Михайлович, беру на себя смелость напомнить о вашем обещании... (после долгой паузы) Неужели вы забыли?.. Ну конечно!..

Его голос стал еще тише, не отдалился, но прозвучал словно из-за края света, из бесконечной дали смертельной усталости и отчуждения:

— Видите ли... я не нашел рукописи.

Как плохо лгут правдивые, чистые люди. Не только у профессиональных лгунов, но и у обычного порядочного человека, прибегающего к лжи лишь в крайних случаях, в голосе присутствует хотя бы намек на искренность, но у Зошенко это прозвучало до того фальшиво и неестественно, что у меня свело скулы. При всем нежелании показать, что я ему не верю, при всей боязни обидеть, огорчить, я не смог хорошо выйти из положения.

— А-а... Ну, ладно,— сказал я деревянным голосом.— Что ж поделать. Простите.

Он что-то говорил, просил не то звонить, не то заходить — это все уже не играло никакой роли: я знал, что не позвоню, не найду. Мне смертельно было жалко себя и еще больше его.

Мой отчим Як. Рыкачев хорошо писал о Зошенко, очень любил его, он был единственным человеком, которому я рассказал о том печальном звонке.

— Он должен был дать рукопись. При тех отношениях, что сложились... Даже с риском... Тем более, за всеми своими страхами он знает, что никакого риска нет. Как же его запугали! Бедный, бедный Михаил Михайлович!..

Я думал, что больше не увижу Зошенко. Однажды, когда мне передали его на редкость теплые слова в мой адрес, сказанные к тому же публично, у меня мелькнула мысль позвонить ему, да рука не поднялась набрать номер. А потом Зошенко не стало. Он умер летом 1958 года в день моего приезда в город.

Едва сойдя с поезда, я окунулся в слухи и пересуды. Будет гражданская панихида или не будет? Выставят гроб с телом покойного в ленинградском Доме писателей или не выставят? Дадут некролог в газетах или не дадут? Потом разнесся слух, что Зощенко запретили хоронить в черте города и Анна Ахматова дала телеграмму в Москву, чтобы разрешили положить писателя на Литераторских мостках Волкова кладбища. Кажется, разрешили!.. Нет! Господи, что за окаянные души — отказали!.. Власти в растерянности, не знают, что делать! Чепуха! Подпольный ленинградский обком действовал весьма целеустремленно. В 1958 году разыграли зловещий спектакль, достойный черных ждановских дней. А ведь уже состоялся Двадцатый съезд партии! И речь шла о всемирно известном писателе, гордости русской литературы, о тяжело и несправедливо пострадавшем человеке, жертве сталинского произвола, ни в чем не виноватом ни перед народом, ни перед властью. И тщетны были все попытки Ахматовой и ее друзей вернуть достоинство — не Зощенко, он его не терял, — а времени, которому вовсе не к лицу было принимать на себя чужие грехи.

Не следует думать, что Ленинград бурлил. Обывателям было неведомо об уходе великого земляка — смерть Зощенко держали в секрете. Ни в газетах, ни по радио — ни слова.

Гражданскую панихиду все же разрешили, но опять же в тайне от широких трудящихся масс. Дом писателей был битком набит, несмотря на летнюю опустелость города. У меня клаустрофобия, и толпа мне столь же невыносима, как замкнутое пространство. Тем не менее я проник внутрь и оказался свидетелем тяжелой сцены. Председатель Ленинградского отделения СП Александр Прокофьев в своем прощальном слове допустил весьма неловкий пассаж, а может, то была безотчетная душевная грубость, а может, еще хуже — сознательное, предписанное сверху хамство: он что-то вякнул о предательстве Зощенко. И раздался высокий, сорванный крик жены покойного:

— Михаил Михайлович никогда не был предателем! Он мог уехать, его звали. Но он не оставил Родины!..

Она рыдала. Все это обернулось прибытком духоты, не физической — душевной, и я опрометью кинулся на раскаленную улицу. Здесь уже собралась толпа, простершаяся на невскую набережную, растекшаяся в оба

конца по улице Воинова. Все предосторожности властей предержавших не сработали. Михаил Михайлович уходил в свой последний путь прилюдно.

Из Дома писателей, вытирая мокрый лоб скомканным носовым платочком, вывалился громадный старик с обширным серым лицом и длинными — соль с перцем — волосами. На его руке повисла маленькая старушка. Старик был нищенски броско одет: подшитые сатином понизу брюки — настолько обмохрились банты — падали на парусиновые, выкрашенные сажей в черный цвет туфли, короткий туалетеноровый — в тропическую жару — плащик открывал олохмившиеся полы пиджака, белую, застиранную в тонкую голубизну рубашку и галстук-веревочку.

— Михаил Михайлович может гордиться! — поставленным звучным голосом, широко разнесшимся над толпой, произнес старик. — Его вывозят тайно, как Пушкина. Власть не стала ни умней, ни отважней.

И тут я узнал его: знаменитый некогда петербургский актер, красавец, любимец публики Мгебров, автор двухтомных мемуаров, изданных «Академией». Он притащился из каменноостровского Дома ветеранов сцены вместе со своей дряхлой подругой.

Вынесли гроб. Впереди, с раздавленным тяжестью гроба худым плечом, шел поразительно похожий на Михаила Михайловича смуглый молодой человек — его сын. Вели под руки плачущую жену.

Гроб долго и неумело запихивали в автобус. Наконец он тронулся.

Тело Михаила Михайловича отправилось по месту посмертной ссылки — в Сестрорецк.

ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА МОЛЧАНИЯ

Ни на одном людском собрании его нельзя было не заметить. Даже не зная его имени, вообще ничего не зная о нем. И не потому, что он обладал легкой молодостью, за которою все же явственно проступали нелегко прожитые годы. А потому, что у его лица было выражение непрестанной сосредоточенности, словно обращенной внутрь, к собственной душе. Он был красив, но как-то затуманенно красив. И часто казалось, что он не до конца, не полностью присутствует там, где физически находится в эту минуту.

Между тем он всегда был безукоризненно внимателен и вежлив. И всегда был подтянут. Даже подчеркнуто подтянут. Такое впечатление возникало, может быть, потому, что он был невысок и худощав. Миниатюрность сочеталась в нем с отчетливой душевной твердостью.

Говорил он неторопливо. Всегда словно взвешивая свои слова. Лишь один раз я услышал его торопливую, взволнованно-гневную речь. Это было на том постыдном писательском собрании 1954 года, когда Зоценко был снова подвергнут поношению.

Голос у Зоценко был немного странным. Пожалуй, от его крайней сдержанности. И еще потому, что сам словно с некоторым удивлением и уважением прислушивался к тому, что говорил. Но когда он читал что-нибудь сочиненное им, его неторопливость становилась совершенно бесстрастной. И он никогда не улыбался, даже читая свои самые смешные рассказы. Впрочем, вообще не улыбался.

Удивительно легко и достойно нес он свою раннюю, изумительную славу. Когда однажды кто-то при мне

сказал ему, что в народе улицу Зодчего Росси обычно называют улицей Зощенко Росси, он спокойно ответил: «А наша фамилия, кажется, и происходит от слова «зодчий». Среди моих предков были строители».

Встречались мы нередко, но всегда на людях и обычно обменивались лишь приветствиями.

Только два эпизода из наших встреч заслуживают, на мой взгляд, упоминания.

Время первого из них — раннее лето сорок шестого года. Я ехал в Москву. Поезда уходили тогда рано. Даже «Стрела». В семь или восемь часов вечера. На перроне меня окликнули. Я обернулся и увидел Веру Казимировну Кетлинскую и Олю Берггольц. Они отправлялись на какое-то писательское совещание. Узнав, что я тоже еду этим поездом, они пригласили меня навестить их в их купе. Назвали номер вагона и номера мест. Я обещал.

Поезд тронулся. Когда прошел примерно час, я решил, что пора навестить дам. Прошел по множеству тамбуров и вагонных коридоров — и оказался в том вагоне, который был мне назван. Но в купе ни Кетлинской, ни Берггольц не оказалось. Зато там был Зощенко. Он поднялся мне навстречу, мы поздоровались, и он сказал: «Вера Казимировна и Ольга Федоровна сами ушли кого-то навестить. Подождите, пожалуйста, они скоро придут». Жестом он пригласил меня сесть на ту же полку, на которой, когда я вошел, он сидел сам. Мы сели. Он у окна, прямо и ровно, как всегда, а я откинулся в угол.

Во время долгих переходов по тамбурам и коридорам у меня начали складываться какие-то мысли — мысли или стихи, я не помню. И теперь, когда я оказался в тихом купе, я непроизвольно стал дальше следить за движением моей мысли и совсем забыл, что рядом сидит Зощенко. Прошло какое-то время. Я вдруг очнулся, встал и сказал: «Уже поздно, Михаил Михайлович, я пойду, передайте, пожалуйста, привет Вере Казимировне и Ольге Федоровне». В ответ Зощенко тоже встал. Он протянул мне руку и, когда мы прощались, добавил: «Как хорошо мы провели с вами эту четверть часа». И на его лице возникла какая-то мягкая, доверчивая улыбка. Когда я выходил из купе, я оглянулся. Отсвет улыбки еще был на его лице.

А второй эпизод отделен от первого более чем десятилетием.

Зощенко — переводчик. Такова теперь область дозволенной ему работы, таков теперь его статус. И так устроены человеческие натуры и такие были пережиты времена, что мы все бесконечно рады этому — ведь это дает Зощенко заработок и легализует его положение. В глубине души, конечно, знаем, что это поворот судьбы не только благополучный, но и трагический, но в глубину своей души люди заглядывают редко.

А кроме того, так превосходен зощенковский перевод романа М. Лассила «За спичками».

Я знаю, что очередного перевода у Михаила Михайловича нет. И когда издательство «Художественная литература» поручает мне отредактировать сборник переводов одного из норвежских классиков второй половины XIX века Александра Хьеланна и помочь в подборе переводчиков, я звоню Зощенко и спрашиваю, не хотел бы он взяться за эту работу. Он охотно соглашается. Мы договариваемся о материале — небольшом романе «Яд» и рассказе «Народный праздник». Я заказываю подстрочник одной очень добросовестной и эрудированной скандинавистке, моей бывшей студентке, и она составляет подстрочник с особой тщательностью, потому что знает — это для Зощенко.

Я отвожу подстрочник Михаилу Михайловичу. Через какое-то время он звонит мне, что перевод готов. Я заезжаю за ним и, по обязанности редактора, читаю его и сверяю с оригиналом. Рассказ переведен великолепно, достигает вершин русской прозы. Впрочем, он замечателен и в оригинале. Роман в оригинале слабее. Но и он переведен очень хорошо. Рукопись перевода безупречно аккуратна. Лишь изредка встречаются в ней поправки: всегда одни и те же. Это сокращения, вычеркивание лишних слов. Но и сокращения сделаны с величайшей аккуратностью.

И вдруг, сверяя перевод с оригиналом, я замечаю, что примерно в середине романа в переводе отсутствует несколько абзацев. Убежденный, что это вина составительницы подстрочника, я звоню Михаилу Михайловичу и приношу ему свои извинения. Сожалею, что подстрочник его подвел. Обещаю, что сам сразу же сделаю подстрочник выпавших абзацев. Но слышу неожиданный ответ: «Нет, подстрочник тут не виноват. Эти абзацы в нем были. Но они — лишние. Они ничего не дают роману. Я от них отказался».

Я сразу же понимаю, что по существу Зошенко совершенно прав. И что роман без выпавших абзацев даже выигрывает. Но есть переводческая обязанность: ни в чем не изменять оригинал, если средства языка, на который он переводится, позволяют сохранить его строение. И Хьеланн к тому же классик. Запинаясь, я начинаю излагать все это Михаилу Михайловичу. И то, что он прав, и то, что перевести эти абзацы все-таки необходимо. Затем мы оба молчим. Долго. Я чувствую, что мои слова его не убедили, что они лишь усугубили его общую усталость, показались ему очередной нелепостью, вставшей на его пути. Наконец он говорит: «Хорошо. Пусть эти абзацы будут в переводе. Но я не стану их переводить. Переведите их вы». Я сразу же соглашаюсь, но прибавляю: «Как только я переведу, я сразу же покажу вам перевод». «Не надо,— отвечает Зошенко,— я доверяю вам». В его голосе бесконечная усталость. И я понимаю, что спорить с ним нельзя.

А когда книга выходит из печати и издательство посылает Михаилу Михайловичу авторские экземпляры (вернее, авторский экземпляр), я снова звоню ему и спрашиваю, когда могу завезти ему рукопись его перевода. Безжизненным голосом Зошенко отвечает: «Не надо. Пусть рукопись останется у вас на память обо мне».

И хотя его слова любезны, я чувствую, что главное здесь — нежелание кого-нибудь видеть.

Этот наш последний разговор состоялся поздней весной 1957 года.

ЗОЩЕНКО¹

До войны Зошенко был одним из самых репертуарных эстрадных авторов. Его рассказы считались «самоигральными», особенно те, где повествование ведется от лица обывателя. Конечно, артистов, а среди них были Хенкин, Утесов, Яхонтов, прежде всего привлекала новая речь. Язык улицы, учреждений, коммунальных квартир, который благодаря Зошенко становился фактом литературы. Привлекали сюжеты, взятые из повседневности и организованные таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто они подсмотрены в замочную скважину и уместны скорее в застолье, нежели на бумаге.

Однако почти никому не удавалось передать самое существенное и самое сложное в его прозе — дистанцию между автором и персонажем. Играли один к одному. Играли жанровые картинки. Педалировали репризные моменты, в то время как юмор Зошенко не на репризах строится. Наверное, не избежал этого и я, читая его рассказы в студенческие годы.

В наши дни Зошенко хорошо читают Сергей Юрский, Александр Филиппенко: нейтрально, невозмутимо, как и написано. И тогда в анекдотической ситуации вдруг проявляется драматизм. Начинаешь понимать, что слова героя, рассказчика — это вовсе не слово самого Зошенко. Слово Зошенко, оставаясь произнесенным, лишь подразумевается. Надо играть так, чтобы интонация и мимика не разоблачали персонажа, не создавали противовеса его слову, его мышлению. Но, с другой стороны, прятаться за характерность тоже нельзя.

© А. Райкин, 1990.

¹ Лит. обработка В. Семеновского.

Пьесы Зощенко еще в довоенные годы шли в ленинградских театрах. Мне очень хотелось встретиться с ним в работе, но я долго колебался, прежде чем позвонить ему с просьбой написать для нашего театра. Притом что между нами уже установились отношения хотя и не близкие, но достаточно добрые для того, чтобы он по крайней мере не удивился моему телефонному звонку.

Очевидно, в такой нерешительности, обычно не свойственной мне в делах, сказывался мой давний пиетет к его творчеству. У меня не было уверенности, что он не откажется сотрудничать с нами, а получить отказ именно от него мне было бы в высшей степени неприятно. Самый факт отказа, чем бы Зощенко его ни мотивировал, можно было квалифицировать как признание писателя, что мы работаем, так сказать, на разных этажах сатиры и что он — мастер слова — не какой-нибудь текстовик, чтобы опускаться в наш эстрадный полуподвал.

Сейчас мне кажется странным, что я мог предполагать в Михаиле Михайловиче подобную спесь. Ведь он был вовсе не из тех мастеров, которые охраняют свою мастерскую от непрошенных вторжений с других этажей жизни.

Впрочем, в таком случае получить от него отказ было бы вдвойне обидно.

Не знаю, рискнул ли бы я когда-нибудь заговорить с ним о возможном сотрудничестве, если бы не печальные обстоятельства, в результате которых его перестали публиковать и исполнять с эстрады. В конце сороковых — начале пятидесятых годов удары в адрес Зощенко следовали один за другим. Только, казалось, начал он оживать после постановления 1946 года — вновь (!) был принят в Союз писателей, начал печататься в «Крокодиле» и других изданиях, — как после памятной встречи с английскими студентами весной 1954 года началась новая травля Зощенко.

В тяжелое для него время Михаил Михайлович, и без того малообщительный, замкнутый, старался как можно реже появляться на людях. Он избегал людей, чтобы избежать новых разочарований.

Я убежден, что среди его знакомых не было человека, который бы не понимал, что с Зощенко обошлись несправедливо. Кто-то старался уверить его, что вскоре все образуется, справедливость восторжествует. Кто-то

молча пожимал руку при встрече. Но было немало и таких, которые, завидев его на улице, делали вид, что не замечают его, и норовили свернуть в сторону, сбежать. Обнаружив это раз-другой, Михаил Михайлович и сам стал отворачиваться, когда встречал кого-нибудь из знакомых. На всякий случай спешил сделать это первым.

Не стану утверждать, что все, кто поступал таким образом, непременно малодушничили, трусили. Некоторые, вероятно, руководствовались ложно понимаемой деликатностью. Ощущая беспомощность утешительных слов, да еще зная зощенковскую гордость, предпочитали помалкивать, не навязывать своего сочувствия. Я знал таких людей и думаю, что они не трусили, когда отводили глаза при встрече с ним, а просто не знали, как себя вести. Потом, исповедуясь друзьям, они сокрушались: дескать, что же я мог сделать, чем же я мог помочь?!

И все же, какими бы ни были их соображения, я полагаю, что есть минуты, когда надо действовать импульсивно, не заботясь о том, какое впечатление произведешь на человека, которому хотел бы, но не можешь помочь. Если человек попал в беду, доброе слово не бывает лишним.

Я позвонил Зощенко и без всяких предисловий, точно мы расстались только вчера, сказал:

— Михаил Михайлович, надо восстановить справедливость. По крайней мере, в возможных для нас пределах. Я считаю несправедливым, что вы до сих пор ничего не написали для нас.

Он долго молчал. Очень долго. И я уж было пожалел о несколько неестественной игривости, с какою сформулировал свое предложение. Может быть, я и впрямь взял не самый верный тон. Но, так или иначе, Зощенко ответил:

— Хорошо, я подумаю. Спасибо.

Вскоре он принес миниатюру. В пересказе она звучит так.

Человек в последнюю секунду прибегает на работу. Он всклопочен, как воробей после драки. Он тяжело дышит. Он так торопился, так боялся опоздать, что даже не успел переодеться. Он в шлепанцах и ночной пижаме. Открывает портфель, куда второпях запихивал дома одежду, и с ужасом обнаруживает, что одежда в портфеле женская, одежда жены. Впрочем, это

пустяки — пережить можно. Главное, что он не опоздал. Он не опоздал, и начинается рабочий день, и этот день он встречает на своем рабочем месте. Правда, у него уже нет сил, так он перенервничал. Но это тоже пустяки — пережить можно, тут же он ложится на письменный стол и засыпает.

Такой сюжет, актуальный и сегодня, заключает в себе много возможностей для эксцентрического артиста. Но тогда ведь у всех было свежо в памяти, как за опоздание на двадцать одну минуту отдавали под суд. Так что это был не просто смешной, но и социально острый номер. Надо сказать, что в этой миниатюре мы, против обыкновения, ничего не переделывали в процессе репетиций. Этого не требовалось. Оказалось, что автор превосходно чувствует законы нашего жанра.

Чувство жанра выразалось прежде всего в том, что он оставлял персонажу минимум текста, зато помещал его в такие предлагаемые обстоятельства, которые говорили сами за себя. В этих обстоятельствах мог оказаться кто угодно — хороший человек или дурной, умный или глупый. Неважно кто. А важно, что любой из нас. Трагикомический эффект возникал не только независимо от индивидуальности персонажа, не только против его намерений, но и как бы независимо от намерений автора и артиста. То есть мы стремились дать не гротеск, но объективность, видя в том одну из важнейших особенностей зощенковской прозы и пытаясь перевести ее на язык театра миниатюр. Главная задача состояла в том, чтобы ненормальную спешку персонажа, его загнанность изобразить как совершенно естественное, привычное для него состояние.

В переводе на язык театра миниатюр лапидарность и концентрированность, присущие прозе Зощенко, достигались активным включением актерской мимики, пластики, жестко заданной еще на стадии литературной работы. Нам оставалось лишь точно следовать замыслу автора.

Помню, Михаил Михайлович рассказывал, что журнал «Крокодил» заказал ему несколько «положительных фельетонов». И без всякой иронии жаловался, что это чертовски трудно. Естественно, он понимал, что бесконфликтная литература — изобретение недоумков и негодяев. И все же пытался решить эту неразрешимую задачу.

Когда я думаю, мог ли Зощенко и в самом деле все-рвез рассчитывать на успешное выполнение подобных заказов, я прихожу к выводу, что именно он, как ни странно, мог, хотя, конечно же, не на том уровне, который требовался перестраховщикам. Но, по большому счету, «положительными» его позиция, его вещи были всегда.

Михаил Михайлович не принадлежал к числу завсегдаев театральных кулис. Я не помню, чтобы он принимал участие в репетициях или обсуждениях спектаклей. Не помню также, чтобы он когда-нибудь острил в компании.

У меня есть привычка делить людей на «вещающих» и «внимающих». Сам я скорее отношусь к последним. В малознакомом обществе обычно помалкиваю (мне даже говорили, что тем самым я разочаровываю людей: они, видите ли, приходят в гости «на Райкина», а он за весь вечер — ни одной хохмы). Но, помалкивая, я всегда наблюдаю и — это уже чисто профессиональное — определяю характер, настроение и прочие свойства собеседника по его пластике, мимике, выражению глаз, интонации. Всему этому я доверяю куда больше, чем словам. Так вот, Зощенко, по моим наблюдениям, был не столько «внимающий», сколько «отсутствующий».

Мне кажется, он чрезвычайно зависел от малейших перемен своего внутреннего состояния. Я не раз замечал, ощущал физически, что в течение одного и того же вечера от него могли идти совершенно разные, порой диаметрально противоположные импульсы, сменявшие друг друга без видимых на то причин. Внешне это почти не выражалось. Но я чувствовал, что параллельно общему разговору, в котором, казалось, он принимает участие, пусть и молчаливое, Зощенко продолжает жить какой-то другой, потаенной жизнью, не имеющей отношения ни к кому из присутствующих. Притом, что за весь вечер он мог ни разу не вступить в разговор, его молчание не было сколько-нибудь демонстративным или тягостным для окружающих. Напротив, он был в высшей степени учтив. Сдержан, но не надменен.

Зощенко было присуще нечто такое, что заставляло даже близких ему людей (как, например, Евгения Львовича Шварца, человека открытого и жизнерадостного) внутренне подбираться в его присутствии и трижды подумать, прежде чем что-нибудь сказать. Не знаю, как определить и чем объяснить эту особенность.

Нетрудно предположить, что он весьма болезненно реагировал на малейшие проявления пошлости, хотя и не подавал виду. Но это не совсем точно. Вопрос в том, что он считал пошлостью. Он не был настолько строг к людям, чтобы не прощать им застольные банальности и пересуды, болтовню о том о сем. Напротив, у меня сложилось впечатление, что всякого рода житейщина была в известной мере ему приятнее, нежели рассуждения на высокие темы. В особенности — рассуждения с пафосом.

Когда кто-нибудь начинал говорить о предназначении литературы, да еще при этом имел неосторожность употреблять такие обороты, как «совесть художника», лицо Михаила Михайловича принимало отсутствующее выражение.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Это было в декабре 1957 года. Дом писателя им. Маяковского отмечал юбилей С. Я. Маршака: ему исполнилось семьдесят лет, и он приехал в Ленинград на свое торжество. Я занималась детской литературой, преподавала ее, и увидеть Маршака, побывать на таком вечере мне очень хотелось. Когда я вошла в Белый зал, оставалось всего несколько минут до начала. Зал был переполнен: не было не только ни одного свободного места, но стояли вдоль стен, сидели на подоконниках. И вдруг где-то в середине прохода я увидела банкетку, явно рассчитанную на двоих. На ней сидел один человек, второе место было свободно. Если бы у меня была секунда на размышление, я бы поняла, что второе место, наверно, тоже занято, что сейчас подойдет человек, который, вероятно, на минуту отлучился. Но я ни о чем таком не успела подумать, а просто протиснулась к банкетке и спросила:

— Это место свободно? Можно сесть?

Мне ответили:

— Да, пожалуйста.

Я села, повернула голову, чтобы поблагодарить, и обмерла: рядом со мной сидел М. М. Зошенко.

В это время на сцену вышел ведущий, объявил о начале вечера. На сцене появился Маршак, раздались громкие аплодисменты. Маршак поклонился и прошел в правый угол сцены, где стояло большое кресло.

Стали поочередно выходить выступающие, и, как только первый из них превысил всяческую меру словесовия, Михаил Михайлович бросил, едва слышно, ядовитую реплику. Я откликнулась. К сожалению, даже вскоре, когда я попробовала описать этот вечер В. Ка-

верину, я и тогда не могла восстановить ни одного острого словечка Зощенко: речь шла именно о словечках, пущенных всякий раз точно к месту и без промаха бьющих в цель. И я уже не столько слушала ораторов, сколько с нетерпением ожидала очередной реакции Михаила Михайловича.

Кончилось первое отделение, объявили перерыв, и чуть ли не половина зала цепочкой направилась на сцену к Маршаку. Другая часть потянулась к выходу, и мы с Михаилом Михайловичем чуть ли не в одиночестве остались в середине прохода.

— А ведь, пожалуй, и мне надо пойти туда, к Маршаку, поздравить его,— сказал Михаил Михайлович и тут же добавил:— Но вы посмотрите, какой сейчас он и какой — я.

Я посмотрела сначала в сторону сцены и увидела Самуила Яковлевича, утопающего в кресле и одновременно в объятиях десятков людей. Его поздравляли, слышались восклицания, слова восторгов и приветствий. Грузный, большой, всей своей позой, выражением лица он излучал добродушие и живое удовольствие.

Тогда я оглянулась и посмотрела на Зощенко. Передо мной стоял человек с мертвыми, потухшими глазами, с лицом, буквально обглоданным страданием и невыносимой тоской.

— Ну так как, идти мне?— спросил он.

— Нет, не надо, не ходите,— без всякого колебания ответила я.

— Да, не пойду я туда,— сказал он,— а, пожалуй, спущусь и выпью чего-нибудь.

И он медленно пошел к выходу.

Не могу передать, какое охватило меня горе. Мне показалось, что и там, в буфете, он будет совершенно один, и больше всего я испугалась, что вообще он возьмет и прямо из буфета уйдет в раздевалку, а потом на улицу...

Но он вернулся, подошел ко мне, и я, не знаю уж как, выговорила:

— Я на вас обиделась, Михаил Михайлович!

— Как?— спросил он, буквально оторопев.— Я вас чем-нибудь обидел? Как это могло быть?

— Почему вы не пригласили меня с собой?

Он посмотрел на меня и сразу все понял. Его глаза потеплели, он чуть усмехнулся.

— Да, я виноват перед вами. Я очень виноват. Как же я теперь искуплю свою вину?

— Да, как вы теперь ее искупите?

Он подумал.

— Знаете что, у меня месяца через два выйдет книга. Если я сразу пришлю ее вам в подарок, это будет компенсацией?

— Да, будет, конечно.

— Тогда,— сказал он, вынимая из кармана записную книжку,— напишите мне свою фамилию и адрес.

— Но вы забудете, чья это фамилия и чей адрес.

— Нет, я не забуду.

Он сказал это так, что сомневаться было нельзя. Я открыла книжку, записала фамилию и адрес.

Началось второе отделение: концерт из произведений Маршака. Кто-то стал читать стихи, и я почувствовала, что мой сосед словно окаменел, что он не слушает и не слышит. Прошло несколько минут, и Михаил Михайлович сказал мне:

— Простите меня, но этого я уже совсем не могу. Не сердитесь на меня, пожалуйста, что я уйду. Я обязательно пришлю вам книгу.

Он тихо ушел, и я тоже перестала видеть и слышать, что там происходит на сцене, но понимала, что сразу уйти нельзя, что надо переждать, пока уйдет Михаил Михайлович, что нельзя даже жестом помешать ему. Я подождала минут пятнадцать и вышла из зала.

Через несколько дней я встретила знакомого, известного литературоведа и хорошего человека. Он тоже был на вечере Маршака.

— Слушай,— схватил он меня за руку,— как ты решилась сесть к Зошенко? Как ты решилась? Ведь весь зал видел, что рядом с ним есть место, но никто не посмел...

Боже мой! Я представила себе ощущение человека, который видит, что в зале нет мест, что люди кругом стоят, а место рядом с ним никто не занимает...

— Нет,— ответила я своему знакомому,— я не проявила никакой решимости, это получилось совершенно случайно.

Но про себя я возблагодарила судьбу за эту случайность, за то, что я оказалась кем-то, кто занял пустовавшее место, кем-то, благодаря кому Зошенко не почувствовал своей отторгнутости от людей. Может

быть, поэтому он сразу, с первого мгновения, был так доверителен ко мне?

И был еще финал у этого вечера. Как свидетельствуют очевидцы, вернувшись в гостиницу, Маршак вспомнил, что видел Зощенко в зале и тот почему-то к нему не подошел. Он позвонил Зощенко по телефону и спросил, почему он не был на сцене. В передаче Маршака ответ Зощенко прозвучал так:

— Он говорит, что устал переучиваться.

Обещанную книгу я не получила: Зощенко умер до того, как она вышла в свет.

Через несколько лет, вернее, в мае 1969 года, произошел такой случай. После моей лекции о Зощенко на вечернем отделении факультета дошкольной педагогики ЛГПИ ко мне подошла студентка и представилась: Нинель Николаевна Авдашева. Она сказала мне, что близка семье Зощенко. Ее родители были репрессированы, и семья Зощенко в страшное время 1936—1937 годов, когда подчас самые близкие люди боялись оказать внимание детям «врагов народа», взяла к себе ее брата и постоянно оказывала помощь ей с сестрой, оказавшимся в разных детских домах. В 1939 году четырнадцатилетняя Нинель Авдашева приехала из детского дома в Ленинград, и семья Зощенко стала для нее фактически родной. Она хорошо помнит, как и во время войны, находясь на Ленинградском фронте и получая кратковременное увольнение, она не однажды приезжала в Ленинград в семью Зощенко, а по существу — домой.

Мы разговорились, и Нинель Николаевна по моей просьбе попросила у Веры Владимировны, вдовы Зощенко, разрешения приехать к ней на дачу, в Сестрорецк. В ближайшее воскресенье Нинель Николаевна ждала меня с друзьями (нас поехало человек шесть) на вокзале.

Никогда не забуду выражения на лицах моих спутников, когда мы переступили порог дачи Зощенко: на нас со всех сторон смотрела вопиющая, страшная, ничем не прикрытая нищета. Правда, последнее замечание не совсем точно, ибо на стенах и на потолке были видны следы домашней, явно неумелой побелки. Перехватив мой взгляд, Вера Владимировна сказала:

— Да, это мы тут старались... Знаете, к нам стали многие приезжать, очень многие начали проявлять интерес к работе Зощенко, к его архиву, кто-то за границей начал писать о нем, предупредил о приезде. Неудобно как-то, и мы тут понемногу стараемся...

«Это вам неудобно?— хотела сказать я ей.— Это вы должны стараться, чтобы скрыть весь этот ужас?»

Половина дачи была продана. Кухня оказалась на той, наглухо перекрытой, чужой половине. На терраске не было никаких приспособлений, чтобы что-то приготовить. Каждый раз, когда надо было попасть на кухню, приходилось выходить во двор и обходить всю дачу.

Вера Владимировна повела нас наверх и показала небольшой музей, который любовно и скрупулезно создавала. Ей хотелось, чтобы люди хоть что-то узнали о Зощенко. Она рассказывала, что в последнее время сюда приходит много людей, но дача в аварийном состоянии, и она боится, как бы не рухнула однажды лестница на второй этаж, где и находится комната, в которой работал Михаил Михайлович. К тому же странную позицию занимает Литфонд: вроде никто не возражает против посещения дачи экскурсиями, но никто и не поощряет этого, не помогает привести дом, где жил и писал Зощенко, в более или менее нестыдный вид.

Затем Вера Владимировна показала нам книги. Любовно были подобраны ранние издания, рукописи. Показала и поделки из кожи, из суровой ткани — так Михаил Михайлович коротал время, когда ничем другим заниматься уже не мог. А рядом лежали альбомы с богатейшим набором фотографий. Вся его жизнь, начиная с детства, как бы прошла перед нашими глазами.

К концу дня мы побывали на его могиле. Постояли в горестном молчании. Поклонились его светлой памяти.

НЕНАПИСАННАЯ НОВЕЛЛА

В те давние годы, когда судьба осветила мою жизнь встречей, а затем почти двухлетним общением с Михаилом Михайловичем Зошенко, лет ему было чуть больше, чем мне сейчас. С тех пор утекло много времени. Пожаловаться мне грех — интересных, умных, талантливых людей встречала я на моем жизненном пути много. Зошенко обладал всеми этими свойствами. Но к тому же еще и очень в ту пору редкими — абсолютным нонконформизмом, поразительной стойкостью, негибкостью в тогдашнем своем отчаянном положении, сложившемся сразу после принятого 14 августа 1946 года постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

В конце сороковых годов травля чуть поутихла, и Зошенко даже начал вновь работать — в основном занимался переводами, писал небольшие рассказы, книгу о партизанах, пьесы. Но передышка, увы, была недолгой. С 1954 года, после встречи с английскими студентами, где Зошенко позволил себе не согласиться с рядом положений постановления и доклада Жданова, в коем он именовался подонком, хулиганом, пройдохой, несоветским писателем, гонения возобновились с новой силой.

Как раз к той печальной поре в жизни Зошенко и относится моя первая встреча с ним. Случилось это так. Мой теперь уже старый друг Ю. Нагибин мечтал о личной встрече с Зошенко. В отличие от подавляющего большинства писателей, в те тягостные времена, когда каждому мыслящему человеку стало ясно, что «оттепель» не обернется весной, не расцветет разноцветьем лета, Нагибин не боялся вслух высказывать свое вос-

хищение как Зошенко и Ахматовой, так и на многие годы вычеркнутым из литературы Андреем Платоновым. И впрямь, на смену краткой «оттепели» вскоре пришла стужа, при которой в нашей культуре не только не могли выжить, но губились на корню какие бы то ни было ростки свободомыслия.

Зошенко в эти времена добывал хлеб насущный всякого рода нелитературными заработками, включая сдачу внаем части своего домика в Сестрорецке. Мой добрый (еще с институтских времен) товарищ ленинградский писатель и сценарист Дима Поляновский как раз ту часть домика и снимал. Он-то и привел нас с Нагибиным к Михаилу Михайловичу в его квартиру в Ленинграде, на канале Грибоедова.

Уже при входе в переднюю охватывало ощущение бедной пустоты и скудости. В доме не пахло вареным съестным, хотя мы пришли в предобеденное время. Дух сурового аскетизма жил в маленькой комнатке, которую занимал хозяин дома: железная койка, покрытая суконным солдатским одеялом, пустые стены; лишь над кроватью висел маленький крестик. Возле кровати — древтрестовская тумбочка. Разнокалиберные стулья — родные братья тумбочки — Зошенко принес из глубины квартиры, где обитала его безработная жена. Ее согласны были взять куда-то машинисткой, но при условии, что она сменит замаранную фамилию Зошенко на девичью... А ведь совсем не так уж давно, в тридцатые годы, некоторые кондукторши, объявляя очередную остановку автобусного маршрута в Ленинграде, вместо «улица Зодчего Росси» выкрикивали: «Улица Зошенко Росси» (слово «зодчий» звучало как-то невнятно, а имя Зошенко было у всех на слуху).

Благородным аскетизмом веяло и от лица Зошенко, худого, изрезанного глубокими морщинами, смуглого, с сине-коричневыми тенями под черными глазами, то тусклыми, то вдруг загоравшимися ярким, сверкающим светом.

Мы принесли с собой бутылку коньяка. Михаил Михайлович достал крохотные рюмочки. За наше многочасовое пребывание у него он едва пригубливал горячительную влагу, не опорожнив и половины малого сосуда. Он лишь беспрестанно курил, чередуя самые дешевые папиросы «Звездочка» с выпускавшимися тогда, тоже самыми дешевыми, полусигаретами «Новость»,

которые он вставлял в опять-таки дешевенький черный пластмассовый мундштук.

В разговоре он ни разу не проявил себя остроумцем. Смеха его нам не довелось услышать. Все это было естественным в те трудные для него годы. Он лишь изредка чуть улыбался, причем глаза не теряли выражения печали и боли, улыбку означали только чуть приподнимавшиеся уголки лиловатых губ да собиравшиеся у глаз морщинки. Но думаю, что и в молодости вряд ли в обыденной жизни он бывал завзятым главой застолья, весельчаком и юмористом. Юмор, сатирические построения, как некая антитеза, принадлежали целиком его творчеству, не проникая в каждодневную жизнь.

Конечно, после того первого посещения я не осмелилась бы по своей воле нарушить еще раз уединение Зошенко. Но обстоятельства сложились так, что вскоре, в мой очередной приезд в Москву (я тогда была аспиранткой института теории и истории искусств при Академии художеств), Мариэтта Сергеевна Шагинян попросила меня передать маленькие сувениры Михаилу Михайловичу. Их связывала несколько необычная любовь-нелюбовь, приятие-неприятие: Мариэтта Сергеевна была неистребимым оптимистом, отличалась редкостным, поразительным жизнелюбием, общительностью, животворной энергией; Зошенко же, судя по его серьезным научным работам (примечания к «Возвращенной молодости», повесть «Перед восходом солнца»), всегда был склонен к депрессии, иссушающему самоанализу.

После этого второго посещения Зошенко уже сам пригласил меня, если не будет у меня страха, а будет желание, навестить его дом еще. С того дня до последнего края его жизни я бывала у него в течение почти двух лет не слишком часто, но регулярно.

Однажды Михаил Михайлович сказал мне, что, дескать, вполне понятно и объяснимо, что ему в его отшельничестве приятны мои приходы и долгие разговоры. Но мне-то что в нем, что мне, молодому человеку, в нем, старом, отмеченном клеймом отщепенца, отторгнутом от общества? Я ответила ему, что в моем представлении он — прямой духовный наследник декабристов, и прежде всего лучшего, любимейшего мною из них — Михаила Сергеевича Лунина. Наследник по всему — по чистоте душевной, честности, несгибаемой принципиальности, верности своему делу, истинно

гражданской позиции. Тогда Зощенко первый и единственный раз поцеловал мою руку.

Позже я вернусь еще к моим встречам и беседам с писателем. Но сейчас мне не терпится перейти к изложению того, ради чего, собственно, я и осмелилась взяться за перо, — к «Ненаписанной новелле».

Случилось так, что в последний год его жизни мы оказались одновременно в Москве. Он — с хлопотами о пенсии, я — по своим аспирантским делам. Шел 1958 год.

Перед отъездом из Ленинграда Зощенко сказал мне, что остановится он у поэта В. Лифшица, дал телефон, просил позвонить и навестить его в Москве. В один из дней я отправилась на Аэропортовскую, в писательский дом.

До назначенного Михаилом Михайловичем часа оставалось еще время, и я зашла навестить Ф. Вигдорову и А. Раскина. Фриду я очень любила. Она тоже была человеком высокой чести и нравственного долга — перед своими читателями, перед людьми, перед обществом. Это она, продираясь сквозь заслоны в зал заседания несправедного суда над Бродским, несколько лет спустя будет вести подробные протоколы учиняемого насилия над поэтом, которого Ахматова считала самым талантливым из плеяды тогдашних молодых поэтов. Когда я обмолвилась, что времени у меня немного — в другом подъезде того же дома меня ждет Зощенко, оба стали просить меня позвонить ему и попросить прийти к ним в дом. Я позвонила. Но Зощенко тихо, вежливо, но твердо отказался. Когда я пришла к нему, он просил понять, что не капризничает, не ломается, что за несколько дней на него нахлынула после многолетней «диеты» такая масса новых людей, что он едва это вынес. Что ему большого труда, душевного сопротивления стоило отказаться присутствовать на заседании в зале имени Чайковского, посвященном очередной годовщине памяти так его любившего, так много в свое время сделавшего для него Горького (боялся испортить своим появлением юбилей — вдруг его присутствие после пятнадцатилетнего почти что небытия вызовет некую заминку в президиуме или в публике). Что я для него — «своя», что я «не мешаю, не заставляю напрягаться в общении».

Фрида говорила о Зощенко дрожащим голосом, с влажными — от восхищения и сострадания — глаза-

ми. Она сказала, что пару дней назад впервые встретила Зощенко в гостях у Чуковского. Именно там он и рассказал то, что по законченности и цельности (и не только по моему мнению) представляет собой короткую, но весьма выразительную устную новеллу автобиографического свойства. Со слов Фриды Вигдоровой расскажу, как было дело.

Когда как-то незаметно иссяк ручеек общего разговора за столом, Корней Иванович предложил для развлечения, чтобы каждый рассказал, ну, не о самом постыдном поступке в своей жизни (как было на дне рождения Настасьи Филипповны в «Идиоте»), а, скажем, о каком-то обмане, подлоге, ведь наверняка у каждого в жизни, в силу тех или иных обстоятельств, это случилось. Но, в отличие от подобной ситуации в романе Достоевского, где хоть один Фердыщенко поведал какую-то малую «бяку» из своей биографии, здесь все отделалось пустяками.

Дошла очередь до Михаила Михайловича. Говорил он негромко, но внятно, медленно роняя в пространство слова. Фрида, придя из гостей, сразу записала его рассказ, прочла свою запись мне. Когда я пришла в тот вечер к Зощенко в дом Лифшица (до сих пор перед глазами комната, в которой жил гость, — необычная, пустая, только ковер на полу, небольшая кушеточка и по одной стене сверху донизу стеллажи с книгами), то попросила, чтобы он сам повторил свое повествование для меня одной. Он согласился. Начал он так:

«Я никогда не совершал подлогов в своей жизни и никогда никого не обманывал, даже женщин. Но я расскажу вам случай, с которого начался мой длительный и многолетний конфликт с обществом.

Было это давно, в самом начале тридцатых годов. Мне очень нравилась одна женщина. Но у нее был муж и постоянный любовник. Надежд на ответ у меня было мало. Я уезжал в Ялту. Эта дама обещала приехать туда или — это уж непременно — написать мне. С надеждой на встречу или хотя бы письмо я и отбыл к берегу Черного моря. Перед самым отъездом вдруг выдался миг, когда я отчетливо, в полной яви представил себе, как прихожу на ялтинскую почту к окошечку с надписью: «До востребования». Живо вообразил, как барышня быстро, ловкими пальцами перебирает конверты, и подумал: одно письмо при такой быстроте легко пропустить. Попросить же ее посмотреть еще раз мне

не даст моя болезненная застенчивость. А вот если будет два письма на мое имя стоять рядом, то не заметишь их куда сложнее. Недолго думая, я взял обрывок первой попавшейся газеты, запечатал в конверт, написал: «Ялта, М. М. Зощенко. До востребования».

Когда, выдержав в нетерпении несколько дней, я робко подошел к окошечку на почте и спросил, нет ли корреспонденции на мое имя, девушка подала мне единственный, мой собственный конверт.

Та дама тогда так и не приехала в Ялту, не написала мне ни слова.

Прошло много, около десяти лет. В то время мне очень по душе пришлась одна москвичка. Не хочу называть ее имени. Я был в Москве, мы сидели у меня в гостиничном номере, пили легкое вино, вели, как мне казалось, к обоюдному удовольствию, приятный разговор. Вдруг зазвонил телефон. Звонил директор сада «Эрмитаж», сказал мне, что в театре битком, что публика как-то узнала, что я в Москве, и буквально требует, чтобы я выступил со своими последними рассказами, не давая всячески производимым шумом вести концерт дальше. Но мне было очень хорошо, тепло, уютно с этой женщиной. Директор сада упрашивал, уговаривал, настаивал. Я отказывался. Наконец я повесил трубку, не дав согласия. Взглянул на милое лицо моей гостьи. Она же в ответ с нехорошим, каким-то даже гаденьким смешком сказала: «Как это вы, так сильно любящий свою славу, могли отказаться от выступления перед такой огромной толпой своих почитателей?» Глубоко уязвленный, я спросил у нее: «А почему вы, собственно, решили, что я так уж сильно люблю свою славу?» Она: «Ну как же, а стали бы вы иначе писать сам себе письма в Ялту до востребования?..» И тут же пояснила, что ее муж работает в органах ГПУ и вся корреспонденция на мое имя всегда и всюду давно уже перлюстрировалась. В ГПУ, продолжила она с тем же недобрым смешком, долго недоумевали, зачем я сам (конверт подписан моим почерком) послал себе в Ялту это странное послание, содержащее всего лишь обрывок газеты. В конце концов в органах было решено, что я сделал это из соображений често- и славолюбия: наверняка девушка с почты, вставляя конверт с моим именем на литеру «З», разболтает по всей Ялте: «Зощенко приехал, Зощенко приехал...»

С тех пор до нынешнего дня самые мои простые поступки воспринимались совсем не так, как я их совершал...»

Такой фразой Михаил Михайлович закончил свой рассказ¹.

Этот рассказ Зошенко я записала в тот же вечер, по горячему, обжигающему следу. Теперь клянусь себя — сколь нещадно, столь же и бессмысленно, — что не записывала каждый разговор с ним. Пустых среди них не было. Но тогда казалось, что память, в те годы молодая и крепкая, схватливая, сохранит в дальних своих уголках все до единой подробности. Увы, моя память меня обманула. К счастью, несколько тогдашних записей все же есть. Вот отрывки из них. Привожу их, почти не корректируя, так, как было записано сразу после очередной беседы:

«После злополучной встречи с английскими студентами он почти совсем (а чуть позднее — совсем) перестал работать. Когда прихожу к нему в очередной раз и спрашиваю, что делал, пока не видались, он с печальной своей полуулыбкой отвечает: «Раскладывал пасьянсы... Писать? А для чего мне писать? Для славы? Мне довольно той, что была. Ради денег? Да я и в молодости был совсем равнодушен к обогащению. Литература наша, — продолжал Зошенко, — стала похожа на политическую ноту, где нельзя ошибиться и в одной запятой. Раньше мне казалось, что главная задача писателя — помочь исправить что-то, думал, что литература — огромная сила. Впервые понял, что у нас политика куда как важнее литературы и литература целиком подчинена ей, на похоронах Горького, когда урну поочередно несли Сталин и другие члены тогдашнего правительства. Ближайшие же друзья покойного загонялись окриком «На вторую трибуну!» туда, откуда ничего почти не было видно. Похороны были превращены, по сути дела, в политическую демонстрацию, имевшую минимальное касательство к литературе и литераторам.

Теперь мои счеты с литературой покончены. Хотя есть соблазн помериться силами с противником, высказать до конца свою точку зрения на происходящее, на

¹ *От составителя.* Несмотря на то, что этот эпизод присутствует и в воспоминаниях Сильвы Гитович (см. с. 281 настоящего издания), мы решили включить в сборник оба варианта, поскольку, различаясь лишь некоторыми деталями, и тот и другой имеют определенную информативную ценность.

жизнь вообще. Но кто же напечатает такое? Можно писать только «в стол», да и это небезопасно (у Зошенко с самого начала травли был собран чемоданчик на случай ареста с предшествующим ему обыском). Можно еще, конечно, попробовать писать «эзоповым языком». Но, во-первых, на это уже как-то нет сил. А во-вторых, и это страшный риск: редакторы стали так боязливы и мнительны (раньше били только авторов, а теперь и редакторов тоже), что и самому Эзопу едва ли удалось бы пробиться сквозь заслон их «бдительного» ока... Такую игру можно вести, только будучи очень обеспеченным человеком — без публикаций и без пенсии на что, в случае проявления такой смелости, кормить семью? Такую игру можно вести только „за золотым столом“».

Одиночество показало Зошенко всю свою лютую крутость. Даря мне свою фотографию, он сделал такую надпись: «С надеждой на дружбу». Это он-то — мне... До сих пор, беря в руки эту удивительно схожую фотографию, я ощущаю оглушающую боль и чувство какой-то неловкости перед Зошенко.

Одинок он был и дома. Он с нежной страстностью, ревниво скрываемой от посторонних (а может, и от самого Валерия), любил сына. Болезненно переживал, что жизнь его как-то не сложилась. В неудачах сына винил себя, свое насильственное отлучение от общества. В какой-то мере так оно и было: теперь-то общеизвестно, что слова Сталина о том, что дети у нас не несут ответа за «грехи» родителей, чудовишно, иезуитски расходились с действительным положением вещей. Уже тогда, отучившись на театроведческом отделении Театрального института, Валерий, перебиваясь в основном случайными заработками, начал попивать. Нынче на сестрорецком кладбище рядом с Михаилом Михайловичем, по обе стороны от него покоятся и сын, и жена. Вера Владимировна несколько раз появлялась в комнате Зошенко, когда я бывала у него. При ее появлении Михаил Михайлович как-то сразу каменел, замолкал, замыкался. Помню, как однажды она, изящным движением поправляя волосы, сказала: «А вы знаете, Галина Константиновна, ведь Михаил погубил мой талант: я так писала сочинения в гимназии...»

Недоверие к существующему порядку вещей с годами все усиливалось в душе Зошенко. Он говорил мне, что вот ему предложила Публичная библиотека сдать

в ее фонды весь его архив, поставив дату вскрытия хоть в 2000 году. Но он не верит, что это обещание в любой критический момент не будет нарушено. И не сдал...

После встречи с Зошенко Нагибин был очень огорчен и даже чуть обижен, что Зошенко на его просьбу дать ему прочесть рукопись второй части «Перед восходом солнца» ответил отказом. Впоследствии Михаил Михайлович объяснил мне, что отказ был вызван не столько боязнью, сколько соображениями иного порядка. Еще отрывок из моих старых записей: «Он говорит, что, наверное, тогда, когда писал «Перед восходом солнца», с ума сошел, так донага раздев свою душу перед читателем. А кроме того, в этой повести такие сложные копания в психологии, что какой-нибудь молодой, с еще не окрепшей душой, человек может пойти тем же путем и безысходно завязнуть в сложнейших лабиринтах собственной психики». Мне он тоже не дал эту рукопись, каждую встречу обещая сделать это в следующий раз...

Теперь я расскажу о последней встрече и предшествующем ей событии. И о похоронах.

Весной 1958 года в Ленинград приехал муж Мирели Шагинян, дочери Мариэтты Сергеевны. С Мирелью мы были дружны. Виктор привез от Мариэтты Сергеевны для Зошенко бутылку отборного армянского коньяку и еще какие-то подарки. До этого я была у Зошенко с неделю назад. Набираю спокойно его номер. Он берет трубку, я говорю о приезде Виктора и о Мариэтте Сергеевне. Он в ответ: «Как хорошо, что вы звоните. Я только что получил наконец авторские экземпляры вышедшего в свет однотомника, очень хочу подарить вам его. Приходите в ближайшие дни». Я ему снова принялась толковать о приезде Виктора и о Мариэтте Сергеевне. Он в ответ — снова о том, чтобы я пришла за книгой. И так несколько раз. Вдруг он совсем замолк — ни коротких гудков, ни звуков голоса. Молчание. Охваченная беспокойством, я помчалась в комнату, лихорадочно зажгла сигарету — и снова к телефону. Короткие гудки. В течение получаса кручу диск. Наконец Михаил Михайлович берет трубку и вновь говорит о своей книге. Он не помнил, что несколько минут назад мы с ним говорили... Конечно, мы тогда уж не осмелились идти к Зошенко. Недели две спустя он позвонил сам. Вот это и была моя последняя с ним встреча...

Встретил он меня словами: «А ведь я чуть не сдох...» И поведал о том, что за последнее время у него были странные удары с потерей памяти. Что сделали ему все анализы. Все оказалось в полном порядке. И продолжил так: «Домашние упрекают меня — что же это я, написавший «Возвращенную молодость», суть которой в том, что все в жизни человека зависит от него самого, не могу справиться с непонятным заболеванием. И я вдруг понял — у меня просто нет желания быть здоровым, нет желания бежать смерти... Зачем мне жить, если я не имею возможности писать так, как я хочу, как могу, как умею? А для чего без работы жизнь?» Увы, это не было громкой фразой: на похоронах Валерий расскажет мне, что даже в предсмертном бреде отец бессознательно выталкивал изо рта кислородную подушку... В сущности, умер он не от болезни, а оттого, что устал жить.

В ту последнюю встречу (помню, я пришла с букетом алых тюльпанов, чтобы поздравить его с выходом книги, а он, несмотря на то что сам в рот не брал шоколада, несмотря на свое болезненное состояние, приготовил и поставил на тумбочку непечатый набор конфет) он подарил мне свой одотомник. Уже с надписью «С дружбой», а не «С надеждой на дружбу», как было на фотографии.

Сердечно распроставшись, мы расстались, условившись о встрече после моего приезда (я ненадолго уезжала в Киев).

Возвращалась с остановкой в Москве. С вокзала — сразу к Шагинянам. До сих пор помню выражение лица Мирели, открывшей дверь. Еще не переступив порога, я узнала от нее, что звонила Вера Владимировна из Сестрорецка. Михаил Михайлович совсем плох, без сознания, начинается отек легких. Она не в силах добиться, чтобы на дом приехали сделать электрокардиограмму и другие необходимые анализы. Следующим ранним утром снова звонок — Зошенко скончался. Днем снова звонок — начались хлопоты о погребении, но места на Литераторских мостках Волкова кладбища ленинградское начальство не дает. Тут нужно было видеть Мариэтту Сергеевну. Она не отходила от телефона. Ее возмущенным голосом, не просящим, а гневным, казалось, было заполнено все обширное пространство двухэтажной квартиры. Она звонила с требованием дать место на Литераторских мостках, где погребены многие де-

сятки лучших деятелей русской и советской культуры, для такого замечательного мастера, каким был Зошенко. Звонила в Союз писателей, центральный и ленинградский. В «Известия». В ленинградский обком партии. Все ее старания остались втуне...

Я в тот же вечер выехала в Ленинград. Видимо, из опасения каких-либо эксцессов, связанных с объявлением о смерти Зошенко, в «Ленинградской правде» не было указано то ли место, где будет проходить гражданская панихида, то ли час — сейчас уже не помню. Видимо, из тех же соображений в толпе, заполонившей здание Ленинградского союза писателей, и среди множества людей, сгрудившихся у входа (в доме всем приходившим проститься с Михаилом Михайловичем не хватило места), то там, то сям мелькали милицейские фуражки...

В гробу Зошенко выглядел словно бы спящим, смерть не исказила его черты: те же чуть поднятые брови, слегка приподнятые уголки рта живо напоминали его печальную полуулыбку. Его сделали за пятнадцать лет гонений полумертвецом еще при жизни — наверное, потому он выглядел в гробу будто бы живым, будто бы спящим... И перед этим покойным ликом, перед лицом смерти вдруг разыгралась омерзительная сцена.

Гражданская панихида мерно шла своим чередом. Все произносили прекрасно-возвышенные слова о стойкости, смелости, огромном таланте, редкой доброте, о непоправимой утрате, которую понесла отечественная словесность. Дали слово ленинградскому писателю Леониду Борисову. Он, в числе других добрых слов, сказал, что Зошенко был патриотом, что не единожды он получал приглашение переехать на жительство за границу, но он не мыслил жизни вне России. И тут внезапно тишину прорезал визгливый вскрик поэта Прокофьева, вступившего в «полемику» с Борисовым. По зале прокатился возмущенный шорох. Конец панихиды был смят. Я вышла из зала. В кулуарах было полно людей. Они стояли, сидели на диванах, на стульях, на подоконниках. Рядом кто-то возмущенно шептал: «Какое надругательство... На Литераторских мостках не разрешили хоронить. Привезли тело из Сестрорецка и обратно в Сестрорецк повезут хоронить...»

Вскоре раздался перестук молотков. Закрытый гроб поплыл по комнатам и коридорам Дома писателей.

Мы — Дима Поляновский, мой сокурсник по институту Репина Виктор Носкович, жена Виктора художница Нина Лекаренко, которая в молодые годы в течение почти десяти лет была близко знакома с Зощенко, — поймали какую-то машину, шофер которой согласился отвезти нас к Сестрорецкому кладбищу. Туда приехало сравнительно немного людей. У свежерытой могилы гроб снова открыли. Панихида продолжилась. Лучше всех говорили Шостакович и Берггольц.

Подошел Валя. Звал на поминки. Но идти в дом без хозяина казалось невыносимым. Мы доехали до Лисьего Носа и в придорожной столовке вчетвером помянули Михаила Михайловича.

БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Меня многие упрекали: почему я не вела дневник?

Что ж, наверное, перед будущими биографами М. М. Зощенко я виновата. Но не перед Михаилом Михайловичем! Двенадцать последних лет его жизни я чуть ли не каждый день видела его у себя, но дорожила нашими отношениями не потому, что он знаменитый писатель. Для меня он был просто человек, которого несправедливо и жестоко обидели, и вот он приходит в мой дом, чтобы отдохнуть от забот и на время забыть свои горести.

Человек приходит к человеку. Доверяет ему свой покой. И что же? Он — за дверь, а я вынимаю дневник и записываю, в каком он пребывал настроении, что делал и о чем говорил? Так, что ли? Но ведь это нелепо. Бестактно. Это, можно сказать, предательство. Именно так я считаю. Ну а тем, кто думает, что коль я ничего не записывала, то зря Михаил Михайлович приходил в мой дом, ответчу: а что, если он приходил, как раз спасаясь от всяческих записей?

Я и сейчас сомневаюсь, нужен ли мой рассказ. Ведь никаких «исторических событий» под крышей моего дома не произошло. Но мне говорят: надо. О таком человеке, как Зощенко, все важно знать.

Ну что ж. Расскажу, что помню.

Начну, пожалуй, с того, что никогда не заводила разговоров на литературные темы. И он тоже — лишь в редких случаях говорил о литературных делах. Я не спрашивала его о семье, о людях, с которыми он поддерживал отношения, о том, чем в тот или иной день было занято его время до прихода ко мне, — словом, я не спрашивала его ни о чем, что находилось за преде-

лами интересов, которыми жил мой дом. И потому он рассказывал мне лишь то, что хотел, делился лишь тем, чем ему было необходимо со мной поделиться.

Время от времени он приходил в очень плохом состоянии. Что-то опять в очередной раз случилось — какая-то новая неприятность. Если заговорит, я, конечно, разговор поддержу — постараюсь успокоить, развеять его страхи и опасения, отвлечь от тяжелых дум. Но, бывало, придет и молчит, весь вечер промолчать может. Я копошусь на кухне, вяжу или, если очень устала за день, прилягу и задремлю, а он все сидит и думает о своем. Потом встанет и так же молча уйдет. В такие вечера я не тревожила его разговорами. Я вообще старалась не мешать ему жить своей жизнью. Здесь у нас был как бы негласный сговор. И никто не хотел его нарушать. Видимо, именно это — прежде всего — привлекало его в мой дом...

А познакомилась я с Михаилом Михайловичем еще до войны. Как и он, я жила в писательском кооперативе на канале Грибоедова, но пути наши как-то не пересекались. Однажды мы с мужем, Михаилом Юрьевичем Блейманом, зашли к Стеничам. Переводчик Валентин Осипович Стенич с женой жили этажом ниже, и мы часто у них бывали. И вот на сей раз встретили там Михаила Михайловича. Был какой-то незначительный разговор — не помню. До начала войны и отъезда в эвакуацию я его больше не видела. Так что знакомство оказалось шапочным.

Эвакуировали нас в Алма-Ату. Муж (он был сценарист, теоретик кино) стал работать на кинофабрике. Там же вскоре начал сотрудничать и Михаил Михайлович. Эвакуированным кинематографистам была отдана под общежитие гостиница «Дом Советов», и недолгое время Михаил Михайлович занимал там один из номеров, а затем переехал куда-то. Иногда я встречала его на улице, здоровались, перекидывались несколькими словами и расходились... Нет, никогда я не думала, что он войдет в нашу жизнь!

Вскоре после возвращения из эвакуации, весной 1946 года, недалеко от дома я как-то столкнулась с Михаилом Михайловичем. Он спросил, не может ли чем-нибудь быть нам полезным. Я очень любила читать, без книг не жила, и сказала, что если он даст почитать какую-нибудь интересную книгу, то буду благодарна. В тот же вечер он принес только что вышедший собст-

венный сборник рассказов и повестей. Я, честно говоря, весьма небрежно отреагировала на подарок (книга была с дарственной надписью). Как это понимать? Значит, из всех существующих на свете интересных книг самой интересной он считает свою?

Не знаю, обиделся он или нет, только начиная с этого вечера он стал приходить к нам все чаще и чаще. Однажды принес купленную в коммерческом магазине (который нам был недоступен) банку консервированных ананасов. На его глазах мы с сыном моментально ее уничтожили. На другой день он снова поставил на стол такую же банку. И снова — момент, и банка пуста. Видимо, приняв нашу тоску по вкусным вещам за страстию именно к ананасам, он стал приносить их нам ежедневно. Ну и кончилось тем, чем должно было кончиться: уже сам вид этого недавно недоступного для нас изысканного продукта стал вызывать отвращение. Тогда Михаил Михайлович «перешел» на торты из «Севера», тогдашнего «Норда»...

В первые годы после войны у меня не было телефона. И, естественно, Михаил Михайлович не всегда мог предупредить о своем приходе. Придет иногда, а дома никого нет. В таких случаях он заходил в квартиру (у него был свой ключ), обедал (обед всегда ждал его на столе), отдыхал и, уходя, оставлял записку. Этих записок сохранилось множество. И почти в каждой из них несколько слов, но обязательно о том, что он сегодня съел или наоборот — что не съел, не мог съесть. Еда, питание — это было одной из самых больных проблем его жизни. Тут у него было полное неблагополучие. Он и ходить-то к нам начал, по сути дела, из-за того, что, сев однажды за стол, вдруг почувствовал: может есть!

Помню, когда он пришел в тот день, я как раз кормила сына обедом. Предложила и ему пообедать. Он начал отказываться. Сказал, что у него нигде, даже у себя дома, толком поесть не получается. Нет аппетита. Обычно он что-нибудь перехватит, пожует на ходу кусочек — и все. И так, мол, было всегда — сколько он себя помнит.

Я все-таки уговорила его. Сел. Осторожно так повозил по тарелке вилкой, поковырял, попробовал на язык. Проглотил. И такое удивление отразилось на его лице... С этого дня он стал к нам ходить буквально по часам: к завтраку, обеду и ужину. И на ужин обязательно приносил с собой что-нибудь вкусное.

Никогда не забуду комическую ситуацию, связанную с теми днями, когда Михаил Михайлович только начал у нас «столоваться». Он считал, что, по правилам хорошего тона, неприлично доедать все, что положили тебе на тарелку: немного, но надо оставить. Я, конечно, тоже знала об этом «правиле», но война заставила забыть множество всевозможных правил, а это — в первую очередь. И вот в следующий его приход, думая, что накануне слишком много ему положила — потому он и не доел, я уменьшила порцию. Он с видимым аппетитом принялся за еду, но снова чуть-чуть оставил. Пришлось уменьшить еще. Потом еще и еще... Я уже догадалась, в чем дело, но остановиться не могла. Любопытно: чем же все это кончится? И когда наконец я поставила перед ним тарелку с маленькой, в одну ложку, кучкой картофельного пюре, он взмолился: «Могу я получить нормальную порцию?!»

Обиделся. А я поняла, что подшучивать над ним опасно. По-видимому, так истрепаны его нервы, так много и часто в последние годы его унижали, что даже самые легкие уколы болезненны для его самолюбия.

Ну вот, например, такой уж вовсе невинный с моей стороны поступок... Жили у нас два снегиря — семейная парочка. Товарищ моего сына принес как-то еще одного — самца, похожего, как две капли воды, на нашего. Приходит Михаил Михайлович и видит, что на подоконнике сидят две совершенно одинаковые птички. Спрашивает: «А откуда тут второй снегириска взялся?» Мне бы ответить, как было: мол, Юркин товарищ принес. Но я сделала большие глаза: «Где? Я вижу только одного...»

Как же он рассердился! Мне пришлось потом долго его успокаивать. Просила прощения, обещала оставить свои «глупые шуточки». А как их оставить, когда сам он подковырнуть, подкусить (конечно, совсем необидно, по-доброму) был очень не прочь! И ты волей-неволей настраиваешься на заданную им «волну».

Я вот не раз слышала и читала, будто Михаил Михайлович был человеком замкнутым, а то и вовсе — мрачным, угрюмым. Что ж, вполне возможно, что в непривычной, неудобной для себя обстановке он в самом деле мог показаться кому-то именно таким. Но я его таким не знаю. Не помню. Нет, конечно, все его неприятности, страдания, муки остались в памяти: и август 1946 года, когда он пришел прощаться, думая,

что его арестуют; и растянувшаяся на несколько месяцев нервотрепка, последовавшая за его встречей с английскими студентами; и его обиды на разбежавшихся, как от чумы, вчерашних друзей и товарищей... Забыть этого нельзя. Но хорошо помню и вот что: даже в самые тяжелые времена, как бы ни угнетали, ни подавляли Михаила Михайловича обстоятельства, он не терял веры в лучшие для себя и для всей нашей страны времена, и его никогда не покидало то, что принято называть чувством юмора. Он приходил к нам не за сочувствием, не с жалобами на свою судьбу. Он приходил отдыхать от ее ударов. И, видимо, поэтому не «втравливал» нас в свои переживания. Устав от сложных взаимоотношений, возникших у него с внешним миром, он искал в нашем доме простых и спокойных житейских радостей. И, как я смею предполагать, нашел их. Он оставлял за дверью все свои боли и неудачи и становился не писателем Зоценко, со всей известностью своего гордого и печального имени, а обыкновенным домашним человеком — исключительно добрым, заботливым и... Я вот недавно спросила сына: «Каким ты его запомнил?» И он, не задумываясь, ответил: «Веселым!»

Михаил Михайлович — веселый человек? Нет, наверное, это сказано слишком сильно. Я бы внесла такую поправку: он умел и любил быть веселым. Когда он нас веселил и, глядя на нас, сам веселился, я чувствовала: в эти минуты он-то и был, как говорят, настоящим, самим собой, тем самым, каким был задуман и сотворен, — настолько естественно и свободно это у него получалось.

Вот играют они с сыном в карты, в «подкидного дурака». Михаилу Михайловичу не везет: не идет карта. И вот раз за разом он начинает жульничать. Притом делает это так напоказ неумело, так нарочито неловко, так комично он выглядит, совершая очередную шулерскую манипуляцию, что мы умираем со смеху. Мы — это я и сын, а у Михаила Михайловича невинно-недоумевающее лицо: чего, мол, смеются? Наконец сын не выдерживает: «Михаил Михайлович! Кончайте свои арапские штучки!» Ему обидно: карта идет, а выиграть не может... На другой день, прибежав из школы и не успев сбросить пальто, жаждущий взять реванш за вчерашнее поражение сын уже с порога кричит: «Где арап?!» А «арап», едва услышав, как поворачивается в замочной скважине ключ, залез... под стол и там тря-

сется от смеха: ему нравится, что его так называют. Недолго покружив по комнате, сын находит Михаила Михайловича и в восторге вытягивает его из-под стола. И снова — бой, «арапские штучки» и смех до упаду. А однажды зашла к сыну знакомая девочка, его ровесница. Они играют, и она захотела сыграть. Ну и, конечно, вскоре схватила Михаила Михайловича за руку — как всегда, намеренно-неуклюже он передернул карту. Швырнув свою колоду на стол, девочка в крайнем возмущении закричала: «Михаил Михайлович, вы — жила!» Он удивился: «А что такое жила?» А потом все спрашивал, озорно поблескивая глазами: «А где та очаровательная Юркина подруга, которая меня жилой назвала?»

Ему нравилось быть с детьми. Он легко себя чувствовал в их компании. Ведь, не в пример взрослым, дети еще не научились скрывать своих чувств и говорят то, что думают. Помню, когда сын уезжал в свой первый пионерский лагерь, Михаил Михайлович предложил ему переписываться. Сын с радостью согласился, но тут же откровенно признал, что вот-де, неплохо, как ему кажется, умея вести разговор, он не умеет излагать свои мысли в письмах. Как быть?

— Многого я от тебя не потребую, — сказал Михаил Михайлович и, сходя к себе домой, принес «Письмовник» 1812 года. — Я уже давно ни с кем в переписке не состою и, видимо, состоять не буду. Так что он мне не понадобится. А тебе пригодится... — Он открыл первую попавшуюся страницу и стал читать. Что-то такое: «Милостивый государь! Спешу уведомить Вас, что я нахожусь в моем поместье, чувствую себя великолепно, буду рад Вас видеть, примите и прочее...»

Вручив сыну «Письмовник», он сказал, что, конечно, все это вчерашний век, много тут негодного сору, но вежливость, каковой учат нас предки, выпустившие эту книгу, — не сор, это как раз то, что, к сожалению, сегодня утрачено. И потому — это полезная книга.

С помощью этого «Письмовника» сын писал Михаилу Михайловичу очень смешные письма. Старый, потрепанный, но, как дорогая реликвия, он и сейчас у него хранится. И это далеко не единственный подарок Михаила Михайловича. Трудно перечислить все то, что появилось в нашем доме с его легкой руки. У него было очень трудно с деньгами, но он не мог отказать себе в удовольствии: по любому случаю что-нибудь, да по-

дарить. Радиоприемник, проигрыватель, пишущая машинка, часы, даже подзорная труба были подарены сыну на день рождения. Я считаю, да и сын тоже, что именно Михаилу Михайловичу он обязан своей профессией кинооператора. Все началось с увлечения фотоделом, с подаренных Михаилом Михайловичем фотоаппарата и увеличителя. С первых же проб (кстати, нередко позировал перед объективом «даритель») у сына стали получаться хорошие кадры, но он разбрасывался в своих детских увлечениях, хватался то за то, то за это и лишь благодаря настойчивости Михаила Михайловича не бросил фотографировать, стал заниматься во Дворце пионеров, а по окончании школы, выезжая в течение ряда лет в пионерский лагерь, руководил фотокружком. Ну, а от фотографии до кинематографии, как говорится, рукой подать...

Я от многих слышала: у Михаила Михайловича не было личных врагов, его все любили. А за что его не любить? Не знаю человека, который был бы добрее его и заботливее. Вот в конце сороковых годов я заболела и попала в больницу. Сын остался один. Узнав об этом, из Москвы приехал его отец. Заходила и одна знакомая, мать моей школьной приятельницы. Вроде сын под присмотром. Но я все равно очень нервничала: как он там? И если бы не Михаил Михайлович с его умением успокоить и ободрить, не знаю, скоро бы я вышла из больницы. У меня сохранилась записка, которую он переслал мне в палату — то ли на второй, то ли на третий день. Вот что, помимо прочего, он писал:

«...Даю тебе отчет по дому:

Все обстоит хорошо. И, пожалуй, даже не хуже, чем при тебе. Парнишка твой на редкость славный мальчик — умный и рассудительный. И с ним можно договориться без нажима на него. Все больше убеждаюсь, что из него выйдет толк. А вежливость его и корректность к людям прямо меня умиляют.

Так что насчет его ты не тревожься. И вообще, не беспокойся о доме. Все будет как полагается.

В пятницу мы с Екатериной Марковной (упоминавшаяся выше знакомая) долго сидели «у тебя в гостях». И, так сказать, руководили твоим несложным хозяйством...

В общем, буду каждый день хоть ненадолго ходить к твоему «Рыжику»...

Постарайся побольше спать. Ты ведь постоянно недосыпала. Спала часов по 5. И тем самым стала такой, какая ты есть — хрупкой и (настаиваю) нервной до крайности. Твое лежание в больнице должно принести тебе хоть эту пользу — научиться спать по 10 часов...

Сейчас иду к твоему Рыжику на часок...»

Нет, конечно, тревога за сына меня не оставила. Но я стала спокойней. Забота о нас Михаила Михайловича была для меня самым целительным из лекарств, которые я получала, лежа на больничной койке.

Вообще, надо сказать, Михаил Михайлович с трогательным участием относился ко всем, кто мал или слаб. И распространялось это участие не только на нас, людей, но и на тех, кого мы называем своими «меньшими братьями». Я уже упоминала, что в нашем доме жили два снегиря. А однажды я подобрала на улице воробушка, совершенно голого. Через некоторое время он оперился, стал летать и очень полюбил, когда сын садился делать уроки, спать у него на руке. Но вот наступало время обеда. И тут уж, без лишних выражений, воробушек совершал десант на плечо Михаила Михайловича. Хоть существо неразумное, но быстро почувствовал, кто за этим столом самый отзывчивый на чужую нужду. Михаил Михайлович зажимал в углу рта вермишелинку или что-нибудь еще из нашей нехитрой снеди, и воробушек вытягивал, выклевывал свой паек, а если считал, что он недостаточен, спрыгивал на тарелку и плясал там, выбирая, что повкусней. Хозяин тарелки деликатно откладывал в сторону вилку и сидел замерев, боясь, что неверным движением может спугнуть нахального воробья, тем самым нарушив столь важный для укрепления его слабого организма питательный процесс.

Но еще трогательнее было поведение Михаила Михайловича, когда у нас поселились голуби. Их много слеталось на подоконник (я туда сыпала крошки), и вот как-то один из них залетел в комнату. Полетал, полетал, никто на него не машет, не гонит. Улетел, снова прилетел — обстановка по-прежнему мирная. Более того: кормят уже не на подоконнике, а со всеми удобствами — в комнате. Ну, раз такое хорошее отношение, можно и подружку пригласить. Словом, устроилась эта парочка под диваном, соорудила гнездо, завела яички. А сыну — да и Михаилу Михайловичу тоже — интересно: хочется посмотреть, как они там живут? Но как кто-

то из них приблизится к дивану, самка вылетает из-под него, точно фурия, и дергает, щиплет за брюки. Михаилу Михайловичу очень нравилась эта ее материнская самоотверженность, но он сказал, что волновать голубку нельзя, что это может отрицательно сказаться на том, что находится в яичках, которые она так отважно защищает. И вот, чтобы приплод не получился «нервнобольным», он стал обходить диван по самой большой в условиях нашей маленькой комнаты дуге. И так продолжалось два месяца, пока голубка не вывела птенца и семья улетела.

Такая забота о «нервном здоровье» голубки может кому-то показаться чудачеством. Но это не так. Тот, кто читал «Перед восходом солнца», помнит, как мучился он всю жизнь от тяжелейших неврозов. Это было бичом его жизни. И вот, по себе зная, какая это беда — неполадки с нервами, он всячески старался оберечь других (человек или та же голубка — неважно!) от каких-либо раздражающих, нарушающих установившийся жизненный ритм моментов.

Да, неврозы его держали крепко. Ему постоянно приходилось помнить о них, быть начеку, ибо приступ мог наступить неожиданно, как бы на ровном месте. Он всегда был готов к борьбе со своими нервами. Но далеко не всегда оказывался победителем. Не раз это случалось на улице — внезапно на него накатывался страх: не мог шагу шагнуть, если надо было перейти большое открытое место. Как-то мы пошли в филармонию. Все было хорошо, он был спокоен, концерт ему нравился. Но вдруг слышу шепот: «Уйдем. Не могу больше». А однажды заявил, что у него рак. Что-то такое образовалось у него под мышкой. Он говорит: «Посмотри, что у меня такое? Вот так я могу руку поднять, а вот так не могу...» А сам поднимает руку именно так. Это выглядело очень смешно. Но смех смехом, а к врачу (был у него приятель, хирург Максимович) он все же меня потащил. Вошел в кабинет и вскоре выходит обратно. Я спрашиваю: «Ну что? Когда операция?» А он смеется: «Уже! Нажал — и вся операция...»

Вообще, он был очень мнительный человек. Часто говорил о своих болезнях, подозревал у себя то одно, то другое. И нелегко было устоять, чтобы не пошутить в связи с появлением очередного его «недуга». Поначалу он был недоволен, но потом и сам над собой стал подшучивать. Включился в игру. И мне кажется, она

ему даже нравилась. Потому что это тоже был способ бороться с собой, со своими врагами-неврозами.

О том, сколько сил отдавал Михаил Михайлович этой борьбе, говорят его письма, которые он посылал мне в 1954 году из Сочи. В руководстве Союза писателей, видимо, поняли, что, возбудив против него «дело», связанное с английскими студентами, переусердствовали, — и вот «наградили» его бесплатной путевкой. Приведу эти письма:

«8 декабря 54 г.

Мариша! Сообщаю тебе известия — скорее плохие, нежели хорошие.

В Сочи, конечно, чудесно — тепло, солнце, зелень. Люди ходят без пальто.

Санаторий отличный. Комнату мне дали более чем роскошную — с золотыми бархатными портьерами, с балконом на море. Балкон в мавританском стиле!

Весь медперсонал побывал у меня с визитом. Забота самая удивительная. Но вот со здоровьем моим оказалось плохо.

Нашли у меня: весьма плохое сердце, усложненное мерцательной аритмией, нашли полнейшее истощение (дистрофию) и, что более всего меня удивило, — плохие легкие. Стали ставить термометр — к вечеру 37,3. Стало быть, какой-то процесс происходит. Вот это крайне огорчило меня. Не хватает тут еще чахотки! Но, может, и обойдется. Посмотрим через несколько дней.

Браню себя не переставая — не надо было мне ехать на юг в моем чертовском состоянии. Даже малая перемена иной раз дает отрицательные результаты. Надо было подкормиться и окрепнуть в Ленинграде. А потом ехать.

Одно тут хорошо — не чувствую ни отвращения, ни тошноты — ем хорошо, но маловато — все еще не могу привыкнуть к большим порциям.

Вряд ли я пробуду здесь до конца месяца — работать не могу, а без работы уныние.

В Москву не поеду, вернусь домой раньше. Однако попробую заставить себя выдержать испытание до конца.

Извини, что пишу карандашом — лежу, почти все время лежу по предписанию врачей, которые все же перепуганы — как бы я тут не сдох. Но я пока еще не сдохну.

Целую тебя, Маришенька. Привет Юрке.

Михаил».

(Приписано):

«Встаю в 7 утра (без принуждения). Днем сплю часа два. Ложусь в 11. Это необыкновенно!

Сегодня ел:

Утром — $\frac{1}{2}$ стакана сметаны, стакан кефира, 2 кильки, кусок хлеба с маслом (30 грамм), кофе (курицу не стал есть).

Днем — тарелку ухи (очень хорошей), котлеты по-шахтерски (из дичи) с пюре. Шарлотку. стакан кефира.

Вечером не стал есть. Только компот и $\frac{1}{2}$ яблока.

Так почти ежедневно. Но все же ем примерно $\frac{1}{3}$ того, что дают. И это поражает подавальщиц, которые подали жалобу на меня. Главврач спросил — что бы я хотел есть. Но он не может понять, что это мой максимум!

Конечно, чахоткой противно заболеть, но, я думаю, до этого дело не дойдет. А ежели дойдет, то, в сущности, безразлично, от чего околеть.

Возможно, что врачи путают. У меня простуда, я чувствую это. Вообще врачи (как и с сестрой Валентиной) не разобрались в моем теле.

Вернусь и буду сам лечиться.

Писать ты не любишь, и поэтому я освобождаю тебя от обязательства отвечать. Тем более что я и в самом деле (может быть) уеду раньше».

«14 декабря 54.

Маришенька.

Здоровье мое значительно лучше. Чахотки не оказалось. Температура прервалась после первых же дней. Аппетит увеличился. И я стал (как будто) поправляться. Однако ем мало. А против шахтеров (которые изумили меня своим чудовищным аппетитом) ем ничтожно.

Сегодня 10 дней, как я тут. Кажется, уморил всех врачей своим нежеланием лечиться. Только сегодня дал наконец (из пальца) каплю крови для исследования. Об этом упрасивал меня главврач (и даже директор).

Какое же все-таки у меня удивительное нежелание быть здоровым! Уж я так свыкся с мыслью, что тяжело

болен, должен лежать (почти без памяти), а тут опять предстоят тяжелые дни здорового человека.

Вот тут-то и есть мой конфликт, который надо бы распутать до конца. Но только неохота.

Здесь в Сочи чудесно. Солнце с утра до ночи. Совсем тепло. Хожу в костюме. На море люди принимают солнечные ванны, а кое-кто даже купается.

Климат здесь благодатный. Кругом зелень, пальмы. Такой сказочный фон не сходится с моим (все же еще слабым) состоянием. Вот сейчас обед, и я не без отвращения думаю, что надо опять есть и есть, как едят мои соседи по столу — шахтеры.

Будь здорова, Мариша!

Юрке привет! Он бы тут посоревновался с шахтерами в еде!

Твой Михаил.

На всякий случай мой адрес: Сочи, санаторий им. Орджоникидзе».

«20 декабря 54.

Маришенька! Все было хорошо — я начал было поправляться, но врачи произвели на меня такой натиск (анализы, процедуры, исследования), что я опять чуть не сдох. Снова поднялась тошнота и отвращение к еде.

Надо сказать, что анализы дали неожиданные результаты — оказалось, что у меня все в норме — отличное давление, идеальные почки, печень. Даже малокровия (к удивлению врачей) у меня не оказалось. Кровь не показала никаких болезней, даже не было обнаружено никакой склонности к склерозу.

Единственный минус — недостаток сахара в организме.

Такой неожиданный анализ вдохновил врачей, и они произвели на меня новый натиск — стали делать какие-то уколы и впрыскивания, чтобы вызвать у меня аппетит и повысить тонус. Но вот это и оказалось губительным для моего слабого состояния. Вот тут-то и пошли у меня знакомые симптомы — тошнота и прочее.

В общем, врачи отступили от меня. Главврач сказал: «Придется закрыть санаторий — не справились с больным». Он (сегодня) прислал мне бутылку конья-

ка и сказал, чтоб я принимал перед едой по 50 грамм. Это (сказал он) единственное лекарство, которое, пожалуй, поможет вам.

Попробую. Но уже чувствую отвращение к вину.

Сейчас (без давления врачей) мне несколько лучше. Но нервы взбудоражены после таких боев. Лежу на балконе (в общем, слабый). Солнце мягкое, тепло. Рассчитываю, что естественные силы природы сами приведут меня в порядок.

Не работаете вовсе. И это, видимо, не дает мне возможности улучшить мои хворости.

Отсчитываю дни — сколько мне еще тут томиться. Очень хочется раньше уехать. Но, пожалуй, заставлю себя пробыть до конца — до 31.

Видимо, 31 поеду (утром). И тогда в Ленинграде буду 3-го утром (часов, кажется, в 9 с чем-то).

В Москву не заеду, поскольку поезд прямой (Сочи — Ленинград) — он не заходит в Москву.

А если поезд раньше, то сообщу.

Будь здорова. Юрке привет.

Михаил».

«20 дек.

Маришенька! Я было написал тебе, что приеду 3 января утром. Но сейчас выяснилось, что расписание поездов изменили. Теперь из Сочи на Ленинград будут ходить поезда не через день (как раньше), а раз или два в неделю. В общем, деньги за билет, заказанный на 31, мне вернули.

Придется ждать тут либо до 3-го, либо ехать московским поездом (Сочи — Москва), который ходит ежедневно. Это досадно, так как на 2—3 дня невольно придется задержаться в Москве. А это мне сейчас не хотелось бы — на душе (почему-то) мрачновато, да и здоровье все же не в порядке. Вес хотя и прибавился (на 800 грамм), но ощутимого перелома не произошло. Видимо, надо лечиться не месяц, а много больше для того, чтобы прийти к душевному равновесию.

Итак, 31 я не уезжаю — ибо нет поезда. По этой причине не встречай меня 3-го. Из Москвы я тебе позвоню либо дам телеграмму. А если нет, то, стало быть, не задержусь там и числа 4—5-го буду в Ленинграде.

В Сочи мне все тут осточертело. И я с нетерпением жду отъезда. А погода здесь по-прежнему хороша — тепло и солнце.

До скорого свидания! Юрке привет.

Михаил.

Сюда, конечно, больше не пиши, так как числа 30—31, видимо, я поеду в Москву.

23 дек. 54 г.

Р. С. Ходил на базар, чтобы послать какую-нибудь посылочку, но от множества людей закружилась голова, и я поскорей вернулся в санаторий. На днях опять пошел, но снова было нехорошо — от улицы, шума и т. д. Досадно. Стало быть, со здоровьем все же плоховато, ежели не могу управиться с собой в таком малом деле! Да и насчет прибавки веса — сомнительная прибавка. Перед взвешиванием я выпил 2 стакана кефира и в карман положил связку ключей.

Вот это, может, и дало 800 грамм. Да, не так-то легко поправиться. Жалею, что не придется (видимо) послать тебе что-нибудь. Все-таки чертовски слаб — запугали врачи, что плохое сердце.

Поздравляю тебя и Юру с наступающим Новым (счастливым) годом!

24 дек.».

После возвращения из Сочи Михаил Михайлович продолжал чувствовать себя неважно. Сократил и до того нечастые «выходы в свет», визиты к знакомым. Виделся с Груздевым (чаще, чем с кем-нибудь другим), бывал у Эйхенбаума, встречался с Акимовым, с Шостаковичем, когда Дмитрий Дмитриевич приезжал в Ленинград. Приезжал с гастролями театр Образцова — мы были на двух спектаклях. А однажды позвонил Вертинский, пригласил на концерт, оставил в кассе билеты. Сидели мы очень хорошо, а после концерта Михаил Михайлович повел меня за кулисы. Я поняла, что они знакомы коротко, иначе Михаил Михайлович, при его скромности, ни за что бы не решился на такой шаг. Их встреча подтвердила мое предположение: по всему было видно, что они искренне симпатизируют друг другу. (Впрочем, что касается Михаила Михайло-

вича, то о его отношении к Вертинскому я знала: когда появились в продаже первые его пластинки, он тут же послал Юру купить их, а потом с удовольствием слушал. Но то было еще в сороковые годы, а теперь шли пятидесятые, и он уже давно не включал проигрыватель).

Работал Михаил Михайлович тоже без настроения, скорей — по привычке. Да и могло ли быть настроение, если почти все, что он писал, под разными предлогами отвергалось журналами и издательствами. «Над книжкой своей я еще сижу, — писал он мне в одной из записок, — всякие доделки, и «пускаю» последний блеск, который все равно никому не нужен, да и не будет понятен, а скорей всего раздражит. Ну уж сделаю профессионально, по всем правилам нашей науки...» Кончалась записка так: «А вечером — опять работа, чтоб ее черт побрал. Уж очень надоело».

Временами, бывало, он загорался, но ненадолго. Как-то принес книгу на украинском языке Алексея Полторацкого «Детство Гоголя». Заказали перевод. Я начала читать и вижу — половину понимаю. Он обрадовался, достал где-то словарь: «Делай подстрочник!» Одного словаря оказалось мало — многих выражений и слов там не было, пришлось обложиться несколькими. Перевела. Он почитал — понравилось. И очень быстро сделал свою работу.

А потом опять спад, неверие в свои силы и в то, что кому-то еще нужна его профессиональная квалификация.

В 1958 году дважды болел. Первый раз ранней весной. Я как раз была у него, когда пришел врач, вызванный из литфондовской поликлиники. Сказал, что, по видимому, у него гипертонический криз. Ему было очень плохо. Через некоторое время стало лучше, но затем снова сдал. Я знаю, что некоторые мемуаристы, вспоминая о последних месяцах жизни Михаила Михайловича, пишут, что у него была затруднена речь, что он временами впадал в протрацию. Я этого не помню. Не замечала. Во всяком случае, на моих глазах этого не было.

В начале июля Михаилу Михайловичу стало совсем плохо. До этого он часто уезжал в Сестрорецк. Говорил, что там воздух целебный, что там ему лучше дышится, а главное — он там свободен от дел, от телефонных звонков и от неприятностей, связанных с бли-

зостью Союза писателей. И вот вдруг сразу как-то погас, обессилел. Не то что отправиться в Сестрорецк — к нам, двумя этажами выше, подняться не мог. Не приходил уже несколько дней, и еду я носила вниз, в его комнату. Принесла в очередной раз, а он говорит: «Ты завтра ко мне не приходи. Утром Валя возьмет машину и отвезет меня в Сестрорецк. Отдышусь там, а через неделю или полторы вернусь...»

Мы попрощались.

В тот день я видела живого Михаила Михайловича последний раз.

А. Мариенгоф

ИЗ КНИГИ «ЭТО ВАМ, ПОТОМКИ»

...Был Зошенко. Лицо у него словно из холодного пепла. Тех, кого не прорабатывал Сталин, кладут в гроб краше. А ведь Зошенко сейчас «благополучен» — его однотомник издан «Советским писателем».

Он в шелковой рубашке и отличном костюме из английского материала. К сожалению, нервных клеток, сожженных Сталиным, не сошьешь себе из английского материала.

Когда кто-нибудь за столом произносил фразу погромче, М. М. болезненно морщился, и на лице возникали морщины, как у глубокого старика.

К коньяку он не прикоснулся. Пил только шампанское. Пил безрадостно, редкими маленькими глотками, как остывший чай с молоком.

Как-то в сорок восьмом году я зашел к нему. С большими ножницами в руках М. М. ползал по полу, выкраивая из старого пыльного войлока толстые подметки для какой-то артели инвалидов. Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дрянной столовке обходился дороже.

Мы жили в Пицунде... И вот в одну из прекрасных пятниц, самую обычную в этих местах, я получил письмо от приятеля. Сначала он, конечно, сообщил про погоду: «Лето у нас в Ленинграде препротивное — холод, дождь», а потом, в конце четвертой страницы, среди прочих новостей, сообщил, не выделяя особо: «Вы, конечно, знаете, что умер М. М.».

— Какой М. М.?

— Ничего не понимаю... М. М. ... Кто бы это мог быть?

— Какая-то идиотская конспирация!

И вдруг Никритина горестно всплеснула руками:

— Это Михал Михалыч!

У меня перехватило дыхание:

— Да, Михал Михалыч.

Перед нашим отъездом из Ленинграда он заглянул на Бородинку. Был неразговорчив и трудно улыбался.

Перечитали строчку письма. Сомнений не было.

— Он.

Так мы узнали о смерти Зошенко.

Месяца через три, промозглым туманным днем, классическим для Ленинграда, мы поджидали к завтраку Шостаковича.

— А ты, Нюша, выпьешь рюмочку?— спросил я, откупоривая «маленькую» армянского коньяка.

— Непременно. По погодке.

Дмитрий Дмитриевич пришел, как всегда, точно в условленное время. Аккуратность, исполнительность, безусловно сдержанное слово, жизненный порядок являлись неизменными свойствами этого музыканта, самого вдохновенного в нашем веке.

Шостакович приподнял рюмку:

— Мне бы хотелось выпить в память Михал Михалыча.

Молча выпили.

Мы все по-настоящему любили Зошенко.

— Мне передавали, Дмитрий Дмитриевич, что вы были на его похоронах.

— Да, да, был. Конечно, был. Он лежал в гробу такой красивый.

И, сморщив переносицу под очками, повторил резко и быстро, словно рассердившись на кого-то:

— Очень красивый. Очень, очень.

И сам разлил по рюмкам коньяк.

— Давайте по второй. В его же память. Он был великий писатель.

И опять сердито сморщил переносицу:

— Великий, великий. А вот в покер играл отвратительно. Я терпеть не мог с ним играть. Как дурак он играл. Всегда проигрывал. Помните, как я убежал, швырнув карты? Это, Анатолий Борисович, у вас приключилось с Кирочкой. У Зошенко на руках флеш-ро-

яль был. От короля флеш. С джокером. А у меня тузовый покер. Так он, как дурак, после третьего повышения открыл меня. А ведь раздеть мог. Я бы лез и лез. Помните?

— Конечно, помню. Разве такие случаи в жизни забываются? Это ведь, Дмитрий Дмитриевич, не вторая или третья любовь.

Шостакович улыбнулся, обрадовался:

— Да-да-да! Мой тузовый покер нарвался на флеш. Такое в жизни не забывается. Это верно, это верно.

Я был в добрых отношениях с Михал Михалычем больше четверти века. С молодых лет он очень уважительно относился к медицине — к врачам, к аптекам, к лекарствам, к диетам, к медицинской литературе, навивно считая ее научной. Здоровья он был неплохого, я бы сказал — среднеинтеллигентского, но обожал лечиться, добросовестно выполняя советы врачей. Он очень боялся умереть. А вот в это трагическое лето, заболев совсем несерьезно, вдруг испугался не умереть. И до последнего вздоха решительно и упорно отказывался от врачей, от лекарств и даже от еды.

Устал. Устал жить.

Его жену, Веру Владимировну, в Союзе писателей спросили: «Где бы вы хотели похоронить Михал Михалыча?» Она ответила: «На Литераторских мостках». Но ей в этом отказали под каким-то глупым предлогом. «В таком случае, — сказала она, — я хочу похоронить мужа в Сестрорецке». Там была у Зощенко дача. Вернее — половина дачи. Этому желанию вдовы в Союзе обрадовались: «Пожалуйста, мы сегодня же договоримся с похоронным бюро».

А вечером того же дня наше Правление долго обсуждало текст траурного объявления в газете.

Обычно извещали так: «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине...» и т. д. Но умер не кто-то, а Зощенко. Правлению СП пришлось всерьез задуматься: уместно ли о Зощенко печатать «с глубоким прискорбием»? Нет, неуместно! И в «Ленинградской правде» появилось в черной рамке: «Правление Ленинградского отделения СП РСФСР с прискорбием извещает о смерти М. М. Зощенко».

Но вынос тела все-таки попытались обставить внушительно. Заместитель директора нашего клуба това-

рищ Миллер, выглянув из окна, поразился, что знаменитое здание на улице Воинова окружено плотным кольцом милиционеров в форме — красные околыши, погоны и канты. Обескураженный, он немедленно позвонил в отделение милиции:

— В чем дело, товарищ начальник? Мы не привыкли хоронить писателей с милиционерами в форме.

— Так-так. Не привыкли, чтобы в форме? Ну, в таком случае мы их переоденем в штатское.

И действительно переодели.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА ¹

Среди немногих подарков, сделанных мне судьбой, одним из самых драгоценных была дружба с Михаилом Михайловичем Зощенко. Мы познакомились в Ленинграде, задолго до войны, когда меня, совсем еще зеленого юнца, вместе с таким же юнцом Павлом Шубиным принимали в Союз писателей.

Правление ленинградской писательской организации было в те годы весьма представительным: Тынянов, Зощенко, Форш, Эйхенбаум, Каверин, Алексей Толстой, Лавренев, Маршак,— что ни имя, то литературное явление... Помню, как мы с Павлом волновались, как все было неказенно (одновременно и просто, и торжественно), как нас попросили почитать стихи. И особенно доброжелательным было напутствие Михаила Михайловича.

Это было знакомство. А дружба возникла значительно позже, когда я вернулся с фронта, а Михаил Михайлович из Москвы, особенно с тех пор, когда круг его знакомых заметно поредел.

Мы жили с ним в одном доме на канале Грибоедова, часто встречались, много и о многом беседовали втроем. Третьей была моя жена Ирина. Она почти девочкой переехала из Москвы в Ленинград, стала впоследствии театральным художником и познакомилась с Михаилом Михайловичем еще прежде меня.

Зная, что настанет время, когда каждое свидетельство современника о замечательном русском писателе приобретет большое значение, я решил рассказать о нашей последней встрече. Попутно хочу вспомнить о некоторых его высказываниях, поступках, привычках... Об иных никто, кроме меня, сейчас, пожалуй, и не

¹ Воспоминания. С. 253—262.

вспомнит, а они могут кое-что добавить к его портрету, к пониманию свойств его характера и таланта.

Вот для начала и вспомню, как из своего окна на пятом этаже мы с Ириной нередко видим Зощенко, выходящего в вечерних сумерках из ворот дома. На нем кепка, воротник пальто поднят. Он идет легкими пружинистыми шагами — иногда налево, к каналу Грибоедова, иногда направо, к улице Софьи Перовской. Мы знали, что он направляется либо к кому-нибудь из многочисленных знакомых, куда придет точно в условленное время и откуда уйдет тоже минута в минуту в назначенный самому себе срок, либо в маленькую пивную на Невском. Да, да, в пивную, хотя пил Зощенко более чем умеренно, можно сказать — вообще почти не пил. Но тогда еще существовали пивные, где гражданам могли достойно скоротать свободные часы в тепле и мужском уюте... Зощенко, бывало, просиживал здесь целыми вечерами за одной-единственной бутылкой пива, посасывая клешню рака (я не фантазирую, там подавали раков!). Прислушивался к разговорам соседей по столикам, а то и сам принимал в них участие. Не отсюда ли переключались в его рассказы некоторые колоритные словечки и речения?

И еще одно, прежде чем рассказать о нашей последней встрече. Он всегда был крайне скромнен в своих потребностях. Даже в годы блистательного успеха, славы, а стало быть, значительного материального достатка был неприхотлив (если не сказать — аскетичен) в еде и одежде. В комнате, где он жил, стояла узкая железная кровать под серым суконным одеялом, рядом — стул, на подоконнике — стакан остывшего чая, накрытый куском газеты. Единственной дорогой вещью был старинный секретер, за которым он работал. Очень мало тратя на себя, Зощенко, когда имел такую возможность, широко помогал людям, всегда скрытно, так что узнавали мы об этом со стороны. Но такая возможность была у него лишь в те далекие годы.

За несколько месяцев до своей смерти, в апреле 1958 года, он в последний раз приезжал в Москву. Дел у него особых не было, и, как я сейчас понимаю, он, предчувствуя близкий конец, приезжал с единственной целью — попрощаться с друзьями. Мы тогда жили уже в Москве. Остановился он у нас.

Нам с Ириной стоило большого труда скрыть свое горестное изумление — так сильно он изменился за те

полгода, что мы не виделись. Худощавый от природы, он стал устрашающе худым. Оливковый цвет тонкого лица еще более потемнел, как на старой иконе. Неуловимо изменился даже голос. Начнет фразу как обычно, и вдруг голос зазвучит словно бы издалека, из каких-то астральных сфер. А затем снова переходит на обычные свои регистры...

Приехал он с маленьким гранитолевым чемоданчиком, в каких мальчишки носят коньки. В чемоданчике — туалетные принадлежности, белье, коробка табаку, коробка папиросных гильз, машинка для их набивки (такую я видел когда-то у своего отца). Все это уложено очень аккуратно.

Мы показали гостю его комнату, дали ключи от квартиры и попросили считать себя свободным от каких-либо условностей. Если не захочет нас видеть — может не видеть и жить, как в гостинице. А захочет — тем лучше для нас.

— Здесь мне будет хорошо,— сказал Зошенко, придвинул к тахте стул, положил на него книгу, которую тогда читал, коробку папирос, поставил пепельницу.

Прожил он в Москве около двух недель.

К завтраку выходил подтянутый, свежесбритый, распространяя запах одеколона. По утрам бывал еще оживлен, шутил, даже смеялся. Подробно рассказывал о московских визитах — они и занимали, и тяготили его одновременно. Рассказывал о своих литературных замыслах. Увлекался. Даже советовался. Потом как-то сникал. После завтрака одевался и уходил.

Я написал: «после завтрака». Завтраки эти кроме радости общения с ним доставляли нам и сильное беспокойство, а порой просто пугали. Дело в том, что в эти последние месяцы своей жизни Зошенко почти ничего не ел. Худоба его принимала зловещий характер. На какие только ухищрения мы не шли, чтобы пробудить в нем хоть какой-то гастрономический интерес. Пил чай. Курил папиросу за папиросой.

Рассказал он нам о задуманной им книге «Воспоминания». По его замыслу, в ней должно было быть собрано сто новелл. В каждой новелле — не вымышленные события, а происходившие на самом деле. Участником или свидетелем одних был он сам, достоверность других, рассказанных ему когда-то и кем-то, тоже не вызывала у него сомнений. В книге предполагались

разделы: «Далекое прошлое», «Перед войной», «Война», «Новые времена». Сюжетов, говорил Зощенко, более чем достаточно, надо только их отобрать.

Иногда он никуда не уходил, беседовал с нами о наших делах, лежал в своей комнате с книгой, курил, набивал гильзы, загоняя в них вату «от никотина». Бывали ночи, когда свет в его комнате горел до утра, он читал.

Зощенко охотно знакомился с навещавшими нас друзьями и приятелями. А те зачастили, узнав о нашем госте. Так познакомился с Зощенко кинорежиссер Эльдар Рязанов, совсем еще тогда не маститый, но уже поставивший «Карнавальную ночь».

Как-то мы с Эльдаром размышлялись: хорошо бы совершить длительную неторопливую поездку по стране. Лучше бы всего на лошадке, в телеге, подстелив соломки... Трусить себе из деревни в деревню, из города в город.

— Любопытно, что об этом мечтают два автомобилиста,— усмехнулся Зощенко.

Впрочем, не все новые знакомства приходились ему по душе. Как-то пришла жена известного художника — женщина весьма сухая, деловая, практичная и, что называется, «светская», чуть ли не каждую третью фразу начинающая словами: «На последнем приеме...» — и боящаяся упустить что-либо сенсационное. А Зощенко был сенсацией.

— Я счастлива с вами познакомиться, Михаил Михайлович,— сказала она грудным голосом с прочувствованным придыханием.

Зощенко, отлично разбиравшийся в людях, намертво замолчал и вскоре вышел из комнаты.

— Что нужно от меня этой даме? — брезгливо спросил он скрипучим голосом, когда та ушла, и мы почувствовали себя виноватыми.

А теперь — к месту ли, не к месту ли, — но вспоминаю одну забавную, еще ленинградскую, историю.

Очень уважаемая, очень старая уже в те годы, нежно любившая Михаила Михайловича писательница, обладавшая густым басом, тоже наша соседка по каналу Грибоедова, как-то сказала моей жене:

— Вы знаете, Ирина, кто Михаил Михайлович? Он — девочка!

Она имела в виду некоторую женственность, капризность, мягкость его характера (отнюдь, вообще-то,

не всегда такого мягкотелого). Мы, помню, посмеялись над этим определением.

Вскоре Зоценко сидел в ленинградском Доме писателей с несколькими друзьями. Вошла упомянутая выше писательница, к которой Михаил Михайлович тоже относился с большой симпатией и знал с давних времен.

— Господа,— шутливо сказал Зоценко, увидев ее издали (он любил это ироническое «дамы» и «господа»),— вы знаете, кто она? Она — самец!..

Но вернусь к нашей последней встрече.

К телевизору Михаил Михайлович подходил редко. Но однажды мы услышали его взволнованный возглас: — Иришенька, Шопен!..

Не знаю, каковы были у Зоценко вообще отношения с музыкой, но Шопена любил он страстно.

Естественно, вне всякой связи с Шопеном вспоминаю, что у нас он впервые прочитал стихи молодого Евтушенко. Они его очень заинтересовали, хотя вообще-то над стихами Зоценко любил чуть подтрунивать. Когда-то не пощадил даже Есенина, в одном из рассказов вставив в есенинскую строку, на первый взгляд, невинное «говорит»: «Жизнь моя, говорит, иль ты приснилась мне?..» Прочитав сборник Евтушенко, он то и дело повторял строки из стихотворения «Военные свадьбы»:

Походочкой расслабленной,
С челочкой на лбу,
Вхожу — плясун прославленный —
В гудящую избу...

— Этот мальчик далеко пойдет! Обратили внимание, какую он цезурочку подпустил?..

«Мальчик» действительно пошел далеко. Может быть, даже дальше, чем предполагал Зоценко.

Как-то, вернувшись после очередного визита, Михаил Михайлович прошел на кухню, сел за стол и сказал, потирая худые смуглые руки: «А хорошо все-таки дома...» Как это «дома» нас тогда обрадовало!..

Я в то время писал пьесу для детей. Он долго и страстно меня о ней расспрашивал. Мне не все было ясно. Он сказал: «Прежде чем сесть за пьесу, вы должны уметь рассказать ее от начала до конца, как увлекательный рассказ, известный вам во всех деталях, в мельчайших подробностях».

В комнате, где поселился Зоценко, на стене висел польский плакат к французскому фильму «Дети райка».

Он больше других, привезенных мной незадолго до того из Польши, понравился Ирине. На голубом фоне изображен прелестный, грустно-задумчивый Пьеро, традиционно бледный, в традиционной белой блузе, с алой розой на тоненьком стебле в руке. Плакат привлек внимание Михаила Михайловича, он подолгу его разглядывал. Было в, казалось бы, традиционном Пьеро что-то тревожное.

— Что вам нравится в этом плакате?— спросил Зошенко Ирину.

— Все. Особенно этот робкий жест, словно бы защищающий розу.

— Это не главное. Обратите внимание на руки Пьеро: они же в твердых, негнущихся перчатках рентгенолога. В этом его современность.

Это было действительно так! Эти перчатки мы видели и прежде, но как бы и не видели, пока он не обратил на них наше внимание.

Меня, начинающего драматурга, он учил понимать природу театра. Ирину, театрального художника, учил смотреть и видеть. И чувствовалось, что он торопится это сделать, словно бы зная, что времени остается мало.

Я заговорил о пьесах, и хочу рассказать о большой нашей потере.

Зошенко подарил нам сброшюрованный машинописный экземпляр вполне законченной пьесы «Двойник», имевшей подзаголовок (видимо, в порядке иронической переключки с Теодором Драйзером) «Американская комедия». Сюжет этой великолепной комедии заключался в том, что миллионер-американец, спасаясь от преследующих его вымогателей-гангстеров, нанимает за хорошие деньги двойника, чтобы тот принимал на себя все неприятности и удары, предназначавшиеся миллионеру. Но получается так, что двойник живет припеваючи, как настоящий миллионер, а настоящий миллионер оказывается в роли собственного двойника со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Пьесу мы легкомысленно поставили на книжную полку, а к книжным полкам еще более легкомысленно подпускали всех желающих. И пьеса исчезла... Известно, что в архивах Зошенко сохранилось от нее лишь несколько черновых набросков. Хочется верить, что «Двойник» не навсегда утерян, хотя бы для будущих поколений.

Вспомнил о сюжете «Двойника» и подумал, что, может быть, здесь будет уместно сказать о профессионализме Зоценко, об его уважении к законам ремесла — в самом высоком значении этого слова. О том, как, целиком полагаясь на знание этих законов, он, читая свои рассказы на аудитории, никогда не прибегал к интонационным или мимическим ухищрениям. Читал ровным, даже монотонным голосом, делая паузы в тех случаях, когда хохот слушателей покрывал его голос. Это бывало достаточно часто. Он переживал и читал дальше. На премьере «Парусинового портфеля», когда публика (в том числе английский писатель Джон Пристли, не понимавший по-русски, но отлично улавливавший комизм ситуаций) покатывалась со смеху, Зоценко сидел безучастный, даже грустноватый...

Умение дать сюжету совершенно необычный поворот таилось, видимо, в самой сущности его таланта.

Как-то в дружеской компании известный переводчик Дос-Пасоса и Киплинга, человек весьма примечательный — Валентин Стенич вдохновенно импровизировал:

— Хорошо, знаете ли, войти с морозца домой, сбросить шубу, открыть резную дверцу буфета, достать хрустальный графин, налить в большую рюмку водки, настоянной на лимонных корочках, положить на тарелку семги...

— И, подойдя на цыпочках к другой двери, провозгласить: «Барин, кушать подано!» — бесстрастно закончил за Стенича Зоценко под общий хохот, придав его импровизации неожиданный финал...

Мне рассказывали об одном из выступлений Михаила Михайловича во время войны. Он был уже эвакуирован из осажденного Ленинграда в Алма-Ату и как-то читал в госпитале свои рассказы раненым бойцам. Слушатели, заполнившие госпитальный коридор, благодарно хохотали. Внезапно начальник госпиталя прервал Зоценко, извинился и, обращаясь к раненым, приказал: «Челюстникам — выйти!..» Из рядов неохотно поднялись несколько фигур с забинтованными лицами и разошлись по палатам. «У них ранения в челюсти, им вредно так смеяться, — объяснил начальник госпиталя Михаилу Михайловичу. — Продолжайте, пожалуйста...»

Опять возвращаюсь к задуманной Зоценко книге. Сюжеты нескольких новелл из этой будущей книги

я записал вскоре после его отъезда, чувствуя в глубине души, что книге этой не суждено быть написанной. Вот два из них:

КАРТЫ

1919 год. В Киеве Петлюра. Идут еврейские погромы. Впрочем, громят только бедноту. Богатые евреи — банкиры, коммерсанты, промышленники — откупаются. Их не трогают.

Особняк известного банкира даже охраняют по ночам два петлюровских сотника. Они легкораненые. Околачиваются в госпитале для выздоравливающих. Когда начинает смеркаться, сотники покидают госпиталь, до утра сидят в вестибюле банкирского особняка и всем непрошеным гостям дают от ворот поворот. Утром же, когда опасность больше не грозит (громилы наведываются только по ночам), сотники возвращаются в свой госпиталь.

Понятно, что охранять еврея петлюровцам морально тяжело. Этот моральный ущерб возмещается тем, что каждое утро хозяин — так между ними условлено — самолично выходит к ним из своих апартаментов и выносит на подносе две стопочки николаевских десятков. Сотники берут, говорят «мерси» и исчезают до вечера.

Однако от бесконечных сидений в вестибюле они начинают постепенно сатанеть. Режутся в карты, но и это занятие вскоре надоедает. Тем более что им нет резона обыгрывать друг друга. Тогда они привлекают к игре хозяина. Отказываться не приходится. И вот ночи напролет они играют уже втроем, и настроение у сотников заметно улучшается: то ли банкир играет хуже, то ли его партнеры не очень разборчивы в приемах, а он не так глуп, чтобы это замечать, но только деньги банкира начинают перекочевывать к сотникам. Их это устраивает. Его нет.

Как-то на Крещатике, отекий и пожелтевший от бессонных ночей и грустных мыслей, банкир встречает известного киевского шулера — и его осеняет идея. Он приводит шулера домой, представляет сотникам как своего друга, и по ночам игра идет уже вчетвером. Идет она с переменным успехом, но к утру, естественно, все деньги оказываются у шулера. Обескураженные сотники отправляются в госпиталь, а шулер возвращает деньги хозяину за вычетом обусловленного гонорара.

Так и идет ночь за ночью. Азарт. Дым коромыслом. Картежники ничего не видят, кроме своих карт. До тех пор, пока однажды, уже на рассвете, не раздастся чей-то бодрый голос:

— А это еще что за гоп-компания?!

Поднимают глаза от карт — и видят матроса в бушлате, бескозырке, с винтовкой в руках.

Они не заметили за картами, как в Киев вошли красные. И матрос конвоирует в комендатуру всех четырех: банкира, сотников и шулера.

СМЕХ

1943 год. Ленинградская область. Партизанский край. Кругом — немцы, а здесь — советская власть, советские порядки. После нескольких неудачных карательных экспедиций немцы боятся сюда показываться. Партизанское соединение контролирует большую территорию, с десятками сел и деревень. И жители, и партизаны привыкли к тому, что немцев в этих местах не встретишь.

И вот как-то осенью из одной деревушки в другую идут партизанки-пулеметчицы, волоча за собой станковый пулемет. Девушки в ватниках, платках, сапогах. На ремнях висят автоматы. Идут они по обочине шоссе, по обе стороны дороги — густой лес, тихонько звенят на ветру телеграфные провода, и если бы не автоматы и не пулемет, совсем была бы мирная картина.

В одном месте, уже неподалеку от опушки леса, шоссе делает крутой поворот. Девушки поворачивают — и нос к носу сталкиваются с немецкой разведкой. Это настолько неожиданно для тех и для других, что некоторое время все стоят в полном оцепенении. Затем и у немецких солдат, и у наших партизанок одновременно срабатывает военный рефлекс — и оба маленьких отряда прыгают в кюветы, девушки в один, немцы в другой.

И тут вот что происходит: какой-то молодой белобрысый очкастый немец прыгает в суматохе не в тот кювет. Не к своим, а к партизанкам. Сунулся туда, сунулся сюда, заверещал, с удивительной быстротой выкарабкался из кювета и на четвереньках, по-обезьяньи, побежал через дорогу к своим. Перед девушками замелькал его оттопыренный, обтянутый зад, и перед нем-

цами перепуганная физиономия с вытаращенными глазами... И тут случилось неожиданное: поднялся хохот... В одном кювете хохотали партизанки, в другом — немецкие солдаты. Хохотали, пока немец бежал на четвереньках через дорогу, хохотали, когда он скатился в кювет к своим, хохотали, забыв, что надо хвататься за автоматы и стрелять друг в друга... А потом, продолжая хохотать, расползлись в разные стороны в осенний лес, с двух сторон подступавший к дороге.

* * *

...Уезжал от нас Зошенко вечером. Я хотел проводить его на Ленинградский вокзал, но он решительно отказался. Надел свое старое черное пальто с вытертым воротником, гранитолевый взял чемоданчик, поблагодарил за гостеприимство. Уже в дверях остановился и сказал: «Знаете, Володя, я иногда думал: я ведь ничем не могу быть вам с Ириной полезен, почему же вы ко мне так относитесь? И вдруг понял: вы меня просто любите. Перехитрили вы меня. Перехитрили...»

Засмеялся своим коротким сухим смешком и стал спускаться по лестнице. Больше мы его никогда не видели.

ИЗ ПИСЬМА Л. ПАНТЕЛЕЕВА Л. К. ЧУКОВСКОЙ ¹

Разлив
6.VII — 58

...Вы просите меня написать о последних днях Михаила Михайловича. Ничего не знаю, давно не видел его, перед отъездом на дачу собирался заехать навестить — и не собрался.

О его смерти я узнал из коротенького объявления в «Лен(инградской) правде». Я все еще болен был, лежал, но упросил Элико ² взять меня на похороны. М(ежду) прочим, мы боялись, что его уже похоронили. Как и следовало ожидать, телефон С(оюза) п(исателей) не откликнулся. Элико позвонила Л. Н. Рахманову и выяснила, что панихида и вынос — в Союзе, в 12 ч. Чудом поймали на шоссе такси и вовремя прибыли на ул. Воинова.

Народу было много, но, конечно, гораздо меньше, чем ожидали некоторые. Власти прислали наряд милиционеров, однако у П. Капицы, ответственного за все это «мероприятие», хватило ума и такта удалить их.

Эксцессов не было. И читателей почти не было. На такие события отзывается обычно молодежь, а молодежь Зоценко не знала. Все-таки ведь 12 лет подряд школьникам на уроках литературы внушали, что Зоценко — это где-то рядом с Мережковским и Гиппиус. И в библиотеках его много лет не было.

И все-таки наше союзное начальство дрейфило.

Гражданскую панихиду провели на рысях.

Заикаясь и волнуясь, с отвратительной оглядкой, боясь сказать лишнее или недостаточно сказать в осуждение покойного, выступил Прокофьев. О Зоценко он говорил так, как мог бы сказать о И. Заводчикове или М. Марьенкове ³.

¹ Юность. 1988. № 8. С. 85—86.

² Элико Семеновна Пантелеева — жена Л. Пантелеева.

³ Заурядные ленинградские писатели-лапповцы 20—30-х годов.

Выступил Б. Лихарев. Позже жена его призналась Элико, что все утро он так волновался, что поминутно пил валерьянку и глотал какие-то таблетки.

Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

— До свиданья, тов. Зощенко.

И вдруг:

— Слово предоставляется Леониду Ильичу Борисову.

Это малоприятный человек. Многие отзываются о нем дурно в высшей степени. Выступает он всегда с актерским наигрышем. И здесь, у гроба М. М. Зощенко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил «до боли» губу, потом минуты две щелкал (буквально) зубами, как бы не в силах справиться с волнением, — мне вспомнилось, как смешно и похоже изображал Борисова Е. Л. Шварц. Точно так же, не в силах справиться с волнением, щелкал Борисов зубами, выступая на траурном митинге, посвященном Сталину. Тогда он, говорят, еще и воду пил.

Но на этот раз он сказал (из каких побуждений — не знаю) то, что кто-то должен был сказать.

Начал он свое слово так:

— У гроба не лгут. У всех народов, во всех странах и во все времена у верующих и неверующих был и сохранился обычай — просить прощения у гроба почившего. Мы знаем, что М. М. Зощенко был человек великодушный. Поэтому, я думаю, он простит многим из нас наши прегрешения перед ним, вольные и невольные, а их, этих прегрешений, скопилось немало.

Сказал он и о том месте, какое занимает Зощенко в нашей литературе, и о патриотизме его, о больших заслугах его перед Родиной и народом.

Одно место в этой речи показалось (и не мне одному) странным. Он сказал, что Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он — не изменил.

Сразу же после Борисова слово опять взял Прокофьев.

— Товарищи! У гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии. Но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борисову...

И не успел Прокофьев стусеваться — визгливый голос Борисова:

— Прошу слова для реплики.

Борисов оправдывается, растолковывает, что он хотел сказать.

Прокофьев подает реплику с места.

В толпе, окружившей гроб, женские голоса, возмущенные выкрики...

В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами, за дверью, на площадке лестницы, четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика, идет перепалка.

Вдова М. М., подняв над гробом голову, тоже встречается в эту, «так сказать», дискуссию:

— Разрешите и мне два слова.

И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

— Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суетятся, мечутся в толпе перепуганные организаторы этого мероприятия.

А Зощенко спокойно лежит в цветах. Лицо его — при жизни темное, смуглое, как у факира, — сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зощенковская улыбка-усмешка.

Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы «зачитать телеграммы», Капица предлагает родственникам проститься с покойным.

Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо М. М. и приложиться к его холодному лбу.

И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки — над гробом выступил-таки читатель. Почти никто не слышал его. Я стоял рядом и кое-что расслышал.

Пожилой еврей. Вероятно, накануне вечером и ночью готовил он свою речь, думая, что произнесет ее громогласно, перед лицом огромного скопища людей. А говорить ему пришлось — почти наедине с тем, к кому обращены были его слова!

— Дорогой М. М. С юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить... Примите же мой низкий поклон и самую горячую, сердечную благодарность. Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона ваших читателей.

Тут же, в этой шумной суете, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал:

— Пятьдесят лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились.

Хоронили Михаила Михайловича — в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских мостках — не разрешили.

Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:

— Вы, по-видимому, осуждаете меня, А. И. Напрасно. Ей-богу, М. М. был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.

И этой растленной личности поручили «открыть траурный митинг» — у могилы. Сказал он нечто в этом же духе — о том, какой веселый человек был Зощенко, как он любил женщин, цветы и т. д.

Следующим выступил с большой речью — Н. Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зощенко был интересный, своеобразный писатель. Осмелев, Н. Ф. сообщил даже, что ему «посчастливилось работать с М. М.». Все решили, что Зощенко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот — Григорьев, будучи редактором «Костра», редактировал рассказ Зощенко.

— Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать.

Стиль был выдержан до конца.

По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят М. М. в Сестрорецке — по просьбе родственников.

На кладбище приехало много народа, пожалуй, больше, чем на панихиду. Из москвичей я узнал Д. Д. Шостаковича, Ю. Нагибина.

Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Коношенную церковь, вагон для устриц и пр.

Но на кладбище хорошо: дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета — солнечный, жаркий, почти знойный.

Вы пишете: «Какая это потеря для нашей литературы!» Зощенко был потерян для нашей литературы двенадцать лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48-м году, он сказал Жене Шварцу:

«Хорошо, что это случилось сейчас, когда мне уже исполнилось пятьдесят лет и я сделал почти все, что мог сделать».

И все-таки очень горько было — и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича.

С о д е р ж а н и е

От составителя	3
В. Зошенко. Так начинал М. Зошенко	5
К. Чуковский. Из воспоминаний	29
М. Слонимский. Михаил Зошенко	83
К. Федин. Михаил Зошенко	103
В. Каверин. Молодой Зошенко	113
И. Слонимская. Что я помню о Зошенко	132
Е. Полонская. Мое знакомство с Михаилом Зошенко	147
Е. Журбина. Пути исцеления	155
В. Поляков. Зошенко заменить нельзя	163
Т. Иванова. О Зошенко	171
П. Лавуг. Неповторимый рассказчик	184
Г. Гор. На канале Грибоедова, 9	197
Г. Мунблит. Слезы сквозь смех	214
И. Метгер. Свидетельство современника	232
Л. Рахманов. «Уважаемые читатели!»	250
Л. Ленч. «Живой с живыми...»	264
С. Гитович. Из воспоминаний	275
Н. Томашевский. В этом многострадальном доме	291
М. Левитин. Тот самый Зошенко	296
Н. Носкович-Лекаренко. Слава — это вдова	302
М. Чуковская. Лоскуты памяти	310
Л. Чалова. Такой он был	314
А. Амстердам. Улыбка	333
И. Эвентов. Встречи, беседы	337
Е. Юнгер. Встреча на Невском	348
Б. Семенов. О Зошенко и его друзьях	351
Т. Хмельницкая. Незавершенный эпизод	360
И. Кичанова-Лифшиц. Отрывки из воспоминаний разных лет	367
М. Козаков. Из книги «Записки на песке»	379
Н. Авдашева. Принял на себя	383
Б. Гинцбург. Неизвестная пьеса	388

И. Феона. М. М. Зощенко и «Три мушкетера»	393
В. Тулякова-Хикмет. Аплодисменты	398
Д. Гранин. Мимолетное явление	413
Ю. Нагибин. О Зощенко	434
В. Адмони. Четверть часа молчания	448
А. Райкин. Зощенко	452
Е. Путилова. Две встречи	458
Г. Леонтьева. Ненаписанная новелла	463
М. Мухранская. Без литературы	475
А. Мариенгоф. Из книги «Это вам, потомки»	491
В. Лифшиц. Последняя встреча	495
Из письма Л. Пантелеева Л. К. Чуковской	505

Вспоминая Михаила Зощенко: Сборник/Сост.
В 85 Ю. В. Томашевского.— Л.: Худож. лит., 1990.—
512 с., ил.
ISBN 5-280-00962-8

Книгу составили как ранее публиковавшиеся, так и специально написанные для настоящего издания воспоминания о Михаиле Михайловиче Зощенко. Особый интерес представляют живые свидетельства близких друзей и знакомых писателя, не оставлявших его и в самое тяжелое, последнее десятилетие жизни и творчества.

В 4702010104-070 36-90
028(01)-90

ББК 84.Р7

**Вспоминая
Михаила Зощенко**

Составитель
Юрий Владимирович Томашевский

Редактор *И. Степанов*
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректоры *М. Зими́на, Е. Крутова*

ИБ № 5661

Сдано в набор 12.10.89. Подписано в печать 20.07.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ.
л. 26,88+вкл. 0,05+альбом 0,84=27,77. Усл. кр.-отт. 28,67. Уч.-изд.
л. 26,14+1 вкл.+альбом=26,81. Тираж 50 000 экз. Изд. Л.ПІ-252.
Заказ 384. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15